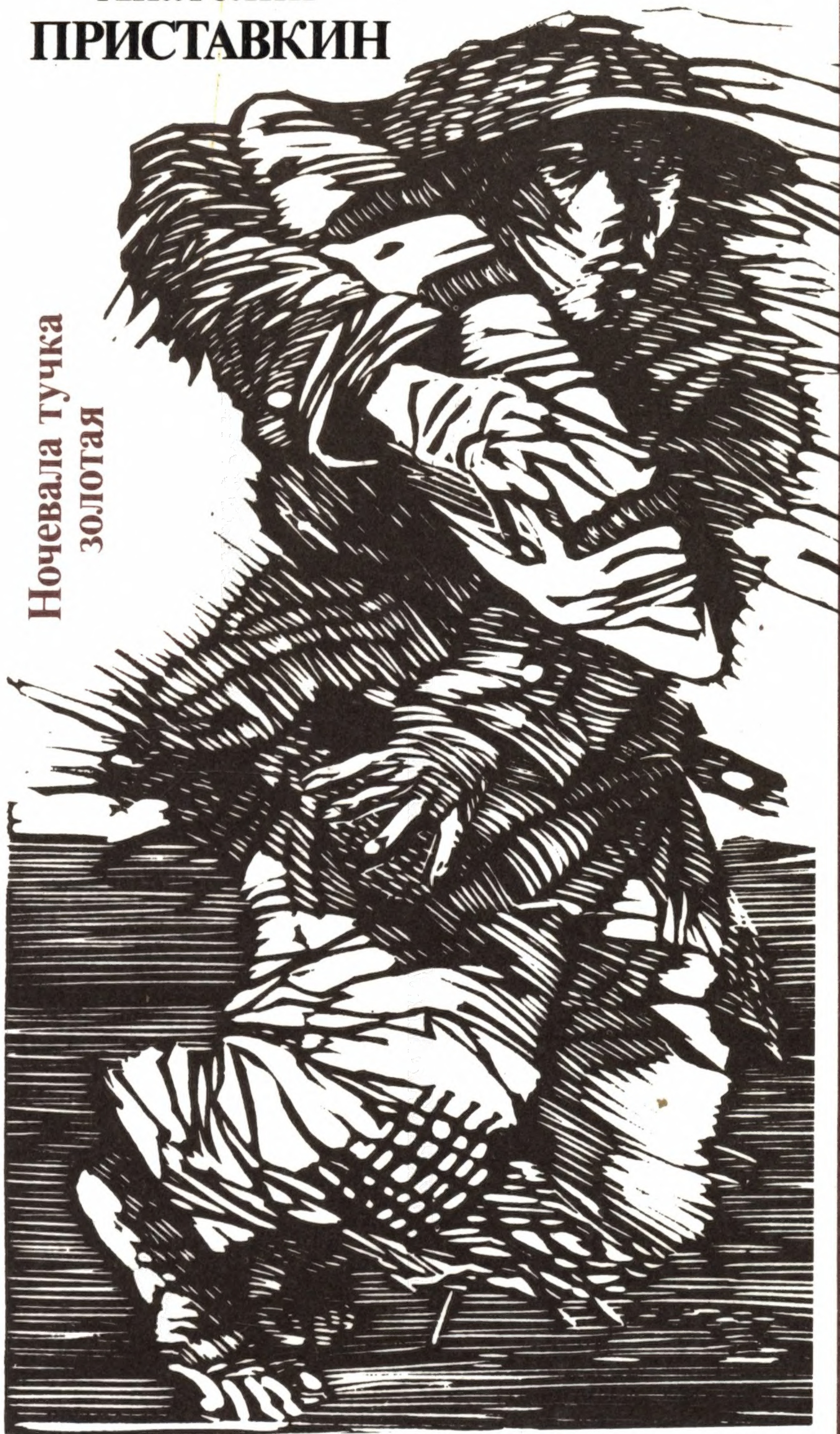


Анатолий
ПРИСТАВКИН

Ночевала тучка
золотая



Б ИБЛИОТЕКА **Ю** НОШЕСТВА

**Анатолий
ПРИСТАВКИН**

**Ночевала тучка
золотая**

Повести

Свердловск
Средне-Уральское книжное издательство
1991

ББК 84Р7

П 75

Печатается по изданию:

Приставкин А. Ночевала тучка золотая.

М.: Известия, 1989. (Б-ка «Дружбы народов»)

П $\frac{4702010201-043}{M158(03)-91}$ 60-91

ISBN 5—7529—0416—1

© Приставкин А. И., 1991

Солдат и мальчик



Васька возвращался из школы. День был теплый, пасмурный, приятный. Зеленая острая травка вылезла через прошлогоднюю листву. Почки на деревьях разбухли, стали мясистые. Васька, наклонив сук, обгладывал эти почки, а потом сорвал ветку и всю ее обгрыз вместе с корой, облизал белый прутик. Кора была горьковато-терпкой, пахла весной.

Навстречу попался Витька, Васькин одноклассник, который сегодня не был на уроках. Впрочем, он и вчера не был, и позавчера. Может, он вообще забросил школу.

Витька бежал по тропинке и делал Ваське издали какие-то знаки. Васька решил, что Витька будет его снова просить прийти домой, чтобы Витькина мать поверила, что сын ее ходит исправно в школу. За такое вранье в прошлый раз Витька дал две картофелины. Васька сразу их съел в сыром виде. Схрупал, как кролик морковку, и попросил еще. «Жирный будешь!— сказал Витька.— Потом придешь, получишь».

Теперь Васька сообразил, что предполагается пожива, и, бросив горькую веточку, спросил:

— Ты чего? Снова пропустил?

— Тише!— прошипел Витька.— Из школы, Сморок?

— Ага. А ты почему не был?

— По кочану,— ответил Витька и оглянулся.— Сморок, дело есть.

— Какое дело?— спросил Васька.

— Тише ты! Иди сюда. Скорей, тебе говорят!

Васька приблизился к забору, с интересом глядя на Витьку. Тот шептал:

— Стой тут, смотри! Если какой шухер, свистнешь! Понял?

— Не...— сказал Васька.— А ты чего будешь делать?

— Что надо! Потом узнаешь. Так, понял? В четыре глаза смотреть!

— Чур, моя доля,— уже шепотом сказал Васька.

Витька оглянулся, кивнул. Нырнул в узкую дырку и скрылся.

Ваську в детдоме и на улице звали Сморчком. Откуда пришло такое прозвище, он и сам не знал. Но откликался, когда его звали. А почему бы не откликаться! У всех были какие-нибудь клички: Жаба, Король, Дыра, Обгрызок... Ну а он Сморчок. Повариха однажды сказала ему, что сморчок — гриб такой весенний, после зимы вылезает на теплых полянах, серый и кривой. И хоть виду в нем никакого нет, да и вкус не настоящий, все-таки он гриб, а не поганка. Его едят, а нынче-то, в войну, чего не едят... А он, сморчок, хоть уродец, прет из земли этой весной кучей, как детдомовская шпана на поляне...

Так ли объясняла повариха, а может, и нет, Васька не запоминал. Запомнил другое, что она разрешила ему собрать картофельные очистки и поскребыш из мусорного ведра. И пока она рассказывала ему сказки о грибах, Васька живо, будто фокусник, слепил из очисток комок, сунул в духовку и через пару минут ел его, обжигаясь, слезы текли из глаз. Знал, что у дверей дежурят шакалы. В детдоме шакалами зовут тех, кто вечно торчит у дверей кухни, просит, ноет, ждет кусочка. Увидят съедобное, изо рта вырвут. Васька это помнил и, пока не выгнала повариха (он дежурил по дровам и подлизывался, получил очистки), быстро, быстро, стоя в дверях, сжевал все и проглотил. Потом уже вышел наружу. Теперь проси не проси, а если проглотил — твое.

Васька попробовал вспомнить вкус поджаристых очисток, но во рту и на губах еще оставался горький запах коры. Вот если бы Витька тяпнул что-нибудь съестное, буханку хлеба, например... Он везучий, тут и Ваське перепадет кусок, отломок от угла, да с кислым мякишем, да с коркой...

Бывало же время, это еще из глупой довоенной Васькиной жизни, из далекого, значит, времени, из детства, — сейчас он числил себя иным, — когда он не догадывался, не знал, что нужно наесться про запас. Тогда не только картофельные очистки, а гуща, капуста и крупа, водилась в супе и даже корки хлеба оставались на столах. Вот бы знать, Васька вмиг сообразил, как все это добро применить, подсушить, скопить, заханырить на черный сегодняшний день! Но ведь мал был, неумын, неопытен, одним словом — дурачок! Об этом времени мало что помнилось, но осталось счастливое и щемящее чувство, как

во сне. Но при удобном случае кто-то из ребят обычно произносил: «Ну, как до войны». И тогда понималось, что оно было, было, хоть и давно, и хоть не так, как представлялось теперь. Потому что, перехлестывая через собственную фантазию, один из помнящих все в той сказочной, довоенной жизни однажды утверждал и божился несуществующей родней, что на какой-то праздник, на Новый год, что ли, детдомовцам принесли от шефов мешок баранок и еще горсть конфет в золотых бумажках, и никто не шарапил, не тырил в заначку, а высыпали на стол, и можно было брать без счета,— вот случались какие непостижимые, почти легендарные случаи!

Он будто очнулся, вспомнив, что поставлен на шухере отрабатывать свой кусок. Быстро, словно носом вынюхивал, посмотрел по сторонам. Пусто. Редкий сосняк, за которым далеко видно. Васька подошел к дыре и осторожно заглянул за забор. Сразу увидел нескольких ребят, все постарше его и Витьки. Наклонившись, что-то они шуровали у забора, и только Витька прыгал, мельтешил около них, временами оглядываясь в сторону лаза. Васька догадался вдруг, что Витька сам был оставлен сторожить, быть на шухере, но передоверил свое дело ему, то есть Ваське, чтобы самому не остаться внакладе. Витька — цепкий, зубастый, он-то свое возьмет. Он из горла вырвет, если что...

У Васьки зоркий глаз, но, как ни щурился, как ни напрыгался, не мог разобрать за спинами, что они делают. Вот один из компании разогнулся, и Васька узнал толстомордого Купца — так его звали. Еще бы Ваське не помнить Купца, который издевался над детдомовскими: встречал их по пути в школу и начинал медленно клеща-ми-пальцами щипать кожу... Через одежду выворачивал кожу так, что она потом вспухала и болела, не могла зажить. А Купец требовал, чтобы стоял под его щипками прямо и не смел чтобы голосом. А в горле крик застревал, когда он медленно крутил кожу, и слезы брызгали на полметра, и, несмотря на запрещение, вырывалось: «А-а-а!» Купец блаженно прищуривал пороссячьи глазки, но всевидящие, цепляющие, как крючки, проходящих, и делал новый щипок, где-нибудь в чувствительном месте, под ребром, при этом смотрел в твои глаза, наслаждаясь и удивляясь твоей нечеловеческой боли...

Как же Ваське не узнать Купца, он даже вздрогнул, увидев толстое лицо с цепучими глазками. Даже шею вытянул Васька, но Купец сейчас не смотрел по сторонам.

Он держал в руках мешок и быстро туда что-то клал. Долговязый незнакомый парень поднял с земли длинный предмет, и еще один парень, тоже незнакомый, который был к Ваське спиной, помогал ему возиться с этим предметом, а Витька прыгал вокруг, суетился, мешал. Вдруг оглянулся, увидел торчащую Васькину голову и показал кулак. Мол, смотри, Сморчок, не сюда, а смотри на дорогу. Васька мигом отпрянул от дыры, зыркнул быстрым глазом во все стороны, сунулся в лаз, но смотреть уже было нечего.

Купец с мешком в руках — Васька увидел, что это зеленый вещмешок, — бежит от забора в сторону парка, за сосны. Толстый Купец, но легко бежит, прыгает через пеньки, а за ним долговязый с другим парнем. Этот оглянулся, налетел на дерево, ударившись ногой, присел, скорчился от боли. Его не ждали, и, хромая, он поскакал дальше, вслед за дружками. Все моментально, как в кино.

Теперь Васька увидел у забора на земле лежащего человека в зеленом. Еще не сообразил, солдат убитый ли, а может, пьяный, как налетел Витька, крикнул «бежим», и они рванулись вдвоем, дальше и дальше в лес, прочь от пагубного места. Долго бежали, пока вдруг поняли, что вне опасности. Витька опустился на пенек, а Васька лег на землю, и рот у него был открыт. Он задохнулся, не мог произнести ни слова. Только грудь часто ходила, глаза вылезли от натуги. Не было сил шевельнуть рукой или ногой.

Витька снимал ботинок, он с разбегу влетел в какую-то лужу и одним глазом весело следил за Васькой, думал про себя: «Эх, Сморчок, не бегун ты, нет, не бегун... Задохнулся так, что плашмя лег и слюну пустил. А если бы догоняли? Нет, Сморчок, с тобой накроют на мокром деле. А ты кусаться по-настоящему не умеешь и бегать не умеешь, не жилец ты на белом свете. Подохнешь однажды, когда будут гнать. И не своруешь — подохнешь, прутиками не наешься. Куда ни кинь, все не жилец... А ведь тоже тявкает, тоже чего-то хочет. Чего он хочет еще?»

— Чего ты хочешь? — сказал Витька. Он сидел на пне, руки в боки. Хозяин, настоящий хозяин, не чета всякой вшивоте.

— Что... взял? — спросил Васька и стал подползать к Витькиному пню. Подползал и смотрел на него снизу, два собачьих просящих глаза.

— Взял-то? — произнес Витька и сплюнул. Вот Сморчок, с ним не о чем и поговорить. Лишь бы хапнуть что-

нибудь. За чужой счет. Сам он ничего не умеет. Пни его ногой, не обидится... Будет ждать, пока ему кусок не бросишь. За кусок он землю будет есть, шнурки проглотит, не подавится.

— Он что, он пьяный был?— спросил Васька и сел, держась руками за землю. У него еще кружилась голова, поташнивало.

— Кто? Солдат-то?— произнес Витька и поболтал снятым ботинком, выливая воду. Несколько капель попало на Ваську, но он и не заметил. Витька сухой травой вытирал ботинок изнутри, говорил: — Спал как убитый!

— А может, он убитый?

— Да нет, храпел...

Витька положил ботинок рядом с собой, полез за пазуху. Вынул оттуда черную квадратную коробку — электрический фонарик! Васька шею накрепко, чтобы разглядеть чудо-фонарик. Витька будто равнодушно осмотрел его, дыхнул на стекло, протер рукавом, и оно заблестело: двинул двумя рычажками, и сразу красное стекло выползло, а потом шторка с щелью. Нажал на кнопку, и засветилось, полоснуло Ваську по глазам ярким светом.

Витька как бы невзначай направлял на Ваську свет, но сам будто и не видел Ваську, а был занят чудо-фонариком.

А Васька ловил Витькин взгляд и тихо, совсем тихонечко, по-мышинному пискнул:

— Дай... мне...

Витька не услышал, стал включать и выключать свет.

— Дай, Вить...

Васька не заметил, что его собственная рука протянулась к черной игрушке, а Витька — хлоп, больно ударил по руке.

— Не лапай, будешь косолапый!— крикнул Витька и спрятал фонарик под рубаху. Надел ботинок, собрался уходить.

— А мне?— спросил Васька.

— Тебе?— удивился Витька и посмотрел на Ваську нахально-невинными глазами.— Чего тебе, Сморчок?

— Я же стоял?— пробормотал быстро Васька и старался поймать Витькин взгляд. Все было в глазах у Васьки — и просьба, и подобострастие, и жалость к себе, и молчаливый страх. Страх было больше всего.

— Мог бы и не стоять,— сказал Витька и сплюнул.

— Но ведь я стоял... Я стоял... Стоял!..— заныл Васька. В голосе у него появились слезы. Вот Сморчок, и

дела от него никакого нет, а если начнет просить, не отстанет.

Витька даже замахнулся на него, но не ударил. Не до конца разозлился. Если бы разозлился настолько, что ударил, то еще бы тогда разозлился и смог бы побить Ваську. А сейчас только заорал на него:

— Отстанешь или нет! Вот, держи!

На ладони у него лежал круглый компас. Васька замолчал и даже съежился, когда Витька протянул ему этот блестящий, как часики, компас. Не поверил, что отдаст, и правда: только протянул руку, как Витька зажал компас в кулаке и сунул ему кулак под нос:

— Во тебе! Понял! Во, а не компас!

И вдруг швырнул прямо в лицо Ваське компас, так что тот ударился в глаз и упал ему прямо в руки. Васька сжал компас в двух руках, не в силах поверить, что он его...

Витька смотрел, не скрывая своей враждебности. Никогда бы не отдал он такой драгоценной вещицы, если бы не острая мысль о том, что Васька может проболтаться. Дело-то было нешуточное, тут фонарик, да компас, да еще что-то, чего не видал Васька,— пустячки. А главное... Пусть возьмет этот компас и молчит. Как-никак, а с компасом он соучастник. Компас ему замком на язык.

— Жаль,— сказал Витька искренне.— Мы бы и без тебя очистили солдата. Одурел он или выпил... Как мертвый... Хотели шинель из-под него вынуть, да побоялись... Проснется...

— Еще что взяли?— спросил Васька, а сам отвернулся, спрятал компас куда-то внутрь себя. Попробуй-ка разыщи теперь.

— Тебе все и рассказать?— спросил Витька, словно опять озлясь.

— Может, хлеба там...

— Вот Сморчок!— сквозь зубы крикнул Витька и встал.— Тебе мало. Мало, да? А хочешь, компас заберу?

— Нет,— быстро произнес Васька и сделал шаг назад.

— Тогда чеши отсюда... Косолапъ... Подальше. Да смотри, если пикнешь!

— Не пикну,— тихо отвечал Васька.

Он обождал, пока приятель скроется за деревьями, с оглядкой извлек компас, стал смотреть. Пощелкал стопором, нашел север и юг, покрутил, пытаюсь обмануть стрелку, но ничего у него не вышло. Наигравшись, спря-

тал Васька компас снова и рысцой двинулся к детдому. Он и без часов, минута в минуту, мог сказать, когда у них обед.

2

Воспитательница Анна Михайловна построила ребят на поверку. Быстро пересчитала. Выходило, что нет шестерых. Ну, Сычева, или Кольку Сыча, никто никогда и не спрашивал. И он никого не спрашивал, хотел — приходил, а не хотел — не приходил. Да и попробовали бы его спросить. Он тут никого не боялся. Это его боялись, в том числе боялись и воспитательницы.

Его не трогали, лишь бы не тронул сам. Все — и воспитанники и воспитатели — были только рады, что нет сегодня Сыча.

Не оказалось двух братьев Кузьминых, или, как их звали, Кузьмёнышей. Они уехали к родне. Куда пропали еще трое — никто не знал. Может, кто знал, да помалкивал. То ли гуляли, то ли сбежали, сели на проходящий санитарный поезд да подались на фронт. Многие так делали. Или на крыше товарняка поехали искать край посытнее нашенского. На восток, на юго-восток. Там, говорят, из-за корочки хлеба не давятся, там даже мясо настоящее жрут. Потому что в тех местах война не проходила.

Но возможно и так, что сидят все трое в каталажке за незаконные действия на рынке с честными советскими гражданами, сидят и ноют, скулят через замочную скважину: «Дяденька милиционер, отпусти... Отпусти, мы детдомовские...» А что с них возьмешь, у них ничего и никого нет. Подержат да отпустят, припугнув для острастки. А наш беспризорный брат — пуганый. Чем больше пугают, тем больше не боится.

Васька вспомнил, как однажды они козу сперли. Попробовали доить, а она такая дура — не доится. Держали ее под домом в подвале, пока она не заблеяла от голода на весь поселок.

— Вывернуть карманы, — сказала Анна Михайловна и пошла по ряду. Все вывернули, и Васька вывернул, размышляя над тем, что вот Анна Михайловна, воспитательница, — не дура, не чета той козе. А простой истины не понимает. Кто же станет прятать ценные вещи в дурацких карманах? И без них в одежде столько тайных мест, что на спор мешок картошки вынес бы со склада, если бы

тебя пустили на тот склад... А уж для всяких там мелочей вроде ножичка, денег или корки хлеба — тысяча самых загашных мест, попробуй-ка их сыщи! Можно в ботинок под стельку положить, сунуть в манжетину штанов, в трусы между ног или сбоку под мышкой... А то за подкладкой, а то и в кармане у самой воспитательницы, пока она проверяет.

Рядом с Васькой стоял Грачев Сашка, Грач, заложив что-то за щеку, громко сосал и чмокал. Вот тоже вариант — положить в рот и молчать, покуда шарят. Анна Михайловна проверила у Васьки карманы, посмотрела у Грачева, пошла дальше.

— У тебя чего? — спросил Васька.

Грач высунул изо рта кусочек жмыха и тут же убрал обратно.

— Подумаешь, — сказал Васька и вынул свой компас. — Смотри! Только руками не лапай!

— Часы? — спросил Грач. У него получилось: «Чаши».

— Дура, компас это. Стороны света показывает.

— Дай посмотреть! — У него вышло: «Вайошошеть».

— А ты жмых!

— Посмотреть?

— Пощупать... — сказал Васька. — Языком... Я только лизну...

— Ладно, — подумав, согласился Грач. — Лизни. — И предупредил: — Зубами не грызи, он тоненький.

Незаметно обменялись, Грач уткнулся в компас, стал искать север и юг. А Васька только засунул в рот жмых, впился зубами. Авось отколется краешек. Напрасные усилия, жмых был как каменный. Повезло Грачу: неделю можно сосать. Интересно, где он свой жмышок прячет на ночь? Небось так и держит во рту. Полезешь, полруки отхватит. А что, если компас попробовать прятать в рот? Не залезет разве? Рот как резина, его и растянуть можно. Но ведь компас не жмых, он от слюней испортиться может...

Васька снова изо всех сил надавил на жмых зубами. Чтобы протянуть время, затеял с Грачом отвлекающий разговор.

— Нашел юг? — получилось: «Нафолюг».

— Что? — спросил Грач.

— Нафолюг?

Грач ничего не понял, но сообразил, куда гнет Васька. Пора возвращать жмых, а то ничего не останется, будь он трижды каменный. Получив свой жмых, Грач

внимательно осмотрел его со всех сторон, произнес с обидой:

— Ну и зубы у тебя! Вон сколько выскреб!

— Он не скребется,— сказал Васька.

— Что я, не вижу!

— Ты думаешь, компас не портится, когда его без умения крутят?

— Подумаешь, север, юг... Ну и что?

Васька сказал Грачу, как по секрету:

— А то, что на юге этого жмыха завались. Говорят, около станции валяется в кучах, на него никто и не смотрит.

— На жмых?— произнес Грач так удивленно, что чуть не подавился своим жмышком. Вот бы был номер, если бы Грач проглотил его! Он бы заплакал от жалости.

Ваське стало так смешно, он сказал:

— Что жмых, они им коров кормят.

— Врешь?

— Еще свиней,— добавил Васька с превосходством.— А я тебе не скотина, чтобы его жевать... Не свинья какая-нибудь.

Васькин компас был отомщен. Но тут Грач опомнился, крикнул:

— Ах ты Сморчок! Ты все от зависти придумал!

— Что за шум?— спросила, повернувшись, Анна Михайловна.

Она закончила обыск и теперь стояла, глядя на строй. Глаза у нее были синие, этот цвет шел откуда-то из глубины ее, он не согревал. Временами даже казалось, что она никого кругом не видит, а взгляд ее сосредоточен на чем-то, что за пределами окружающего.

Вот и сейчас она молча смотрела, но ничего не видела. Опомнившись, произнесла быстро, чтобы ребята приготовились к обеду, помыли руки.

Все ждали этих слов и с криками «ура» ринулись прямо к столовой. Анна Михайловна предусмотрительно перекрыла вход, встав в дверях, и крикнула, что пускать будет с чистыми руками, когда накроют. Ее не слушались, толпились у дверей, заглядывали в щелку.

Васька смог всунуть один глаз между остальной ребятней и сразу углядел, что в столовой дежурит Боня (полное имя было Бонифаций), а на Васькино обеденное место положена тощая пайка.

Ребята кричали из-за двери:

— Боня, мне горбушку! Мне горбушку!

Каждый кричал, и каждый хотел горбушку. А где возьмешь столько горбушек? Васька не стал кричать из-за двери. Он шмыгнул во двор и залез со стороны окна. Он наперед всех сообразил, что в столовой уже открыли окна: на дворе весна. Карабкаясь, пробормотал: «Наши войска захватили высоту Н...»

Васька лег животом на подоконник, сразу оценив, что раздача еще не кончилась и можно отсюда, как маршал с высоты, обозреть окрестности и влиять на ход боя. Противником в сражении был Боня, а добычей в победе — крупная горбушка. Стоило начинать сражение.

Васька сказал негромко:

— Боня! Боня! Я тебе что покажу...

Бонифаций раскладывал пайки, а на Ваську не среагировал. Лишь глаз скосил в его сторону. В это время он считал: «Двадцать один, двадцать два, двадцать три...»

«Ну, подожди,— подумал Васька.— Буду дежурить, ты у меня заплывешь. Ты у меня танец живота будешь на пороге исполнять».

Васька, как на экране, представил картину, поменяв сейчас себя и Боню местами. Боня канючит с подоконника, а Васька положил ему тоненькую, как стеклышко, пайку, добавок перенес другому. Но от вымышленной картины легче не стало. Воспользовавшись, что Анну Михайловну атаковали от входа, Васька под шумок крикнул:

— Бонифаций! Положи мне горбушку!

Как и предполагал Васька, тот лишь отмахнулся:

— Иди, Сморчок! Не засть мне свет. Нет у меня для всех горбушек.

— Мне не для всех, мне для меня.

— Где я возьму?— спросил Боня.

— Поищи,— настаивал Васька. Он понял, что разведка кончилась, пора бросать в бой главные силы. Почти независимо произнес:— А у меня тут компас, между прочим...

— Какой компас?— спросил вроде бы без любопытства Боня, но приблизился, стараясь разглядеть, что там держит Васька в своей руке.

— Настоящий военный компас,— отчеканил Васька энергично.— В темноте светится!

— Покажи?

— Потом,— предложил Васька.— Хоть целый час играй.

Тут Анна Михайловна, гнущаяся под голодным на-

пором, как деревце под бурей, закричала, повернув голову:

— Быстрее, быстрее, а то я запускаю!

— Сейчас, — ответил ей Боня и так ловко перетасовал пайки, что на Васькино место легла поджаристая горбушка, на которой еще был крошечный добавок.

«Вот это куш!» — выдохнул про себя Васька, увидев горбушку с добавком. Бросился бежать вокруг дома, на крыльцо, да в коридор и с первыми ворвавшимися стремглав на свое законное место, чтобы, не дай бог, на ходу не сменили, не подсунули худую пайку. Успел Васька по спинам, напролом через кого-то к своей родной горбушке, рукой прижал ее к столу. Тут она! А сердце колотилось от бега, а рука держала, ласково корочку гладила, как птенца все равно. Пальцы раздвинул, посмотрел, восхитился: мать честная! Поджаристая корочка, серый упругий мякиш, от одного запаха голова кружится. А тут и добавок, кстати. Невелик, но можно в рот взять, пососать, насладиться и запахом и вкусом. А еще горбушка целая, ее с разных концов по маленькому кусочку откусывать — конца не будет.

Кругом стучали ложками, требовали бурды. Васька вдруг подумал, что день у него сегодня невероятно везучий, компас принес удачу.

Анна Михайловна стояла посреди столовой и кричала, вовсе при этом не нервничая:

— Прекратите стук! Сейчас же прекратите стук!

Но ее заглушало: «Бур-да! Бур-да! Бур-да!» И первый слог, как нарастающая лавина, как горный гул, чтобы окончиться, утвердиться падающим и гремящим:

— ...Да! Да! Да!

И Васька, схватив ложку у соседа, стал бить, стал барабанить, изображая марш победы. Он сегодня выиграл свой бой. Васька стучал изо всех сил, и очень здорово у него выходило.

3

Принесли свекольную бурду, на второе пюре из гороха. Желтенькое, как дрисня. Шлепнули ложку, оно расплзлось до краев. Со стороны посмотришь — много. А тут таракану — по щиколотку. Но Васька знал, как из ничего, из одной видимости, создать обжорную порцию. Накроши хлебца, перемешай, и вот уже половина тарел-

ки навалено. Да еще как будто ешь с мясом, корка в дрисне мясной вид имеет. И почти сыто, почти довольно.

Впрочем, когда языком до блеска вылижешь тарелку и крошечки, не больше маковых зерен, по столу соберешь в рот, знаешь, все равно чувствуешь, что мог бы съесть еще столько, а потом еще столько же. В общем-то Васька был уверен, что есть можно без конца. Поставили бы тут кастрюлю, Васька бы и ее съел.

Был у Васьки счастливый один случай, когда сперли они котел щей с кухни, ели без ложек, через край, а гущу ловили руками. Съел тогда Васька порций пятнадцать, а то и двадцать. Раздулся, как пузырь, дышать нечем было, а все ел. Не мог никак наесться. Хлебал, хлебал и почувствовал, что до горла залит, и уже что он берет, все обратно вытекает. А тут еще затошнило его, скрутило так, что лежал, умирал Васька. Все вылезло из него — и гуща, и жижа, и еще что-то, чего он, кажется, и не ел.

Выворачивало Ваську до пота, до сотрясения кишок, и все-таки успевал он поглядеть с жалостью на то, что приходилось отдавать, а почти было твоим. И сам Васька не знал, отчего больше лились у него слезы: от боли или от жалости.

Сейчас Васька вспомнил, стало приятно. Как же, чуть от обжорства не умер! Не у всех бывают такие хорошие воспоминания в войну.

Нельзя сказать, что Васька совсем не думал о будущем, хотя мысли о настоящем — как выжить, — подобно многим, заслоняли эту прекрасную перспективу.

Но выходило Васькино будущее уж очень одинаково и только так: стоит посреди леса детдом ихний, а посреди детдома стол во всю ширину и длину. А на столе огромных размеров мешок с баранками, а второй мешок с конфетами. И никто не шарапит, не тащит по карманам и за пазуху. Чинно все сидят, даже шакалы последние и те берут баранки по одной, а их заедают конфетами: суют в рот, жуют, а золотые бумажки через зубы выплевывают. Это чтобы не терять времени на разворачивание и облизыванье фантиков. С баранками — с теми проще!

И Васька, вот чудо, не хапает, чинно тянет руку к мешку, хоть зудит его легонько заначить горсть-другую в рукаве на черный день. Только о каком таком черном дне разговор может идти, если в будущем все дни только светлые будут!

Чай из железной миски пьет Васька, наклонясь, од-

нако, так, чтобы мешок тот чудотворный из виду не терять. Будущее будущим, а все-таки! А рядом с миской пайка Васькина лежит, он ее ладошкой ласкает. А размером та пайка ровно с буханку, даже добавок на ней такой, что с ходу не съешь. Это и есть самое светлое Васькино будущее, которое называется «послевойны» и в которое Васька, если честно, не очень-то верит. А кто поверит, скажи про мешок с баранками да пайку таких размеров...

И одной мечты нет у Васьки, чтобы дорасти до высоты, до положения Кольки Сыча, который и там, в будущем, найдет свое генеральское место в торце стола, зырякая оттуда в сторону шакалов и малышни, не слишком ли стараются они, поедая добро из мешка.

Васька подумал: отчего ему так приятно сегодня, даже размечтался вишь, — сразу мысль о компасе. Тоже не думал не гадал, а ведь случилось же! И как бы вновь обрадовался. Решил тут же, что надо сходить в лес, поиграть со стрелкой под деревьями. Правда, оставался за Васькой должок Боне, да кто же не знает, что долги не отдаются по своей воле. Как говорится: кому должен, всем прощаю. Боня придет и напомним, не постесняется. В детдоме стыдливые не живут.

Васька соскакивал с крыльца, когда услышал, как Анна Михайловна звала на подготовку уроков. Усмехнулся Васька такой наивности. Если бы до обеда пригрозили Ваське голодом, он, может, сделал вид, что готовит уроки. Но сейчас, сейчас... Все понимали это и разбежались, разбрелись по укромным уголкам, как горох, рассыпались по щелям, собери-ка их. Одни торопились испечь приобретенную картофелину, другие выменять корочку хлеба на что-то, что похуже, но побольше, а иные побрели поискать молодую крапивку по канавам, листики у нее сладкие и пахнут свежим огурцом. Некоторые залезли на чердак или в подвал, чтобы поспать. Во сне время до ужина летит быстрее.

Васька услышал, что воспитательница упомянула Первое мая и шефов. При слове «шефы» он приостановился, наострил уши. Но тут же спиной почувствовал, что Анна Михайловна смотрит на него, ускорил шаги. И точно, вслед донеслось:

— Мальчик! Мальчик!

Она не видела лица, а беспомощное «мальчик» выда-ло ее до конца. Мало ли тут мальчиков! Васька, не оборачиваясь, завернул за угол и направился по тропинке

в сосняк. Он раздумывал, отчего упомянули шефов... Их шефами назывался колхоз, который время от времени привозил на телеге всякие овощи, картошку. Иногда, а если точнее сказать, это было дважды, ребят возили в колхоз и кормили от пуза. Да... От такого бы праздника Васька не отказался.

Но сейчас приятную мысль о шефах перебивала другая, тоже приятная, но более близкая: она звала подальше в лес, на волю. Правду кто-то сказал, что, как ни корми детдомовца, он все в лес смотрит!

По сухой тропинке, которую, как змеи, перевивали толстые корни деревьев, Васька углубился в сосняк. Хотел было остановиться, вдруг увидел человека, сидящего на земле. Васька прошел мимо и оглянулся. Человек сказал негромко:

— Эй, пацан!

Васька удивился:

— Меня?

Разглядел, что у сидящего шинель внакидку, а сапоги снял, они стоят в стороне, как сами по себе на параде: пятки вместе, носки врозь. Тут же портянки валяются.

— Тебя, тебя,— сказал солдат.— Поди сюда!

Васька сделал шаг и остановился. Солдатики Васька нагляделся достаточно. Недаром их на стадионе гоняют со строевыми песнями. Как проходишь, всюду новобранцы под деревьями сидят, рубают кашу из котелка. Иногда позовут, предложат ложку. Но Васька, если честно говорить, не любил одалживаться у солдат. Он считал, что для войны мужчина должен быть сытым, не в пример детдомовцу. Ваське проще: он достанет, добудет что-нибудь. Если не достанет, украдет. Сейчас все крадут, кто больше, кто меньше. А Ваське меньше других надо.

Но солдат ничего Ваське не предлагал. Он и смотрел на Ваську без всякого интереса. Безразлично смотрел, будто и не на него, а на лес и на сосны. Лицо у солдата было серое, стертое. Усталое, а может, болезненное. Тут Васька понял, что солдат из госпиталя, наверное, пошел гулять да заблудился. Рана заболела...

— Ну? Подойди!— сказал солдат, не повышая голоса.— Ты что, местный? Тут и живешь?

— А где мне еще жить?— спросил Васька.— Вон, в детдоме живу.

Солдат оглянулся, чтобы посмотреть, в каком детдоме живет Васька, но ничего не увидел и не мог увидеть,

потому что они были в лесу. Он поднял голову, вздохнул. Не глядя на Ваську, сказал ровно:

— Понимаешь, украли... Оружие вот... Да, да... Оружие украли.

— Какое... оружие?— повторил Васька и вдруг обмер, осекся. А живот у него заныл. Он и сам не понял, чего испугался. Но живот заныл, а ноги стали как чужие.

Солдат не видел Васькиных превращений, потому что не видел и самого Ваську. Глаза, обращенные в глубину леса, ничего не выражали.

Как-то равнодушно произнес:

— Какое? Обыкновенное. Винтовку, значит... Пока спал, ее украли. Да все украли, вещмешок, вещи... Документы из кармана... И оружие тоже...— Это слово «оружие» он произнес отдельно и хотя так же ровно, но с невыносимой тоской. Солдат не Ваське говорил, а себе будто говорил. Замолчал, глядя на ноги свои белые, белее портянок. Васька сейчас мог уйти, солдат не заметил бы этого. А он стоял перед солдатом как дурной, как оглушенный все равно. Никак не мог сдвинуться с места. И заговорил он помимо своей воли, не соображая, что и зачем говорит:

— Откуда мне знать, кто украл... Ничего я не слышал вовсе. Если бы я знал, конечно, я бы сказал, но я ничего, ей-богу...

Выходило нескладно, неловко... Ой-ой-ой как все глупо выходило. Васька, не терявшийся ни при каких условиях, мямлил и мялся и выдавал себя с головой. Если бы солдат хоть раз взглянул на Ваську, если бы прислушался к его голосу да просто бы пораскинул мозгами, он понял бы все сразу.

Солдат не разобрался и не почувствовал ничего. Он поднял пустые глаза на мальчика и увидел рваные, подвязанные веревочками галоши вместо ботинок, штанишки неведомого цвета, залатанные на коленях, но опять с дырками, странный пиджачок без пуговиц, короткий, с короткими рукавами. Узкое лицо мышонка с каким-то странным, почти звериным испугом и глаза... Непонятные были у мальчика глаза: детские и недетские одновременно.

Тут солдат впервые подумал, что он напугал мальчишку. Видом своим или вопросом, действительно странным вопросом, если послушать со стороны. Ишь вытаращился весь, дикий, того и гляди, шмыгнет в кусты.

Солдат попытался улыбнуться и сам понял, что неудачно у него это вышло.

— Ты не бойся, я ведь вообще спрашиваю. Я всех спрашиваю. Хожу тут и спрашиваю. Всех спрашиваю, понимаешь?

И солдат вдруг бестолково и быстро заговорил, что он не тронет того, кто взял оружие и взял документы. И ничего не сделает он этому человеку, пусть только вернет... Винтовку вернет. Солдат подвинул к себе сапоги и добавил, что он сапоги еще отдаст... Часы отдаст...

— Не знаю я!— громко, с отчаянием воскликнул Васька.— Чего вы ко мне пристали!— И повторил бессмысленно просящим голосом:— Я ничего не видел! Может, кто-нибудь другой знает, а я не знаю, дяденька...

Так произносил Васька и понимал, что чепуху произносит. Он был явно не в ладах с собой, с языком своим. Сам себя разоблачал и еще больше пугался от мысли, что солдат решит его обыскать. Компас лежал у Васьки в заглавнике, под рубашкой с левой стороны. И Васька — вот дурак — тут же рукой пощупал это место. Как вскочит сейчас солдат, хватить Ваську за бок! Это ведь не Анна Михайловна, солдат знает, что где прячут. Найдет компас, и конец тут Ваське. Лишь брызги полетят по стволам. А кто будет спрашивать о Ваське: куда и зачем пропал Смorchок? Дня два подождут на линейке и вычеркнут из списков. Мало ли вычеркивали других? Всех не перечтешь, не разыщешь, да и некому этим заниматься. Вот и получится: был Васька — и нет Васьки. Как будто он и не должен быть.

— А кто может знать?— спросил солдат и чему-то удивился. Он и не Ваську спросил, а себя спросил. А удивился тому, что еще спрашивает, что еще что-то хочет узнать, когда и узнавать нечего. Никто не скажет. Как в лесу все равно.

— Я вообще сказал... Подумал, что, может, кто знает...— проворачивал с трудом, как жилы через мясорубку, Васькин язык, в то время как сам Васька прощался с собой. Он не мог знать, что солдат тоже прощается с собой. Или уже простился? Он еще смотрел на Ваську, но безнадежность, бессмысленность появились в его глазах.

Так бывает, когда все равно.

Однажды Васька видел такого человека. Он шел по платформе к стоящей электричке. Васька, оказавшийся у него на пути, увидел, какой безумный, устремленный в пустоту взгляд был у человека. Электричка тронулась.

Васька оглянулся, чтобы посмотреть, как тот будет садиться на ходу, а он почему-то не садился, а все шел и шел рядом с вагоном, а потом побежал. И вдруг сразу повалился под колесо. Хрустнуло, лопнуло, брызнуло, и у Васьки круги пошли перед глазами. Кто-то, наверное, закричал, а Васька онемело стоял, глядя на пустые без поезда рельсы, где лежали две половины человека, и ноги были странно вывернуты, изуродованы и залиты кровью...

Так Васька с тех пор и носил в памяти лицо и вытаращенный, безумный, глядящий в неведомое взгляд этого человека. Вдруг от солдата повеяло на Ваську холодом, ужасным гибельным чувством, похожим на давнюю смерть.

— Я пойду,— сказал он обреченно. Будто попросил солдата отпустить его. Тот не услышал его.— Я пойду, дяденька...

Какой-то всхлип у Васьки получился, а не голос.

— Иди, иди,— сказал машинально тот и сочувственно посмотрел вдруг на Ваську. Глаза у солдата подобрели, какая-то легкость появилась в них. Он поднялся сразу, без рук, подошел сам к Ваське. Почти весело подошел, так что Ваське стало страшно.— Иди, чего ты,— промолвил доверчиво солдат и провел рукой по Васькиным запаршивевшим волосам. От такого прикосновения по спине ток прошел. Что-то в груди у Васьки задрожало и оборвалось. Как перед ударом в затылок. А по коже все лихорадка, дрожь волнами переливалась.

Слишком ласково разговаривал солдат, чтобы это было по правде. Так обращались к Ваське, когда хотели бить. А били Ваську за воровство, как тесто взбивали кулаками, сильно и неторопливо, через кости, через их хруст, до нутра Васькиного добирались, и тогда наступала мертвая темнота, идущая как спасение.

За кошелек так били, а за украденный в школе глобус не били. И Васька с поразительной ясностью понял, еще когда за волосы волокли, еще в эту минуту светлую, что за свое бьют сильнее. За общественное сильнее судят. Но Васька был неподсуден, это он быстро понял и считал своей удачей. Он старался лазать туда, где были вывески.

Васька стоял под рукой солдата, обреченно стоял, может, он уже умер или все в нем умерло в ожидании, когдашибанут его по темечку и отобьют мгновенно память. Посыплется все и опадет. Васька и не боялся темноты, но боялся ожидания удара, а потом боялся бреда. Ког-



да ожил, но ничего не понимаешь вокруг, а только лежишь и плачешь, а почему лежишь и почему плачешь, не в силах уразуметь. За голову держишься, а она чужая, головка, не своя... А ты руками обхватил ее, чужую. И хоть глаза открыты и ты видишь, что люди вокруг, а ты у них под ногами валяешься, корчишься и все плачешь, плачешь. Не так плачешь, чтобы разжалобить, а для себя плачешь, о своей жизни... Один раз с Васькой было такое. Пьяный мужик, у которого он распорол мешок с картошкой на рынке, бил его по голове.

Солдат все гладил Ваську, а потом легонько толкнул: — Ну, иди, иди!

Васька тихо пошел прочь, костылял, будто не на ногах, а на палках. Не веря, что уходит, подвигался как во сне, дальше и дальше от несчастья своего. Медленно просвет выходил, и Васька спиной знал, что медленно, но уже рождалась в Васькиных шагах надежда. И вдруг солдат крикнул вдогонку. Васька аж присел и в штаны брызнул с испугу. Он ничего и не понял, что ему кричит солдат.

Но и солдат удивился своему крику. Откуда взялось, что он почувствовал в Ваське спасительную ниточку. Нет, не надежду что-то найти. А надежду надеяться и ждать. Может, Васькины слова о том, что кто-то знает, ничего и не значили, они точно ничего не значили. Но они были произнесены и сейчас дошли до сознания солдата. Он ухватился за них, потому что не было ничего другого. Он за Ваську поэтому ухватился, ведь их Васька произнес. Солдату вдруг показалось, что если Васька вернется, то он может ждать его. А ждать означало для него жить.

Вот и закричал солдат неожиданно:

— Ты... Подожди! Ты придешь? Ты в детдоме будешь?

Васька странно вывернул шею, не повернув туловища, и осклабился, голос потерял:

— Я спрошу... Если узнаю...

— Ты приходи!— крикнул солдат.— Я буду тебя ждать!

Сколько прозвучало в его голосе вдруг надежды! А вместе с надеждой и страха и тоски.

Тут и рванул Васька. Может, не он сам, а ноги его побежали, которых он не чувствовал. Эти ноги получили приказ бежать давно, а теперь понесли, да так неловко, вихляя и заплетаясь, что Васька с размаху ударился о торчащий сук и покарябал веко, побил переносицу. Но все равно продолжал бежать, пока не увидел свой детдом.

Силы оставили Ваську, он сел на землю и заплакал. С обидой заплакал, как будто его в самом деле избили. И даже затылок, даже волосы болели у Васьки от чужого прикосновения.

В глазах зарябило, то ли от боли, то ли от пережитого страха. Где-то долбила, прорезалась тоненькая мысль, что скорей надо Ваське спрятаться, исчезнуть, зарыться в подвальчик и пережить все наваждение, как вражескую бомбежку. Ведь надо же так вляпаться! Шел бы Васька по другой тропинке, их вон сколько, тысячи в лесу, и все бы сложилось хорошо в его жизни. Зачем надо было вообще идти в лес? Зачем он оглянулся на солдата? Мало ли солдат в лесу, чтобы на каждого оглядываться, около каждого стоять, разговаривать?

Но все произошло, и не в воле Васьки, как бы он сильно ни хотел, изменить этот день и эту встречу. Страшную вдвойне оттого, что солдат не бил его, рукой по волосам провел.

Болят Васькины волосы, до нутра прошибло прикосновение. Вот что ужасно. Когда бьют — привычно. Когда словами и руками ласкают — больней стократ. Васька даже охнул, вспомнил, почувствовал чужую руку. Страшная рука, которая гладит.

Волосы носили болезненное, дикое, неиспытанное ощущение чужой руки, и этого Васька не мог изменить. Было... Ужасно это было. Лучше бы память Ваське отшибло, чем так, рукой его. Последнее злодеяние — детдомовца гладить. Но от солдата можно сбежать, можно закопаться, а от себя? От своих лапанных волос куда уйдешь?

В панике зарыскал Васька, себя стал бояться. Сидел сам себе чужой и понимал, что все несчастья в жизни от его непостоянства. То он крадет, то стесняется, то врет — не покраснеет, а то и соврать не способен. Назвался по глупости детдомовским. Придет солдат и спросит: «Где тут детдом?» Да каждая собака этот детдом знает. Потому что он как осиное гнездо. Не клади за километр, что плохо лежит. Ворюги, известное дело. Васька Сморочок — ворюга, он все и украл...

Да был бы кто-нибудь, а то солдат, в котором и хитрости нет, одно простодушие. На простодушии и попался Васька-дурак. Не пытали, не трогали, еще и сапоги с часами предложили.

Как Васька в милиции защищается, любо-дорого самому вспомнить. Закатится слезами, норовит через мун-

дир старшину до нутра пронять. Жалостью его да тонкой нотой, а если надо, и небольшой истерикой с причитанием. «Дя-е-нька, отпусти, не виноват я, сиротой расту, брошенный на всю мою жизнь!» Вздохнет старшина, может, сынишку вспомнит, выпустит, а то еще червонец сунет неловко. Мол, бери да не воруй больше, а то плохо кончится. А ты ему: «Спасибо, дяденька, не буду воровать, я учиться пойду. Выучусь, пойду милиционером работать!» Тут он расчувствуется, скажет: «Ишь, шпингалет, соображает... Была бы семья, что-нибудь из него путное вышло. А все война, война...»

Посидел Васька, подумал и решил, что перво-наперво нужно ему от компаса избавиться. С компасом он жулик, а без компаса вполне честный человек. Зашел Васька в сарай, где кирпич пирамидкой лежал, оглянулся несколько раз, не следит ли кто. Вынул из серединки кирпичину, а за ней пустота оказалась: старая Васькина заначка. Ловким движением сунул туда компас, завернутый в лопух, и кирпичом заложил. Для гарантии помочился на это место, чтобы не лезли.

Из сарая Васька вышел не спеша, сильно сплюнул. Все было в этом плевке: чувство облегчения, отсутствие вины и вообще конец этой истории.

4

От Саратова, где формировалась часть, тащились до Москвы трое суток. Но уже сейчас, на подъезде, Андрею Долгушину, как другим солдатам, было ясно, что в столице они не задержатся. По Московской окружной дороге перебросят на северную, а может, и наоборот, на южную ветку, сейчас от севера до юга затяжные бои. Но солдаты, и не имея информации, склонялись к тому, что путь их ляжет в направлении Курска. «Солдатское радио», никем не уточненное и не подтвержденное, все-таки упорно указывало на юг... Так они предполагали, покуривая самокрутки из едкой махры и разглядывая длинное Подмоскovie, деревья, а то и целые рощицы, стоящие в воде, темные деревеньки вдоль дороги, где не было видно ни людей, ни скотины.

Но солдат предполагает, а командование располагает. Так сказал боец Воробьев, взводный балагур и философ. До войны работал он прорабом на строительстве в городе Бежицы. Хватка у него была, наверное, профессиональная, что касалось достать, выпросить, организовать. Та-

кие люди не пропадают нигде, да и другим с ними легче жить. Случись какое затруднение с жратвой, посылали Воробьева, а на подхват ему Гандзюка.

Коротышка Гандзюк, брюхо шире плеч, правый фланг замыкает, но насчет кормежки первой нет его. Еще разводящего, как именуют половник, не успели окунуть в варево, а он уже с котелком на изготовке...

— Гандзюк,— кричат ему,— будешь торопиться — обожжешься!

— Ничего,— отвечает, гипнотизируя глазами кухню.— У человека сто метров кишок, и все для того, чтобы, съев горячего, не ошпарить задницу.

Эшелон между тем замедлил ход и тащился едва-едва, а потом и вовсе встал. Дернулся раз, другой и замер навсегда. Поглядели — кругом другие эшелоны, где-то репродуктор говорит, наверное, станция.

Сказали: «Боец Воробьев, сходи на разведку. Отчего с утра не несут? Или повара проспали? Натрескались, поди, на ночь, теперь переваривают до Москвы или как? А солдатиков-то потрясло дорогой, им дровишки только подбрасывай!»

— Проси хоть кипятку, если нет покруче! Да узнай, сколько стоять?

— Я так думаю,— скоро говорил Гандзюк, вскидываясь идти вслед за Воробьевым.— На парад нас везут в Москву. А уж там от пуза кормят, это я точно знаю!

— Ты, Гандзюк, учти следующее,— обернулся к нему Воробьев.— На параде ногу вскидывать надо. Чем выше ногу, тем больше мяса — такой закон. За каждый сантиметр сто грамм набавляют. За пять — банка тушенки...

Посмеялись, и Андрей улыбнулся, вспомнились недавние учения во дворе старых, как говорят, еще екатерининских времен, серых казарм, от вокзала по левую руку. Сержант Потапенко, немолодой уже, лет тридцати, крупный мужчина, глаза навывкате, голос трубный: «Ногу! Ногу! — кричал свирепо.— Горох, а не шаг! Носок тяни, печатай ступней!» Весь световой день на плацу. С подъема, как труба под высокими сводами прогремит, и до серых сумерек топали. Сдваивали ряды, ходили кругом и с винтовкой наперевес. Гандзюк, как для парада, старался, драл ногу выше головы, при рапорте ел глазами начальство.

...Боевая винтовка образца тысяча восемьсот девяносто первого года дробь тридцатого, созданная замечательным тульским оружейником Сергеем Ивановичем Мосиным, состоит на вооружении всех родов войск Красной Ар-

мии. Поражает противника на ближнем и дальнем расстоянии. На дальнем расстоянии прицельным одиночным и групповым огнем, на ближнем — штыком и прикладом. Состоит из следующих основных частей...

Все уже наизусть знали — и винтовку, и гранату, как рыть окоп в полный рост, как скрываться от танка, когда он прет на тебя. О танках говорили особенно много, учили бросать связку гранат из укрытия, вплотную метать бутылки с зажигательной смесью.

Бывшие в боях красноармейцы, раненые или контуженные, рассказывали о встрече с танком, учили, сердясь, когда у новобранцев не выходило, показывали, как оно будет по-настоящему.

— Вишь, поползли из-за бугра, на тебя горой прут... Гремят, лягзают, стреляют, лежишь, думаешь — хана! Надвинулось чудовище с крестом, а ты лежишь... Лежишь. А потом на него: «Ах ты, сука, в мать, в Гитлера и в того, кто его породил,— урра! Бей фашистскую гадюку! Так ему! Эдак! Ура! Вперед! За Родину!»— и ожесточенно, с серым лицом, исказившим черты, с глазами, в которых отчаяние и слепое ненавистное чувство, вскидывались, готовые к броску... И тут только вспоминали, что на ученье, не в бою, растерянно оглядывались, со вздохом махнув рукой, приказывали повторить встречу с танком, молвив при этом:— Ты тут, а он где-то уже есть, вот и представь, что вы встретились. А встретитесь вы обязательно.

С тех пор как стали их водить на полигон, поняли, что время подошло, скоро отправят на фронт. Андрей, как и другие бойцы, ждал, мысленно торопил события. Фронт, какой бы поначалу страшный ни был, означал новый этап в жизни солдата. Попасть на передовую означало обрести до конца свое место в сегодняшних реальных событиях. А цель была единая, святая: бить, сколько хватит сил и жизни, ненавистного чужеземца, проклятого фашистского захватчика, уничтожать его до тех пор, пока он топчет родную землю! Это не были слова, таких бы слов не произнес Андрей сроду, это было самочувствие его. Оно определило надолго его судьбу.

В это время, как потом утверждали в мемуарах, наблюдалось на фронтах затишье, самое длительное за всю войну. Но обе стороны лихорадочно готовились к летней кампании, которая началась пятого июля величайшей Курской битвой.

События нашей повести развернулись, возможно и

случайно, именно в это время. И хоть бойцы понимали, что временное затишье на фронтах не может не кончиться ожесточенными сражениями, к которым их готовят, они — ни один из них — не могли бы сказать, куда протянется их дорога. Двадцать пятого апреля сорок третьего года их подняли по тревоге в четыре часа утра. Выстроили на плацу в холодный рассветный час, зачитали приказ и повели к станции.

С Волги, вдоль проспекта Ленина, дул пронзительный ветер, подгонял их в спину. Но они и так шли ходко, молча, не глядя по сторонам. Единый шаркающий звук сапог нарушал тишину пустынной улицы. Старший сержант Потапенко шагал не как на учениях, сбоку, а впереди строя, никаких команд он не подавал.

С этого мгновения вообще все было по-другому — и мысли, и внешнее проявление чувств. Долгое ожидание в Андрее Долгушине, как и в других, теперь сменилось чувством напряженного нетерпения, а может быть, и некоторого страха. Не перед фронтом страха и не перед врагом. К мысли о встрече с жестоким врагом их приучили, и они сами жаждали такой встречи. Но каждый еще знал, что наступит первый бой и каждый станет тем, кто он есть на самом деле. А кто он есть? Он, Андрей Долгушин?

Воробьев с Гандзюком успели вернуться, они сообщили главную новость: эшелон встал на неопределенное время, возможно, будут добавлять новобранцев. Их в каких-то Петушках формируют. Пока доставят, распределят, время... Одним словом, велели ждать.

— Ждать можно, если на сытый желудок, — резюмировали бойцы.

— Сейчас накормят, по-настоящему, — суетился Гандзюк. — У них тут, хлопцы, стационарная кухня, я бы ее по запаху, по одному бы дыму нашел. Но дальше эшелона не пускают.

— А как зовется станция? Где остановились?

— В маленьком городе Н, как поется в песенке, — отвечал Воробьев, будто по секрету. Он добавил: — А на вокзале написано: «Люберцы».

— Тю! Это же Москва, — протянул кто-то. — Здесь, говорят, электрички ходят.

— Электричек не видели, — отвечал Воробьев, — а девушки ходили, своими глазами наблюдал.

Андрей не слышал разговора, но при слове «Люберцы» вздрогнул. Он понимал, что эшелон не минет род-

ного его городка, надеялся тайно, что может выйти минутная остановка.

Теперь они стояли, а он от растерянности не знал, что надо сделать. Сунулся к двери, но ничего не увидел. С обеих сторон эшелоны, грязно-кирпичного цвета вагоны, теплушки, едкий дым из многих труб.

Вскоре соседний эшелон ушел, и взору открылась знакомая с детства картина: широкое поле, темное, кочковатое, в самом конце его паутина радиомачт и старое люберецкое кладбище, припавшее к полотну дороги. Городок и станция были с другой стороны.

Две девчушки в ватниках, сапогах и зимних ушанках выскочили из-под вагона, спрямляя путь по шпалам. Сначала их приняли за парней-подростков, да и немудрено ошибиться. Но Воробьев первый понял, что к чему, и, вываливаясь в дверную щель по пояс, крикнул:

— Эй, красавицы! Что за странная деревня — хлеба не на что купить!

Та, что была пониже, круглолицая, чернявая, оглянулась и охоткой произнесла:

— Город, дяденька! А вас откуда везут?

— Отсюда не видать, — отвечал Воробьев, оскаливаясь. — Построили нас, говорят, надо помочь люберецким, а то они без нас не управятся с делами...

— Ваши дела не тут! — выкрикнула девушка, а другая, что покрупнее и, возможно, постарше, потянула ее за руку. Мол, нашла время беседы разводить. Но младшая еще добавила: — Вы бы там помогли! — И указала рукой в пространство, предполагая, конечно, фронт.

— Для того и едем! — орал Воробьев вслед. — Вы-то где живете?

Девушка повернулась и махнула рукой:

— Мы, дяденька, из поселка Некрасовка... Поля фильтрации, слышали?

— Как же! Как же! — перевешиваясь, едва не выпадая, кричал Воробьев. — Значит, приглашаете?

— Мы не жадные, приходите. У нас танцы в клубе...

— Придем! — завопил вдогонку Воробьев, улыбаясь и показывая зубы.

Старшая снова дернула за руку, и девчонки побежали, перепрыгивая через рельсы, лет им было не более шестнадцати. Вот, хоть и война, а у них свои небось девичьи дела и свое молодое счастье в отпущенный короткий срок. Андрей, как и остальные, смотрел на них и неожиданно для себя подумал о том, что мог бы, не случись

войны, оказаться в некрасовском клубе, желтом и длинном, встретить эту круглолицую, а может быть, и познакомиться с ней. А сейчас выходило по-иному. Где-то, как чужие, оставались его Люберцы, с одноэтажным домиком, в котором он жил, с улицами, прудом, городским садом, кинотеатром, школой, все свое, родное, а он проскакивал мимо, уезжая неведомо куда. А если он не вернется?

Сожаления не было, он, настроенный к предстоящему и скорому фронту, не готовился и не думал, что сможет увидеть свой город, дом. Но странное чувство недоумения, жалости, растерянности оставалось. Именно потому они и были, что эшелон волей случая не проскочил мимо, а стоял здесь. Небось стоял час, сколько еще простоят?

Дело же, видимо, затягивалось, наступил вечер и ночь, а потом утро. Никаких команд дано не было. Дважды кормили их щами и пшенной кашей, уже некоторые успели сбегать на станцию, посмотреть и купить семечек. Но никто ничего не знал. Пожалуй, один Гандзюк, неутомимый, как радио, продолжал утверждать, что привезли их на парад. Андрей не пошел на станцию, чтоб понапрасну не расстраиваться. Решил для себя, что лучше для него ничего не увидеть, а так и проехать, промахнуть мимо — как не родное. Легче будет оно, спокойнее потом. Решить-то он решил, а сердце тихо прибаливало, щемило.

К обеду следующего дня велели взводу построиться у вагона. Старший сержант Потапенко подал команду: «Смирно! Равнение на середине!» — и доложил лейтенанту Сергееву о наличном составе.

Лейтенант Сергеев ехал в командирском вагоне. Он был молод, едва ли не старше своих красноармейцев, и по молодости улыбчив и добродушен. Он велел стоять вольно. Прошелся вдоль строя и сказал:

— Вот, товарищи, мы прибыли в столицу нашей родины. Находимся мы в пригороде Москвы, но, как вы успели заметить, здесь ходят электрички. Наверное, многие не видели города, хотели бы побывать на Красной площади, около Мавзолея Ленина...

— Так точно! Интересно посмотреть! — подал голос Гандзюк, но Потапенко строго взглянул на него и произнес:

— Разговорчики в строю!

— Да ладно, — отмахнулся лейтенант Сергеев и добавил: — В ожидании дальнейших действий и приказов

нам разрешено съездить в Москву. Разумеется, в организованном порядке. Какие будут вопросы?

И Потапенко спросил вслед за ним:

— Какие будут вопросы?— но именно с такой интонацией: вопросов быть не могло.

Андрей Долгушин подал голос:

— Есть вопрос, товарищ лейтенант. А кто не захочет ехать?

— Как так?— сказал, поворачиваясь, Потапенко. И лейтенант удивился:

— Почему? Вы уже здесь были?

— Я здесь родился,— ответил Долгушин.

— Вот и прекрасно! Вам повезло побывать в своем городе. Я бы вот тоже, перед фронтом мечтал, но... Не судьба, как говорят.

— Мой город — Люберцы,— произнес Долгушин почти виновато. Старший сержант прямо-таки ел его глазами.— Я жил здесь, совсем недалеко.

— Понятно,— произнес лейтенант.— Потом подойдете ко мне. Разойдись!

— Разойдись!— крикнул следом Потапенко и почти без паузы приказал красноармейцу Долгушину подойти к нему.

Но Андрея умело прикрыл Воробьев, который, четко откозыряв, как любил Потапенко, спросил:

— Разрешите обратиться, товарищ старший сержант?

— Ну, давай, давай,— сказал тот.— Чего там сочинил?

— У меня тут родственник, товарищ старший сержант. Проживает в поселке Некрасовка в системе люберецких полей орошения. Орошает, так сказать. Разрешите по этому вопросу обратиться к командиру взвода?

— Не разрешаю,— ответил Потапенко.— Съездим в Москву, там видно будет.

— Слушаюсь — ехать в Москву,— произнес Воробьев.

— Красноармейцу Долгушину тоже передайте мой совет ехать на экскурсию, а не заниматься фантазией.

— Так точно!— подтвердил Воробьев.— Совет начальника — закон для подчиненных!

— Вот и идите,— сказал старший сержант.

— Слушаюсь!— отвечал Воробьев. Все-то выходило у него ловко, быстро. Смотрел в глаза, заученно произносил привычные слова, и только в лице где-то, в губах, во взгляде, таилась вовсе неприметная ухмылка, к которой придаться было никак невозможно.

Стоял теплый день. Около насыпи в луже купались воробьи. В поле за кладбищем сжигали прошлогоднюю траву, и запах дыма доносило до станции. В этот апрельский полдень он казался мирным, почти родным.

Долгушин оглянулся на вагон, откуда смотрели ему вслед друзья, а Воробьев кричал:

— Помни солдатскую геометрию: всякая кривая короче прямой, проходящей мимо начальства!

— Стой!— крикнул маленький Гандзюк и, пошарив по карманам, извлек пачку папирос, наверное, самую большую свою драгоценность. Поглядел на нее и швырнул Андрею.— Держи! Пригодится!— И почти вслед:— В штабе когда будешь, закуришь, вот когда пакет передашь. Мол, мы тоже не лыком шиты, а «Беломор» потягиваем!

— Ладно!— отмахнулся Андрей, но папиросы спрятал и при этом еще раз пощупал, на месте ли и хорошо ли схоронен на груди пакет для штаба. Никогда не держал он ценных бумаг в конверте, жестко шелестящем под рукой. Сдать по форме, расписаться и получить отметку о сдаче. При этом помня, что при оружии и, значит, такая штука, как сопровождение пакета, не мелочь, а факт значительный. Может, от него зависит путь и направление всего эшелона?

С вещмешком и винтовкой Андрей стоял посреди путей, и сердце его громко колотилось. Он постарался улыбнуться, но махнул рукой и пошел, будто вообще ходил первый раз, до того неуклюжи, робки были его шаги.

Вот и деревянная платформа, и деревянный мост, а за мостом рыночная площадь с одноэтажной, тоже деревянной кассой пригородного сообщения и еще всякими торговыми точками. Все это Андрей фиксировал мимолетно, как во сне, а в голове его, как апрельский ветер, пронеслись легкие мысли: «Мой город! Ведь мой город, который я помню весь до последней дырки в заборе и в то же время отвык и забыл. Потому что казался он недостижимым, и вдруг я здесь...»

Вроде бы Андрей Долгушин сам по себе, со своей скаткой и со своим оружием, со старшим сержантом Потапенко, со своим поездом, со своим фронтом... А город лежал за пределами этого, даже за пределами войны. Был он, как в мирное время, в золотом солнце, веселый

и праздничный, как из нестареющей сказки детства. И не нашлось бы фантазии представить его другим.

Теперь это был другой город, как бы двойник того, который Андрей знал. Он повторял внешними чертами свой довоенный облик, но категорически отличался от самого себя, в чем именно, сразу понять Андрей не смог. Он оглядывался, схватывая внешние перемены, внезапно озадачиваясь и теряясь.

Исчезли деревянные заборы, ограждения, даже скромный штакетник вдоль тротуара, ромбовидный, крашенный всегда зеленым. Пропали деревца, их спилили на дрова. Зато вся полезная земля была перекопана под картошку. Грядки были повсюду — посреди города, вдоль насыпи железной дороги, в бывших садиках и скверах.

Невероятно разросся рынок: черная кровь города. Он занял прилегающие улицы, даже ту пристанционную площадь, где сейчас стоял Андрей. Оттого, может быть, несколько раз глянули на него искоса: чем он тут барышничает? Потом подкатились прямо: «Что есть, солдат? Хлеб, тушенка? Сапоги? Нательное белье? Сукно шинельное? Махорка?»

Андрей повернулся и пошел в сторону, противоположную рынку, срезая наискось площадь и выходя на просторную Смирновскую улицу, которую он помнил и любил из-за магазина «Три поросенка». Тогда, в довоенное время, украсили витрины, непривычно большие, стеклянные, тремя поросятами, держащими на подносах вкусную снедь. А маленькие ребятишки, тот же Андрей, всегда останавливаясь, глядели на поросят и, показывая пальцами, кричали: «Три поросенка! Три поросенка!» Так магазин и прозвали, люди говорили: «Вы где покупали колбасу? В «Трех поросенках?»»

Стеклянных витрин не оказалось, все глухо забито досками. Но сам магазин работал, и Андрей с удивлением услышал, как пожилая женщина произнесла: «В «Трех поросенках» крупу отоваривают». А тут же, за перекрестком, штаб, куда, собственно, Андрей и направлялся. Пробыл он тут недолго. Сдал пакет и заторопился домой.

Со Смирновской Андрей повернул налево, мимо пожарной команды и большой каменной школы, выстроенной почти перед войной, он прошел к кинотеатру, возвышавшемуся в глубине двора и круглым фасадом напоминавшему некую крепость.

Это был его, Андреев, кинотеатр, тут были просмотрены все прекрасные фильмы детства, эти фильмы, спро-

си про них, он помнил наизусть. За кинотеатром простирался также его, Андреев, городской парк, почему-то называемый «глазовским». И прудик мелкий за садом, а дальше одноэтажные панковские домики, и с левой стороны — двенадцатый по счету — родной дом Андрея.

Ему стало вдруг душно от волнения. Он сел на камень, расстегнул воротничок, сдавивший шею. Винтовку он поставил рядом, прислонив к камню, но так, чтобы чувствовать ногой. Но все равно не мог успокоиться, сердце колотилось как шальное.

Тетка Поля бы сказала: «Весенние штучки». Когда по весне начинается сердцебиение, когда кружится голова, тетка любила повторять: «Весенние штучки». После смерти матери Андрей воспитывался у тетки, отца он не помнил. Знал только, что был его отец летчиком и разбился на самолете в тридцать втором году. В доме у них висела фотография, где был снят отец, молодой еще парень, в кожаной куртке, в шлеме с поднятыми летными очками.

Как из-под земли вынырнул патруль. Андрей вскочил, подхватив рукой винтовку, другой в это время пытался застегнуть пуговицу на гимнастерке. Из-за этого промедлил с приветствием. Лейтенант с солдатом быстро подошли и потребовали документы. Лейтенант тщательно и, как показалось Андрею, подозрительно изучал бумажку, в то время как солдат, рыжеволосый, конопатый, с веселой острой мордочкой, спросил негромко:

— Табачком не отоваришь?

Андрей молча вытащил пачку «Беломора», так щедро отданную Гандзюком.

Рыжий уважительно, двумя пальцами, взял папиросу, достал самодельную зажигалку в виде снарядика и с первого же движения зажег пламя. Андрей закуривать не стал, он и не курил в общем. Папиросы нужны были на случай встречи с кем-нибудь из дружков, так, для шика.

Между тем лейтенант, сухонький, неопределенного возраста, похожий скорее на бухгалтера, чем на военного, так и эдак вертел документ, глядя то на него, то на Андрея. Вдруг спросил:

— Из эшелона, значит?

— Прямо из эшелона? Вот здорово-то! — следом повторил рыжий и сильно задохнулся дымом.

Почему здорово, Андрей не понял, но кивнул.

— Кто посылал? — спросил лейтенант, и Андрею по-

казалось, что он может сейчас забрать документы, и все на этом кончится.

— Комбат,— отвечал Андрей.

Действительно, с лейтенантом Сергеевым сходили в командирский вагон и лейтенант просил у комбата за Андрея Долгушина, объясняя, что солдат из этого города и рядом его дом, в то время как они простоят неизвестно сколько.

Комбат был человек в годах, с редкой сединой. Он постоянно откашливался, закрываясь ладонью. Говорили, что он поморозил легкие в белофинскую кампанию. Спросил хрипловато:

— А город ты знаешь?

Как же Андрею не знать своего города! Здесь родился, бегал по улицам, ходил в кино и на пруд, здесь пошел учиться. Не в ту красивую большую каменную школу, что была, кстати, рядом с домом, а почему-то в другую, двухэтажную, деревянную, на другом конце города. Не просто знал, город был как неписаная биография Андрея, каждый кирпичик, камешек еще хранил его следы. Но об этом ли разговор! Спрошено ведь так, почти попутно.

Андрей и лейтенант Сергеев ждали. Не было в них никакой уверенности, даже малой надежды на успех в разговоре. Но все спокойнее на душе, если было спрошено, получен отказ — и надеяться не на что.

Но комбат Егоренко не торопился отказывать. Спросил про город и задумался. Старый кадровый военный, переживший в тридцатые годы много тревог и переездов с семьей, с малыми детьми порой от границы до границы, через весь Союз, порой и мимо родных уральских мест (он был родом из Миасса), он не мог не понимать, что чувствует молодой солдат, проезжая на фронт мимо дома. Может быть, последний раз проезжая. А солдат, хоть не скажет ничего, затаит в себе дальнюю неисполненную мечту и через всю войну будет тащить, как ненужный груз, как моральную обузу, как недобрый знак судьбы. Но кто сказал, что неисполнимо? Вот посыльного нужно в здешний штаб по поводу ускорения формирования. Часть-то неполная, и в Саратове было решено, что дополнят его новобранцы, которых в течение нескольких суток доставят из Петушков к эшелону. Доставить-то доставят, но вот они тут, а новобранцы прибудут только послезавтра, да их надо принять, разделить поротно, повзводно, поставить на довольствие. Обмундировать, вооружить. Это еще сутки.

Вроде бы все это не имело прямого отношения к Андрею, к его просьбе. Но и имело. Комбат Егоренко знал, что имело. А через несколько дней, когда тронется эшелон дальше, прямым ходом на фронт, поймет это и солдат, который сейчас перед ним. Если и не скажет, то подумает уж обязательно: вот, несколько дней рядышком с домом, а часа не хватило, чт бы навестить. Было, было так однажды с майором, тогда он не был еще майором, а они проезжали Миасс и застряли на вторых путях. Не пара километров, как тут, но тоже рядом, и мать-старуха еще жива была. А он стоял на шпалах, курил, глядел вдаль, но не рискнул попроситься. Теперь поздно жалеть. Но мать он так и не увидел больше. И много раз вспоминал это, как стоял в нерешительности на шпалах, курил и все не мог пойти попроситься. Сейчас-то решился бы. Как этот солдат...

Майор Егоренко коротко посмотрел на него. Он уже знал, что скажет.

— Штаб известно где?

— Так точно, товарищ майор,— не сразу среагировал Андрей, уж очень обнадеживающе это прозвучало. И лейтенант Сергеев понял так и повеселел.

— Доставишь срочный пакет,— сказал майор обычным тоном, хотя по смыслу ни больше ни меньше повествовал он о вещах почти фантастических, таких, как встреча с родным домом.— Отнесешь пакет и можешь задержаться.— Он прикинул еще:— До следующего дня. До восемнадцати ноль-ноль. Достаточно?

— Конечно, товарищ майор!

— Все. Можете быть свободны.

И, глядя вслед солдату, не без легкой зависти подумал опять о своем доме, к которому вела такая дальняя теперь дорога.

Въедливый бухгалтер-лейтенант из патруля, как окрестил его про себя Андрей, документы не торопился возвращать, а все выпрашивал, чего-то добивался. Спросил, где пакет, когда снес и сделал ли отметку.

— Так точно, сдал, на обратной стороне отмечено,— отвечал Андрей, глядя на короткую щеточку усов, ужасно невоенную, на лице лейтенанта.— При оружии, как положено.

Тут и рыжий солдат кивнул одобрительно. Мол, так положено. И, обращаясь почему-то к нему, может, как более понимающему, Андрей добавил, что ему после пакета разрешено было зайти домой и пробыть там до сле-

дующего дня. До восемнадцати ноль-ноль. Это почти сутки. Сегодня полдня, да ночь, да завтра время... Это же столько, если подумать!

— Где будете проводить время, красноармеец... красноармеец Долгушин? — спросил вдруг лейтенант.

— Дома, — отвечал Андрей. — Я здесь недалеко живу. — И указал рукой в сторону Панков. Лейтенант посмотрел в указанном направлении, будто хотел проверить, там или не там находится дом Андрея. Вернул документ, добавил с угрозой:

— Запомните: не пить, по улицам не болтаться. Оружие... никому не доверять, держать при себе.

— Слушаюсь, — сказал Андрей.

— Отставание от части рассматривается как дезертирство.

— Так точно, — кивал Андрей.

Лейтенант еще раз осмотрел Андрея с ног до головы, будто искал, к чему бы еще прицепиться. Но козырнул и отошел. Рыжий солдатик попросил на дорожку папиросочку. Андрей протянул ему пачку:

— Возьми. Я, знаешь... бросил...

Тот удивился, но пачку взял. И косолапя побежал за своим командиром. Андрей посмотрел вслед. Только когда они скрылись, облегченно подумал: «Пронесло». Он повернулся, сделал несколько шагов в сторону дома, все ускоряя их, и вдруг побежал. Испугался, что кто-то сможет еще помешать ему дойти эти несколько шагов до дому.

6

Когда Андрей проходил по городу, ему казалось, что он обязательно встретит кого-нибудь из знакомых, из приятелей. Городок-то маленький, как можно не встретить.

Но попадались незнакомые, чужие лица. Отрешенность, вот что было в них.

Прошла мимо старушка, озабоченная отовариванием. Она держала в руках продуктовые карточки, что-то про себя подсчитывала. Инвалид на костылях вел на веревке козу. Два парня много моложе Андрея, в ватниках и сапогах, прошагали, оставив за собой запах машинного горелого масла. Проскочил солдат, попалось несколько женщин с лопатами, тоже в сапогах и телогрейках.

Впервые Андрей подумал: «Война пошуровала здесь».

Кто в тылу, или на трудаботах, или на фронте, как он сам... Остались вовсе не пригодные для фронта старики, инвалиды, подростки. Но и они воевали здесь по-своему: отработывали смены на заводе Ухтомского, ковали общую победу над врагом.

Если прикинуть, война шла целую вечность. И хоть каждый, от самого маленького человечка, знал, что победа будет за нами, но не мог не осознавать, что и до победы оставалась такая же вечность. Никому не известно, кто сможет все перенести и выжить. Не знал этого и Андрей, вдруг необычным образом посреди войны, посреди двух вечностей вставший перед своим родным домом.

Дом показался немного чужим, при всех своих родных подробностях. Он как-то оголился, исчезли заборчик и кусты акации, прикрывавшие дряхлый фасад. Не было перилец у входа, видать, и они пошли на дрова. Эти перильца Андрей хорошо помнил: буровато-желтые, вылизанные дождем, отглаженные многими руками, они были крепкими, как слонобая кость. Андрей на них съезжал на животе.

Дверь в сенцы показалась ниже, хоть она была та самая дверь, а не другая, с железной щеколдой и пустой дыркой от бывшего когда-то, еще до Андреевой памяти, внутреннего замка. Он с силой толкнул эту дверь, и щеколда отозвалась стуком, а дверь из-за своей косости проскребла по полу, как по сердцу Андрея. Старый родной звук, он забыл о нем.

Теперь он встал перед другой дверью, обитой грубой мешковиной, с ленточками клеенки крест-накрест. С ходу дернул он за ручку, ему показалось, что закрыто изнутри. Тогда Андрей снял с себя винтовку и вещмешок, сложил у стенки на полу, рядом с ведрами воды. Поправил шинель, pilotку и после этого постучал. Сперва тихонько, а потом кулаком забарабанил изо всех сил.

Никто не открывал ему.

Ударив напоследок ладонью с какой-то отчаянностью, он повернулся и вышел на крыльцо. Постоял в растерянности и сел, не находя в себе никаких мыслей. Он мог предполагать и думать разное, когда он торопился сюда, но одно он не представлял и не держал в голове: что дом будет закрытым.

Он сидел и думал, что жалко, он не увидел тетку Полю. Сколько Андрей помнил себя, тетка не имела своей семьи, а всегда жила у них, занимая маленькую комнату возле кухни.

Когда умерла мать Андрея, тетка поплакалась соседям на неустроенную свою жизнь и отвела его на другой конец Люберец в ремесленное училище. И хоть пришли они с опозданием, осенью, но Андрея приняли, и он покинул свой дом без сожаления... К тетке он был равнодушен. Кормили их не жирно, а тетка работала невдалеке на заводской фабрике-кухне, но Андрей ни разу не воспользовался случаем, чтобы зайти и бесплатно пообедать.

Это было давно, очень давно, до войны. Все изменилось с тех пор. Изменился и сам Андрей, повзрослел, стал мягче. Война хоть и была жестокая, но учила людей доброте. Андрей знал, что ему очень хотелось посидеть с теткой за чашкой чая, расспросить об отце и особенно о матери, которую он начал забывать.

Именно сейчас, на пороге дома, со всей очевидностью он понял так ясно, яснее некуда: что жила тетка, и только поэтому уже было хорошо. Родная кровь, другой не сыскать на целом свете.

Пустой дом не казался своим домом, он был как реликвия, как фотография прошлого. Вроде музея детства.

Андрей поднялся, заглянул в окошко. В полумраке помещения трудно что-нибудь разобрать. Стекла были грязные, а между рамами лежала пожелтевшая вата, наверное, она лежала с довоенной поры.

Андрей вдруг вздрогнул: прямо у его лица за стеклом пробежала большая мышь. Хоть он не мог чувствовать, но показалось, что в нос шибануло тошнотворным мышиным запахом.

За его спиной кашлянули. Он обернулся, так, машинально, на дорожке стояла старая женщина в валенках и шубе, придерживая воротник рукой.

— Вы кого-то ищете? — спросила она простуженным голосом, срывающимся на шепот.

Андрей, не поворачиваясь, сказал:

— Нет, не ищу. Я домой пришел.

Это прозвучало странно. Но он сказал именно так: «Я домой пришел».

Женщина продолжала смотреть на него, не двигаясь и не мигая. Андрею стало не по себе от ее неподвижного, неживого взгляда. Заметила ли она что-то в его лице или просто пришла в себя, но ровно произнесла:

— Значит, вы Андрей? Как же я вас не узнала? Но вы выросли... Ну, конечно, вы были мальчиком, а стали мужчиной.

Женщина не удивлялась, она просто вспоминала вслух. Ей, наверное, было безразлично, что он-то ее не помнил. Впрочем, она сказала:

— Вы меня забыли, и немудрено. Столько лет... И столько лет войны. Но я вас помню и маму вашу помню. Меня зовут Марина Алексеевна. Дети меня называли тетя Маня.

Теперь, когда она произнесла это, в памяти Андрея прорезался образ женщины, молодой, быстрой, смешливой, которая приходила к матери, что-то колдовала с ней на швейной машинке. Иногда мать разрешала Андрею вертеть ручку.

Андрей вспомнил, что у этой женщины была девочка Оля, крохотное существо с кружевным воротничком и голубым бантом. Однажды Олю привели в гости, и все шутили, называя их женихом с невестой. Андрей тогда изо всех сил невзлюбил девочку.

Вот что он сейчас вспомнил, удивляясь своей памяти. Никогда он об этом не думал и не догадывался, что это возможно. Война, как ударом ножа, поделила воспоминания на те, что были существенны для дальнейшей жизни, которые помогали жить, и на те, что ничего уже не значили, как бы ни казались прежде велики.

Женщина все понимала, как Андрей. Она произнесла:

— Да, война, война. Многое переменялось. Но ведь ваши здесь не живут, вы не знали? Пелагея Сергеевна эвакуировалась на Урал... Или за Урал, я уж точно не помню. Она уехала вместе с заводом.

— Уехала,— сказал Андрей и замолчал. О чем же теперь говорить, если эта тетя Маня одним махом отняла отдаленную надежду на встречу с теткой в родном доме.

Без интонаций, без интереса он спросил, кто же сейчас живет в их доме. Ведь кто-то живет?

— Конечно,— отозвалась женщина.— У вас поселили начальника гаража, он сам из Литвы. Но вещи ваши стоят, хоть, правда, я давно не была... Но, думаю, что вещи целы, они вам принадлежат.

Андрей стоял молча, и тетя Маня повторила:

— Я говорю, что сейчас многих вселяют в чужие дома, а потом возвращать будут. Вы-то, простите, надолго?

— Не знаю,— произнес Андрей. Сейчас он действительно ничего уже не знал. Он добавил:— Да нет, ненадолго. Проездом.

Тетя Маня кивнула, хоть ничего, наверное, не поняла.

— Можете зайти ко мне, я через два дома живу. Оленьку мою помните?

— Да,— сказал Андрей.

— На фронте. Как все. А у меня снимают площадь военные, муж с женой. Заходите, Андрюша.

Последнее: «Заходите, Андрюша» — она произнесла будто жалея его. Повернулась и тихо пошла, с хрустом приминая старую траву своими валенками. Андрей остался стоять. Полез в карман за папиросами, но вспомнил, что отдал их рыжему солдату, и пожалел. Не мешало бы сейчас закурить.

Он прислонился к стене дома. Чужого теперь дома. Бездумно глядел перед собой, чувствуя только пустоту и холод. Медленно дошел он до крыльца, чужого крыльца, взошел по чужим ступенькам и вошел в чужие сенцы. Взял мешок и оружие и так, держа их в обеих руках, пошел прочь по обочине Рязанского шоссе. Шел, все ускоряя шаг, будто боялся, что его могут окликнуть и спросить, а кто он такой и что он делал в этом доме.

7

Андрей возвращался в часть. Теперь он не только понимал, а болезненно чувствовал, что его родной город изменился. Не просто изменился, он стал похожим на все другие города, как похож на солдата солдат. Военный быт, недавняя близость фронта, ощущение пережитой опасности — все это наложило на облик города свой суровый отпечаток. Но изменились и люди, их лица, их походка. Не было просто гуляющих, торопились на смену, со смены, в магазин или по служебным делам.

Многие встречные тащили в руках или под мышкой дровину, доску или прямо в авоське кусок торфа.

Счастье, что кончилась очередная военная зима и можно вздохнуть свободнее. Но еще холодны апрельские ночи, и нужно подтапливать печку, готовить пищу, да и оставалась забота о будущей зиме. Она хоть и была за горами и до нее еще требовалось дожить, но по возможности сейчас надо было запастись, собирать по крохам будущее тепло. Холод съедал все живое в человеке, сковывал его душу. Огонь же приносил облегчение, надежду. А как без надежды возможно жить и приближать победу над проклятым врагом?

Андрей подходил к станции, посмотрел на часы. У него

были ручные часы, толстые и большие, марки Кировского завода. Ему вручили их как драгоценную награду при выпуске из ремесленного училища. Он был лучший ученик.

Это произошло незадолго до начала войны.

Андрей понял, что не использовал и трех часов из отпущенных ему двадцати четырех. Он уже мог видеть свой эшелон, солдат, сидящих перед вагонами. Живо представил лейтенанта Сергеева, сочувственные лица дружков и старшего сержанта Потапенко, который будет рад его возвращению больше остальных, готовый принять Андрея в свои железные объятия. Но не сержантской хватки боялся Андрей Долгушин. Боялся он расспросов, которые неминуемо будут, а еще больше не хотел сочувствия.

В нерешительности стоял он посреди полотна железной дороги. Неизвестно, сколько бы он колебался, но вдруг засвистела электричка, и он отпрянул назад. С визгом, грохоча колесами, пронеслись мимо Андрея вагоны, подняв кругом пыль. Он не испугался этого неожиданного, неведь откуда взявшегося поезда, а испугался другого: что едва-едва не вернулся обратно. Война есть война, от нее ничего не ждешь приятного. Завтра их отправят дальше. И будет он казнить себя за эти неиспользованные двадцать часов гражданской жизни на родине, которые подарила ему судьба. Что скажут другие — ладно, сам себе будешь говорить: «Вот, Андрей, дурище, был у себя, и ничего не узнал, и ничего не смог увидеть».

Андрей сел на камень и стал переобуваться, уже понимая, как он будет действовать дальше. Он снял сапоги, перемотал портянки, хотел шинель завернуть в скатку, но передумал. Время клонилось к вечеру. Забросил за спину мешок, винтовку повесил так, чтобы было удобно. Теперь он направился в сторону поселка Калинина.

Снова миновал рынок, без любопытства заглянул, чем тут люди промышляют. Какие-то тряпки, консервы, часы, зажигалки. Вынырнул из толпы почти перед баней, которую хорошо помнил. Сюда он ходил с матерью еще маленьким, в женское отделение, а мать таскала с собой тазик с бельем.

От бани Андрей свернул налево и мимо родильного дома (как говорили, тут он родился), мимо банка на углу, пересек центральный Октябрьский проспект и обогнул здание горсовета, высокое, приметное в городе здание с колоннами и красным флагом наверху. Андрей никогда не бывал внутри, но гордился, что в их городе такой красивый горсовет. А за горсоветом уже видать училище,

белый многоэтажный дом, сложенный из силикатного кирпича.

Здесь, в ремесленном, в родной ремеслухе, освоил он профессию токаря. Здесь жил целых два года. Практиковались они на заводе Ухтомского, в баню и в кино их водили строем по центральной улице. И когда они проходили в своих шинелях и форменных фуражках с блестящими буквами «РУ», ребятишки вслед кричали: «Рубли! Рубли!»

Что ж, на втором году они зарабатывали первые трудовые свои рубли. Гордились и на это подпитывались, добавляя свой пай к небогатой столовской пище.

Теперь Андрей стоял перед дверью с плакатом наверху: «Мы куем победу над врагом!» Он вдруг решил не заходить, испугавшись, что и тут все переменялось, придется снова переживать знакомое чувство отчуждения и пустоты.

Медленно прошел вдоль окон, опытным ухом уловив ребячьи голоса. У того вон углового окна стояла его койка. Первое время после выпуска, когда жил в заводском общежитии, он часто приходил сюда, никак не мог отвыкнуть от своего училища.

Андрей вздохнул и пошел по направлению к поселку Калинина, где пробыл недолго. Через час он сидел в домике тети Мани, в теплой уютной комнате, с железной печуркой в углу. От этой печурки под потолок тянулась длинная труба.

Тетя Маня обрывком бумаги ловко разожгла в печке огонь, и в трубе загудело, заиграли блики на полу, а печка и нижняя часть трубы стали быстро накаляться. Тетя Маня поставила на горячее железо огромный зеленый эмалированный чайник и ушла в прихожую за картошкой. Андрей смотрел на чайник, на люстру со стеклянными трубочками, свисающими как сосульки, на толстый комод с зеркалом и двумя вазочками по краям и вспоминал, что это все он когда-то видел или знал. Это были вещи из его довоенных воспоминаний, из почти забытой жизни. Как приятно их встретить! Пожалуй, только железная печка была точной приметой военного времени.

Тетя Маня вернулась с картошкой, объясняя на ходу, что прошлой осенью она накопила целых три мешка, но сейчас все кончилось и осталось немного на посадку. Но тут по радио говорили, что сажать, оказывается, можно не целыми клубнями, а срезками, или глазками, остальное же употреблять в пищу.

— Ко времени объяснили,— произнесла тетя Маня с улыбкой.— Я уж на жареную воду перешла.

— На что?— спросил Андрей.

— Жареную воду, я так чай называю.

Тетя Маня сидела перед печкой, но все равно мерзла и куталась в черный большой платок. Было видно, как она худа.

Тут Андрей вспомнил про свой запас, полез в мешок и поставил на стол тушенку, хлеб и сахар. Все, что у него было. Но тетя Маня сразу замахала руками, требуя, чтобы он забрал обратно, и немедленно, иначе она рассердится. Она и вправду сердилась, а Андрей уже не знал, как удобнее теперь забрать, потому что и забирать тоже было неудобно.

— Останется, я возьму,— произнес он стесненно.

Тетя Маня пристыдила его:

— Нельзя, молодой человек, ходить в гости со своими продуктами. Я понимаю, сейчас война, многие так поступают. Но в нашем доме этого не водится. Как бы скудно мы ни жили, но мы ставим на стол то, что у нас есть. А эти штуки... чтобы с глаз долой.

— Ладно,— сказал Андрей.— Потом заберу.

Тетя Маня смягчила тон и стала спрашивать, что он носит в своем мешке, есть ли у него книги?

— Одна книга,— отвечал Андрей.

— Какая?

— Ну... в общем-то она детская...

— Как называется?

Андрей, смущаясь, сказал, что называется она «Волшебные сказки». Тетя Маня охнула от неожиданности и засмеялась.

— Вот как выходит — красноармеец, война... А с собой носит детскую сказку.

— Да,— улыбаясь, кивнул Андрей и почему-то добавил:— У нас ее все бойцы во взводе читают.

— Кто же не любит сказок!— произнесла тетя Маня.— Чем хуже человеку, тем больше он любит сказку. Да в вас еще и детства много. Ну и еще что в мешке? Какие-нибудь носки, белье?

— Портянки,— сказал Андрей.

— А фотографии? Ведь фотографии-то должны быть?

— Нет их у меня, откуда...

Тетя Маня посмотрела на Андрея задумчиво, полезла в комод, в нижний ящик, извлекла старый альбом в голубом плюше. Листы в альбоме были серовато-глянцевые,

с овальными щелями в три ряда: для карточек разных размеров. Тетя Маня открыла первую страницу и показала своих родителей и портрет бабки. А потом и себя, молодую, такую непохожую на сегодняшнюю тетю Маню, что Андрей без подсказки не догадался бы. Далее шли фотографии родных и знакомых и дочка Ольги.

Ольгу бы он тоже не узнал. Он помнил ее маленькой, с бантом, помнил, как ей кричали: «О-ля! На музыку-у!» Здесь, на фотографии, стояла девушка с белой косой, в руках цветы. Она откинула голову, не в силах сдерживать свой смех.

Андрей задержался и почему-то долго смотрел на нее, и тетя Маня смотрела.

— Это в день рождения... Сколько же ей тут? Пятнадцать? Ну да, перед войной, пятнадцать лет. Прибегает она, веселая, хохочет, что-то ее развеселило. У меня в это время сосед был Петр Николаевич, он фотограф-любитель, жил напротив нас. Он говорит: «Станьте-ка, Оленька, я вас такой увековечу». Любил он ее сильно, а своей семьи у него не было. Ну, он свой «Кодак» развернул гармошкой и снял ее. А потом приносит карточки и рассказывает, что, пока снимок делал, все смотрел и улыбался...

— А сейчас?— спросил Андрей.— Сейчас она где?

— Как где?— тоже спросила тетя Маня.— Как все, на фронте. Она у меня, Андрюша, фронтовая артистка.

— Поет? Играет?— спросил Андрей и снова посмотрел на фотографию. Действительно, веселая фотография.

— Оленька играет на аккордеоне,— ответила тетя Маня и провела ладонью по фотографии.— Ей бойцы трофейный аккордеон подарили, «Хоннер» называется. Он легкий, ей удобно играть. А то ведь концертов много, а руки женские, попробуйте весь день продержат инструмент...

— Я помню, как ее учили музыке,— сказал Андрей.

Тетя Маня взяла нож и ткнула острием в картошку, не сварилась ли. Отставила чайник и подложила в печурку несколько палок.

— Их там на бомбовозе катают,— сказала, разгибаясь.— Прямо на крыле самолета выступают. Где тяжелые бои, туда их и везут. Вот последнее письмо она с Кавказа написала. Городов она не называет, пишет, что кругом горы и горы. Нетрудно догадаться.

— Нас, наверное, на юг повезут,— вставил Андрей.

— Ох, война везде одна,— молвила тетя Маня.—

Тут в Москве мы тоже пережили. Вот наш Петр Николаевич, фотограф-то, он ушел как с ополченцами и погиб, и могила неизвестно где... А он винтовку-то не держал в руках никогда, он садовод-мичуринец, у него вишни и яблоки были хороши. А сейчас дом забит, сад пропал и хозяина нет. Вот такая война, Андрюшенька.

8

Картошка поспела, а квартирантов все не было. Тетя Маня взглядывала на часы и произносила: «Да они сейчас будут, подойдут». Когда перестали ждать и решили садиться ужинать, в сенцах затопали и в дверях появился мужчина в военной форме капитана. Андрей встал, поприветствовал. Прихрамывая, капитан подошел к Андрею вплотную, рассматривая его, а тетя Маня сказала:

— Олег Иванович, знакомьтесь, наш сосед Андрюша, проездом на фронт...

Мужчина подал руку:

— Да садитесь, чего вы...

В это время на пороге встала женщина, и тетя Маня также представила ее:

— Это наша Муся... Уж мы заждались, хотели без вас ужинать.

Муся не подошла к Андрею, а кивнула издалека и стала раздеваться.

— Муська!— крикнул Олег Иванович, тяжело садясь на стул.— Помоги Марине Алексеевне! Достань продукты, и вообще...

— Сейчас,— отвечала она глухо. В минуту у всех на глазах привела себя в порядок, подобрала волосы и кинулась по делам.

Женщины суетились, ставили на стол тарелки, а Олег Иванович отдыхал, откинувшись на стуле и поглядывая на Андрея. Лицо у него было широкое, асимметричное, небольшие рыжие усы.

— Так вот, Андрей,— произнес он, будто знал его давно и продолжал прерванный накануне разговор.— Боец, солдат у нас самый первый гость. Значит, на фронт?

— На фронт,— отвечал Андрей.

— Вишь как, я уже отвоевался. Интендантом служу. Ногу оставил под Великими Луками, с тех пор по тылам и служу, и Муська со мной служит.

Андрей кивал, не зная, как отвечать и вообще как

вести себя с капитаном. Он вроде и был старше по чину, но вел себя по-домашнему, как штатский человек.

— Небось и пороха не нюхал?— спросил Олег Иванович.

— Пока нет, товарищ капитан.

— Брось ты... Капитан... Мы тут дома.— Он крикнул жене:— Рюмки, рюмки не забудь!

Тетя Маня принесла картошку, а Муся подала американскую колбасу в овальной консервной банке и хлеб.

Теперь Андрей увидел близко белые ее руки, худые плечи, худую, тонкую, как у девочки, шею и бледноватое лицо. С удивлением рассматривал он женщину, она почувствовала его взгляд, быстро посмотрела и отвернулась. Олег Иванович принес из другой комнаты бутылку водки и громко поставил посреди стола.

— Встреча да провожание, одна бутылка на два таких события — не так много.

Он стал разливать водку по рюмкам. Это были даже не рюмки, а высокие тонкостенные бокалы, видать, довоенной поры. Но остановился, прислушиваясь, и вдруг крикнул:

— Тише! Последние известия передают.

Черная тарелка-репродуктор, которую Андрей поперву и не заметил на стене, зашуршала, затрещала, и сквозь этот треск пробился, как издавека, знакомый голос диктора: «От Советского информбюро...»

Олег Иванович так и замер с бутылкой, выжидающе глядя на радио. И тетя Маня подошла, встала под самый круг, чтобы лучше слышать. И быстрая Муся остановилась, тихо, на цыпочках приблизилась и встала за спиной у тети Мани. Все, что было живого в доме, даже огонь в печурке, казалось, стихло, насторожилось и тревожно ждало.

«В течение последних суток,— говорил ровно диктор,— по всему фронту шли бои местного значения. В результате боев было истреблено и захвачено...»

— Упорные,— произнесла тетя Маня, не поднимая головы.

— Местного значения,— вслед за ней сказал Олег Иванович.— Значит, все спокойно. Спокойно, Марина Алексеевна.

— Конечно, спокойно,— добавила Муся.

— О господи, как может быть там совсем спокойно? На фронте-то?— спросила тетя Маня.

— Ну, не совсем, а относительно...

— И почему же так много «истреблено» и «захвачено», если спокойно?

Олег Иванович воскликнул:

— Но ведь хорошо, Марина Алексеевна! Значит, они сдаются, значит, потеряли веру в свою победу. А мы, наоборот, верим, как никогда. Вот за это и выпьем...— Не вставая, Олег Иванович сказал:— За победу!— и выпил. Потом снова себе налил, поднялся, чокнулся с Андреем, глядя на него. Все встали, и Андрей увидел общее к себе внимание, глаза, устремленные на него, как будто грядущая победа сейчас только от него и зависела.

Тетя Маня пригубила и тут же вытерла губы. Муся выпила легко, как воду, и с любопытством уставилась на Андрея, ей было интересно, как он станет пить. А он чувствовал ее испытующий взгляд, медлил, смущаясь. Потом разом опрокинул в себя горячую жидкость, задохнулся, не смог дышать. Быстро схватил картофелину, но и она оказалась горячей, он поперхнулся.

Муся громко засмеялась, заблестели белые ровные зубы, а тетя Маня весело стукнула Андрея по спине, сказала с укоризной:

— Ишь, ядовитая, не пошла!

— Пойдет! Потечет как по маслу,— добродушно успокоил капитан Олег Иванович и снова налил себе и Андрею. Подумал и немного добавил Мусе.

Андрей опомниться не успел, как опять выпили, и оно решительно сейчас пошло. Только в животе изнутри толкнуло, зажгло и теплом понеслось по жилам. Он удивленно посмотрел на рюмку и вокруг себя. Разговор зашел обычный, как и должен быть, о войне, о Гитлере-душегубце, который живет небось в бункере под землей, закопался поглубже и дрожит, знает, что ждет его за все людские муки. Вспоминали, кто где воюет, кто погиб, а кто пишет с фронта письма и какие в них слова.

Тетя Маня так и не одолела первой рюмки, но еще сильней побледнела, почти пожелтела, по лицу пошли красные пятна. Она принесла письма от Оли и стала читать их вслух. Девушка писала, что сейчас у них затишье и давно такого затишья не было. Они отдыхают, готовятся, скоро будут новые и, наверное, ужасно сильные бои. «Мамочка, не волнуйся, у меня все хорошо. Все хорошо». Эти слова она повторяла несколько раз. А может быть, так прочитала тетя Маня.

Капитан Олег Иванович поднял тост за героических воинов Красной Армии, за Олю, комсомолку, которую

он не видел, но представляет как замечательную и отважную девушку, за Андрея, хорошего бойца... Снова все встали, потому что говорилось очень серьезно, почти торжественно. А тетя Маня вдруг запела хриповато: «Выпьем за Родину нашу привольную, выпьем за доблестный труд!»

Ей захлопали, а она махом выпила то, что оставалось в рюмке, и заплакала почему-то. Так плачут от хорошей радости, что у нее в доме такие собрались славные люди, героические воины, как сказал капитан, и она надеется дожить до великого дня победы, когда и на нашей улице будет, как предсказано, праздник. Вот тогда и помереть не грешно, а сейчас главный приказ — это выжить и победить.

— После победы тем более жить надо, — негромко произнес Андрей.

Тетя Маня благодарно посмотрела на него, слезы ее быстро прошли. Она придвинула стул к Андрею и стала рассказывать, как она работает учительницей и они ходили холодной осенью в позапрошлом году рыть противотанковые рвы... «Ох, Андрюша, что наша работа, — мы уставали так, что падали от усталости, но еще больше мы боялись, что не остановим врага...»

Неожиданно, но какая приятная была эта неожиданность, зашипел за спиной патефон и заиграла музыка, разбитной веселый мотивчик, знакомый с давних пор. Тетя Маня закрыла глаза и стала подпевать. А Муся схватила руку сидящего Андрея и, смеясь, потащила его на середину комнаты.

Андрей встал, оглянувшись, никто не обращал на них внимания. Тетя Маня сидела, покачиваясь и прикрыв ладонью глаза, а капитан рылся в пластинках, что-то искал.

Андрей как можно осторожнее, стараясь не приближаться, взял Мусины руки, сделал несколько шагов, сразу замечая, как быстро пошли кружиться вокруг стены. Все понеслось: тихо сидящая тетя Маня и капитан Олег Иванович, накручивающий патефон, как шарманку, и пристукивающий в такт деревянной ногой: «Саша, ты помнишь наши встречи, в приморском парке на берегу...»

Издавека, как из небытия, приходили к Андрею знакомые слова, их тайное тайных, повествующее о чем-то смутном, необъяснимо волшебном, которого не было в жизни Андрея, как не успело быть настоящих танцев, настоящих девушек и моря с приморским парком на бе-

регу. Но рядом была Муся, тонкая, гибкая, странная женщина с худыми плечами и детской шеей. Он не мог не чувствовать ее, как сильней и сильней кружилась, заставляя крепче держать ее плечи. В какой-то момент она приникла к нему вся, и было это ужасно, как землетрясение, как удар от воздушной волны. Одно мгновение, но он почувствовал и запомнил все: твердую грудь, горячий живот и будто прилипающие колени... И хоть он тут же отстранился, напрягаясь и желая соблюсти пространство между ними, но Муся увлекала по комнате, заставляя быть ближе и ближе. Он увидел вдруг ее глаза, широко открытые, огромные, отчаянные, и, отпустив руки, споткнулся... Встал посреди комнаты, пытаюсь что-то сообразить, прийти в себя и опомниться. Не удержался, вцепился в спинку стула.

Услышал, как капитан Олег Иванович орал издалека: — Муська, дьявол! Что ты делаешь с парнем! Гляди, мозги закружила!

Тут Андрей попытался сесть, но не вышло, как он думал, на стул, а почему-то мимо стула, и, падая, он слышал, удивленный, как задумчиво, тепло обращалась к нему женщина с пластинки: «Саша, ты помнишь легкий вечер, каштан в цвету...» Захотелось подпевать, но к горлу подступила сильная тошнота. Он поднялся и пошел к двери, вывалился на крыльцо. Долго, бессмысленно смотрел на темное небо, желая что-то вспомнить. Но все продолжало кружиться, и ласковая женщина с пластинки орала ему на уши, и было ему плохо.

9

Ему снилось короткое, отрывочное, но спокойное. Ни разу во сне он не понервничал, не напрягся. Но запомнил он только последнее, что привиделось перед самым пробуждением. Ехали в эшелоне, он был со своим взводом, но и с тетей Маней, с капитаном Олегом Ивановичем и с Мусей... Сидели на краю вагона, свесив ноги, их приятно обдувало ветерком. А день был сверкающий, небо да солнце да какие-то поля, Андрей не видел, что росло на этих быстро мелькающих полях, но оттого, что глядеть на них было приятно, а все казались великодушно настроенными, Андрей знал достоверно, что едут не на фронт. Да никакого фронта и нет.

Тут мягко тронули Андрея за плечо, и он сгоряча решил, что боец Воробьев опустил сзади руку в знак мол-

чаливой солдатской дружбы. Но уже в следующее мгновение ясно ощутил, что это не была рука Воробьева, легкая, непривычная, перебивающая весь его складный сон.

Андрей напрягся, желая вспомнить нечто прояснившее бы картину. Все было так, как было: состав, край вагона и земля, идущая кругом перед глазами, но почему-то была и эта рука, касающаяся его шеи, подбородка и щеки.

Он проснулся мгновенно. Увидел чужие обои перед глазами и сразу — эту руку, белую, узкую, с длинными пальцами. Он следил за ней глазами, не шевелясь, будто опасаясь ее спугнуть, как прекрасную бабочку, настороженно и внимательно, но уже явно волнуясь, сам не зная отчего. Это не было мужское, а скорее детское чувство счастливого пробуждения и радостного предчувствия необычного, не похожего ни на что утра. С таким ощущением и с таким же выражением лица он повернулся, увидел Мусю, сидящую у его постели. Как она смотрела на него!

— Что? — спросил он, голос его прозвучал хрипло. Сейчас только он вспомнил вчерашний вечер и танец: немыслимое кружение предметов. У него вдруг снова поплыло перед глазами, и он закрыл их, представив, как он стоял, мучаясь, пытаясь стошнить на землю... Как раздался по крыльцу деревянный стук капитана Олега Ивановича, вышла и тетя Маня. Взяли под руки, отвели к постели и стали снимать гимнастерку, сапоги... А он уже повалился в мягкое, беспмятно спал.

Ему сейчас не хотелось смотреть на Мусю; он вылеживал с закрытыми глазами, притворяясь спящим. Было за вчерашнее стыдно.

— Просну-улся, — прознесла Муся шепотом и врастяжку. Она произнесла так, как будто знала его всю жизнь, и всю жизнь, каждое утро, встречала его пробуждение, и радовалась, и немного, совсем немного упрекала его в долгом сне. Она протянула руку и снова прикоснулась к его щеке, а он вдруг отстранился, чего-то испугавшись.

Она не могла не заметить этого движения, но не убрала руки, ласково обволакивая словами:

— Проснулся, милый, как хорошо ты спал. Тихо спал, как ангел все равно.

Тут Андрей вспомнил и остальное: пластинку, танец и прикосновение этой женщины, ее грудь, живот. Стало ему больно и горячо. Все тело вдруг заломило.

Андрей даже глаза закрыл, переживая это никогда не испытанное сильное мужское чувство. Оно было мучительным и сладким и стыдным одновременно. И Муся это видела, видела. Но бесстыдно смотрела и руками, от которых теперь бросало в дрожь, перебирала по его телу, соскальзывая на грудь и на живот, каждым своим движением принося новую, все так же не испытанную блаженную муку. Текли ее слова, будто ничего не значащие, но было в них то же, что и в руках. Никогда не слышанные, оттого неправдоподобные, эти слова возбуждали его еще больше рук. Они были стыдней, потому что произносились, глядя прямо на него, откровенно, ласково, жадно.

— Милый,— произнесла она шепотом и нараспев.— Милый, молодой мой... Такой молодой, хороший мой мальчик...

Так, не отпуская руки, она прилегла рядом, на то одеяло, под которым лежал Андрей. Он повернулся, скидывая одеяло, словно связывавшие его путы, сбрасывая его на пол. Судорожно и неумело он обхватил ее руками, сжимая изо всех сил, сотрясаясь и всхлипывая. Плохо понимая, что с ним происходит, он обнимал, мучил ее сильными руками и больше ничего не умел сделать. А она вовсе не старалась помочь ему, только целовала его куда попадется, в грудь, в плечо. Еще эти странные, будто рабские, поцелуи доводили его до безумия.

Она поняла и сжалилась, и стало хорошо. Он ничего не слышал, ничего уже не знал. Лежал как оглохший, будто не понимая, что произошло.

Некоторое время они лежали вместе. Он молчал, пришибленно и недоуменно. Она о чем-то думала, глядя на него. Умиротворенная и чужая, совершенно чужая, встала легко и уже сверху посмотрела на него с любопытством. Она не пыталась сейчас касаться его руками, зная, наверное, что будет ему не просто неприятно, а ужасно будет и противно.

— Ми-илый... Какой ты милый!— произнесла, неожиданно наклонилась, поцеловала его в губы. Он вздрогнул.

То, что он видел стоящую перед собой обнаженную женщину так близко, так подробно, поразило Андрея не меньше, чем то, что между ними произошло. Значит, возможно так, что они только соприкоснулись, но уже нет ничего, что бы их разделяло, нет никаких условностей, а все уже открыто и все доверено друг другу? Женщина стоит перед ним, какую невозможно было представить

раньше, и он, стыдясь своего взгляда, смотрит на ее остренькие груди, на чуть припухший узкий живот и белую, какую-то особенно нежную кожу с пупырышками от холода на ее коленях. Колени были на уровне его глаз.

Он отвернулся и вдруг почувствовал, неожиданно для себя, что он снова желает эту женщину, вот сейчас, сию минуту, так же сильно, нет, еще сильнее, чем в первый раз.

А она, уже озабоченная, занятая собой, надевала странные, никогда не виданные им одежды и лифчик, попросила, поворачиваясь к нему спиной и приседая: «Вот здесь застегни. Да нет, не так. Ладно, я сама».

Побежала что-то греть, собирала быстро на стол. Он лежал, прослеживая каждое ее движение, и то надежда, то радость и почти восхищение попеременно возникали и гасли в нем. Он уже знал, что она к нему подойдет, обязательно подойдет, и караулил эту минуту. Она будто услышала его, оглянувшись, все бросив, подошла:

— Милый... Милый, уже пора. Вставай, дружок. Вставай, милый.

Он приподнялся, взяв ее за плечи, пригибая к себе. Но выходило как-то неудобно, потому что она наклонялась, но не хотела присесть или прилечь, а стояла наклонившись и пережидая его поцелуи. Потом легко освободилась от его рук, произнесла со вздохом:

— Все, милый, мне надо идти. Вставай, мы вместе позавтракаем.

Через десять минут они сидели друг против друга, пили чай. Андрей будто следил исподтишка за ней и думал, думал. Странные мысли были у него. Стесненно произнес:

— А где... где сейчас товарищ капитан?

— Он выходит раньше меня, — сказала Муся, — Марина Алексеевна в школе преподает, разве ты не знал?

Андрей помотал головой и взялся двумя руками за горячий стакан, все наблюдая за Мусей, как она спокойно, с видимым удовольствием завтракает, иногда поглядывая на часы. «Вот так, — подумалось ему, — все так и будет. словно ничего не произошло. А чем дальше, тем проще. Сейчас она придет на работу, станет разговаривать с другими людьми, потом встретится с капитаном... Как это возможно?»

Он чуть ли не вслух, а может быть, вслух — он не уследил за собой — повторил несколько раз: «Как это



возможно? Жить дальше, делая вид, что ничего не произошло?»

Муся вдруг отложила хлеб и, подперев ладонью щеку, глядя прямо в глаза Андрею, спросила:

— Я у тебя первая?

Он поперхнулся, закашлялся. Но и без того было видно, что он покраснел, совсем еще мальчишка.

— Переживаешь?— Она протянула руку, но Андрей отстранился, и вышло, что она погладила рукав.— Не надо, милый, не переживай. Я не виновата перед Олегом. Он был контужен в белофинскую, так что он и не мужчина вовсе.

Это она сказала ровно, но глядела на Андрея, и было в ее взгляде то, чего не было в словах и даже в интонации,— страшная пустота и горечь. След давней трагедии, как дно высохшего родника.

Он неожиданно спросил:

— У тебя еще было?

— Как?— Она посмотрела на него широко открытыми глазами.— Как было?

— Другие...— он произнес, как подавился, едва-едва.

— Мужчины? Кроме мужа? Ты это хотел спросить?

Андрей кивнул. Ему было жалко ее. Она помолчала, кивнула. Потом вдруг зажмурилась, но еще прикрыла ладонью глаза.

— Как же я? Ведь живая. Может, я плохая, да уж точно, не хорошая. Тут книгу Ванды Василевской все читали, про немцев... А там русская девушка с фашистом жила. Ее тоже Муся... А я чуть не расплакалась. Все думала, неужели мое имя такое, что я нехорошая. Ведь муж и война. А я не умею себя держать. Совсем я не умею себя держать. Вот, думаю, молодость, и все. Кончится война, а я старуха. Но что делать? Что делать?

У Андрея горло перехватило от жалости. Ноздри задергались, он почувствовал, как защемило в уголках глаз. Сам не понимая, как вышло, он руку протянул и провел по волосам, ощутив, какие мягкие, ласковые у нее пряди. Никогда он не трогал женских волос. Наклоняясь к ней, стал целовать ее лицо и прикрывавшие его ладони, ощущал на губах теплые и странно соленые слезы. А она плакала и плакала. Наверное, его, Андрея, и не было в этих слезах. Плакала она о себе и для себя. Но вдруг перестала, взглянула на часы и засуетилась, начала одеваться.

— Ох, опаздываю. Сейчас строго. За двадцать минут судят.

Он смотрел на нее и снова поражался таким переходам в ее действиях, как и в ее чувствах. Старая мысль повторилась, что она придет на работу, будет жить среди других людей, рядом с мужем, и все станет так, как было до Андрея. А он... Он будто бы и не ее уже, ничей вообще. Она там, а он где-то в другом месте. Черт, как это возможно? Неужели это возможно? А если возможно, то почему? Почему?

Она подошла к зеркалу и стала краситься, пудриться, он отвернулся. Не хотелось смотреть, как она портит себя. Но вот она легко подошла к нему и уже не поцеловала, а только прислонилась к нему щекой.

— Ты сегодня будешь? Или — все?

— Не знаю,— отвечал он. Он вправду не знал, не думал об этом. Но даже если бы он имел возможность к ним снова прийти, как бы он смог прийти и встретиться с капитаном? Как с ним разговаривать станет, как посмотрит в глаза?

Но Андрей вдруг понял, что сейчас нельзя сказать правду, а нужно соврать. Может, впервые в жизни соврать, даже если она поймет, что это — вранье. Он не имел права лишать эту теперь уже близкую женщину надежды. Так странно ему было думать и называть ее про себя близкой женщиной. Он знал точно, что не забудет ее целую свою жизнь, как бы она, эта жизнь, ни сложилась. Да и вообще, с сегодняшнего дня все для него не могло быть, как прежде. Это их различало и разделяло. Она могла жить, как жила, а он уже не мог.

— Если не дожدهшься Марины Алексеевны, прикрой дверь на замок, он в сенях,— торопливо произнесла Муся, но уже шла к двери, и все в ее походке, в ее движениях было чужим.— Ключ положишь под половичок у входа. Ну,— она остановилась и мгновение, не больше, смотрела на него.— До свидания, милый.

— До свидания,— сказал он.

10

Андрей прошел город как по воздуху, ничто не коснулось его. Он и не глядел по сторонам, сосредоточившись на себе, на только что пережитом. За короткое время, меньше суток, он испытал приливы и отливы, находки и потери, все это не могло не потрясти его душу.

Он думал: «Отчего так устроено, что человек, встре-

тив другого человека, не может его любить и встречаться. Ведь это так естественно — делать и поступать по своим чувствам, а не так, как велят условности». Он всю жизнь свою, короткую, но вовсе не легкую, учился жить по правде, этому его учили дома, в ремесленном училище, в армии... Но ведь если поступать по правде, то не капитан Олег Иванович, а он, Андрей, оказывался мужем той женщины. Значит, легче вовсе было бы сказать ей: «Давай поженимся, если ты меня любишь, если я тебе нравлюсь».

Тут Андрей остановился, будто налетел на невидимую стенку. Сейчас только он осознал, что никто не говорил ему о любви и никто не говорил, что он нравится. Не было этого. А что же тогда было? Любовь без любви? Вот уж неправда. Он любил, он знал это. Но, может, то, что ему стало понятным как любовь, как супружеское чувство, для нее вовсе не было таковым? А только как случайная встреча, как необходимая короткая связь, за которой не следует ничего?

Странные были мысли, что-то они разрушали внутри Андрея, низводили его с небес на землю. словно бы он нес сверкающее, как зеркало, а какая-то машина с хрустом наехала и давила, превращая нечто большое и прекрасное в грязное стекло...

Но хоть был он солдат, но еще молод, чтобы до конца поверить самому себе.

И Андрей постарался отмежеваться от оскорбительных, невозможных для него понятий, а думать иначе и лучше. Кто он, в конце концов? Проезжий солдат, который сегодня сядет в свой эшелон и уедет на фронт. Что он может предложить любимой женщине кроме своего чувства и долготерпеливого ожидания с фронта, треугольников с короткими сводками о себе да надежды на неопределенное будущее? В общем-то немного. Если еще учесть, что она старше его. Ее годы идут, уж это точно, а рядом тыловые мужчины, и офицерские пайки, и семья, какой бы она ни была.

Что значит их любовь в сопоставлении с тем, что преподносит им жизнь? Не это ли могла, но не сказала Муся в своей отчаянной реплике о молодости? Не сказала, но была права. Права, что думала так, а не иначе, и права, что не сказала, оберегая Андрея? Вот к чему он пришел в своих мыслях, затушевывая ту очевидность, которая ему так ясно представилась вначале.

Он смог почти убедить себя, но боль его не прошла.

Он принял лекарства, но душа еще не излечилась, для этого надо было время.

Ему необходимо было двигаться, идти куда-то, чтобы в ходьбе, в каких-то сверхусилиях, заглушить самого себя.

Об эшелоне он не вспоминал. Эшелон был вчера и будет сегодня. В подпамяти солдата четко отмерялось отпущенное ему время, и он чувствовал, что его хватает. Другое дело, что между двумя эшелонами, вчерашним и сегодняшним, произошло столько иного, разного, несоизмеримого со всей его еще маловоенной жизнью, что, казалось Андрею, он сам, как и вчерашний его эшелон, в который он вернется, все, все будет иным. Миновал он крошечный поселок и углубился в лесок, который казался ему коротким, но между тем все тянулся, полого спускаясь вниз и переходя в плоское болотце.

Отчего-то раздражаясь против себя и против этого леска и этого болотца, Андрей тем не менее продолжал идти, желая сделать себе больней и этим заглушить внутреннюю боль, которая исподволь жгла и сжигала его, а могла испепелить и вовсе. Настолько очевидным становилось теперь и для него все, что произошло с Мусей.

С каким-то непонятным ожесточением ступал он в густую осоку, проваливаясь в черный торф, и уже видел, что вода вот-вот будет заливать за голенища, но мысли при этом были отрешенно холодные, как про кого-то другого. Дурацкий лес, дурацкое болото. Но так и надо. Промокни. Дурак такой...

Только когда правая нога вдруг погрузилась в темную пузырчатую жижу и не нашла дна, он с очевидной ясностью подумал: «Вот. Залез, называется, дурак такой. А все из-за своего характера».

Он попытался с ходу вытянуть ногу, но увяз еще больше, проклиная эту глупую лужу, которая взялась неведомо откуда в этом глупом лесу. Но даже сейчас, в неприятную минуту, он был подсознательно рад неожиданному приключению, потому что оно помогло снять ноющую занозу.

С недоумением оглянулся, пытаюсь сообразить, как ухитрился он забраться сюда. Теперь он и болотце вспомнил, как же! Оно еще в недавнее время было старым, заброшенным карьером, где брали песок для посудной фабрики в незапамятные времена, а потом забросили, и ребяташки, не имея поблизости хорошей реки, в том числе и Андрей, любили сюда ходить купаться. Говорили, что глубина тут пятьдесят, а может, и все сто метров.

А рядышком, вон он, дачный поселок, за соснами, и домики, и остатки заборов.

Он цеплялся судорожно за траву, лез, полз, пораня об осоку руки, желая скорее избавиться от гнилой трясины. Едва не захлебнулся, хватив тинной воды... Выбрался, шагнул сквозь сосны к поселку и вдруг не захотел больше никуда идти. Он бросил на землю шинель, положил рядом винтовку, вещмешок и лег, закрыв глаза.

Заснул он мгновенно, будто умер, и спал, ничего не чувствуя. Было вначале какое-то ощущение потери, невозможной и неисправимой, но потом и оно отошло, исчезло бесследно. Остался только холод, несильный, тупой, пониже лопатки в спине.

Холод этот шел от земли, от ее нутра, которого не тронули первые лучи солнца. Земля заостенела, застыла за долгую военную зиму, и много, очень много настоящего тепла надо было ей, чтобы вся эта глыба льда начала оттаивать, и задышала, и ожила.

Андрей проснулся, почувствовал через шинель этот глубинный холод и странную пустоту вокруг себя. Протянул руку, не открывая глаз, желая тронуть деревянный приклад винтовки, нащупал он только траву. Слобно кольнуло его иглой в самую середину сердца. Он подскочил, не помня себя, озираясь со страхом вокруг, веря еще, что ему померещилось с испугу, со сна, а винтовка тут, положена с другого бока.

Но не было ничего с другого бока, не было в ногах, не было около головы...

Еще не сознавая ужаса совершившегося, шарил он руками под шинелью, под забором, раздвигал сухой бурьян. Полез в карманы — не было ни документов, ни денег.

Он поднялся, оглядываясь недоуменно, никак не желая понимать, что не стало оружия и вещей. «Боже мой, боже мой», — повторял он про себя, все на что-то надеясь, ему лучше было бы думать, что он спит. Да и состояние, как во сне, невесомо-отчужденное, словно это не он и творилось вокруг не с ним, а с другим человеком. Вот сейчас все переменится, перевернется, как в сказочной, любимой им книге, и настанет легкое пробуждение.

Андрей провел рукой по лицу. Вдруг он отчетливо понял, что произошло. Не про кражу, не про потерю всего, что с ним было. Нет! Он так очевидно смог представить себя без своих бумаг, без вещей, но главное — без оружия. Кто же он теперь, в таком виде? Голый, выставленный посреди улицы, в чужом городе, в чужой толпе?

Клик раненого зверя пронесся по лесу, так ему показалось. На самом деле он лишь застонал, охватив голову руками и покачиваясь из стороны в сторону. Яростная сумасшедшая сила подкинула его с места и швырнула в лес. Он закружил, ничего не видя, не понимая, будто слепой. Но он и был как слепой: великан-циклоп с выколотым во сне глазом. В отчаянии налетел и сильно ударился о корявый ствол сосны, но даже не почувствовал боли. Руками ухватился за ее кору, отламывая рыхлые, податливые куски и отбрасывая их в сторону...

...Крошат землю снаряды, взбивая фонтаны земли. Плотное облако гари, пыли, мелких камушков оседает на окоп, на солдатскую каску. Тело твоё вжато в узкую земляную щель, голова в тело, а сверху, как убежище, как панацея от всех бед, эта самая каска, с которой горькая сажа и пыль сыплются на лицо, забивая рот и глаза.

В исподне-черной, развороченной снарядами утробе неба (а черт его знает, небо это или что-то другое!) вспыхивает сигнальная ракета. Багряное пятно в дымной завесе. Ничего не освещая, как бы сама по себе, она висит и не гаснет, требуя, призывая тебя к атаке.

Медленно, не спуская слезящихся глаз, запорошенных глаз с этого пятна, руками оперся на край окопа, чувствуя, как острая колючка впивается в ладонь, но даже ее принимая как благо, ибо она лишь колючка, напоминающая тебе о малой боли, а значит, о том, что ты еще живой. Правая нога на бруствер, на колено, а ты уже на виду, открытый для всех пуль, и бомб, и снарядов, которые нацелены теперь только на тебя. Винтовка приросла к руке, хоть ты и не чувствуешь до поры ее прекрасной спасительной тяжести.

С головой, одновременно пригнутой, но вывернутой чуть в сторону, чтобы из-под каски видеть солдат по отделению, по взводу, а еще и то, что впереди, хотя впереди ничего и нет, темная завеса да бурое пятно ракеты — остаточной след на сетчатке глаза, — на полуватных согнутых ногах твой первый шаг от окопа, как первый шаг в жизни... Чтобы только не упасть. Но за ним второй шаг по инерции и третий, лишь он настоящий, осознанный — вперед. А из гортани, а может быть, из печени или из всех твоих внутренностей сразу, от внутренностей и от костей изошел странный крик, одинокий, сливающийся, хоть этого ты слышать не можешь, с другими такими же одинокими голосами: «У-у-у! А-а-а!»

Звук утробный, пришедший от нашего рождения. Не случайно ли он прорывается так первично в этот последний смертный час?

И весь твой яростный, охвативший тебя порыв до бесчувствия, до отрешенности, до счастливого осознания собственного бессмертия нацелен туда, вперед, в неизвестность, к единственной желаемой цели в жизни. Ибо без нее, ее достижения никакой больше жизни и нет.

Не будет у Андрея Долгушина первой и главной в его жизни атаки. Захлебнулась она до того, как началась. Один он в лесу, никому не нужный, даже этим деревьям с теплой корой, у которых свой, единственный, но такой естественный путь в жизни. Вот что он сейчас понял.

Он не смог стоять, опустился на землю. Холод, пришедший к нему во время сна, распространился по всему телу, сковал его насмерть. Он не мог двинуться, даже произнести слово, так страшно ему стало.

Сидел, бессмысленно глядя в землю, ни о чем он не думал. Проходили минуты, а может, часы, он этого не понимал. Все, что он мог бы сделать: бежать, кричать или даже заплакать,— ушло в эту бессмысленную неподвижность. Он как умер. Еще мгновения отделяли его от пробуждения, но он уже не был тем человеком, который, проснувшись, провел рукой по голой траве, там, где должно лежать оружие.

Все в нем омертвело с тех давних пор, и сам он успел прожить вечность и состариться.

Где-то по тропинке проходили люди, слышались голоса — ничто не касалось его. Люди жили совсем в другом мире, а там, где жил сейчас он, была мертвая пустыня. Голоса почему-то мешали ему и не были нужны в той жизни, которую теперь он вел. И он встал, пошел, пока не почувствовал, что ноги плохо его слушаются. Тогда он сел, снял сапоги. Поставил их рядом, как ставил в казарме перед отбоем. Хотел наvertеть на голенища портянки, но не смог, бросил их рядом.

Он смотрел на сапоги, и простая мысль, первая, реальная, пришла в голову, что сапоги так снимают перед концом. Он даже вздрогнул, когда понял, о чем он думает, посмотрел вокруг. Он сидел в лесу, а по тропе мимо него бежал мальчик.

Андрей смотрел на него так же, как на все остальное. Но странно, что мальчик оглянулся, они встретились глазами. Вот тогда Андрей, не желая ничего и ни о чем не думая, произнес:

— Эй, пацан!

Все вышло помимо Андрея. Он уже забыл про мальчика, если бы тот пошел дальше, Андрей о нем и не вспомнил бы. Но мальчик стоял и ждал. Чего это он ждал?

— Тебя, тебя. Пойди сюда,— сказал Андрей, опять сам себе удивляясь. Никаких мыслей и никаких слов в нем не было. Единственная четкая мысль о сапогах никак не могла быть связана с мальчиком. Вот это он знал. Они оба молчали, и оба не были нужны друг другу. Андрей все пытался зацепиться мыслью за сапоги и продолжить, а оно будто не имело продолжения, а заканчивалось на слове «конец». Несколько раз повторил Андрей про себя, отыскивая тот первоначальный смысл, который его озарил. Поднял глаза и удивился, что мальчик еще здесь, что он стоит перед ним.

Где-то отдаленно, как чужой, прозвучал собственный голос:

— Ну? Подойди! Ты что, местный? Тут и живешь?

— А где мне еще жить? — спросил мальчик. — Вон, в детдоме живу.

Андрей поморщился при слове «живу». Мальчик вот живет, а что делает он, Андрей? А он уже не живет? А что же он тогда делает?

Андрей оглянулся, вздохнул. Это был его первый вздох, но он не касался Андрея, а тем более мальчика. Вздох остался от тех невероятно дальних времен, когда Андрей тоже жил. Ходил по городу, гостил, любил, спал... И все было потому, что при нем, как часть его самого, существовало его оружие. Это оружие хоть и носилось снаружи, но было как ядро в Андреевой жизни — изыми, и останется одна оболочка. Без оружия и без документов его отдадут в трибунал и будут судить по законам военного времени. Но разве об этом речь?

Андрея лишили всего, что он имел: имени и фамилии, так как пропали документы; лишили вещей, которых не может не иметь любой человек, если он надеется жить; взяли оружие, которое ему доверили для борьбы с врагом. Кто же он остался после этого? Мертвое тело, которое еще могло произносить слова, но уже ни для кого ничего не значило? И для самого Андрея не значило — вот что главное.

— Понимаешь, все украли... Оружие вот... Да, да... Оружие украли.

Он и дальше что-то говорил, хотя мог и не говорить. Слова сейчас, а особенно его слова, ничего не значили. За-

чем он говорит? Зачем этот мальчик и что мальчику от него надо?

Андрей впервые рассмотрел его: штанишки, и куртку, и галоши на ногах, подвязанные веревочкой. Но удивили глаза, испуганные, будто у зверька. Чем это я его напугал? Или они сейчас все в войну испуганные? Или я такой, что он не мог не испугаться? Ужасный небось вид, но что с того, какая разница, как ему, Андрею, выглядеть? Мальчика напугал, вот что скверно.

Постаравшись улыбнуться (что такое улыбка... у неживого?), он сказал просто:

— Ты не бойсь, я ведь вообще спрашиваю. Я всех спрашиваю. Хожу тут и спрашиваю. Всех спрашиваю, понимаешь?

Кого это он спрашивал? Никого он не спрашивал.

И мальчика он тоже не спрашивал. Понимал, что спрашивать — значит обнадеживаться. А надежды у него быть не может. Но почему-то продолжал говорить и сапоги в руки взял, обещая и сапоги отдать, и часы, и что угодно, если бы нашлось оружие.

Тут и мальчик закричал, что он ничего не знает, и Андрей опал, обессилел. Бессмысленная вспышка, никчемное бормотание, несвязные движения, и эти сапоги... Зачем, зачем это? Прорвалось, как ответное чувство на испуг мальчика, как само спасительное движение его, Андреева, тела, но не души.

Надо было с этим кончать. Документы лежат где-то изорванные, да оружие по частям разложили, а то и в уборную бросили. Кончился Андрей, и пора бы это зафиксировать.

Но сейчас еще нужно что-то сделать... Ах, да, мальчик! Надо сказать мальчику, который встал на пути, на последнем пути, сам того не ведая, у Андрея.

Андрей поднялся, какая-то легкость появилась в нем.

— Иди, чего ты, — сказал ему Андрей и понял, что он прощается с мальчиком, как бы прощался с самим собой. «Я не буду, но он будет жить. Кончится война, и вырастет этот человек. Возможно, он не вспомнит солдата. Да уж точно не вспомнит. Не за что помнить. Что ж оттого?» Андрей сейчас отдал бы последнее, чтобы вырос пацан в человека. И чтобы никто не смог обидеть его.

А ведь обижали! Андрей это почувствовал, когда прикоснулся к волосам мальчика. Тот дрожал под рукой, как дрожит пойманная птица — каждым перышком, каждой ворсинкой. Ах ты воробей, серая птица!

Андрей уже не думал о себе. О себе он знал все. Неожиданный прилив нежности, испытанный к мальчику, был благодарностью за эту странную встречу. Он гладил, гладил... Потом легонько толкнул его в спину:

— Ну, иди, иди.

Глядя мальчику вслед, вдруг понял, что это он сам от себя уходит. Мальчик — последнее, что связывало с другими людьми, со всем божьим миром. И не для того, чтобы обрести надежду, а от чувства потери всего, что было, закричал он:

— Ты приходи! Я буду тебя ждать!

Голос выдал то, в чем не мог Андрей себе сознаться: очень хотелось жить. А между тем он точно знал, глядя на убегающего за деревья мальчика, что не вернется он.

11

Запрятав компас, Васька вышел из сарая. Он мог теперь не думать об этой неприятной истории, ее как бы и не существовало. Прошел испуг, и Васька понял, что сдрейфил он зря. Что может сделать ему солдат? Да ничего не может. Руки короткие, как говорят. Ну, укажут ему детдом, еще добавят несколько нелестных слов, мол, шпана такая, не клади, что плохо лежит. Мол, их и запомнить и отличить друг от друга невозможно, все тощие, на одну одежду, на одно лицо. Ну, скажут, ну, придет, ну, узнает даже Ваську, а дальше что?

А дальше ничего. Видел? Не видел. Ну и отзынь на три лаптя!

Тут к Ваське подбежал Грач, шмякая жмыхом во рту:

— Сморчок, на хор!

Васька скорчил рожу, схватился за живот:

— У меня резь пошла... Такая резь, ох как болит.— Заныл, даже сам поверил, что болит. И вправду заболело.

Грач добавил, все слюнявя во рту жмышок:

— Сказали, что отметят по списку. Кто не будет петь, ужина не получит!

Васька разогнулся, живот прошел. Вздохнул: надо идти. Не дадут ужина, и вечер сразу пустой станет. Будешь мысленно обсасывать несъеденное, изведешься, не уснешь. Уж лучше петь, чем не есть. Хотя петь Васька не любил. Снова Лохматая будет кричать, да еще поставит впереди хора. Лохматой они звали музыкантшу.

Васька все медлил, спросил вдруг:

— Слушай, Грач, тебя кто-нибудь по голове гладил?

— Как это? — не понял Грач.

— Ну, вот так,— показал Васька.— Кто-нибудь? А? Грач задумался. Глупо спросил:

— А зачем?

— Ну не знаю! — вспыхнул Васька.— Гладил или нет?

— Не помню,— сказал Грач.— Бить били, а гладить...

— Да бить-то сколько угодно! — засмеялся напряженно Васька.

— Не помню,— повторил Грач.

— Я тоже не помню,— произнес Васька.— Ну пошли...

Васька вслед за Грачом протиснулся в директорский кабинет, где находилось пианино. Пианино стояло здесь потому, что в другом месте от него бы ничего не осталось. Вот и занимались в кабинете, хоть был он маловат для этого.

Васька притерся к стенке, встал за спинами ребят постарше и притих. Но Лохматая при помощи Анны Михайловны быстро построила всех в три ряда, а самых маленьких, в том числе Ваську, вытащила вперед. Как ни сопротивлялся Васька, как ни ловчил, а попал прямо на глаза Лохматой. Теперь она изведет своими нотами. И пальцы у нее тоже щипучие, не зазря стучит на инструменте. Выволакивала Ваську из глубины, оставила на руке синяк.

Васька торчал впереди, вперившись в Лохматую, глядя, как она взмахивает седыми волосами, бьет по клавишам и кричит: «Начали!»

На рейде большом легла тишина,
И море окутал туман,
Спойте, друзья, пусть нам подпоет
Седой боевой капитан...

— Стой! Стой! — кричит Лохматая и смотрит на Ваську.— Ну чего ты кричишь? Вот, слышишь: «лег-лати-ши-на»... Плавно, спокойно. Понял?

— Ти-ши-на,— проблеял, подражая Лохматой, Васька, и все загоготали. Голос у Лохматой был блеющий, а Васька только повторил его.

— Тише! — сказала Лохматая и снова ударила по клавишам:

На рейде большом легла тишина...

Васька перестал петь совсем, он только открывал рот. Или он кричит, или открывает беззвучно рот. Средне петь он не умеет, считает, что в этом нет смысла. Лохматая старательно стучит по клавишам, головой изображает музыку, но иногда поворачивает к ним смуглое усатое лицо,

и тогда Васька старательно, не моргая, смотрит ей в глаза. Васька изображает, как он краснеет от натуги, и он действительно краснеет, Лохматая кивает ему: «Вот, теперь правильно». Васька старается изо всех сил, он физиономией изображает песню, закатывает глаза, вздыхает, играет грусть и волнение. Лохматая, которая дальше Васьки не видит никого, не нарадуется, какой музыкальный, какой чуткий попался мальчик.

Потом Лохматая вытащила вперед солистку Верку Агапову — Агапиху, — и та запищала, поднимая глупые глаза:

Под сосною, под зеленою.
Спать положите вы ме-е-еня...

Васька эту песню откровенно не любил. Потому что ее выла Агапиха, и потому что непонятной она была. Как это — под сосною класть человека? Зачем его там класть? И потом, для чего столько выть? Пойди да ляжь, никто тебе слова не скажет. Вот мучает, вот нудит, хуже зубной боли. А положили, так ведь снова недовольна:

Ты сосенушка, ты зеленая,
Не шуми-и ты на-до мно-ой...

Вдруг вспомнилось про солдата, который сидит под сосной. Сидит и ждет Ваську. А может, не ждет. Так уж он и поверил, что Васька бегают по поселкам, ищет ему жуликов. Все знают, что Ваське верить нельзя, обязательно соврет. Натреплет с три короба, неделю не разберешься, что было на самом деле.

Дурак, что ли, солдат? Но почему же он тогда кричал, что будет ждать? Странно так кричал, будто просил или умолял Ваську, обращался, как маленький к большому.

Васька посмотрел на Агапиху, которая пищала свое «Лю-ли, люли», и ему стало невмоготу. Он вдруг запрыгал, затрусил на месте, перебирая ногами и изображая на лице крайнее нетерпение. «Ой, лю-ли, лю-у-ли», — орала Агапиха, скашивая на Ваську недоуменный глаз. «Ой-лю-ли, лю-ули...» И сорвалась, хмыкнула напоследок.

Лохматая повернулась, остановив музыку, спросила:
— Ты что, мальчик?

— Мне надо! — простонал Васька и запрыгал еще сильнее, изображая, как ему надо.

— Что тебе надо? — недоуменно повторила Лохматая. Весь хор вразнобой заорал ей:

— Это Сморчок! Он в штаны намочит!

— Что? Что? — старалась вникнуть Лохматая. Она поморщилась, долго же до нее доходило...

Тут Боня, который считался старостой хора, крикнул:

— Он у нас среди дня мочится, если ему на напомнишь. У него пузырь не держит.

— Это правда! Правда! — завопил хор. А Боня добавил:

— Ночью он тоже... Он сперва заплачет во сне. Потому что не может терпеть, а проснуться тоже не может. А пузырь у него не держит... Вон он заплачет, а потом слышно — зажурчит...

— Ах, зачем такие подробности, — сказала Лохматая. — Замолчите все. А ты иди, иди, мальчик.

Васька еще секунду потрусил на месте, как бегун на старте, а потом ринулся к двери, выскочил в коридор, на улицу. Остановился, глубоко вздыхая. «Хоть у тебя на голове и лохмы, а ты дура», — решил весело.

Васька стал прикидывать, что можно сделать, чтобы остаток дня прошел полезно. Сбегать ли на станцию, на добычу, или сперва зайти к Витьке и предупредить о солдате. Мол, рыщет тут, будь настороже. Но Витька смеяться начнет. Скажет: «Матрос — в штаны натрес!» А может, и вправду солдата нет? Подождал, подождал да уехал? Вот бы подкрасться, посмотреть издалека.

Васька дважды обошел дом, а это означало, что он сильно колебался. Остановился под окном кабинета, послушал, как завопил дружный хор, и решился: пойду, посмотрю. Оставаться возле дома было небезопасно. Кто-нибудь увидит Ваську, погонит обратно петъ. А это еще хуже, чем врать солдату. Открывает щука рот, а не слышно, что поет.

— Ой люли! Люли! — заорал Васька изо всех сил, стараясь показать, как ему противны эти «люли», которых он представлял в виде шишек, висящих на сосне. Висят «люли», свесившись вниз, а между ними, закатывая фальшиво глаза, ходит Агапиха, жеманно нюхает, говорит манерно: «Ой, люли, люли»... Дать бы ей по шее, чтобы не тянула кота за хвост. Васька часто во время хора показывал Агапихе фигу в кармане. Хоть она и не видит, а приятно.

Однажды Васька набрался нахальства и спросил:

— Я могу сам по себе петъ?

— Это как? — удивилась она. — Ты хочешь солировать?

— Ага, — сказал Васька, — солировать.

Лохматая очень удивилась. Но ее интеллигентность взяла верх. Васька на это и рассчитывал, он знал, что интеллигентность ее погубит.

— А что ты хочешь петъ?

Васька только и ждал такого вопроса. Он напряжился и заорал что есть мочи:

Одна нога была другой короче,
Другая деревянная была,
И часто по ночам ее ворочал:
Ах, зачем же меня мама родила!

— Это что же такое? — возопила громко Лохматая, и даже усики у нее зашевелились. — Ведь это же хулиганская песня! Мальчик, ты понимаешь, что ты спел?

Васька все понимал, а вот Лохматая не понимала. Если бы она послушала, какие песни они закатывали по вечерам, когда воспитатели уходили домой! У нее бы затмение вышло от их песен. Вот что подумал Васька, снисходительно глядя на Лохматую. Но сказал он ей так, что лично он не думает, что это была хулиганская песня. В ней и слова-то ни одного особенного нет. Но если ей хочется что-нибудь почувствительнее, он может спеть ей «Халяву»... «Женился, помню, я на той неделе в пятницу...»

Лохматая взвилась со стула, и брызги полетели у нее изо рта. Она что-то кричала, что именно — Васька не разобрал. Она выскочила за дверь, схватив свои ноты, а Васька с тех пор навсегда охладел к пению.

За мыслями Васька не заметил, как ноги сами привели его в лес. Потянуло, что ли, на старое место. Солдата он увидел издалека. Хотел остановиться, но вдруг понял, что и солдат его заметил, он даже привстал навстречу Ваське, смотрел на него не отрываясь.

Васька шел к солдату и раздумывал, как бы соврать получше. Оба смотрели друг на друга. Васька с любопытством, даже весело, он теперь ничего не боялся. А солдат смотрел выжидательно, он глазами на расстоянии пытал Ваську, но в то же время будто и боялся новости, и не хотел ее. Для него важнее слов было Васькино возвращение.

— Я спрашивал, — начал Васька, еще не дойдя до солдата. — Никто ничего не знает.

— Да, да, — кивнул солдат. И продолжал так же смотреть на Ваську.

— Я бегал, бегал, — произнес Васька. — Туда, сюда...

— Я понимаю, — сказал солдат.

— Одному говорю: «Стырил? Отдай! Тебе бочата в награду предлагают за твою честность». А он говорит: «Нет, я такими делами не занимаюсь».

— Правильно, — ответил солдат. Он что-то сообразил и уже не смотрел на Ваську. Может, он догадался, что Васька врет? Вряд ли, Васька старался врать как можно

честнее.— Ладно. Спасибо,— произнес солдат.— Я понял сразу, что ты хороший человек.

Он сказал, будто отрезал Ваську от себя. Повернулся и пошел по тропинке, не оборачиваясь, никуда не глядя. А Васька продолжал стоять, никак не беря в толк, почему солдат уходит, почему он назвал Ваську хорошим, хотя Васька ничего пока хорошего не сделал.

Споткнувшись на бегу о корень, он догнал солдата, спросил сзади:

— А ты куда идешь?

Тот вовсе не удивился, что Васька еще здесь, ровно произнес:

— Не знаю. Ничего не знаю.

— Тебя арестуют? — спросил Васька.

— Наверное, арестуют.

— А ты не ходи,— посоветовал Васька.— Они все равно не знают, где тебя искать.

Солдат запнулся при таких словах. Он даже посмотрел на Ваську, будто не поверил, что тому могла прийти в голову подобная мысль. Отчего-то спросил:

— Тебя как зовут?

— Васька Сморчок,— сказал Васька.— А тебя?

— Андреем,— ответил солдат и добавил: — Звали. Ты добрый, Василий. Я сразу почувствовал, что ты меня жалеешь.

— Зачем тебя жалеть? — пожал плечами Васька.— Мы же взрослые люди. Я бы тоже так поступил. Я несколько раз прятался, когда меня искали. У нас в сарае такая заначка есть... Мы травы наложили, чтобы мягче ждать было.

— От кого тебе прятаться, Василий? — спросил солдат.

— От кого? Думаешь, не от кого? От всех, кто против меня.

— Есть такие?

— Всякие есть,— отмахнулся Васька.— Я тебе так скажу: у каждого серьезного человека должна быть своя заначка.

— А если ее нет? — Солдат опять посмотрел на Ваську, с любопытством посмотрел.

— Как же без заначки? А жить как?

— Как? — спросил солдат.

— Не проживешь, в том-то и дело. Вот есть у меня вещь. Ну... Рогатка к примеру. (Васька сказал «рогатка», а думал он про компас.) А еще картофелина. А еще заточенный гвоздь вместо ножа. Где все это держать? Дома?

Так дома-то нет! Есть, правда, постель, которую на дню несколько раз перетряхивают, что-нибудь ищут. Воспитатели трясут и свои, которые жулики... А заначка — это и есть дом. А кто я буду без заначки? Никто!

Солдат остановился, о чем-то раздумывая. Светлые брови его сошлись. Был он сейчас как мальчишка, Васька подумал, что слабак солдат в сравнении с любым детдомовцем. Потому его и обокрали. А уж сам Васька куда опытнее солдата. Ведь приходится объяснять элементарное, что и в объяснении не нуждается. И выходит: Васька должен учить солдата жить.

— Ты чей, Василий, будешь? Родители твои где? — спросил солдат.

— Не знаю, — произнес Васька равнодушно. — Я всю жизнь сам по себе. Мне никто не нужен.

— Ишь какой самостоятельный! — воскликнул солдат, он даже улыбнулся.

Васька не воспринял чужой иронии, а отвечал достойно, что сейчас все должны быть самостоятельными, потому что время трудное, идет война.

— А разве ты, дядя Андрей, не самостоятельный? — спросил Васька и с сомнением посмотрел на солдата.

— Я? — удивился солдат — не вопросу, а тому, что мальчик этим вопросом ставил их как бы на один уровень. Он присел на какой-то пенек и со вздохом сказал: — Ну... Если мы с тобой такие... Давай подумаем, как дальше нам жить.

— Давай, — поддержал Васька и сел рядом на траву. — Ты куда должен идти?

— В эшелон, я тут, Василий, проездом.

— На фронт?

— На фронт, Василий. А если я сегодня не приду, то будут меня считать дезертиром.

— Но ведь ты не дезертир?

— Конечно, нет. Я, Василий, фашистов бить хочу. Только чем я буду бить? Мое оружие пропало... Если бы сыскать...

— Тогда что? — спросил Васька и внимательно занялся галошей. Развязал, а потом завязал узелок на веревке.

— Тогда бы я стал снова солдатом. Без оружия солдат — пустой звук. Он пользы народу не принесет.

— А ты попроси, они тебе другую винтовку дадут. Или трофейный автомат поищи. Я в кино смотрел, там после боя много всяких автоматов валяется...

Солдат посмотрел странно на Ваську, ничего не отве-

тил. В лесу начинались сумерки. Не было темно, но дальние деревья начинали сливаться.

Солдат встал, протянул Ваське руку:

— Прощай, Василий! Славный ты человек. Но и ты ничего не можешь. Здесь никто ничего не может. Дальше — я сам.

Солдат повернулся и пошел. Быстро шагал, так что, пока Васька переваривал его слова, он уже скрылся за деревьями.

— Подожди! — крикнул Васька, чего-то испугавшись. Он побежал за солдатом, не зная еще, что он может предложить, чем помочь. Васька понял сейчас одно, что без него солдат пропадет. — Подожди же! — повторил он, задыхаясь, нагоняя и стараясь попасть с солдатом в ногу. — Я хочу тебе сказать... Может, еще не поздно...

— Что? — спросил солдат, не останавливаясь. Ему, наверное, очень не хотелось, обретя уверенность и ясность цели, заново передумывать и снова, в который раз, обнадеживаться.

— Я тут... Я знал одного человека, — тяжело дыша, с перерывами говорил Васька. — Я могу у него спросить...

— О чем спросить? — говорил солдат на ходу.

— Об оружии, конечно.

— Вот как! — солдат остановился и посмотрел на Ваську. Пристально. Прямо в глаза.

Васька потупился, сделал вид, что его заинтересовала веточка на земле. Наклонился, поднял, помахал в руке. Но солдат продолжал смотреть, и при этом он странно молчал.

— Я давно его знаю, — произнес Васька, как будто он был виноватый и пытался объяснить. — Он недалеко живет, может, он чего подскажет...

Солдат покачал головой, о чем-то раздумывая. Но все время взглядом он возвращался к Васькиным глазам. Что-то в них искал и не находил.

— Значит, ты думаешь...

— Да, он все знает! — воскликнул Васька простосердечно. Ему стало легче от собственных слов.

Солдат взял Ваську за плечо и тихо спросил, словно боялся спугнуть Васькины слова:

— Все... знает?

— Конечно, — сказал Васька уверенно. — Он должен знать!

— Должен?

На солдата стало жалко смотреть. Вся его уверен-

ность пропала. Он съежился, испугался чего-то. Стал суетным, торопливым и заговорил он теперь по-другому, будто унижался перед Васькой:

— Пойдем к нему, а? Пойдем, Василий! Где он живет?

От такой перемены Васька вдруг почувствовал себя неуютно. Что-то пропало у него к солдату, а может, это у солдата пропало к Ваське, он точно не мог разобрать. Исчезло равенство, которое так задело Ваську за живое. Снова солдат стал чужим, осталась к нему голая жалость.

Васька посмотрел на солдата снисходительно, он знал, что скажет ему. Он так и сказал:

— Сейчас нельзя. Его дома нет. Может, он там вообще не живет.

— Когда же можно? Василий, когда? Когда?

— Ну, утром,— произнес Васька неуверенно.

— Утром?

— Ага. Он такой... Как филин! Днем спит, а ночью выходит на добычу.

— Ну, да... Ну, да,— сказал солдат, как будто он что-то понимал.

— Если он только вообще не переехал,— еще раз подчеркнул Васька.

— А если переехал, можно по адресу найти?

Васька засмеялся. Взрослый человек, кажется, а ничего не понимает...

— Адрес я могу и сейчас сказать... Таганка! Окошко в клеточку: ты меня видишь, я тебя нет!

Ваське надоел детский разговор. Что, в самом деле, нанялся он, что ли, учить этого солдата. Сам погорел, сам и выкручивайся. А то, что он к Ваське по-доброму, это еще хуже. Васька — звереныш, ему нельзя привыкать к чужим рукам, он за ласковую руку и укусить может.

— Пойдем,— сказал Васька солдату,— отведу в за-начку.

Они пошли по стемневшему как-то в одночасье лесу, и Васька шел впереди, а солдат сзади. Всю дорогу они молчали, лишь один раз солдат спросил:

— Тебе сколько лет, Василий?

— Все мои,— ответил тот, о чем-то раздумывая. Но решил снизойти, ответил: — Ну, одиннадцать. А что?

— Мало вырос,— сказал солдат, действительно понимая, что Васька хил, как городской воробей по весне. Ему и неинтересно, видать, каков он со стороны. Живет и все знает, и никаких у него сомнений ни в чем нет. Вырос как ветка под бурей...

— Солей нет,— ответил Васька на вопрос солдата.— У меня и зубов мало, потому что они не растут, потому что солей нет.

Тут пришли они к сараю. Васька показал, куда надо лезть. Солдат просунулся в узкую щель между поленицами дров, обвалив несколько чурбаков на себя.

Вздыхая, произнес:

— Как волчья нора... А ведь первых два часа живу без увольнительной.

— Здесь никто не найдет,— убежденно сказал Васька.— Хошь до конца войны живи. Я бы тебя прокормил, не думай.

— Спасибо, Василий. Значит, до утра.

— Ага. Спи, не бойсь.

«До утра»,— повторил солдат, понимая тот единственный смысл, что может он жить еще до утра.

12

Васька поужинал без всякого интереса. Съел он, правда, все, вылизал, как положено, тарелку, подобрал крошки. Но чужую тарелку долизывать отказался и вел себя, в обычном понимании, странно: конечно, это если бы кто мог замечать такие незначительные подробности. Но замечать их было некому.

По коридорам Васька в темноте не носился, в спальню к девочкам под кровать не полез, чтобы завить оттуда, и к единственной печке, облепленной пацанвой в два слоя, как пирог мухами, не стал притираться. Прибился к своему топчану, вполз на соломенный холодный матрац и свернулся в комочек, чтобы скорее согреться.

Сверху одеяльца, кургузого, серого от грязи, накрылся Васька курточкой своей. Все так делали: поверх одеяла накидывали то, что было из верхней одежды. Нужно экономно дышать под себя, вовнутрь созданного пространства, чтобы накопить тепло.

От жесткого в буграх матраца пахло мочой, но Ваське даже нравился этот запах. Нравился потому, что был он свой. Едва перестал Васька дрожать от холода, стал думать. Вот о чем он думал: выдавать Витьку он не может. Это он решил еще там, в лесу.

С тех давних пор, как стал Васька помнить себя, он впитал этот закон вместе с затирухой, с баландой, тухлой капустой, которой их кормили. Кстати, и запах тухлой ка-

пусты Ваське нравился, как и запах мочи. Это были запахи его детства.

Не продавать своих — вот что Васька запомнил первым в своей жизни. Но, возможно, не первым, а вторым, потому что первым было не это. Постоянный звериный голод — вот что было первым. И как следствие — любыми путями достать пищу. Любой ценой, любым доступным способом: выклянчить, выпросить, обмануть, разжалобить, украсть, отнять, обменять...

А далее — второе: не выдавать соучастника. Воровал ли ты, или только стоял на шухере, или видел со стороны, а может, и не видел, а только слышал — это все равно. Молчи как убитый. Как бы тебя ни наказывали, ни терзали, ни допрашивали, ни потрафляли, даже прикармливали, хотя этого в Васькиной жизни и не бывало, но могло, наверно, быть, — молчи.

Не в силах снести — уйди из детдома, прибейся к другому и начни жизнь сначала. Но продать ближнего — еще никому не прощалось. Васька, выросший, воспитанный на железных законах беспризорщины, знал это не хуже, а лучше других.

В спальне стоял крик. Швырялись подушками, ходили по головам, дрались. Кто-то дважды наступил на Васькину голову, он промолчал. Надо было высовываться, открывать одеяло, остудить то, что надышал. Но все равно толку мало: кто бы обратил внимание на то, что там орет Сморчок. Эка невидаль, Сморчок голос подал! Тихо! Заткни хлебало, а то щами воняет! Врезать ему по первое число! Москву изобразить! «Велосипед» организовать! «Салазки» загнуть! Темную ему! Цыц, паскуденюк, не то соплей перешибу.

Лучше молчи, сожмись, дрожи про себя, чтобы не заметили, не съели, пока ты малек. Кто не знает, что детдом — прибежище для всех заплутавших, и кто сюда не залетит, чтобы спасти шкуру, когда тебя ищет где-нибудь в Ярославле милиция, когда «малина» разгромлена, а новой пока нет... Иной на зиму придет отсидеться, а иной и на одну ночь.

Всякие тут были и есть, и знает Васька, ох знает, что правит в детдоме сила, а вовсе не директор с воспитателями. И пока ты не набрал живого вещества, не вызверел, не охамел и не стал пугалом для других мальков — заткнись, ходи неприметный в мелкоте. Скажут: тащи пайку — тащи, не медли. Скажут: будь рабом, ползай, оближи палец на ноге, выпей мочу на лету из струй... Все сделай,

чтобы выжить. Скажут избить — бей, скажут украсть — кради! Все нужно пройти, чтобы потом творить с другими то, что творили с тобой. Это и есть главный тут закон. Сперва едят тебя, а потом ты ешь других. Васька умел пока только откусываться.

Можно, конечно, прослыть чудиком, то есть придурком, что по временам и делал Васька. К придуркам были снисходительнее, ими развлекались, но о них и помнили, а это было опасно. Лучше, когда не выделяешься, а ползаешь неприметным безымянным муравьем. Наступят так наступят, но могут и не наступить.

Васька лежал, но все он слышал, чувствовал, что сегодня его обошли. Кому-то устраивали «балалайку» и «велосипед»... Надели на руки и ноги бумажные колпачки, пока человек спал, подожгли бумагу. Спит бедолага, снится ему лишняя пайка хлеба, а тут ноги начинает припекать, он дрыг, дрыг ими. И руками заиграл. А потом уже от боли крутит изо всех сил на велосипеде, дрынькает на невидимой балалайке! А все собрались вокруг, смотрят, жмутся от удовольствия, хохочут, гыхают, блеют, надрываются. Жалеющих здесь нет, это не поощряется. Жалеющий может попасть в ту же компанию музыкантов.

Уже пламя на ногах и на руках, велосипедист-балалаечник жмет изо всех сил, плачет, еще не проснулся. А главное — впереди. Кто-то наготове около лица дежурит, следит, когда проснется соревнователь. Только он открыл глаза и рот, чтобы вдохнуть для крика воздуха, ему в рот горящую бумажку. Вот когда, знает Васька, сама жуть начинается: в глазах огненные шарики побегут, и внутренность как ошпаренная, и дыхания нет, и ноги и руки горят... А ты ничего от страха, от боли не чувствуешь, не понимаешь! Ах, знает, знает Васька, что такое велосипед с балалайкой, и никому не желает его!

Но коли он существует и его делают, то лучше кому-нибудь, чем Ваське. Сжался Сморчок, слушает, как развиваются снаружи события. Вот загорелось, зверем завыл пострадавший, вскочил с постели, ничего не видит, не соображает, бросился к окну, вышиб стекло и сиганул на землю. И тут первый раз вдохнул, закричал на всю ночь, как зверь все равно, страшно стало.

Примолкли сразу, тишина. Вошла дежурная с лампой, увидела разбитое окно, спросила:

— Что случилось? Кто разбил окно?

Но отвечать-то некому, спят все, а иные похрапывают.

— Я спрашиваю, что случилось? — кричит дежур-

ная.— Если не ответите сейчас, за директором пошлю.

Директора не боятся, но к чему ночью директор.

— Ничего особенного,— подают из угла голос. Смирный такой голос, невинный, почти детский.— Этот, как его... Грачев, Грач, со сна перепутал, что ли, в уборную в окно выскочил.

— Паразиты! — кричит дежурная.— А бумаги кто жег? Паразиты несчастные,— повторяет дежурная, смотрит, высовывая лампу в разбитое окно. Потом идет на улицу, а в спальне начинается смешок, мелкое хихиканье. Недосмеялись, недорадовались, теперь время наступило. Когда возвращается дежурная с плачущим Грачом, снова затаиваются. Слушают, чтобы не пропустить новость.

Дежурная укладывает Грача, накрывает его и говорит:

— Бесстыжие рожи, измываться над человеком. Изверги, а не люди. Над маленьким-то изгиляться...

— Кому он нужен? — насмешливо спрашивает Колька Сыч.— Вы его спросите, кто его трогал? Грач, кто тебя трогал, а?

Голос у Кольки нахальный, самоуверенный. Он-то знает, что сможет ответить Грач. И тот тихо бормочет:

— Ни-ни-кто меня... не трогал...

— Слыхали? Никто не трогал! А кто тронет, тому я в ухо съезжу. Я ему гляделки испорчу. Я ему мошонку повыдергиваю. Слышал, Грач? Ты мне скажи, не стесняйся.

Ваське становится не по себе от голоса Сыча. Зверь, а не человек. Но у него здесь шайка. Он никого не боится, а все боятся его.

Хочет Сыч — живет при детдоме, не хочет — не живет. Исчезает на месяц-другой, и становится легче. Правда, вылезает на первый план другой какой, но Сыч быстро его к ногтю, когда вернется. Только объявиться успеет, посмотрит вокруг, как царь зверей, и все уже видит, все понимает. Кто новенький, тот валяй скорей на поклон. Испытает, карманы вывернет, в зубы даст на всякий случай. А незваному лидеру отходную сделает. При всей спальне догола разденет и покажет на окошко: иди, не возвращайся! У нас не богадельня, чтобы нищих терпеть!

Таков Сыч, не терпит рядом сильных. А Витька хоть не детдомовский, но живет рядом и с Колькой Сычом связан. Васька это знает. И сейчас подумал только, как он чуть не вляпался из-за солдата. Пожалел его, а себя не пожалел. Спит солдат в заначке и видит во сне, как Васька ему помогает. А у Васьки только и мыслей, чтобы завтра вывернуться, соврать поскладнее.

Солдат пришел да ушел, а Ваське тут жить. Если приклеют ему доносчика, ни в жизнь не отмыться. Душу из Васьки вытрясут да рассеют по Подмоскovie. Хочешь — беги, а не хочешь — так пропадешь. Сыч съест, да не он сам, а помощникам доставит удовольствие мучить и истязать Ваську.

Вот до чего довела жалость, жестокая это штука! Бьет рикошетом по жалеющему. Насмерть бьет. С тем Васька и заснул, ощущая, как он сам спит и как спят остальные. Всхлипывает во сне Грач, а ветер задувает в разбитое окно. А там, в сарае, спит солдат, и Васька во сне помнит про солдата. Путается перед ним, ловчит, желая выйти сухим из воды. Просыпается от испуга, когда наступает утро.

Васька вошел в сарай, шепотом позвал солдата. Ему никто не ответил. Сунул в лаз голову, увидел только примятое сено, а на нем двух воробьев.

Васька удивился, вздохнул. Стало легче, что солдат пропал. Может, он еще найдется, а вдруг да нет. Поднявшись на ноги и оглядывая сарай, в белых зайчиках от солнца в щелях, подумал Васька не о солдате, а о воробьях, что возились на соломе. Небось гнездо собирают, нужно их проследить. Будут тогда у Васьки летом яйца. Серенькие, невзрачные яички у воробьев, не чета сорочьим, но ведь тоже доход, а не расход. Несколько штук со скорлупой проглотишь — чувствительно.

Насчет гнезд у Васьки глаз остер. Однажды нашел куриное гнездо, а в нем двадцать шесть яиц, чуть в обморок не упал. Целое лето кормился, брал по два яйца в день, а курица еще приносила. Но кто-то выследил, зацапал, пожрал.

Васька хоть и огорчился, но понимал, что все по закону. Иметь свои заначки, чтобы никто не нашел, но отыскивать чужие — на это профессиональный нюх должен быть у детдомовца.

Он вышел из сарая и тут увидел солдата, сидящего на солнышке, за стеной.

Сразу Васька поник, проканючил:

— Здравствуйте, дяденька.

— Привет, — сказал тот. — Что, плохо спал?

— Ничего. А вы не замерзли?

— Так у меня шинель, — ответил солдат. — Знаешь поговорку, когда солдата спрашивают: тебе зимой не холодно

в шинели, а он отвечает: она у меня суконная. А летом не жарко? Так она же без подкладки...

Васька с уважением посмотрел на шинель, на солдата. То ли от утра, то ли от Васькиного свежего впечатления солдат не показался таким старым, как вчера. Глаза у него ожили, лицо потеплело. На Ваську смотрит выжидательно, но доверчиво. Хоть ничего не говорит, но Васька шкурой чувствует, что солдат воспрял духом, потому что хочет верить Ваське. А Васька весь извелся, чтобы ему наврать.

От такого противоречия, не испытываемого прежде, Ваське сделалось больно и тоскливо.

Он пробормотал:

— Вы, дяденька, подождите, я сейчас...

— Я тебе, кажется, говорил, что меня Андреем зовут,— произнес бодро солдат.— Так и зови. Ты надолго?

— Нет, только отпрошусь.

— Иди просись, я здесь посижу.

Пошел Васька к директору детдома, едва волоча ноги. Понимал, что наовсе запутался, не может соврать солдату. Выпалить бы с ходу, спрятав глаза: мол, простите, дяденька, я вчера подумал, что мы куда-то пойдем, а сегодня я понял, что мы никуда не пойдем. Сказать так — и гора с плеч. Живи себе Васька, благоденствуй, никаких больше в жизни проблем нет. Солдат сам по себе, а Васька сам по себе. А теперь... Чем дальше, тем хуже. Чувствует Васька, что хуже, инстинкт ему подсказывает. Шепчет ему инстинкт: пропадешь, мол, ты, Васька, влезешь в историю, будет тебе ой как худо... Раем покажется вся прежняя жизнь!

Не заметил Васька, как дошел до дома директора. Дом большой, с садом, с деревянным высоким крыльцом. На крыльце, прислонившись к пирамидальным столбикам, ребята ждут, когда выйдет директор Виктор Викторович после своего завтрака. Завтрак ему носят из детдомовской кухни, и для собаки носят есть. Однажды и Васька таскал щи для собаки, успел рукой гущу несколько раз со дна гребануть. Но это дело засекли. Теперь повариха от кухни до поворота проглядывает, а тут жена директора встречает.

Васька прислонился к ступеньке, стал слушать, кто о чем говорит. Давно усвоил Васька привычку внимать чужому слову, ловить, запоминать, докапываться до смысла. Одно дело — сам промышляешь, а другое — другие. За пустым словословием что-нибудь промелькнет, не удержится. Иной

раз ухватить сказанное — как заработать пайку хлеба, даже больше.

Васька сидел, как дремал все равно, а уши у него торчком стояли. Все намотал на свою память. Про Москву, где мороженое появилось, сласть какое вкусное; про рынок в Малаховке, где народу больше, а значит, и поживы. А в Люберцах кино «Багдадский вор» идет, и уже повторяют: «Вор у вора дубинку украл!» Интересно бы посмотреть, как у них там воруют. Лишний раз поучиться не грех. Вроде как обмен опытом.

Хлопнула дверь, и встал на пороге директор, высокий, худощавый человек в белой рубашке. Все разом вдруг завопили, негромко, но очень проникновенно, страдательно, в унисон:

— Отпустите, Виктор Викторович... К родным, Виктор Викторович... Давно звали, Виктор Викторович...

И Васька заныл, создавая страдательное выражение лица. Посмотришь — сразу видно, что невозможно ему не попасть к родне, которая его зовет не дозволится.

Знает Виктор Викторович, ой, наверное, догадывается, что нет у ребят никакой родни. Но играет с воспитанниками в одну игру. Кивает, делает вид, что верит им. А все потому, что экономия на бурде выходит, значит, двойная детдому польза: те, что уйдут, промышляют, а те, что послабей и промышлять не могут, бурды поболее хлебнут. И здесь политика. Никуда в наше время без политики. Ложку не опустишь без нее в затируху.

Виктор Викторович дал каждому по листку бумаги, заготовленной заранее, и все побежали, полетели, как на крыльях, к кухне, получить свои хлебные пайки. Иначе стали бы они отпрашиваться да врать про несуществующую родню. Ушли бы, да и дело с концом.

Васька доскакал быстрее всех до кухни, сунул листок в раздаточную. Всего две каракули на листке: «Разрешаю отпустить». Но каждая каракуля двести граммов хлеба весит. Отполосовали Ваське ножом кус, бросили на весы, крошек сверху добавили и протянули в окошко. Пока Васька хлеб ломал, крошки начали сыпаться, Васька их на лету ловил. Не заметил, как половину куска съел. Само проглотилось, проскользнуло. Это ведь долго ждать, когда накормят, а есть не бывает долго. Но самое обидное, когда вот так машинально съешь. Никакого самочувствия, ни зубы не подержали, ни язык не поблаженничал, не помял, не послюнявил, ни желудок, ни пищевод не обласкали...

Васька вспомнил вдруг про солдата. Разломил оставшийся кусок пополам, а крошки снова съел, не виноват же он, что столько крошек остается. Вернулся повеселевший, сказал, протягивая хлеб:

— Меня отпустили.

Солдат полулежал, подложив руки под голову и глядя в небо. Он спросил, не двинувшись:

— Куда тебя отпустили?

— Домой.

— У тебя есть дом?

— Конечно, нет,— сказал Васька. И так как солдат хлеба не видел и не брал, положил ему пайку на живот. Поскорей положил, боялся, что потом пожалеет. Свою он тут же съел.

— У нас новый директор, он не знает, у кого есть дом, а у кого нет.

— Тебе-то зачем врать? — спросил солдат.

— Как зачем? — удивился Васька.— Хлеб сразу дадут.

— А потом весь день голодный?

— Потом? — Васька прикинул.— Главное сейчас, а потом видно будет.

Солдат покачал головой, уясняя для себя эту звериную логику. Спросил, подымаясь и придерживая хлеб рукой:

— Ты ведь не наелся, да?

Васька сделал вид, что вспоминает, наелся он или нет. Сказал с сожалением:

— Меня, дядя Андрей, накормить трудно. Я обжора. Я что угодно могу съесть. Я однажды двадцать порций щей съел. Раздулся — во, как пузырь, а толку мало.

Андрей посмотрел на Ваську, и снова пришло на память сравнение с весенним воробьем. Комочек жизни, а в чем она там держится, никак не поймешь.

— Вот,— солдат протянул Ваське хлеб.— Пока ты ходил, я закусил кое-чем. Ты уж сам доедай.

— Спасибо,— сказал Васька. Взял свой хлеб и моментально проглотил, глядя с благодарностью на солдата.

Вот ведь странно, ел свой собственный хлеб, а чувство было такое, что подарили со стороны.

Как менялось при этом Васькино настроение. Только недавно он боялся и переживал. А сейчас и утро, и хороший солдат, и пайка в животе приятно тяжелит. Все кажется простым и доступным. Васька зажмурился, от пищи и тепла его совсем разморило.

Он представлял, что хорошо бы на дороге найти продуктовые карточки. Штук пять сразу. Три бы Васька на

рынке продал, а остальные себе оставил. Каждый бы день отоваривался, и житуха бы наступила! Развеселые дни! Ребята утверждают, что карточки часто теряют и кто-то их должен находить... Нужно только внимательно под ноги заглядывать. Они цветные, розовенькие, зелененькие, их издали видно. Но нет, сколько Васька ни смотрел, не находил он карточек. Паспорт находил. Кошелек пустой находил. Однажды рубль нашел мокрый. Пока рассматривал, кто-то пальцем по нему ударил, и рубль расползся пополам.

Тут сквозь Васькины грезы голос солдата проник, что пора бы, мол, и двигаться, а то утро пройдет, никого они не застанут.

— Куда двигаться? — спросил невинно Васька.

— Забыл, что ли? — удивился солдат. — К этому, кто знает... Ну, сам же вчера говорил!

— Ах, к этому... — сказал Васька. — Так его дома нет.

— А ты откуда знаешь?

— Знаю. Его трудно найти.

— Но мы с тобой его найдем, — сказал решительно солдат. — Найдем, Василий. Если только ты не испугался.

— Кто? Я? Я испугался? — вяло запротестовал Васька.

— Да нет, — раздумчиво произнес солдат, глядя прямо на Ваську. — Я как раз подумал, что ты человек смелый. Смелый и серьезный, правда?

— Конечно, — более уверенно повторил Васька. — Я смелый, в общем.

— И друг ты настоящий?

— И друг, — подтвердил Васька. Потом опомнился: — А может, потом сходим?

Но солдат был тверд.

— Нет, Василий, потом мне поздно будет. Четырнадцать часов просрочил. Ведь жизнь моя зависит... Зависит вот от этого, пойдем мы сейчас или нет.

— Вся жизнь, — вздохнул Васька, он думал про себя.

— Может, тебе трудно понять, — говорил солдат.

— Про жизнь я понимаю, дядя Андрей, — воскликнул Васька с болью. — Они ведь расправятся...

Хотел добавить: «Со мной», но не добавил.

Солдат думал про свое. Он подтвердил:

— Да, судить будут, это точно.

— Да какой суд! — вскричал Васька. — Они знают как... Страшно.

— Не страшней, Василий, когда себя теряешь, — сказал солдат. — Вот ведь вчера-то я решил, что и не человек я уже...

— Я все понимаю, дядя Андрей,— произнес Васька. Как было трудно ему произносить! — Пойдем,— сказал он, но сам сидел на месте.— Пойдем к этому человеку! Пойдем!

Словно себя уговаривал, а не солдата. А сам продолжал сидеть. Поднялся, вздыхая. И солдат встал.

Отряхнувшись от мусора, они двинулись по тропинке, ведущей к станции. Васька шел первым. Он был направляющим, как сказал солдат. А направлялся Васька прямо к Витькиному дому.

13

Они открыли калитку и вступили в узкий дворик, в углу под досками еще лежал снег. На веревке, растянутой поперек, сушилось белье. Откуда-то подкатилась под ноги черная лохматая собачонка и сильно залаяла, пятась и виляя хвостом.

— Бармалей! Бармалей! — крикнул Васька, присев на корточки. Собака сразу им поверила, стала лизать мальчику руки.

— Это Бармалей, собака такая,— сказал Васька.— Она огурцы соленые ест.

— Мы что, пришли? — спросил солдат.

Васька кивнул, с сожалением оставил собаку. Прошмыгнул под белье, постучал в окошко. Посмотрел, делая скобочкой руки, и снова постучал.

В дверях показалась молодая женщина, невысокая, в косынке.

— Теть Нюр, Витька дома?

— Зачем он тебе? — спросила женщина.

— Дело есть.

— Если дело... Заходите. Скоро он придет.

Тетя Нюра разговаривала с Васькой, а смотрела она на солдата. Ей было интересно узнать, что солдата сюда привело. Пожалуй, только из-за своего любопытства она предложила войти в дом.

Комната была чистенькая, но Васька сразу заметил, что вместо занавесок на окнах широкие бинты. И на комод бинты. Марля да бинты были кругом, как будто они могли скрыть голую бедность. А они еще больше ее выдавали.

Тетя Нюра посадила Ваську на диван, а солдату дала стул. Сама села на табуретку напротив, спросила напрямик:

— Что-то натворил мой сынок?

Васька пожал плечами, посмотрел на солдата. Тот помолчал, произнес, разводя руками:

— Не знаю, как лучше объяснить. Может, и вы поможете. У меня тут винтовку, вещмешок украли, еще документы. Я в эшелон не могу вернуться.

— Вот как,— протянула тетя Нюра.— Пьяный был? Раз оружие-то стянули?

— Нет, не пьяный,— сказал солдат.

— Нешто трезвый оружие теряет? Арестуют теперь?

— Не знаю... Наверное.

— Не наверное, а точно. Это трибунал, милый мой,— сказала тетя Нюра.

Васька слушал открыв рот. Быстро спросил:

— Что такое трибунал?

— Военный такой суд,— ответила тетя Нюра, глядя на солдата.— Видела я, как одного судили. Солдатик помоложе тебя был... Сколько тебе?

— Девятнадцать,— сказал он.

— Вон что? Я думала, старше.— Она встала, посмотрела в окошко, потом опять на солдата.— А Витька тут при чем?

— Ваш сын там... В общем, был при этом.

— Как то есть был? — спросила тетя Нюра.— Воровал, что ли?

— Я не знаю,— сказал солдат и посмотрел на Ваську. Но тот молчал.— Может, он ничего и не взял, но... Он знает, кто украл оружие.

— А вам откуда известно? — спросила опять тетя Нюра.

Солдат не ответил. Все трое теперь молчали.

Тетя Нюра вздохнула, произнесла:

— Не знаю, что вам и сказать. Витька, конечно, от рук отбился. Мужика в доме нет. Я день и ночь в госпитале, санитаркой служу. Тут не уследишь, ясное дело.

— Да,— сказал солдат.

— Я среди раненых кручусь, у самой мужик на фронте. А к нам все как из мясорубки, куски тела, а не люди идут... А я уж, грешным-то делом, и подумаю иногда: хоть бы с одной ногой или с одной рукой пришел. Все-таки мужик, если он в дому. От него и запах в горнице другой... А Витьке я уши надеру, как он вернется.

— Не надо драть,— попросил солдат.— Может, он не виноват ни в чем.

— Как же не виноват? А кто ружье стащил?

— Я думаю, что это не Витька.— Солдат посмотрел на Ваську, с упреком посмотрел.

А Васька, озираясь по сторонам, скучно пробормотал:

— Там и другие были...

— Постарше Витьки?— спросила тетя Нюра Ваську.

— Угу.

— Шайка, что ли?

— Не знаю.

— Ну, я узнаю. Я все узнаю.

Она ушла и почти сразу вернулась с тарелкой в руках. В тарелке лежала белая лепешка, разрезанная по радиусу на узкие дольки.

— Попробуйте,— предложила тетя Нюра.— А я сейчас чаю поставлю. Да попробуйте, не бойтесь, это из казеинового клея. Тут, на авиационном складе, достаем. Отмачиваем да в тарелках на холоде оставляем. Он как сыр на вкус.

Тетя Нюра засмеялась, добавила:

— Голь на выдумки хитра. Я Витьке утром говорю: сходи на рынок, продай по червонцу за кусочек, а на деньки картошки купи. У нас картошки нет. Праздник ведь на носу, Первое мая. А в доме пусто, с какой стороны ни поглядишь.

Тут слышно стало, как залаял Бармалей. Солдат и Васька одновременно привстали. Но это был не Витька. Какая-то женщина постучала в окно, тетя Нюра вышла к ней. Но в дом не повела, а стала негромко переговариваться в прихожей. Было слышно, как тетя Нюра несколько раз сказала: «Поможем, поможем... Дай срок». А женщина ей отвечала: «Да сроку-то мало осталось. Куда же мне рожать!» А тетя Нюра опять ей негромко: «Сульфидин пропал. Будет, и все сделаем. Забеги завтра...»

— Будем ждать? — спросил солдат Ваську.

— Не знаю.

Оба взяли по кусочку казеинового сыра. Васька проглотил, не заметил вкуса, взял и опять проглотил. Решил взять последний раз и пожалел, что такие маленькие кусочки. Небось Витька каждый день по тарелке сыра жрет.

Васька не завидовал семейным, каждому, как говорят, свое. Но семейным живется в войну сытнее, это Васька знал. Тут во дворе опять гавкнул Бармалей, слышался голос Витьки. Тетя Нюра о чем-то спрашивала, он отвечал. Голоса стали громче, и тетя Нюра закричала, и Витька закричал. Вместе они появились в комнате. Витька, не поздоровавшись, пришел к комоду и положил деньги.

Быстро и враждебно посмотрел на Ваську, солдата он как будто не видел. Тетя Нюра стояла в дверях, руки в боки, не сводила глаз с сына.

— Ну? — спросила громко. — Скажешь?

— Чего вы ко мне пристали! — завопил Витька. Он был вообще истерик. Васька это знал. — Ничего не видел! Ничего не брал!

— Брал, — сказала тетя Нюра. Она положила на стол перед солдатиком фонарик. — Ваш?

Солдат взял фонарик в руки, осторожно повертел его. Произнес почти пораженно:

— Мой.

— В кармане нашла, — говорила тетя Нюра. И вдруг закричала на сына, шагнув к нему: — Так что! Тебя на людях выдрать?

Даже Ваське стало страшно от ее крика. Никто так на Ваську не кричал. Уж бог с ней, с семейной сытостью, ни за какие бы казеиновые сыры не продал Васька своей свободы.

Витька задрожал, заплакал, забормотал сквозь слезы, что он ничего не брал, кроме фонарика. Все остальное забрали Купец и Длинный, а он не брал...

— Документы кто взял? — спросил солдат негромко.

— Не брал... Не я... — как-то пронзительно неприятно завопил Витька. — Вот Васька тоже видел, он компас получил!

— Ладно, ладно, — произнес солдат, поморщившись. На Ваську он и не взглянул. — Ты можешь показать, где живут эти... двое?

Витька взвыл еще пуще.

— Можешь или не можешь? — спросила тетя Нюра. — Прекрати вой и говори нормально! Ну! — Она крикнула «ну», и Васька снова вздрогнул, а Витька сразу замолчал. Следя за руками матери, членораздельно произнес:

— Купец у магазина живет, зеленый дом, а другого я не знаю.

— Зеленый дом? — повторил солдат и встал. — Как его зовут, твоего Купца?

— Сенькой, — отвечал Витька, не глядя на солдата.

— Ладно, — сказал солдат. — Если не врешь...

Он не оглядываясь вышел во двор, в калитку. Васька побежал за ним. На ходу успел оглянуться и увидел, что Витька выскочил вслед и показывает ему кулак.

Некоторое время солдат шел впереди, в его движениях появилась уверенность. Васька решил, что не оборачивается

и не заговаривает солдат из-за компаса. Но тот будто услышал мысли Васьки, приостановился, поджидая его.

— Вот что, Василий,— сказал солдат.— Теперь гляди в оба, нет ли патруля. Знаешь, какой бывает патруль?

— Знаю,— ответил Васька.— Тебя могут схватить?

— Могут. Я теперь, Василий, как дезертир все равно. Никогда бы не смог представить, что буду скрываться.

— А когда винтовку найдешь, не будешь скрываться?

— Не буду. Только бы найти!

14

Некоторое время они шагали молча и вышли на окраинную улицу дачного типа. На дороге копались в песке куры. Кое-где жгли весенний мусор: старую ботву, листья, хворост, и горьковатый серый дым витал над огородами.

— Я не за оружие борюсь, Василий,— снова начал солдат. Было видно, что он не перестает думать об этом.— И не за документы. Я за себя борюсь. Потому что я уронил себя. Кто же должен меня подымать, как не я сам... Ты понял?

Васька кивнул, спросил:

— Дядя Андрей, хотите, что-то покажу?

Васька полез в потаенное место, достал кусок стальной ножовки, заточенной на конце.

— Вот!

Солдат повертел обломок, присвистнул, глядя строго на Ваську.

— Выбрось ты эту штуковину, Василий,— посоветовал он.— Опасная игрушка. Лучше я сам закину...

Васька вцепился в руку солдата, крикнул:

— Нет! Нет! Отдай!

— Зачем она тебе? — спросил тот. Подержал на ладони и протянул Ваське. Васька засунул обломок в штаны.

— Нужно. Вы же сами сказали, что без оружия мужчина не солдат.

— Я, Василий, про фронт говорил.

— А я про тыл,— отрезал Васька сердито.

Но долго злиться он не умел. Через несколько шагов спросил:

— Дядя Андрей, а вы «катюшу» видели?

— Нет, не видел.

— Говорят, их никто не видел, потому что их возят под брезентом. У них там мина лежит под машиной, как только фашисты окружают и захотят узнать про «катюшу», наши кнопку нажмут и взорвут ее.

— Смотри-ка,— произнес солдат.— Какие у тебя сведения.

— На заводе их делают в разных местах, и никто не знает, что это «катюша». Дядя Андрей, сказать вам один секрет?

— Ну?

— «Катюши» делают на нашем Ухтомском заводе.

— Ты-то откуда знаешь? — спросил солдат, усмехнувшись.

— Так все знают...

Они остановились около магазина. Здесь была длинная очередь: женщины, старухи, дети.

— Что выбросили? — спросил Васька.

Одна женщина ответила:

— Пока ничего. Говорят, мясные талоны будут селедкой отоваривать. С утра ждем, а ничего нет.

— Будет,— уверенно сказал Васька.— Это же ОРС, а ОРС знаете как расшифровывается? Обеспечь раньше себя, обеспечь родственников своих, обеспечь родственников сослуживцев, а остальное рабочим и служащим.

В очереди засмеялись, завздыхали, стали вспоминать всякие случаи, но Васька не дослушал, побежал вслед за солдатом. Тот уже стучался в дом, который был зеленого цвета.

Долго им не открывали, хотя и Васька и солдат видели, что в окне мелькают какие-то лица.

— Открывай! — крикнул им Васька.— Чего тянете? Испугались?

— Почему испугались? — спросил солдат.

— Они думают, что вы монтер,— сказал Васька.

— Ну и что?

— А у них электроплитки: штрафуют. Тетя Нюра однажды увидела монтера и спрятала плитку в комод. А монтер проверил счетчик, а потом и говорит: «Чего это у вас, гражданка, из комода дым идет?» Открыли, а там белье горит...

Загремел засов, защелкали замки, щеколды, дверь отворилась. На пороге встала крупная женщина, широкое простоватое лицо, волосы комьями свисали вниз. Тетка Акулина, Акулиха — так ее звали.

Глядя от порога сверху вниз, она громко произнесла:

— Чего ломитесь? Невмоготу? Принесли что-нибудь?

— Здравствуйте,— сказал солдат.— Нам Сеня нужен.

— Какой такой Сеня? — спросила Акулиха, прищуриваясь.

— Ну, Сеня...— Солдат пожал плечами и оглянулся на Ваську.

— Сенька Купец,— подсказал Васька.— А вы его мать? Вы на него похожи.

— Это он на меня похож,— отрезала Акулиха.— Чего надо-то?

— Поговорить,— сказал солдат.

— Ну, говорите. Я слушаю.

— Мы бы хотели с ним... лично...

— С ним? Нет уж, сперва лично со мной.

Акулиха сделала шаг вперед и прикрыла за собой дверь. Васька смотрел из-за спины солдата. Подобных стервозных баб он встречал на рынке, такой попадешься, убьет на месте.

Васька дернул солдата за рукав, но тот не услышал, а может, не захотел слушать. Он стал рассказывать женщине про кражу вещей и оружия, про свое положение.

— Ну и что? — спросила Акулиха.— Вы на что намекаете, гражданин?

— Я не намекаю,— сказал солдат.— Ваш Сеня там был.

— У вас есть доказательства?

— Его видели,— солдат оглянулся на Ваську, и Акулиха посмотрела на Ваську и закричала:

— Кто же мог его видеть? Этот сопляк, что ли? Я его тоже знаю! Ну, подожди! Сенька придет, он тебе устроит желтую жизнь! Он тебе разобъяснит, как доносить на него!

— Не кричите,— громко оборвал солдат.— Вы не имеете права на мальчика кричать, а тем более запугивать.

Акулиха сплюнула и вытерла плевком ногой. Спокойно произнесла:

— Я так на ваши слова, поняли? Потеряли оружие, теперь ищите виновных? Не выйдет у вас ничего. А если станете приставать, то мы вас в милицию сведем да проверим, какой вы солдат без оружия и куда вы его пропили... А теперь угрожаете мирному населению...

Солдат смотрел на нее, широко открыв глаза. Потом, будто опомнившись, махнул рукой, пробормотал:

— Вот дура.

Он повернулся, пошел не спеша от дома, в то время как в спину ему раздавался громкий крик Акулихи:

— Сам дурак! От дурака слышу! Все потерял, какой же ты не дурак! Вчерашний день ищешь! А я вот крикну участкового, может, и не солдат, и не дурак, а диверсант переодетый!

Васька сплюнул на дорожку, чтобы хоть чем-нибудь досадить противной тетке, и пошел вслед за солдатом. Нагнал его у магазина и сказал:

— Не бойтесь, дядя Андрей, она не позовет милицию! Тьфу, противная баба! Акулиха зубастая!

— Ладно тебе... баба. Где ты научился выражаться?

— А как ее назвать, если она орет как баба? — спросил Васька. — Курица не птица, а баба не человек!

Солдат молчал.

— Ясное дело, — продолжал Васька. — Купца дома нет. Что будем делать, дядя Андрей?

Тот пожал плечами:

— Посидим подождем?

— А сколько ждать? Он ведь может вообще не прийти?

Солдат посмотрел на Ваську.

— Ты вот что, Василий... Иди-ка домой. В детдоме могут забеспокоиться, что ты надолго пропал. А я сам здесь покараулю.

Васька усиленно замотал головой:

— Не-е, обо мне никто не будет беспокоиться. Я сам о себе всегда беспокоюсь. Потом, меня отпустили.

— У тебя родные какие есть? — спросил солдат, присаживаясь на обочину дороги. Васька продолжал стоять.

— У меня никогда никого не было. Я из детприемника сюда поступил.

Солдат не знал, что такое детприемник, но догадался: туда относят маленьких детишек. А вот кто относит и почему относит? Их бы расстреливать, этих сучек, которые отказываются от своих детей. Живет Васька и не понимает, что можно жить иначе, что существует родительская ласка, забота, материнское тепло. А где-то тут рядом мать живет, не знает, а может, и знать не хочет, что в этой беспризорной толпе ее оборванный сын бегает... Маленький звереныш, но и человек.

Солдат отчего-то закашлялся, отвернулся. А Васька увидел, как из калитки, где они только что были, вышла девочка в красненьком пальто, в беретике, сзади две косички и большие банты. Васька сорвался с места, на ходу крикнул:

— Оксана! Оксана!

Девочка оглянулась, посмотрела внимательно на Ваську, очень удивилась.

— Здравствуй, Вася. Что ты здесь стоишь?

— У меня дела, — сказал Васька, подходя к девочке.

— А почему тебя не было на уроке? Смотри, тебя могут исключить.

Васька оглянулся, не слышал ли солдат всего сказанного. К счастью, не слышал. Васька законно считал, что не следует солдату знать о всяких временных Васькиных неудачах, в том числе со школой. Понизив голос, Васька спросил:

— Ты что, Оксан, здесь живешь?

— Меня зовут не Оксана,— поправила девочка.— Меня зовут Ксана. Ну, Ксения, понимаешь?

— Какая разница,— возразил Васька.— Меня вот хоть чугуном назови, только в печку не ставь.

Девочка засмеялась, и Васька засмеялся. Они стояли посреди улицы и смотрели друг на друга. Васька приметил эту девочку, когда она пришла в класс. Но сам бы он к ней не подошел. Во-первых, она одевалась как барышня, а детдомовские — кто во что горазд... Во-вторых, они вообще не дружили с домашними. У тех всех своя жизнь, родня, хозяйство, дом... Их кто-то встречает, кто-то провожает, кладет в газетку хлеб, картошку, а то и конфету... Все у них не как у людей, и Васька этой жизни не понимал, не хотел понимать.

Вот даже отношение к еде. Васька навсегда запомнил, как одна девочка, не Оксана, держала в руке хлеб, намазанный повидлом, и вдруг взяла да бросила в окно. Васька чуть сам не упал вслед за хлебом. Он бы тут же сбегал, нашел его, но был урок. И это был мучительный для Васьки урок, потому что он не слушал, а думал о хлебе, намазанном повидлом...

Васька нахохлился, совсем по-другому и хмуро спросил:

— Эта, которая пасть на всю улицу раззявила... Твоя мать?

Девочка перестала улыбаться. Тоже холодно спросила:

— Кто раззявил? Я ничего не слышала.

— Ну, с вашего дома! Акула которая!

— А-а,— произнесла Ксана.— Тетя Акулина, наша хозяйка.

— Какая хозяйка?

— Мы у нее снимаем площадь,— объяснила Ксана.— Мы ведь беженцы, из Белоруссии, а там сейчас немцы.

— Вот как,— сказал Васька и посочувствовал Ксане. У него и тон и обращение сразу переменились.— Я думал, что ты как другие... А ты что, с матерью приехала?

Ксана кивнула, простив Ваське всякие грубости, предложила:

— Ты приходи, если захочешь. У меня мама портниха, она тебе одежду зашьет.

— Зачем мне зашивать? — нахмурясь спросил Васька. — Я и сам шить умею. Ты лучше скажи: где сейчас Сенька?

Ксана посмотрела прямо в Васькино лицо, строго спросила:

— Ты с ним водишься?

— Да нет, не вожусь. Он мне, понимаешь, нужен... Для одного дела. Но это секрет.

Ксана сделала к Ваське шаг и оказалась так близко, что он услышал странный тонкий запах, исходивший от нее, увидел крупные веснушки на переносице, открытые серые глаза.

— Знаешь, он ведь жулик, у него, говорят, шайка. А Акулина ихняя спекулирует на рынке. Мы их боимся. Мы бы давно от них перешли, но мы задолжали им денег за квартиру. А теперь мы боимся... Мама говорит: «Вдруг прирежут».

— Ты не бойся, — тоже негромко сказал Васька. — Если что, я их быстро к ногтю!

— Ты?

— А что? Я ведь не один!

Васька оглянулся на солдата и сейчас только заметил, что он делает ему призывные знаки. Васька заторопился. Быстро спросил:

— Значит, Акула — спекулянтка?

— Она продает всякое белье, которое ей приносят. А Сенька вместе с ней весь день торчит на барахолке. Я видела, как он уходил с каким-то свертком...

— Ладно. Спасибо, — сказал Васька. — Встретимся в школе.

— Ты лучше с ним не связывайся, он убить может, — предупредила Ксана, глядя на Ваську. Произнесла так, будто она давно знала Ваську, а теперь переживала за его жизнь.

Ваське стало приятно, что за него могут так переживать. Впервые в жизни делал Васька настоящее дело, и впервые за него переживали.

С какой-то лихостью, которая не могла не поразить Ксану, он произнес:

— Знаешь, как говорят... Двум смертям не бывать, а одной не миновать! До встречи!

Повернувшись и чувствуя ее очарованный взгляд, Васька героем шел по улице, к ожидавшему его солдату.

Время клонилось к обеду. Солнце ласкало землю, над огородами стояло волнистое марево.

Солдат задумчиво задрал голову, поскреб в светлых волосах. Произнес с сомнением:

— Опасно на рынок-то. Патруль там...

— Мы спрячемся, — сказал Васька. — Там в толпе как в лесу.

— Так-то оно так, да не совсем.

— Тогда я один пойду! — воскликнул Васька.

— Один? — спросил солдат и посмотрел на Ваську. Он подумал: «Нет, Василий, один ты пропадешь. Если раньше не пропадал, так и дела такого у тебя не было, чтобы бороться с целой шайкой. Нам теперь, Василий, надо быть вместе. Вместе мы много сильнее. Вот и я бы без тебя сгинул бы, наверное. Я без тебя ноль. А ты хоть и единица, но в одиночку тоже невесть какая. Вот и выходит, что только мы вдвоем и можем жить».

Так солдат размышлял. Вслух он произнес:

— Пойдем, пожалуй.

Они миновали окраинные улицы, мимо текстильной фабрики, мимо керосиновой лавки выскочили прямо к рынку. Трудно было сказать, где кончался и где начинался этот рынок. Толпа заполняла бывшее узкое пространство люберецкого рынка, а также площадь перед станцией и прилегающие улицы, вплоть до бани.

Солдат смотрел вокруг с любопытством, но и с некоторой растерянностью, в то время как Васька был тут как рыба в воде. Он довел солдата до тихого, насколько это было возможно в толпе, закутка, между стеной дома и пивной, сказал:

— Стой здесь, дальше я сам пойду. Один я быстрее найду Купца.

Васька ввинтился в толпу как вьюнок все равно. Быстро, ловко скользил между группами и одиночками, у иных под руками ухитрялся пролазить и одновременно успевал что-то углядеть, пощупать, даже понюхать. Но двигался он вперед.

Какое богатство был военный рынок. Вся человеческая бедность, вынесенная напоказ, создавала странную иллюзию обилия. Все тут возможно встретить: зажигалки, одеколон, бритвы, плоскогубцы, книги, гвозди, пуговицы, штаны, абажур, глиняную копилку-кошку с узкой щелью на загривке.

Кто-то кому-то пояснял, что означает номер сверху консервной банки (не рыбная, какая же она рыбная, мясная эта банка, чудак!), кто-то жег спичкой нитку на шерстяном отрезе и совал в нос покупателю, доказывая, что шерсть есть шерсть, а не что-нибудь иное. «Слышь, завоняло? То-то же!» И Васька сунул нос, вынырнув из-под руки, и точно, воняло, как паленым от собаки.

— Отрез из собачьей шерсти! — сказал он мимоходом, но его тотчас шуганули.

Старикашка кричал громко: «Мастика для бритвы! Мастика для бритвы! Мастика для бритвы! Женщины любят бритых да молодых!» Васька посмотрел на старика и крикнул на ходу:

— Сам-то чего небритый?

Старик тут же среагировал:

— Сам бы брился, да других надо уважать! Покупайте, молодой человек!

— Не отросло еще, — сказал Васька.

Старик подмигнул, восклицая:

— Вострая бритва везде сгодится!

Но Васька уже его не слышал, он уставился на чьи-то руки, державшие часы. Спорили двое, и хозяин часов говорил: «Да хошь, я их об землю сейчас? Хошь? Ты вот скажи, что хошь, и я их об землю!»

— Зачем их об землю? — спросил покупатель.

— Как зачем? Ты говоришь, мол, часы негодные или плохие? А я говорю, что лучше этих часов сейчас на рынке нет и не было. Вот шмякну об землю, и посмотрим. Какие они...

— Я не говорю, что они плохие!

— Ага, значит, думаешь! А ты не думай, это тебе не штамповка какая-нибудь, сам у фрица с руки снял!

Васька постоял, подождал немного, а вдруг тот, что с часами, действительно возьмет да шмякнет. Но он продолжал хвалиться, и Васька разочарованно отошел, размышляя над тем, что купля-продажа это не столько сама вещь, сколько разговор вокруг нее, и красноречие здесь, а попросту язык, и есть самая большая ценность. Уговоришь — значит, продашь. Голод заставит быть разговорчивым.

Васька уперся глазами в двух сидящих у ящика людей. Один из них играл в «петельку», другой — в «три карты». Ну, «петельку» Васька знал. Там, куда ни суй палец, пусто будет. И все это знали. Поэтому игра шла

по дешевке, по рублю. А вот карты... Тут, как говорят, ловкость рук и никакого мошенства...

Васька, затаив дыхание, смотрел, как пьяный дядька раскладывал у всех на виду карты, приговаривая для любопытных, собравшихся вокруг: «Игра простая, и карта такая, вот тебе туз, а вот король... Попадешь на туза, не возьмешь ни фи́га, а попадешь на короля, сто рублей с меня!.. Кладу на виду!»

Васька точно угадал, где лег король, и все вокруг видели, как и Васька, что король лег с левого края. Но стоило кому-нибудь показать на карту, как дядька кричал: «Червонец сперва на стол!» Вот тут, как догадался Васька, и есть самый главный фокус в игре. Червонец-то не близко, за ним лезть надо. Кто теперь близко прячет? Только человек руку отпустил от карты да двумя руками за бумажником полез, ан карта там уже другая. Отпусти руку — и все тут, нет короля, как не было. Положил человек червонец, переворачивает: не та! А все кругом хохочут! Не первый такой ты дурачок... Не первый и не последний!

Дядька кое-как сует смятый червонец, а там в кармане у него другие торчат... Эх, словно зачесалась у Васьки рука, пальцы зазудило. Но близко локоток, да не укусишь. Знает Васька по опыту, что вокруг картежника выются свои, разжигают страсти, интересуют толпу, сами для виду играют. Ловят простачков в свои сети. Уж дядька недосмотрит, так эти углядят, прибьют.

Поднял Васька глаза, а рядом Купец стоит. Тоже в карты уставился. Норовит не заплатя угадать.

— Эй,— сказал Васька,— чего продаешь? Это что, машинка для стрижки волос?

Купец только рыжими глазами повел на Ваську, буркнул недовольно:

— Не лапай, не купишь.

— А мне она и не нужна,— сказал Васька.— Тут один бывший парикмахер искал... Мол, машинка ему нужна...

Купец перестал шарить глазами по картам, обратился к Ваське, недоверие на лице. Не доверяет, а отпустить Ваську боится.

— Кто такой? — спрашивает.— Покажи!

Васька посмотрел в лицо Купца, конопатый, глаза, как у лягушки, широко расставлены, а в них плохо скрытая жадность. И губы толстые, шлеп-шлеп... В детдоме бы его сразу нарекли «губатым».

— Пошли,— сказал Васька и полез снова в толпу.

Издаലെка увишел солдата, ткнул Купца в его сторону:

— Он!

— Солдат, что ли?

— Ага. Интересовался твоей машинкой!

Только подошел Купец к солдату, как Васька его сзади обхватил и закричал солдату:

— Это он, он! Это Купец тот! Держи!

Купец не успел и среагировать, как солдат взял его под руку, интересно так взял, что и не вырвешься и даже не пошевелишься: больно будет.

— Чего тебе? Чего хватаешь? — занял Купец сразу. И голос стал хлипкий, противный.

Солдат посмотрел на него и, задвигая поглубже в простенок, спросил негромко:

— Слушай, Сенька, у меня к тебе такой вопрос. Ты у меня винтовку брал? И вещмешок? И документы?

Купец даже нить перестал, глаза вывернулись наизнанку. Пытался что-то сообразить и только губами безмолвно шлепал. Васька стоял на выходе из простенка и знал, что если Купец рванется и ему удастся освободиться, то Васька ляжет ему под ноги. А солдат поднадавил на руку, так слегка надавил, но Сенька застонал от боли.

— Брал или нет?

— Нет,— сказал Сенька.

— А если вспомнить.

— Нет, не брал я.

— А если еще вспомнить?

— Клянусь, не брал!

Солдат оглянулся вокруг. Проходили мимо люди, некоторые обращали внимание. Понял солдат, что ничего из Сеньки таким путем не вытянешь. Да и времени нет с ним возиться. Не в лесу, на рынке. Тут у Купца знакомых блатяг видимо-невидимо. Один углядит, и все пропало.

Солдат опять оглянулся, велел Ваське остаться тут, а сам повел Купца в сторону. Сперва держал, как прежде, за руку, а потом и держать перестал. Уговаривал, внушал, а Купец все мотал головой.

Васька смотрел издаലെка, но уяснил уже, что ничего не скажет Купец. Его не напугаешь, он стоеросовый! Весь в свою маму Акулу. От коровы теленок, а от свиньи поросенок! Васька увишел, что солдат снял часы, посмотрел время, что-то прикидывая, и показывает Купцу. Тот зашлепал губами, впился в них, глаз не сводит. А солдат ему прямо в руки. На, мол, смотри. Схватил тот, к уху прижал, а лобик у него узкий, как у обезьяны...

Васька смотрит на Купца, а Купец то на часы, то на солдата. Пытается что-то сообразить. А что соображать, видно и так, что Сенька Купец продажный. Он за деньги мать родную продаст и себя в придачу.

Увидел Васька, как Купец торопливо засунул часы в нагрудный карман, извлек огрызок карандаша и тут же на пачке «Беломора» стал что-то писать, карандаш он слюнявил во рту. А Васька с яростью, так что горло перехватило, подумал: жаба! Сказать, крикнуть не мог: боялся испортить дело.

Солдат принял написанное, прочел, сунул в карман. Уже громко произнес:

— Ну, смотри, Купец! Если тут насочинял!

— Во, клянусь,— забормотал тот, бледнея и отодвигаясь на всякий случай в толпу. Может, он испугался, что часы заберут обратно.— Что я, враг себе, что ли. Договор дороже денег...

— Для тебя-то? — без улыбки спросил солдат. Брезгливо отвернулся, показывая, что разговор кончен и ему противно стоять рядом.

— Жаба,— сказал Васька, вложив всю свою ненависть.— Ты, Купец, жаба!

Тот зыркнул на Ваську, но никак не среагировал, а сразу влез в толпу и пропал. Ясное дело, дал ходу подальше. А солдат продолжал стоять как раньше, словно забыв, где он находится.

— Дядя Андрей,— позвал Васька.

Тот обернулся, незрячим оком окинул рынок, Ваську. Медленно дошел до стены, сел на завалинку.

— Подожди, Василий... Сейчас, что-то устал.

Дышал он тяжело, будто долго работал. Щеки опали, и глаза ушли. Посмотрел сбоку Васька, как жизнь измочалила человека. Его накормить надо, вот что. Без жратвы и без сил он долго не протянет.

— Посиди, я сейчас,— сказал Васька и полез в толпу.

Где ужом, а где ласточкой пролез, проскользнул, пронырнул Васька — напрямки к картежному барыге. У того по-прежнему червонцы смятой горстью из кармана торчат. А он, видать, поддал еще, шумит, карты местами перекладывает.

Васька пристально посмотрел на него издалека, точно измерял глазами или внюшал что-то. Притерся сбоку, вперился в карты, а руки сделали остальное. За угол двумя пальцами, как ножницами, потянул бумажку на себя. Тише дуновения ветра было это движение. В лице оживленное

внимание к картам, в теле немота и напряженность в каждой отдельной мышце, в ногах — пружинистый, готовый к прыжку рывок. А руки сами по себе, работают, знают, как делать дела. Тончайшая, ювелирная работа, если по достоинству оценить. Указательный и средний по миллиметру тянут, а другие пальцы на подхвате, в малый комок сворачивают, в рукав продвигают. Уж готово, да не совсем, паузу требуется выдержать. Постоял Васька, на небо поглядел, все-то чувствуя вокруг, — и крабом в щель, в толпу. Вот теперь — все.

Вынул червонец, оглядел с двух сторон, разгладил, потом свернул вчетверо. Положил в левую ладонь и свободно, как гуляя, к барыге-картежнику подошел. Стоял, сжав червонец в руке, караулил.

— Игра простая, карта золотая! Вот тебе туз, вот тебе король!

Васька смотрел не моргнув, ел глазами карты, засек намертво, что король лег с правой стороны. Шмякнул на него рукой, к месту прижал: «Тут!»

Барыга захохотал, и все кругом оскалились.

— Деньги на бочку! — произнес, будто отрыгнул сивухой, показывая желтые, прокуренные зубы.

Васька правой вцепился в карту, а левой протянул червонец — вот, мол, держи.

Тут барыга улыбку стер, в упор взглянул на Ваську, потягивая носом. Нагло прошипел:

— Проиграешь, цуцик! Не советую!

— А мне, дядя, денег не жалко, — овечкой смотрит Васька, глаза доверчивые, как у дурачка. Барыга и тот усомнился: идиотик, что ли, он, влез на мою голову. Если идиотик, недоношенный, отцеплю.

Чувствует Васька, как сзади поднадавили, кто-то свой старается, гнет Ваську, мешает ему. Хотел оглянуться, а тут карта сама собой, как живая, поползла из-под пальца. Васька второй рукой вцепился. Вот-вот упустит короля.

— Мал еще! — как закричит барыга. — В школу ходить надо, а не на рынке играть!

Знает, куда бить. Но не на таковского напал. Васька за себя постоять может. Вперился в zenки барыги, руками карту держит, а ртом работает, кричит как можно сильнее, чтобы скандалом толпу привлечь.

— Ты, дяденька, на сына кричи, а я сам свои гроши зарабатываю. Ты по росту не смотри, мой червонец ничуть не хуже, чем твой. Ты прямо, дяденька, скажи, почему я не могу играть!

— Пусть играет, — сказали в толпе. — Что тебе, чужих денег жалко?

Откуда-то инвалид появился с пустым правым рукавом. Посмотрел на карты, на Ваську, спросил басом:

— Чего ты? Дай мальчику сыграть. Не все равно: он или я? Ну, считай, что моя карта.

— Сам и плати! — сказал зло барыга.

— Заплачу, — произнес спокойно инвалид. — Держи, мальчик, свою карту, поскольку у нас три руки на двоих. Сейчас мы его потрясем немного...

В толпе засмеялись. Васька чувствовал: теперь все на их стороне. Инвалид положил свой червонец, а Васькин забрал.

— Переворачивай, мальчуган! Посмотрим, какое наше счастье!

— Переворачивай! — крикнули нетерпеливые.

Но странно, и барыга повеселел, по-свойски крикнул инвалиду:

— Не боишься? Хочешь, я сумму удвою? А утрою? А? — и захохотал принужденно. Васька почувствовал, как играет барыга, но не мог смекнуть, к чему это. Пугает ли, ва-банк пошел? Давит инвалиду на психику. Расчет-то верный, у фронтового человека равновесия не может быть. Разве что выдержка, и то до поры. Вот барыга и жмет на эту самую выдержку, вывести из себя пытается.

— На тыщу, — орет, — играем! Как?

Толпа замерла. И Васька замер. Вот до чего дошло, на его карту ставят целую тыщу. Глаза сошлись на инвалиде, и Васька смотрит, но жалобно смотрит, испугался. За свои бы, наверное, нет, но деньги-то чужие, а карта Васькина!

Пошевелил инвалид губами, состояние свое прикидывал.

Вдруг махнул единственной рукой:

— Валяй на тыщу!

Ахнули все. Круг придвинулся, задние на цыпочки встали. А барыга руку сверху Васькиной положил, чтобы, значит, не торопился.

— Не боишься? — зубы оскалил радостно.

— А чего тут бояться, — смеется тоже инвалид. — Сотня, тыща... это не жизнь... А жизнь — не игра.

— У кого не игра, а у кого — игра, — с вызовом бросил барыга.

У Васьки пальцы онемели держать карту. Уж сам не знает, что он держит, может, под рукой и карты ника-

кой нет. Чего вдруг барыга развеселился, разошелся? Как правоту чувствует?

— Хватит, переворачивай,— кричат в толпе.

— Переворачивай,— говорит инвалид.

— Ладно,— сказал барыга,— не буду на тыщу. Не хочу грабить героя-бойца, а червонец — возьму, чтобы не лез на рожон, в лобовую атаку.

Снял он свою руку, и Васька со страхом перевернул. Все подтянулись, чтобы посмотреть: король! «Вот, нагленок, короля держал, а если бы вправду на тыщу! Хватай деньги и тикай, пока не отняли!»

Инвалид хлопнул дружелюбно Ваську по спине: мол, бери, твои — и отошел. Видать, торопился. Стали все расходиться. А барыга считал червонцы медленно, поглядывая по сторонам, положил сто рублей Ваське в ладонь, но руку не отпустил:

— У нас так, милый, не водится, играй еще!

Васька и сам сообразил: не отпустит. Ткнул пальцем заведомо другую карту, отдал червонец и тут же смотался. На Васькино счастье, кто-то подвернулся играть.

Тут же купил Васька полбуханки хлеба, пять вареных картофелин и огромный, бурого цвета соленый огурец. Прижимая все к груди, пролез к стене, где недавно оставил солдата, и не нашел его. Быстро посмотрел во все стороны и тут только увидел в спину, что уходит в сторону вокзала дядя Андрей, а рядом с ним еще два военных с красными повязками на рукавах.

Хотел Васька побежать следом, да ноги отнялись. Сел он на ту самую завалинку, где недавно солдат сидел, хлеб положил, картошку, огурец. Посмотрел на свою провизию, слезы потекли из глаз. Из-за них, из-за картошки да хлеба, потерял он дядю Андрея. Оставил одного, хоть обещал беречь. А теперь его забрали, навсегда увели. Остался Васька один — на всю его жизнь.

16

Андрей не заметил, как подошли к нему двое.

— Почему не приветствуете, товарищ красноармеец? Андрей вскочил, отдал честь.

— Документы,— сказал один.

В глазах у Андрея, оттого ли, что встал, или от общей усталости и от голода, все померкло, покрылось серой пеленой. Он провел рукой по глазам, встряхнул головой, но увидел солдат как издалека.

Многажды за эти сутки он представлял, как его возьмут, как поведут... Было это страшно. От одной мысли холодело в животе. А теперь вот они стояли, как представлялось, и только не было страшно. Он пережил раньше свой страх, оставалась одна пустота.

Андрей вздрогнул, посмотрел на лицо солдата. Вспомнил, что давным-давно, в непонятные времена, рыжий красавец ефрейтор просил у него закурить. А тот улыбался во весь рот, конопатины на носу светились.

Андрей натянуто улыбнулся.

— Свой,— сказал рыжий ефрейтор длинному напарнику.— Я у него проверял. Как дышится в родном городе? — спросил он Андрея.

— Да ничего,— ответил Андрей каменно.

— Девки небось заездили?

Они прошли несколько шагов вперед, и рыжий что-то спрашивал, Андрей отвечал. Был он как во сне. Не верилось, что могло так гладко пройти. Сейчас поговорят, пошутят, а потом дружелюбно предложат: «Айда-ка, парень, с нами. Что мы, не видим, что ты без оружия и без документов. Пойдем, пойдем...»

Сам Андрей вдруг предложил:

— Пойдем? — Он решил, что так станет легче. Он честно все расскажет, не будет носить свою тяжесть. Что бы там ни случилось, но хуже, чем сейчас, не будет.

— Иди, иди,— воскликнул рыжий.— У тебя время — золото! — Протянул руку, бросил мимоходом, незначаше: — Не забывайся, хоть в родном городе... Всему свой срок!

Андрея мгновенно мысль сквозная прострелила: «Вот что! Запомнил рыжий про суточную увольнительную. Выручил, потому что решил, что прогулял он лишнее. Тоже грех, но не столь велик, каков был на самом деле».

Андрей как выдохнул:

— Спасибо, друг!

— Не за что,— сказал рыжий, козырнув. Подмигивая желтым пронизательным глазом, пропел весело: — «Вспомню я пехоту, и родную роту, и тебя за то, что дал мне закурить...»

Разошлись, чуть полегчало. Сейчас только подумал солдат про Ваську, стал проталкиваться к старому месту. За чужой толпой увидел: ссутулившись, сидит мальчик на завалинке, как потерянный, глаза руками трет.

Сел солдат рядом, взял за плечо:

— Ну что, Василий? — а тот дернулся, обернулся, замер счастливо. Сердце чуть не выпрыгнуло у Васьки.

— Дядя... Дядя Андрей! А я-то подумал...

— Ага,— сказал солдат.— Я тоже, Василий, так подумал. Пойдем-ка скорей отсюда. Хватит нам испытывать судьбу.

— А у меня глядите! Хлеб с картошкой!

Солдат ничего не сказал, забрал продукты в широкие горсти и торопливо, локтем вперед, пошел через толпу, Васька за ним. Выбрались с рынка, и только за домами, когда пошли заборы да огороды, солдат чуть уменьшил шаг. На какой-то полянке вывалили хлеб наземь, картошку, огурец и оба сели. Жевали, глядя друг на друга, словно впервые увидели.

— А ты, Василий, жук! Ох, жук!

— Почему, дядя Андрей?

— Гм... Еще спрашиваешь почему?

— Ага, я непонятливый с детства.

— Сейчас поймешь. Где взял еду?

— Нашел,— сказал Васька и поглядел солдату в глаза.

— Валялось? — спросил добродушно солдат с набитым ртом. У него вышло так: «Ва-я-ось?»

— А что, не бывает, что ли? Карточки теряют... А однажды я слышал, будто корову целиком потеряли.

— Дойную? — спросил солдат серьезно.

— Не знаю. Да ну вас, чего пристали. Говорю, нашел!

— Увидел, нашел — насилу ушел! — сказал солдат, как в шутку, но лицо у него оставалось строгим.— Давай-ка на первый случай договоримся, Василий, с тобой вот о чем...

— О чем? — спросил Васька, перестав жевать.

— В общем-то мелочь, но... Давай так: с сегодняшнего дня не красть. Ладно?

Васька с готовностью кивнул. Про себя он подумал: «Ишь ты! Не красть! Разве так бывает? А я не хуже других, только и всего!»

Хоть Васька наклонился, спрятав глаза, солдат услышал Васькины мысли. Впрямую изрек:

— Я, дружок, не шучу. Пойми, настоящие люди этим не занимаются.

— А как жить? — Тот вытянул резко остренькое лицо к солдату.

— Так и жить. Не врать и не красть. Настоящие люди уважают других людей.

— Сейчас война,— убежденно рассудил Васька.— А красть можно и у жуликов, они нынче во — разъелись!

— Какая же разница, если все равно кража? Тут враг

против нас, весь мировой фашизм навалился. А мы... Что же, мы должны как звери — только бы выгадать да уцелеть? Так разве надо?

— Нет,— помотал головой Васька.

— Представляешь, какими бы мы были, если бы каждый человек стоял только за себя?

Васька представил, как он сейчас живет без дяди Андрея, и вышло это плохо.

— Украл у меня вещи, оружие...— размышлял вслух солдат.— А мне гадов бить надо. А я тут, в тылу, как последняя сямка скрываюсь, вместо того чтобы за нас с тобой грудью стоять. Отчего так, Василий? Оттого, что мелкие хищники, тыловые сучки, не думают о нашей общей победе. Каждый суслик вырыл свою нору и туда тащит, как будто нет у нас общего врага. А он придет и по отдельности передушит. Если по отдельности...

— Дядя Андрей,— влез Васька робко.— Дядя Андрей... Я хотел тогда сказать, что я ведь тоже там был.

— Где ты был, Василий? — рассеянно спросил солдат.

— Там! — Васька мотнул головой и закашлялся. Из рта полетели крошки. Ваське стало жаль крошек, он зажал рот ладонью, пересилил кашель. Сжевал, посмотрел на солдата. Тот ковырял травинкой в зубах и молчал.— Вы не думайте,— тревожно произнес Васька,— я к вам и не подходил вовсе, хотя они компас...

Солдат отвернулся лицом к деревьям, покрутил головой, встал. Не спеша отряхивался, собираясь уходить.

Васька понял, что солдат сейчас уйдет, бросив его. Он уже сообразил все про Ваську, что Васька — мелкий хищник, гад, который не хочет бороться вместе со всеми за победу над врагом.

Васька подскочил с земли, забежал спереди солдата, отчаянно захлебываясь, замельтешил торопливо, глотая слова вместе со слезами. Он говорил, что хочет вместе со всеми, а не сам по себе, как жил он до сих пор. Он, Васька, и в мыслях не держал, что он кому-то нужен. А если бы он оказался нужен, то Васька весь тут, готов бороться за победу... А потому он никогда в жизни не возьмет чужого, ему и не надо ничего, лишь бы считали настоящим человеком.

Были слова такие или не совсем такие, а может, лишь сплошное бормотание сквозь Васькину истерику. Но солдат разобрался. Стоял, упершись глазами в мальчика, изучал. Как проверял все равно.

— Ладно, Василий. Я твое слово запомню.

Ночью Андрею приснилось, что его ищут. Все знают про него, мальчишки из-за сосен следят, пальцем указывают. А бойцы разбились цепью, прочесывают вокруг лес. Хочется крикнуть: мол, с вами я, не ушел. А голоса-то нет! Все украли: оружие, документы и голос... Пойти бы в штаб, доложить по форме: мол, боец Долгушин прибыл. Дайте снова оружие, оправдаю, товарищи, кровью. Сказали бы ему: иди добудь винтовку у врага. Мы верим, что ты, Андрей, честный человек, хоть и споткнулся. Мы куем победу над врагом, и надо доказать, что ты да Васька — со всеми вместе, а не отдельно.

Как же случилось, что лежит он в сарае, скрывается, как последняя шкура? А цепи сходятся тесней, и видно, как шагают Воробьев и Гандзюк, а старший сержант Потапенко сурово поджал губы. Лейтенант Сергеев хлещет по сапогам прутиком, как бы гуляет меж деревьев, и вдруг этим прутиком тычет в сторону сарая: тут проверьте!

Роют уже поленья, швыряя их в сторону со стеклянным стуком. Пропал Андрей! А голоса нет, и сил нет, чтобы подняться и стоя, а не лежа встретить своих... Не по-собачьи, сжавшись в узелок.

Застонал Андрей от своего позора и проснулся. Сразу сообразил, что стонал он вслух. За поленицей кто-то ворошит дрова. На улице светло. Солнце в каждой щели, сечет сумрак лучами. И воробьи наверху чвикают, ссорятся, пищат, крошки и всякий мусор сыплются Андрею на лицо.

Он скривил губу, пытается сдуть с себя, со щеки эти крошки. Услышал, как встали на солнышке по ту сторону стены ребятишки, судачат о своем. Через доски их видно по контуру щелей.

Андрей прислушался: говорили о своих делах. О том, что какого-то Грача вызвали к директору за разбитое окно. Директор, мол, сказал, что сам разбил, сам и вставляй. Почему все должны мерзнуть? Не вставишь, мол, и не приходи. А где он, Грач, найдет новое стекло, легче ему из детдома уйти. А Сморчок, тоже чудеса, стал пропадать неведомо где. Раньше кусочничал, под ногами вертелся, норовил в рабство за кусман продаться. А теперь... Прибежит, глазами повращает и спать. Может, спер по-крупному да подъедает потихоньку, надо последить...

Тут крикнули со стороны: «Завтрак готов!» И ребята посыпались от стены, вмиг не стало никого. Андрей стал думать о Ваське, но сон вспомнил, настроение его погасло. Повернулся резко, аж воробьи перепугались, вспорхнули. Так решил: сегодня последний день у него. Найдется али

не найдется оружие, надо выходить. Хватит по-звериному жить и усугублять свое положение. Дальше фронта не угонят, ближе тыла не пошлют.

Принял решение и стал выбираться из лаза на волю.

17

Теплым вечером возвращался Васька в детдом. Шел и оглядывался. Небо и земля, крыши домов, голые скелеты деревьев — все обрело необыкновенный сиреневый оттенок. Будто плеснули химических чернил. И запах был цветной, густой, вечерний.

Странное чувство испытывал Васька. Он впервые увидел в жизни настоящую весну. Вдруг спала с глаз пелена, и узрел он мир в прозрачных сумерках, в удивительном закатном свете. Так пронзительно, так ярко все увидалось. Зима казалась теперь одним непрерывным серым днем, без запаха и цвета. Но она кончилась, с ледяным голодом, промозглыми холодами, и наступила перемена в Васькиной теперешней жизни.

У дома на пустыре ловили майских жуков.

Ребята приседали, чтобы лучше видеть на фоне светлого неба. Когда издали появлялись тяжелые, замедленно и неровно летящие жуки, все бросались им навстречу, швыряли галоши и шапки, размахивали ветками, пучками прошлогодней травы. Ползали по земле, отыскивая их на ощупь, старались разглядеть, поднося к глазам, какого цвета шейка. У самочек шейка была красная, у самца синяя. Самцы попадались реже.

Так продолжалось до темноты. Впрочем, никакой темноты еще и не было, но сгустилось настолько, что жуков, еще летящих, гудящих над головой, никто не различал. Но и от одного их близкого дребезжащего гуда в этих серых, синих, сиреневых сумерках у Васьки приятно кружилась голова.

Детдомовцы, собравшись, пересчитывали добычу, хвалясь друг перед другом и поднося спичечные коробки к уху, было слышно, как в них царапается и шуршит. Васька вертелся между всеми, слушал, смотрел и никак не завидовал чужой удаче. Была бы охота, он завтра наберет их хоть корзину с молодых березок. Спящие жуки, только потряси ствол, сами посыпятся, как желуди, наземь. Но разве интересно собирать спящих жуков. Другое дело — ловить вот так, с воем, с криком, отчаянным азартом, когда колотится сердце от захватывающей этой охоты.

Но еще пуще, это впервые сегодня понял Васька, была сама причастность его ко всем, объединявшая их общность ловли и азарта.

А тут еще кто-то крикнул:

— Скорей! Радио известия передает!

И всем скопом, с топотом и сопеньем, ринулись на крыльцо и в кабинет директора, где висел репродуктор с порванной тарелкой.

В давние времена кто-то из воспитателей принес его в детдом, прицепил на гвоздь, так он и висел, сквозь вырванный черный клочок была видна стена.

Все могли разрушить детдомовцы: топчан сломать, на котором спали, миску сплющить, из которой ели, ножку у стола отвернуть... Но репродуктор этот, висящий, как говорят, на честном слове, который можно было сто раз унести, раздраконить, разобрать по частям, никто никогда не тронул... Да и попробовал бы тронуть! Он приносил ребятам главное: вести с фронта. А кому они были важней, как не детям, чьи отцы шли через войну к тому дню, когда вернутся и заберут их домой.

И каждый понимал это. И каждый лез под самую тарелку, чтобы лучше знать, слышать, что происходит на переднем крае. А Васька, который в обычное время слушал как бы издали, потому что не ждал никого и никогда, а ждал победу, которая в его жизни могла вдруг все изменить, нынче Васька протиснулся ближе всех. С появлением в его жизни дяди Андрея фронт и новости, идущие оттуда, стали его интересовать. Не сегодня завтра дядя Андрей поедет туда, и очень нужно Ваське знать, как там сейчас, очень ли опасно будет для его дяди Андрея.

Диктор сообщил от последнего Совинформбюро, что на фронтах шли бои местного значения. Голос в репродукторе дребезжал, а временами даже звенел от резонанса. Но тихо было в комнате, как не бывает никогда при большом скопище детей.

И тут вновь, и опять же впервые, почувствовал Васька, что все они, и он и другие ребята, от самой малой пацанвы до великовозрастных, объединены чем-то большим, чем просто их жизнь в детдоме...

А потом кончилось, распалось, и всяк оказался сам по себе. Расползлись пацаны, как выпущенные на волю жуки: каждый в свою щель. А Васька побрел в спальню.

В комнате, в дальнем углу, сидел Толька Рябушкин со своим отцом — старшиной, он служил неподалеку в части. Каждый вечер старшина приходил с зеленым вещ-

мешком, одним движением развязывал петлю и доставал котелок с кашей. Отгородив сына от назойливых ребячьих глаз, садился и молча смотрел, как Толька поглощает свою кашу.

Никогда ничем не интересовался этот озабоченный и скучный человек. Перед скорой отправкой на фронт жил в нем один непроходящий страх, вызванный неминуемым расставанием с сыном.

Никого из Толькиных дружков не помнил он в лицо, да, кажется, их побаивался. Может, он себе и детдом представлял как скопище одинаково больших и прожорливых ртов, которые норовили что-нибудь урвать из содержимого котелка, предназначенного сыну, лишь ему одному.

Возможно, старшина сам недоедал из-за своей так проявляемой любви и некоторой доли вины за то, что он уедет на фронт, а сын останется тут голодать.

И он пихал, пихал в Тольку свою кашу.

Упрашивал, умолял съесть, и утешался, и вздыхал свободно, когда котелок освобождался, а Толька наполнялся до краев.

Вот и сейчас сын уже давился, прикрытый отцом как каменной стеной. Он канючил сквозь набитый рот:

— Паа, я не хочу... Я не могу... Я потом...

— Что ты! Что ты! — пробормотал старшина испуганно, суетливо. — Ты ешь сейчас. Отдохни и поешь. А потом я снова принесу.

Толька Рябушкин пыхтел, откидывался навзничь, стараясь вдохнуть воздух. Даже привставал, чтобы больше умялось.

Ребята занимались в спальне своими делами, готовили постели, но слышали они все, и каждый звук со стороны Тольки, каждый скребок ложкой по металлу раздражал их, вызывал голодную слюну.

Старшина не выдержал длинной волынки, выскочил в туалет.

Толька и его котелок, стоящий на коленях, открылись, как царский трон все равно.

Не спеша обвел он спальню царским оком и голосом повелителя — куда теперь пропал его писк — стал выкликать дружков. Но первыми позвал Боню и Сыча. Так покупалась желанная свобода, независимость и дружба Толькина.

Каждому вываливал он ложку каши в протянутые ладоши. Счастливцы отбегали, трусили через спальню, поедая кашу на ходу, облизывая пальцы.

Сыч не пошел сам, ему принесли в ложке.

Васька залез с головой под одеяло, скрючился, один витой бугорок от него.

— Сморчок! — крикнули ему.

Прозвучало неожиданно, как труба архангела.

Все было в этом призыве: жалость к Сморчку, высокомерие, снисхождение и что-то неуловимо унижительное, чего никто из других ребят не замечал, да и Васька бы не расслышал в иное время. Но сегодня его слух и зрение были особенными.

— Сморчок! Долизывать! Живо!

Все удивились, как повезло Сморчку. И он сам удивился. Уж так всегда бывает: везет, когда не ждешь.

Васька даже одеяло открыл, упустив драгоценное тепло.

Но вдруг подумалось, что брошенный с лету кусок не радует его, как обрадовал бы, скажем, вчера. Но ведь и сам Васька не такой, как вчера. Он сегодня жил по-другому, а с ним был дядя Андрей, который стоил тыщу таких старшин, с тыщей их котелков с кашей.

Только нетерпеливо прикрикнул:

— Ну? Сморчок? Не веришь своим ушам? Тебе, тебе!

— А вдруг он не хочет? — хихикнули.

Спальня с готовностью заржала. Где это видано, чтобы Сморчок отказался от куска! Мочу пил за ложку каши. Клянчил, шакалил, в рот смотрел. А тут задарма, по одной Толькиной милости, весь поджарок долизывать на дне. Да скорее гром небесный грянет, чем Сморчок не побежит за котелком. Тут еще уследить надо, чтобы железо не проскреб наскрозь!

За смешками да шуточками не уловили сразу Васькин жалкий голос. Как он вскрикнул растерянно:

— Не хочу.

Сам удивился, как смог такое произнести. Что же тут говорить про остальных! Смех пропал, как ветром сдунуло.

Кто-то пискнул по инерции, стало тихо.

— Что? — спросил Толька, вытягивая шею.

— Не хочу.

Ко всему здесь привыкли. К издевательствам, к унижению, к голодным просьбам о помощи, к рвачеству, воровству и хищничеству. Но такого не было, да и быть не могло.

Недоуменное молчание затягивалось, копилось, становилось угрожающим. А потом будто разверзлось небо и пала на Васькину голову гроза. Обвалом грохнула, канонадой, рассыпалась синими молниями.

Кто ревел, кто визжал, а кто блеял.

Иные закатились от истерики.

Но самые скорые жлобы, шакалы, ублюдки, сявки и прочая мелочь подлетели к незабвенному котелку, просили, молили, вопили о каше:

— Толик! Толик! Толик!

— Мне! Мне! Мне!

— Дай! Дай! Дай!

И он растерялся, поднял котелок над головой, чтобы не вырвали, выбирал достойнейшего, тут и старшина вернулся. Вмиг рассыпались все по койкам. Озабоченный, погруженный в свои невеселые мысли, он заглянул в котелок, и все будто с ним заглянули, стал опускать его в мешок. Ребячьи сердца оборвались, когда он завязывал странной петлей, когда закидывал на спину и уходил.

Вся неудовлетворенная страсть, ребячий недосыт, недобор, пережитое в конце унижение обратились теперь на Ваську.

— У-у, Сморчок! — крикнули угрожающе. — Обожрался, что ли?

— Может, карточки спер, поделись!

— Может, бухарик накалымил?

— Надыбил мешок картошки?

— Солонину высветил?

— Тушенку изобрел?

— Может... хрусты?

— ...Стибрил? Стащил? Украл? Слямзил? Стянул? Спер? Сваландал? Обчистил? Обобрал? Наколел? Сверзил? Скукурил? Стырил?

Швырнули подушкой, ботинком.

Наступили ногой на голову.

Пхнули топчан, он покачнулся, но не упал.

Неизвестно, чем бы все кончилось, скорее всего «темной» — избиением, узаконенным детдомовскими обычаями.

Голос Бони прозвучал вразрез с общим настроением.

— А чего, — рассудил насмешливо Бонифаций. — Виноват он, что ли, если запор, к примеру, вышел. Али понос какой... У меня тоже бывает.

Охотно засмеялись.

Кто-то запел:

— Сморчок-чок-чок! Пошел на толчок-чок-чок! Залез в говничок-чок-чок! Нашел пятачок-чок-чок! Облизал и молчок-чок-чок!

Уже на «чок» подпевала вся спальня. Зло ушло в шутку, в крик.

Васька понял: пронесло.

Не то чтобы он сильно переживал. Но сердце заныло, сжалось. Кожа покрылась сыпью от нервного ожидания. Холод камнем засел в животе. Засосало, закрутило в утробе от черного, от беспросветного одиночества.

А ведь только недавно вместе ловили они жуков! Как дружно, как счастливо в общем единении у них выходило.

С тем же азартом, с той же безжалостностью обернулись теперь против одного, сообща гнали, как майского жука неопытного, в первый день его вылета!

«Держись, Василий,— будто голос солдата рядом.— Начать жизнь по-новому ой как не просто. Будь человеком, мальчик, держись».

Проснулся Васька раньше других, специально себя на такое время завел. Выскочил в коридор и наткнулся на воспитательницу Анну Михайловну. Не смог увернуться, поймала за плечо, стала назначать дежурным. В другое бы время Васька с радостью, кто ж не хочет быть дежурным, пайки тасовать.

Анна Михайловна достала карандашик, бумажку, спросила:

— Как фамилия?

— Тпрутпрункевич,— сказал Васька.

— Пру... Как? — удивилась воспитательница, глядя на Ваську холодными синими глазами.

Тут Боня с делами всунулся, мол, хор нужно организовать, выступление в госпитале. Анна Михайловна Васькино плечо выпустила, он и был таков.

На завтрак съел порцию жиденькой каши, вылизал тарелку.

— Смотри,— сказал Грач за столом и начал быстро-быстро отрываться. Непонятно, как ему удавалось.

— А он воздуха наглотался, гад! — крикнул Толька.

— Как это?

— Просто... Ходит и глотает целый день. А потом из него прет наружу. Называется: привет от самого нутра!

— А может, так сытней? — спросил Васька с надеждой.

Мимо Анны Михайловны выскочил на высокое деревянное крыльцо, зажмурился. Солнце било прямо в глаза, лучилось из-за сосен, полосами ложилось на землю.

Васька лег на перила и животом почувствовал, что они горячие. Съехал вниз, как по воздуху, проскакал до

сарая, сунул мордочку в лаз. Солдата там не оказалось.

Васька соображал недолго, смекнул, что дядя Андрей, как вчера, встал пораньше, нежится на солнышке за стеной. Но и там никого не было.

Остановился в недоумении. Не мог же в самом деле солдат дядя Андрей взять и уйти?

Шагом обошел Васька вокруг детдома, глянул за кустами на пустыре, зачем-то сунулся в кухню, снова посмотрел в сарае. Радость его таяла.

Потерянный стоял Васька, чувствуя, как неуютно стало вдруг жить. Появился солдат в Васькиной жизни, и смысл появился в самом Ваське, во всяких его делах.

А так кому он нужен? Разве что самому себе?

Но подобным образом мог жить Васька раньше, до дяди Андрея. Теперь он так жить не мог.

Разве зазря он человеком себя почувствовал, чтобы назад возвращаться? Эх, дядя, дядя! Зачем же ты Ваську возродил, дал понять радость жизни не для себя, для других, из первобытности вывел? Жил бы Васька как гад болотный, ползал да пресмыкался и считал бы, что это и есть настоящая жизнь... А теперь...

Последний раз, без всякой, впрочем, надежды, оглянулся Васька, двинулся в сторону школы. Не потому, что вспомнил об уроках, ему было безразлично, куда идти.

— А-а! Сморчок! Вот так встреча!

Две фигуры посреди тропинки.

Вытаращился Васька, глядит оторопело. Никак не сообразит, отчего встали поперек пути напыжившийся Витька, а с ним долговязый хмырь.

Ноги расставили, как фашисты в карауле, прищурились в упор на Ваську. Долговязый сплевывает через губу, во рту фикса блестит. Блатяга, у них фикса высший шик.

Вот когда Васька сообразил, что никакая это не встреча, караулили его. Хоть бы один Витька, а то блатягу захватил на голову выше себя. Где-то Васька его видел? Но где? Вспомнился день кражи и долговязый, ударившийся ногой об дерево... Конечно, он.

— Что скажешь? — шепелявит Витька.

Вдвоем он сильный. Подражает блатяге, сплевывает через губу. Его слюна повисает на воротнике. Не торопясь он вытирает его рукавом, цедит сквозь зубы:

— Прро-дажна-я тварь!

— Я не тварь! — вскидывается Васька, отступая назад. Он уже понимает, что удрать не удастся. Нужно так

встать, чтобы не зашли со спины. Еще шаг, и он уперся в дерево. Напружинился, хочет угадать, кто первый из этих двух ударит.

У блатяги руки в карманах, держится позади. Стоит свободно, не суетится, понимает, что Васька у них в руках. Витьке дает инициативу, пусть, мол, натешится, отведет душу. А я успею...

Витька лезет, надрывается, хочет доказать, что он сам шишка на ровном месте. Запугал блатягой жертву, голыми руками норовит взять. Отпора не ожидает.

Сообразил это Васька, молниеносно сунул головой противнику в нос. Тот лишь охнул, стал ловить воздух руками, падая, потащил Ваську за собой.

Оба покатались по сухой траве. Пыхтят, руками, ногами шуруют. То один сверху, то другой.

Витька пересилил. Уперся коленкой в грудь лежащего, замолотил кулаками по голове.

Васька шею втянул, закрыл лицо руками.

Голова как чужая, как тот старшинский котелок звенит, но уже не больно. Станным образом в короткий миг припомнилось вчерашнее и Толькин котелок с поскребышами. С целой спальней выстоял Васька, неужто с одним не выдержит...

Поел бы вчерашней каши, не зафордыбачился, может, сил хватило скинуть с себя врага. Витька на домашних харчах созрел, на сырах, пусть они и казеиновые, из ворованного клея в авиации. А у Васьки всей мощи что от бурды и затирухи. Ее хоть бак съешь, никакой прибыли, кроме лишней мочи, не будет.

Бил, бил Витька, запыхался, решил передых сделать. А из носа разбитого красная юшка течет, Ваське на лицо капает.

Как сквозь красный туман видит он над собой противника, блатягу в стороне. Тот прислонился к дереву, одобрительно кивает: «Бей его, добивай, чтобы не жил. Без таких лучше. Да не кулаками, чего кулаки марать! Ты деревяшку возьми, деревяшкой скорей будет!»

Нагнулся блатяга, шарит палку под ногами. Отчаяние Ваську взяло. Убивают ведь, и никто не может защитить, спасти его. И дяди Андрея нет рядом. Знал бы он, какой бой досталось вести Ваське, не ушел бы тогда. Неужто конец приходит?

Не напрасно, видать, Васька зверенышем рос, сам себе главный друг и главный защитник. Извернулся змеей, от отчаяния будто силы утроились, дотянулся головой до

Витькиных штанов и хватил его зубами в самый живот.

Взвыл тот нечеловеческим голосом, вся утроба в нем возопила. Волчий клик пронесся по лесу, сам Васька напугался. С испугу он и свалил врага. Сел на него, в шею вцепился.

Шкурой почувствовал новую опасность — блатяга крадется сзади, готовит палкой удар. Прыгнул Васька в сторону, выхватил стальной обломок, зажал за спиной в руке.

Знал твердо: как подойдет тот поближе, сунет ему острием в лицо, как фашисту... Потому что он и есть для Васьки главный фашист.

Блатяга углядел — блеснуло. Отпрянул, кричит:

— Эй, брось! Ты чего, финкой, да!

Васька отвечать не намерен. Как волчонок поджался, вот-вот прыгнет на врага от отчаяния. Бормочет сам не зная что:

— Воткну! Воткну! Воткну!

С тем и попер на блатягу, мало соображая, как в психическую атаку.

Растерялся долговязый, отступил на несколько шагов, глядя со страхом на взбесившегося Ваську, и вдруг побежал.

Витька за ним, пригнувшись, облапив свой живот. Может, Васька до кишок ему прокусил, вкус чужого мяса на зубах.

Остался он один посреди леса с железкой в руках. Озирался, не сознавая своей победы. Швырнул железку и сам бросился бежать, опомнился возле школы.

Ноги и руки дрожали, и весь Васька трясся от страха, который теперь до него дошел. Обессиленно лег на скамеечку, заныл, заскулил как звереныш. Жаловался самому себе на боль и еще неизвестно на что, растирая по лицу чужую и свою кровь.

Приговаривал:

— Били Ваську... Били Ваську больно... Ой, как больно били Ваську! Жалко! Били Ваську! По го-ло-ве!

18

На серой папиросной пачке было накорябано несколько слов. «Поселок Калинина, дом пятнадцать, Шурик».

Солдат шел по адресу, Ваську с собой не взял. Не хотел мучить. Пусть отдышится пацан, в школу сходит. Хоть было бы вместе не в пример занятней, веселей. Все-то Васька знает, ловок, живуч, оборотист. Перемешано в

нем худое с добрым, блатное с благородным, а взрослое с детским... Дитя войны! Но кончится же она, проклятушая. Вырастет Васька, выпрямится, как согнутое под снегом деревце...

Солдат выскочил на окраину улицы. Тут и поселок Калинина, пятнадцатый номер на двухэтажном оштукатуренном доме.

Девочка скакала по асфальту, стриженная наголо, в косыночке. На малокровном лице одни большие грустные глаза.

Остановилась, выслушав солдата, с поджатой ногой, показала рукой на дверь. Первый этаж налево.

Андрей постучался, никто ему не ответил.

Понимал он, конечно, что Сенька Купец, несмотря на уговор, предупредит дружка и тот успеет запрятать оружие. А может, и сам скроется куда-нибудь.

Он и не рассчитывал на скорую удачу. Хотелось встретиться с неведомым Шуриком, потолковать по-мужски. Не деревянный же он, что-то поймет. Ну а не поймет, тогда... Андрей заранее не придумывал, что тогда. Действовал, как учили в армии, по обстановке.

Постоял перед запертой дверью, дощатой, крашенной в бордовый цвет. Вышел наружу, присел на врытую у стены скамеечку.

Светило в лицо солнце. Пищали воробьи под крышей. Белье полоскалось под ветром на веревке. Не белье, а какая-то рвань.

Девочка, тонконогий птенец, прыгала перед глазами, играла сама с собой. Швыряла со звоном баночку от ваксы, обскакивала квадратики.

Обернувшись, спросила:

— Вам Шурик зачем? Вы родственник, да?

— Нет, не родственник, — ответил солдат, щурясь от прямого солнца.

— Он уехал... Вечером уехал, взял удочки, еще что-то. Завтра ведь праздник.

— Удочки? — переспросил солдат. — Какие удочки?

Девочка посмотрела себе под ноги, вспомнила, наморщив лоб.

— Такие, ну... длинные, завернутые в мешок.

— Так, так, — заинтересовался солдат. — И куда он? Куда направился?

— Может быть, на речку? — предположила девочка. — А вы его бабушку знаете? Она на заводе в вохре работает, охранницей. Она ушла на сутки, а завтра она придет.

— Только завтра?

— Ага. Она вам все объяснит. Она добрая такая. Меня сахаром вареным угощала. И книжки приносит читать.

— Что же ты одна-то играешь? — спросил солдат. Он подумал вдруг о Ваське.

— А с кем мне играть?

— Ну... С подружками.

— Я ведь болею, — произнесла девочка серьезно. — У меня от голода болезнь. Мы с мамой приехали из Ленинграда. Я все болею и болею и в школу не хожу.

— А из школы к тебе приходят?

— Кто же придет? — удивилась девочка. — Они меня не знают. А я лежала, а сегодня вышла. Только я забыла, как играть. Я чего-то все забываю.

— А мама твоя где?

— На работе. Она у меня ударница, только поздно приходит...

— Небось плохо все одной?

— Я привыкла, — ответила девочка и вздохнула. Вздох ее был как у взрослой. Казалось, что она по-женски мотнет головой и произнесет привычное: мол, сейчас война, всем тяжело.

Но девочка спросила:

— А вы чего один?

— Как? — удивился солдат.

— Вы же военный... А военные ходят помногу.

— Ах, да! Я, в общем, не один. У меня друг настоящий есть.

— Фронтовой друг?

— Да нет... Тыловой.

— Все равно хорошо, — решила девочка. — Я тоже пойду на фронт, когда вырасту.

— Когда ты вырастешь, фронта не будет, — убежденно сказал солдат и встал. — А вот без друзей в любое время нельзя жить. И в войну нельзя. — Он помедлил, глядя на девочку, но говорил он будто не ей, а себе. — В войну особенно нельзя. Счастливо, подружка.

Протянул ей руку, девочка подала свою, тонкую, невесомую. Ниточка, а не рука. Никогда не ощущал солдат такой странной детской руки. Сейчас только дошел до него страшный смысл слов о голодной болезни.

— Приходите завтра, — предложила девочка, впервые улыбнувшись. — Завтра ведь праздник и у военных тоже? А я вам куклу покажу, Катьку, она тоже перенесла блокаду... Даже не пискнула ни разу. Придете?

— Приду,— очень серьезно пообещал солдат.

Уходя, оглянулся. Она по-женски, приложив руку к глазам, смотрела вслед.

Андрей направился в сторону железной дороги, решившись на что-то, чего сам до конца не осознал.

Около путей осмотрелся, бегом пересек их. Полеп вышел к станции. Издали увидел товарняк на том месте, где был их эшелон.

Показалось жизненно важным узнать сейчас, немедленно, тот ли самый эшелон или другой, будто могла измениться от этого судьба Андрея.

Знал он, что ждут его комендатура, короткий суд и все, что положено в таких случаях. Если поймают, и того короче. Не в эшелон лежал его путь.

Знал, но потянуло взглянуть на поезд, на свой вагон, где еще двое суток назад жил он иной, праведной жизнью. Числился примерным бойцом, дружил с остроязыким Воробьевым, стоял на довольствии, и все было понятно в его пути на фронт.

«Вы же военный... А военные ходят помногу»,— определила девочка, царапнув, того не зная, по самому больному.

Отчего так бывает, когда случится в нашей жизни чрезвычайное, ставящее нас на самый край, начинаем мы ценить обыкновенное, чем мы жили и чего не замечали?

Андрей разглядел теперь, что эшелон этот свой. Свой, если мог он еще так его называть. Пригнувшись, пересек он старое люберецкое кладбище, с гнившими деревянными крестами и старыми мраморами, поверженными в беспорядке наземь.

Лег и пополз по-пластунски. Ползать во всякие времена и при всяких условиях научил его старший сержант Потапенко.

Андрей прикоснулся лицом к сухой траве, почувствовал горький щемящий запах, напомнивший о чем-то неподвижно-вечном. Подумалось, как просто было бы лечь здесь и заснуть навсегда.

Еще обломок камня попал на глаза, со странными стихами. «Прохожий, ты спешишь, но ляжешь так, как я, сядь и посиди на камне у меня. Сорви былиночку, подумай о судьбе, я дома, ты в гостях, подумай о себе...»

Последнее, хоть миновал камень, больно, как гвоздь, воткнулось в память. Подумай о себе... Господи, сколько он передумал!

Острый глаз Андрея уже различал вагоны, солдат тут и там. Кто-то завтракал, сидя на насыпи, иные, раздевшись до пояса, загорали.

«Как в доме отдыха», — подумалось с горечью.

Тут увидел он, — пальцы дрогнули и смяли сухую веточку, — из вагона, его вагона, прыгнул рядовой Гандзюк, начал споласкивать над рельсами котелок с водой. Рядом встал старший сержант Потапенко, что-то внушал солдату. Но говорил он, кажется, лениво, медленно, скорее по привычке, и все тыкал рукой в сторону кладбища. Может, какое поручение давал.

Рядовой Гандзюк ушел, а Потапенко вдруг повернулся, — Андрей сжался, сердце его холонуло, — стал смотреть как раз туда, где он лежал. Суеверно подумалось: «Видит! Он всегда и все видел, все замечал!»

Но конечно же, ничего видеть Потапенко не мог. Он стоял задумавшись, и мысли его были невеселые. О бойце Долгушине, посланном в штаб и пропавшем безвестно два дня назад, о срочном приказе эшелону завтра ночью направиться на юг, в район Курска. Не из-за этого ли томили несколько суток на маленькой станции, что решалась их судьба?

Не мог знать Андрей, о чем думал Потапенко, но и сам Потапенко еще не в силах был заглянуть на месяц-другой вперед, в тот горячий день пятого июля, когда начнется великая из битв войны, на Курско-Белгородском направлении, и будет это главным испытанием для него самого и его солдат.

Андрей глубоко вздохнул, трава под ним зашуршала.

Он завидовал всем, кто был в эшелоне. Чужим солдатам, маленькому Гандзюку, Потапенко, всем на свете.

Пришел бы сразу, пусть без оружия, без документов, стало бы проще все в его жизни. Пригибаясь, уходил он от поезда, и большее и отчетливее возникало в нем чувство одиночества.

Как стало не хватать ему Васьки, который бы посмотрел доверчивыми глазами и сказал какие-нибудь слова! Васька живое существо, и Андрей живое существо. Они нашли друг друга по несчастью. Беда свела их, но она может и развести навсегда.

Вспомнилось, Васька сказал: «Ладно, дядя Андрей, я вас до конца войны прокормлю».

Солдат спустился по дороге к Некрасовке, но в поселок не пошел, а обогнул его лесом. Пересек железную дорогу, оказался в Панках.

На дороге встретил девочку с портфелем.

Она оглянулась, окликнула:

— Эй, подождите! Подождите меня!

Андрей остановился, вспомнил, что видел, кажется, эту девочку вместе с Васькой. Одноклассница, что ли, его.

— Здравствуйте, Вася искал вас,— произнесла девочка, глядя на солдата снизу вверх. У нее были голубые глаза, две косички торчали из-под пушистого беретика.

— Где он? — спросил солдат.

— Его выгнали из школы... Он там сидит.

— Выгнали? Почему выгнали?

Девочка не ответила. Молча пошла впереди, указала рукой:

— Он там.

— Где?

— Под платформой. Это его любимое место.

— Какое еще любимое,— произнес солдат с сомнением, заглядывая в узкую щель, куда можно было залезть лишь на четвереньках.

Так он и сделал.

Васька валялся на земле и смотрел вверх, на белые широкие щели между досок. Услышав шорох и шаги, поднял голову, но никаких чувств при виде солдата и Ксаны не проявил.

Место и впрямь было тут у Васьки родное. Вроде бы около людей, но кровное, свое. Здесь можно было лежать или сидеть, глядя на шатучие вверху доски, слушая чужой разговор, объяснения, секреты.

Многого наслушался тут Васька, коротая время.

Все, кого он видел или слышал, начинались с ног, и по ногам Васька легко узнавал их хозяев. Хромовые скрипучие сапоги, желтенькие ботинки, звонкие туфельки с каблучками. А то стоптанные брезентовые тапочки, подошвы от протекторов, галоши, скрывающие бесподметность в башмаках... Какие веселые выслушивал он дробь, когда танцевали тут! Но танцевали редко.

Соответственно хозяевам летели сюда оброненные вещи. Дорогие «бычки» от папирос и самокрутки, огрызки, бумажные фантики, монеты, даже рубли. Один раз упал кошелек, в котором почему-то оказались кусочки мыла и две булавки.

В двух шагах с железным грохотом и с вихрем пыли проносились электрички, громоподобные колеса высекали кучу искр, это было красиво. Паровозы ухали и гудели, наполняя все пространство теплом и паром. Тяжело оглу-

шали длинные составы, Ваське было видно, как гнутся, прогибаясь, стальные рельсы. Иногда он начинал тревожиться, выдержат ли, не сломаются. Но рельсы всегда выдерживали.

Здесь же, под платформой, жили всякие брошенные и никому не нужные твари: кошки, собаки, крысы, птицы. У каждой твари была своя жизнь и свои заботы, как у всех в войну, и друг друга они не трогали. Так же, как никто не нарушал Васькиного спокойствия, а оно временами было ему просто необходимо.

Как сейчас, например.

Посудите, что бы делал Васька, не будь такого удивительного изобретения, как пригородная платформа. Где бы протекала без уединения, затаенного тихого места, личная его жизнь?

Где бы мечтал он о всяких крошечных своих радостях? Где бы горевал о потерях? Где скрывался от детдомовских хищников, блатяг, хамов, милиционеров, воспитателей, учителей, пьяниц, свирепых домохозяек, бандюг и прочих, могущих его обидеть, извести, уничтожить?

Где мог он съесть без торопливости добытый кусман, не беспокоясь, что кто-то налетит, отнимет, вырвет из рук, изо рта?

Где прочел бы украденную в чужом окне книжку? Да в конце концов, где пересидит он дождь, снег, а летом сонный зной?

Только здесь, под деревянной, гулкой, качающейся платформой, был Васька словно у себя дома. Платформа была длинной, может, кто еще вроде Васьки имел тут убежище, это его не волновало. Тут хватило бы места для личной жизни всех подмосковных отщепенцев: безымянных, брошенных, выгнанных, бродячих и ничьих детей.

А сколько по Рязанке, а сколько по другим дорогам таких чудо-платформ!

— Ты чего? — спросил солдат, принаравливаясь рядом с Васькой и тоже с любопытством заглядывая вверх.

Васька повел плечом, говорить ему не хотелось. На солдата он не смотрел. Ксана сидела тут же, на корточках, подобрав полы своего вишневого пальто, слушала их странный разговор.

— А синяки... Подрался?

— Да так, — сказал Васька.

Солдат сказал строже:

— Ладно, вставай. Нечего валяться в грязи. Пойдем...

— Куда? — вяло спросил Васька. Но, кажется, ему нравилось, что так с ним заговорили.

Он повернулся, и солдат отметил про себя, что драка была нелегкая. Уж не по поводу ли их совместных дел?

— В школу пойдем.

Это решилось само собой. Солдат в следующую минуту сам понял, что иначе он сказать не мог. Кто сейчас поможет Ваське, если не он, единственно заинтересованный в мальчике человек.

Впрочем, единственный ли?

Вот и Ксана подала голос:

— Нужно идти, как же иначе, Вася?

Тот хмуро посмотрел на девочку, на солдата. Нехотя приподнялся, отряхиваясь от прилипшей грязи, полез наружу.

— Кто у вас там главный-то? — спросил солдат.

— Завуч Клавдия Петровна, — дорогой говорила Ксана. — Понимаете, Вася пришел и сел сзади. Я сразу увидела, что ему плохо. Он сидел, сидел и никому не мешал, пока не увидела Клавдия Петровна. Она как закричит: «Что это такое? Посмотри на себя, где ты дрался?» А Вася взял и вышел, ничего не объясняя. И под платформу полез...

Школа была двухэтажная, деревянная.

Они прошли прохладным коридором, поднялись на второй этаж. Ксана указала на дверь учительской: «Она сейчас здесь».

— Ждите.

Солдат помедлил, постучался.

Никогда бы не смог он так прийти, чтобы защитить себя. Учительская с детства внушала ему страх.

Несколько женщин и старичок сидели вокруг письменного стола и пили чай. На солдата посмотрели с любопытством.

— Мне бы Клавдию Петровну, — произнес он от дверей.

— Слушаю вас, товарищ... боец.

Одна из женщин поднялась, не выпуская из рук стакан. Немолодая, грузноватая, она сделала навстречу солдату несколько шагов, и он увидел, что у нее отечное лицо и толстые ноги — признак больного сердца.

— Здравствуйте, — сказал он, совершенно робея. — Я пришел по поводу мальчика, которого выгнали...

— Садитесь, пожалуйста, — предложила завуч и сама села. — Какого мальчика?

— Да Василия...

Он вдруг подумал, что не знает Васькиной фамилии.

— Ах, Василия,— сказала завуч, оглядывая солдата.— А вы кто, родственник?

Он подумал и кивнул. Оглянулся на учительниц, скользнул взглядом по стенам, где висели, как во всякой учительской, расписания уроков, диаграммы успеваемости и крупно написанная инструкция по эвакуации детей во время воздушной тревоги.

На стене висел плакат: «Двойка — шаг к измене Родине!»

В углу, под портретами вождей, на столике лежала винтовка.

— Что же вы так поздно хватились? — спросила завуч вежливо.— Дубровский совсем забросил школу.

— Кто? — спросил солдат.

— Вася Дубровский... Я понимаю, что условия жизни у детдомовцев хуже, чем у остальных, но мальчик не посещает уроков, перестал заниматься. А теперь еще драки, как видите. Куда это заведет?

— Трудное дело,— согласился солдат, снова посмотрел в угол на винтовку и вздохнул.— Но вы уж не гоните, куда он пойдет?.. Без школы ему еще хуже.

— Вы-то как, вернулись или временно, так сказать?

— Временно,— сказал Андрей.— Уеду, Василий у меня совсем один останется.

— Если бы не уезжали,— произнесла заведующая.— Нам в школе военрук требуется.

Она указала на винтовку, с которой солдат и так не спускал глаз. Может, заметила его внимание к оружию.

— У нас женщины в основном. Мужчина качественно бы изменил коллектив.

Старичок и учительницы хоть и делали вид, что пьют чай, но исподволь смотрели на солдата и прислушивались к разговору. Две из них, помоложе, отчего-то смутились, когда солдат оглянулся.

— Винтовка... боевая? — спросил он.

— А что мы в ней понимаем,— отвечала завуч.— Дети учатся военному делу, разбирать, собирать... И маршировать тоже.

Солдат встал, подошел к столику. Потрогал ложу, приподнял, ощущая, как забилося от привычной тяжести сердце. Щелкнул затвором, пробормотав: «Стебель, гребень, рукоятка...» Ложа... Магазин... Все настоящее. Заглянул в канал ствола: грязновато. Старший сержант Потапенко всыпал бы за такое.

— Настоящая винтовка,— повторил дважды Андрей и вдруг заметил в боковой части ствола дырочку, рас-
сверленную для того, чтобы из винтовки не стреляли.
Упавшим голосом произнес: — Настоящая... Учебная вин-
товка...— сразу потеряв к ней интерес.

Завуч теперь говорила, что Дубровский, судя по все-
му, скрытный мальчик, никогда не упоминал он о родст-
веннике на фронте. Это, безусловно, меняет дело. К семьям
фронтовиков отношение вдвойне внимательное.

— Хорошо, что вы зашли,— добавила завуч и протя-
нула руку. Она впервые, кажется, улыбнулась.— Возвра-
щайтесь с победой.

Старичок и сидевшие за столом женщины тоже под-
нялись. А две молодые учительницы смутились, покрасне-
ли, когда солдат стал с ними прощаться.

Так все стояли, провожая, пока он не вышел.

19

Ребята ждали на лестничной площадке.

— Как? — спросила по-взрослому Ксана. Она вообще
чувствовала себя с солдатом на равных. Васька ничего
спрашивать не стал.

Солдат посмотрел на мальчика и впервые подумал,
отчего такая неожиданная фамилия у него: Дубровский...
Может, сидел в детприемнике изобретательный человек?
Может, он Пушкина в это время читал?

И потом... Долгушин... Дубровский — чем-то сходно
между собой. Начинаются на одну букву.

— В порядке,— сказал солдат, все рассматривая
Ваську.— Тебе бы, парень, в лазарет сходить да подле-
читься...

— Пусть к нам зайдет,— предложила Ксана.— Мама
йодом замажет.

— Йодом? — закричал Васька.

— Да. Именно йодом,— твердо произнесла девочка.—
Зато не будет заражения.

— У меня и так не будет,— отмахнулся Васька.—
Я гильзу медную приложу. Я от всего умею лечиться.
Если заноза в ноге, ее надо выковырять и разжевать,
быстрее пройдет. Если кровь, глиной замазать...

— Фу, Вася, как противно,— сказала Ксана.

— Лекарства всегда противные,— рассудил он про-
сто.— А знаешь, как навозом можно лечиться?

По лестнице поднималась женщина в темном платке,

похожая на тетю Маню. Когда ступила она не верхнюю площадку, ребята одновременно с ней поздоровались.

Она узнала солдата, всхлипнула:

— Андрюшенька! — Заплакала, прислонясь к его плечу. — Оля... Оля моя...

— Тетя Маня...

— Вы отомстите, убейте их. Я всю жизнь учила детей человечности... Даже кошку... Даже кошку не трогать...

— Тетя Маня, — позвал солдат, она не слышала.

— До чего они довели меня? Я хочу, я требую, чтобы вы их убивали, как насекомых! Никто, ни я, ни другие женщины не могут этого сделать. Мы все отдали, а вы отдали не все. У вас есть возможность и оружие. Там убейте, прошу вас!

Андрей, оглянувшись, знаком показал ребятам, чтобы не глазели, а шли на улицу. Молча стоял, понимая, что ничем не может утешить бедную женщину. Не бывает такого утешения, когда родители переживают своих детей.

Тетя Маня перестала плакать, вытерла платком лицо.

— А ты ведь изменился, Андрюша, — произнесла в нос. — У тебя-то ничего не случилось?

— Да нет, что вы...

— Мы уж думали-гадали, в каких ты там боях... На каком фронте?

— А я все не на фронте, — отвечал он, не поднимая глаз.

Эти слова о фронте были как раскаленное железо. Тетя Маня смотрела на него как на защитника, бойца, который должен быть там, где до этого была Оля. А он увяз в своих поисках, в адресах, в делах, которые не имели прямого отношения к ее святым слезам.

Стыдно стало, как от пощечины.

— Зашел бы, Андрюша, — попросила она. — Мы-то с Мусей вдвоем кукуем. Олег Иванович за продуктом в деревню уехал.

— Зайду, тетя Маня, — пообещал он, потупясь. Ее больной взгляд, в котором мерещилось ему уже недоверие, сомнение и осуждение его, был сейчас невыносимым.

— Мы все вдвоем и вдвоем... Поплачемся друг дружке на тяжелую бабью долю, вроде легче станет. Но ведь еще детишки меня ждут. Надо идти, нельзя своему горю поддаваться. У всех сейчас одно горе, война проклятая. У всех, Андрюша.

Она двинулась медленно по коридору, а ему подума-

лось, что надо что-то еще ей сказать. Но слов никаких не было.

— Я приду, тетя Маня! — голос прозвучал униженно и глухо. Этого нельзя было не заметить.

Она оглянулась, посмотрела на него страдающим, идущим из глубины, затемненным своим взглядом.

С чувством физической боли, отвращения к себе выходил он на улицу. Не замечая ребят, сел на скамейку.

Судорожно вздохнул, рассеянно взглянул вокруг.

Припекало солнце. На деревьях, воткнутых перед школой, завязывалась мелкая зелень.

Неожиданно подумалось, что пора, выпавшая на эти несчастные дни, была самая редкая, светлая. Невозможно этого не видеть. И он видел, но никак не ощущал. Чувства его, придавленные обстоятельствами, были как слепые.

Однажды прочел он в книге о Робин Гуде стихи:

Двенадцать месяцев в году,
Двенадцать, так и знай!
Но веселее всех в году
Веселый месяц май!

Не стихи даже, а народная английская баллада, он вспоминал ее каждой весной. И каждую весну звучала она по-новому.

Но случилось, как раз перед войной, померзли за зиму все подмосковные сады. Стаял снег, прилетели птицы, а на деревья было невозможно смотреть. Чернели пустые, голые, как кресты на погосте.

Май в таких садах, и синее, сквозь сухие ветки, небо, и первая трава под кронами казались кощунством. Правда, к середине лета оттаяли редкие сучки, дали блёклую, тут же увядшую зелень. Но и все.

Садом, голым по весне, была сейчас душа Андрея.

Могло ее оживить лишь тепло, исходящее от Васьки. Оно и оживляло, и поддерживало худые желтые ростки жизни. Но удар следовал за ударом, и после каждого казалось, что невозможно подняться, обрести себя.

Все, что происходило кругом, происходило и с Андреем. Ложилось, накапливалось в нем, терзая изболевшуюся совесть. Тяжкой виной добавилась сюда и Олина смерть.

Ребята стояли в отдалении, Васька показывал Ксане на большую яму, объясняя, что в сорок первом году упала тут целая тонная бомба. Фрицев от Москвы зенитками отогнали, они побросали бомбы куда попало. А эта бомба не взорвалась. Но все равно в школе и в домах выскочили стекла. Яму сразу окружили заборчиком и несколько дней

откапывали; все говорили, что она замедленного действия. Васька потому и запомнил, что им не разрешали ходить в школу. А потом сказали, что в бомбе оказались опилки и записка: «Чем можем, тем поможем!» Это немецкие рабочие писали...

Андрей слушал Ваську, медленно приходя в себя.

Спросил, привставая:

— Василий, а ты про Робин Гуда слышал? Был такой меткий стрелок из лука.

— Это, наверное, до войны? — сказал Васька. — Я до войны плохо помню...

Солдат и Ксана одновременно улыбнулись, поглядев друг на друга. Они как бы и вправду были на равных в сравнении с маленьким Васькой. И он это видел и великодушно позволял опекать себя, зная, что это не унижительно и он всегда может удрать, если такая опека надоест.

Мимо проскочили детдомовские ребята, крикнули на ходу: «Сморчок! Тебя искали! Сыч тебя искал!» — «Да ладно», — сказал Васька. Но почувствовал себя неприятно. «Психует Сыч-то!» — добавили ребята и убежали, крича на ходу, что сегодня они выступают в госпитале...

Ксана заторопилась домой и повторила свое приглашение.

— Мама наварила суп из селедки. Пойдем!

— Слышала? У нас выступление в госпитале, — отвечал Васька.

Вообще-то он не любил ходить по домам, не считая тех особых случаев, когда он посещал без приглашения, но и без хозяев.

Он законно считал, что детдомовец в домашней обстановке пропадет. Привыкнет, размягчится, потеряет способность выживать, тут и конец ему. Да и вообще домашние были другим миром, и соприкосновение с ним не приносило радости. Будут жалеть, подкармливать, числить про себя несчастненьким, сиротой...

Все это Васька понимал и отказался.

— В госпитале нельзя пропускать, там же раненые.

— И ты у нас раненый, — сказала Ксана. — Да еще голодный. Никто не выступает на голодный желудок. Пойдем, пойдем!

Она распоряжалась как взрослая, будто понимала, что солдат и Васька послушают ее.

— Давай сходим, — предложил солдат.

Васька подумал, что с солдатом его жалеть не станут, и согласился.

Дорогой Ксана рассказала, что мама ее работает на дому, шьет одежду для бойцов. Когда бежали от немцев, успели захватить одну швейную машинку «Зингер»... Вот на ней мама и шьет.

Солдат слушал, кивал, а Васька почему-то злился. «Мама да мама, подумаешь, мамина дочка...»

Подошли к знакомому дому возле магазина. Миновали парадную дверь с высоким крыльцом, где недавно орала Сенькина мать, Акулиха, и ткнулись с обратной стороны в низенькую пристройку.

— Пригибайтесь! Пригибайтесь! — попросила Ксана, с шумом распахивая дверь. Она закричала с порога: — Мама! Я с гостями! Они будут есть суп с селедкой!

«Опять мама, — подумал Васька. — Надоело. Не люблю мам».

Молодая красивая женщина поднялась им навстречу, всплеснула руками:

— Ой, как хорошо. Проходите, пожалуйста.

Поздоровалась с Васькой за руку, потом с солдатом, называя себя Верой Ивановной. Голос был у нее звонкий и мелодичный. На груди колыхалась желтая лента сантиметра.

«И ничего особенного, — решил Васька. — Дядя Андрей все равно лучше».

— Мама, — повелительно говорила Ксана, точно она, а не мама была здесь главная хозяйка, — я тебе рассказывала про Васю, помнишь? Его нужно подлечить, а его одежду тоже... Он сегодня выступает на концерте.

— Ну, подумаешь, — пробурчал Васька.

— Все сделаем, — мягко, мелодично, таково было свойство ее голоса, повторяла Вера Ивановна, осматривая бегло Ваську, обходя вокруг него. На солдата она почти не взглянула.

— Пусть разденется, — попросила она. — А насчет лечения, Ася, ты уж сама... Ты у нас в школе курсы сестер кончила.

— Раздевайся, — приказала Ксана. — Тебе помочь?

— Вот еще, — нахохлился Васька. — Я и сам шить умею. Только у меня иголки нет.

— А у нас есть. Снимай, снимай, я за йодом к подруге сбегая.

Солдат кивнул: раздевайся, мол, если просят.

Вася, сопя недовольно, снял одежду и сел на кровать, закрывшись одеялом. Вера Ивановна осматривала штаны и рубашку, поднимая их на уровень глаз и вздыхая.

Спросила, как же он, Вася, собирался выступать с такими дырками?

Отвечать не хотелось, но и оскорбительного вроде ничего в вопросе не было.

— Меня поставят в середину хора, кроме головы, ничего не видно, — сказал он.

— Так ты поешь? — воскликнула Вера Ивановна. — А наша Асенька музыкой до войны занималась. Сейчас-то она все забыла.

Женщина застрочила на машинке, быстро вращая ручку. Васька перестал дрыгаться, уставился на Веру Ивановну, удивляясь, как ловко у нее получается. Он умел зашивать при помощи иглки, даже гвоздя, но такой работы он не видел. Вообще-то, если бы спереть такую машинку, он бы тоже научился. Хорошая игрушка, надо запомнить.

— А вы, Андрей... Вы кем доводитеесь мальчику? — Вера Ивановна спросила, откусывая нитку и взглядывая на солдата так исподлобья. — Я сразу увидела, что вы похожи.

— Мы? — повторил мальчик. — Мы? Похожи?

Он подскочил на постели, расплылся от радости. Счастливыми глазами посмотрел на солдата. И тот, взглянув на Ваську, подтвердил:

— Ясное дело... Не чужие.

Ксана притащила йод, улыбающийся Васька не успел и пикнуть, испятнала его лицо, руки, шею, даже волосы.

Васька пытался заорать, но Ксана сказала:

— Все! Все! Еще здесь, и все. И здесь... И здесь...

Стерпел Васька, а о Вере Ивановне подумал, что вовсе она не плохая, если заметила их сходство.

Вера Ивановна кончила шить, бросила одежду на кровать со словами:

— Держи, крепче новой!

Солдату она сказала:

— Мне надо с вами потолковать. Ася, посмотри за супом...

— Что ж, — согласился он.

— Пойдемте во двор. Только осторожнее, не стукнитесь головой!

Они встали у крылечка, Вера Ивановна в упор посмотрела на солдата. И он теперь увидел, что у нее большие темные глаза, в сумерках которых затаилась усталая грусть, а в волосах много седины.

— Кажется, я догадываюсь, по Аськиным расска-

зам,— начала она смущенно.— Догадываюсь, что у вас неприятности. Но разговор не о вас, о мальчике. Если есть возможность, купите ему одежду. Эта кончилась... И потом... У него вши. Понимаете, целые гнезда вшей. Я пыталась их давить, смотрю, еще, еще... В каждой складке... Я могу постирать все, но лучше бы сжечь. Вши могут быть и тифозные...

Андрей расстроенно молчал.

Женщина по-своему расценила его молчание, добавила, оправдываясь:

— Не подумайте, что мы уж такие... привереды. Мы, правда, до войны хорошо сперва жили. Муж был кадровый военный, крупный командир. Мы ничего о нем не знаем. А я не работала, но я умела хорошо шить, это нас и кормит. Сейчас мы в долгах... Всем трудно, я понимаю. Но когда в нужде дети, ужасно. К этому привыкнуть нельзя.

— А что нужно? — спросил солдат.

— Да что покрепче,— отвечала Вера Ивановна.— Вот, вроде вашей шинельной... Только потоньше. Чтобы игла взяла.

Андрей машинально потрогал на себе шинель.

— Если это... продать?

— А сами как будете?

— Сам-то обойдусь,— увереннее сказал он.— Цыган шубу давно продал! А я вроде цыгана... Нет, серьезно. Вот только я торговать не умею.

Вера Ивановна оценивающе оглядела шинель, но исподволь смотрела на солдата.

— Сейчас идут все на рынок,— произнесла она.

— Мне туда нельзя.

— А может... им?

Она не назвала Акулиху, но кивнула в сторону дома.

— Спекулянтам?

— Связываться с ними гадко,— сказала со вздохом Вера Ивановна.— Отвратительное порождение войны. Но что делать-то? Мы с вами сами ничего не можем... Знаете, слыхала недавно анекдот, что решили с блатом покончить. Похоронить его, и все. Положили в гроб, крышкой накрыли, да гвоздей не оказалось. Где взять гвоздей? Советуют: по блату можно достать. Выпустили блат, а он и был таков...

Вера Ивановна предложила:

— Давайте вашу шинель.

Ушла и долго не возвращалась. Солдат обошел трижды вокруг дома, начал беспокоиться, когда увидел ее, бегу-

щую вприпрыжку. Издалека показала в кулаке деньги, крикнула весело:

— Ну, баба стерва! Акула зубатая! Нюхом почувствовала, что дело поживой пахнет. Уперлась, уж я слезу перед ней пустила. Мол, мужнина память, единственная...

Засмеялась облегченно.

Андрей смотрел на нее, на губы, нервные, подвижные, на смуглое точеное лицо, на глаза, глубокие, сумеречные, и впервые почувствовал, что хотел бы ее сильно поцеловать.

Но, прежде чем он сам понял свое желание, она угадала и пригасила себя. Сделалась вежливо ровной.

Солдат принял деньги, с укором произнес:

— Коли взялись, помогали бы и дальше,— но укорял ее не за это, оба понимали.— Я ведь уезжаю...

— На передовую? — спросила она тихо.

— Да.

— Когда? Сегодня? Завтра? Впрочем, что я спрашиваю. Этого никто не знает. Мы так и жили всегда в неизвестности, когда куда мужа пошлют... Аська моя на перепутье родилась. В общем...— Она помедлила, глядя на него наклонив голову и как бы снизу, такой она была еще красивее, как девочка неопытная на свидании.— Если не уедете, милости прошу, как у нас говорят. Милости прошу к нашему шалашу.

Она рывком взяла деньги, спрятала, отвернувшись, в лифчик. Потом открыто, с вызовом, посмотрела ему в глаза.

Вернулись в комнату, стали есть обещанный суп с селедкой.

Вдобавок к нему Вера Ивановна принесла кислой бражки. Налила всем — солдату, Ксане немного, а Ваське дала целый стакан.

— Это как квас... Не страшно.

Васька выпил, стал веселым. Подумалось: «Хоть она и мама, а ничего, приятная женщина».

Развязался у Васьки язык от бражки. Стал он рассказывать, как в детдоме пайки делят. Откусят, положат на весы. Многовато. Еще откусят. Останется крошечка какая-то. Развесчик чихнет, она и улетит.

Изобразил Васька в лицах, все рассмеялись. Ксана так и заливалась, солдат восхищенно качал головой: «Ну и Васька, артист!»

Он совсем разошелся, спел «Халяву».

Женился, помню, я на той неделе в пятницу,
Она из всех девчат фартовая была,
Я полюбил ее, Халяву косолапую,
Но для меня она фартовая была...

Возвышенно пел, проникновенно Васька, думал, что это грустная песня. Но все опять начали смеяться.

Только Ксанина мама с мягкой улыбкой произнесла:

— Вася, скажи, а ты сказки любишь?

— Конечно, — отвечал он.

— Вот мы с Аськой по вечерам сказки рассказываем... Про Ивана Царевича, про Василису...

— Я про мужика знаю, — сказал Васька.

— Ну, расскажи.

— Про мужика? — спросил Васька. — Жил мужик и ловил рыбу. Приходит однажды на речку, смотрит — журавель попался в сети. Ногой зацепился, а выбраться не может. Пожалел мужик и освободил журавля. А журавль и говорит ему человеческим языком: «Пойдем ко мне домой, я тебе подарок хороший дам». Пришли они к журавлиной избе, и вынес ему журавль скатерть-самобранку...

— Вот такую сказку я люблю, — кивнула Вера Ивановна.

— Захотелось по дороге старику есть, он и говорит: «Напои-накорми, скатерочка!» Только сказал — и на скатерти все появилось: картошка, капуста, чего еще... Суп из селедки тоже появился. Даже свиная тушенка в банках. И целый бухарик хлеба!..

— Сюда бы эту скатерочку, — воскликнула Ксана.

Васька продолжал:

— Зашел мужик к богатею переночевать, а тот ночью и заменил скатерть. Ему мужик-то проговорился. Приходит домой и говорит старухе: мол, не надо, старуха, теперь в очередь в магазине стоять и в колхозе работать. Все у нас будет. Развернул скатерть, а она и не действует. Обманул, видно, журавль, подумал мужик и вернулся к нему. Так и так, плохую ты скатерть дал, не включается она...

— Как наш утюг, — засмеялась Ксана. А солдат и Вера Ивановна улыбнулись: «Рассказывай, рассказывай, Вася».

— Дал тогда журавль мужику волшебную книгу, — продолжал Васька. — Откроешь ее, а там что ни страница, то продуктовые карточки, да литеры всякие, да ордера на мануфактуру. Вырывай, а они не кончаются. Пришел мужик опять к богатею, попросился переночевать, а тот

ночью снова переменял. Вернулся утром мужик домой, а в книге, глядь, обыкновенные страницы...

— А что за книга-то была? — спросила вдруг Вера Ивановна.

— Толстая и без картинок, — нашелся Васька. — В третий раз журавль дал мужику зеркальце волшебное. Посмотришь в него, и все тебе на свете видно. В каком магазине что выбросили, а где под прилавком держат продукты, а где по мясным талонам отоваривают...

— Мама, а у нас мясные тоже не отоварены, — напомнила Ксана.

— Так у нас же нет волшебного зеркала, — засмеялась Вера Ивановна.

— Мда, — протянул солдат. — Мне бы тоже оно пригодились... Как ты думаешь, Василий?

— Конечно, — сказал Васька. — Но его богатеи тоже украл. Тогда журавль подарил ему сапоги-скороходы. Если, к примеру, будет мужик от милиции удирать, наденет он эти сапоги — и раз...

— Он что, жулик? — спросил солдат.

— Зачем? На всякий случай! А то контролеры в электричке пойдут... Или бандиты пристанут, или пьяницы, — сказал Васька. — Они не рвутся, не промокают. Нет, сапоги удобные были, только их богатеи спер у него. Пошел он снова к журавлю и говорит: мол, плохие у тебя подарки, без проку они мне. А журавль и спрашивает: «Не заходил ли ты ночевать к богатею?» — «Заходил», — отвечает мужик. «Все тогда понятно! Вот тебе последний подарок, — и приносит сумку, — скажи: «Сорок из суммы!» И все у тебя будет в порядке».

— Щедрый был журавль, — сказала Вера Ивановна, вздохнув.

— Вы дальше послушайте, — попросил Васька. — Пришел он к богатею и просится переночевать. «Куда бы, говорит, сумку положить. Она у меня не простая, всякие просьбы исполняет. Надо только сказать: «Сорок из суммы!» Лег мужик, а сам не спит, ждет, что дальше будет. Хозяин-богатеи подождал да и говорит: «Сорок из суммы!» Выскочили тут из сумки сорок автоматчиков, навели на богатея автоматы и говорят: «Отдавай подарки!» Он все и отдал. А мужик пришел домой и отнес в комиссионку.

— Вот чудак! — Ксана всплеснула руками. — Зачем же в комиссионку-то?

— А чтобы деньги были, — резонно отвечал Васька.

Ксане в госпиталь идти не разрешили.

Вера Ивановна сказала, что девочке надо готовить уроки. Поздно, нечего шлаться неведомо где.

Васька клялся, божился, что проводит до дому, Вера Ивановна качала головой:

— Незачем ей идти в ваш госпиталь. Она видела отступление, с нее достаточно. А вы приходите.

Солдат и мальчик задворками вышли к высокой железной ограде, отыскиали лаз и очутились на территории огромного лесопарка, где размещались белые корпуса госпиталя. До войны здесь был санаторий НКВД.

Васька все тут знал. По одной из дорожек направился в глубь парка и остановился перед громадной ямой, сплошь заваленной бинтами.

Мальчик уперся глазами в эти окровавленные бинты, шепотом сказал:

— Видите?

Лазил в санаторий Васька часто. Его территория примыкала одной стороной к колхозному полю, здесь оно не охранялось. Детдомовцы нашли лазы, проторили тропы, пробили отверстия и, как саранча, объедали край, что шел вдоль забора. Здесь росла морковь.

Но это бывало осенью, а осень — золотая пора, как пишут в книгах для чтения. Золотая, в Васькином понимании, оттого, что ходишь с тяжело набитым брюхом, будто в нем и впрямь золото. А в нем кроме моркови и брюква, и турнепс, и свекла, и горох, и капуста, и картошка... Все тогда идет в корм, поглощается в печеном или сыром виде.

Как рыбы мальки, нагуливают детдомовцы по осени вес в страхе перед долгой и голодной зимой. Теперь до осени требовалось еще дожить.

Васька умел и весной выкапывать из грядок чужую посаженную картошку, но прибыль тут не велика. Выгоднее, знал, дожидаться урожая. К тому же, по совету академиков, стали сажать не целые клубни, а лишь глазки, срезы с клубня. Пожрали бы сами академики свои глазки, узнали бы, как чувствительно ударило их открытие по Васькиному желудку.

Но сколь торопливо ни пересекал бы Васька госпитальский парк, всегда останавливался он перед огромной ямой с бинтами.

Глазами, расширенными от напряжения, втыкался он

в белые марлевые горы, испачканные кровью и йодом. По спине тек леденящий холод. Становилось трудно дышать.

Вот и сейчас мальчик заворуженно стоял перед ямой, пытаясь цепким детским умом постигнуть то, что скрыто за этими кровавыми горами: раны, крики, стоны, боль, страдание, смерть.

Замер столбиком, как суслик в степи, Васька, не в силах двинуться дальше. Хоть знает, его ждут. Глаза испуганно округлились.

Около главного корпуса мельтешили детдомовцы.

Увидели издалека Ваську, подняли крик:

— Сморчок! Тебя искали! Тебя искали!

— Кто? — спросил Васька.

— Воробы на помойке... И один знакомый кабыздох спрашивал!

Захохотали, обычная покупка. Но увидели сзади солдата, приутихли. Что за солдат? Почему со Сморчком?

Андрей не заметил общего внимания, сел на ступеньках, задумался. Его, как и Ваську, а может, и сильнее, потому что видел первый раз, поразили бинты.

Они были как сама война, ее кровавый след, жестоко напомнивший о боях, идущих недалеко.

Одно дело читать сводки, слушать сообщение Совинформбюро о больших потерях. Впрочем, о потерях говорили чужих, не своих. А тут груды, горы, завалы, залежи человеческих страданий, своих собственных, не чужих.

Не надо газет, лишь увидеть эти снежные вершины марли, растущие с каждым днем. А ведь они время от времени сжигались, чтобы уступить место другим горам, и несть им числа...

Страшный знак войны.

Здесь понятнее становились привычные по печати понятия «тяжелых», «ожесточенных», «кровопролитных», «затяжных» боев.

Васька, Васька, зачем ты сюда меня привел? Чтобы напомнить о моем долге, о моей боли?

Закрыв на мгновение глаза и молнией, как безмолвный взрыв, над головой полыхнула ракета, до нутра прожигая всепроникающим светом. И серые спины солдат, дружков своих, странно согнутые, большие и малые, крутые и не очень, а у Гандзюка и вовсе горбиком... У-у-у! А-а-а! А его утробный крик почти вслед, чтобы знали, что он рядом, там, бежит, заплетаясь, сбросив мешающую шинельку, чтобы догнать, догнать...

Вскинулся солдат, почти бегом направился прочь, но вспомнил про Ваську. Оглянулся, и Васька, словно почувствовал, встал поперек дорожки с молящими глазами:

— Дядя Андрей, не уходи! Я сейчас...

— Василий, прости. Мы потом встретимся.

Васька побледнел даже от мысли, что он останется без дяди Андрея.

— Ну, немножечко,— пропищал еле слышно. От волнения голоса не стало.

Солдат растерялся от Васькиной беспомощности. Вот ведь беда, нельзя его бросать, забьется под платформу и пропадет из глаз, не разыщешь. И ждать нет сил, изощренный слух Андреев все слышит тиканье часов, которые отсчитывают, будто на взрывном механизме некой мины, последние минуты и секунды. На рынке, как отдавал часы Купцу, время глазами сфотографировал и старался думать, что оно и осталось там. А часы на этой самой минуте третий круг дают, красную черту миновали уже, и если не последовало взрыва, то потому лишь, что рассеянный минер попался, цифру иную, возможно, поставил.

— Ну, немножечко,— молил Васька потерянно.— Только песню спою. Дядя Андрей! Для раненых песню спою. Ладно?

С тех, теперь уже давних пор, как встретились они с Васькой, весь путь Андрея, хотел он этого или нет, был обозначен мальчиком. Сперва впрямую, по его приятелям и друзьям, а потом, по сути, только с Васькой и, более того, к Ваське, а не к винтовке, если не было Васьки. Это сейчас Андрей подумал так, что потерять Ваську было бы для него, может, страшней, чем потерять винтовку. Винтовка — это только его, Андреева, жизнь, его честь и долг. А Васькина жизнь — это и его, Андреев, долг, и долг всех остальных, кто отвечает за Ваську. За него и за его будущее. За всех этих ребяташек.

Так и получилось, что должен был Андрей отступить на короткий срок, чтобы спел Васька свою песню раненым солдатам.

— Ладно. Пой,— произнес он без улыбки.— Без песен тоже не проживешь.

Появилась Лохматая, в старомодном довоенном костюме, с кокетливой косыночкой на шее. Прихлопывая в ладоши, закричала:

— Дети! Дети! Идем в зал. Предупреждаю, слушаться меня. Если будут какие-то крики, стоны, не пугаться... И еще. Никаких подарков и угощений! У раненых брать

неприлично. Боня, Боня, проследи, чтобы никто не отстал!

Боня пересчитал всех, на солдата посмотрел изучающе.

— Он с нами, Бонифаций! — предупредил Васька. — Ты скажи, что он с нами.

— Ладно, — кивнул Боня. Наверное, ему, как и остальным, было странно, что Сморчок привел солдата, да еще вроде бы его опекал.

Двинулись цепочкой по мраморным ступеням внутрь корпуса.

Просторным белым коридором, где стояли железные койки, мимо костылявших навстречу раненых, мимо пробегающих сестер и нянечек, мимо перевязанного по макушку, без лица, человека, мимо лекарств на столике, мимо палат, где лежали и сидели люди, мимо кого-то неподвижного, положенного на тележку и прикрытого простыней...

С оглядкой и перешептыванием прошли ребята в зал.

Пришлось пробираться узкими проходами, загроможденными колясками, сидячими, полулежащими бойцами, костылями, выставленными кульями ног. Но, завидев ребят, раненые оборачивались и пропускали, а когда первые достигли сцены, стали им хлопать. Детей здесь любили.

Андрей сел сбоку, на свободный стул.

Подумалось, что тут, среди буровато-серых халатов, нижних рубашек и гимнастеров, он не особенно замечен. Поди угадай, свой он или чужой, если и выздоравливающим выдают форму, используя их на подсобных работах.

Разве только наострившийся старшина смог бы угадать в Андрее новобранца по некоторым внешним признакам, а пуще по глазам.

Есть в переживших недавно смертельную опасность, в их взглядах нечто такое, чего не было пока у Андрея. Но кто здесь стал бы его высматривать и определять. Люди смотрели на сцену, ждали концерта.

Вышел длинный мальчик, простодушно-веселый Боня, узкое выразительное лицо с тонкими нервными губами. Он поздравил советских бойцов с наступающим весенним праздником Первое мая, пожелал скорого выздоровления и новых сил для борьбы с фашистскими захватчиками. Объявил песню про артиллеристов.

— Наша! — выкрикнули в зале.

Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой,

Идем мы в смертный бой за честь родной страны...

Пружинистая звонкость детских голосов, прямые ударные куплеты, сложенные из таких слов, как сердце, любовь,

родина, бой, честь, воздействовали на зал непосредственно и сильно.

Возможно, когда-нибудь, в другое время, в другом, недостижимом пока послевоенном мире, станет эта песня воспоминанием о военных годах. И не прозвучит она так, и не заполнит могущественно своего слушателя. Что ж!

Сейчас именно она была главной песней для этих людей. Потому что, если произносилось слово «родина», — было это как крик души, а если звучало «смерть», то все сидящие знали ее, видели, как говорят, в глаза, вблизи и на ощупь.

Артиллеристы! Сталин дал приказ.
Артиллеристы! Зовет отчизна нас!
Из многих тысяч батарей,
За слезы наших матерей,
За нашу Родину:
Огонь! Огонь!

Припев ребята исполняли особенно вдохновенно.

В детских голосах, пронзительно чутких, звучал истинный призыв к бою. Андрей с особенно обостренным чувством воспринял его лично по отношению к себе. А слово «огонь!» дети выкрикивали, эффект был необыкновенный.

Зал аплодировал, кричал, называя какие-то желаемые и близкие песни. Однорукий солдатик рядом с Андреем хлопал единственной правой рукой по коленке.

Андрей посмотрел на соседа, подумал не без гордости, что вот на сцене среди детишек поет Васька, близкий ему человек. Взглядом отыскал острую мордочку, испятнанную йодом, во втором ряду. Вспомнилось, как тот сказал: «Меня поставят в середину хора»...

Андрей помахал рукой, но Васька смотрел перед собой и ничего не видел. К выступлению в госпитале он относился очень серьезно.

Боня читал стихи:

Донер Ветер по-немецки значит буря грозовая,
Если худо, Донер Ветер — немцы в страхе говорят...
На Кавказе Донер Ветер, Донер Ветер — Лозовая,
Донер Ветер! С Дона ветер дует, дует их назад!
Русский ветер выдул снова немцев к черту из Ростова...

Однорукий наклонился к Андрею, спросил, с какого он фронта. Резко пахнуло эфиром. Лицо у него было неестественно белого цвета, но в веснушках. Он стал говорить, что воевал на Кавказе, ранили под Малгобеком, а лежал в Астрахани, потом направили сюда.

— А это... как? — спросил Андрей, показывая на пустой рукав.

В общем-то понимал, что спрашивать о подобном не принято, да еще так, на ходу. Не мог не спросить. А раненый с готовностью, как не раз, видно, и не два, стал описывать свою короткую военную историю. Выходило, что прикрывали они отход, а потом кончились патроны, а фрицы все лезли, и тогда они пошли в рукопашную. Упал товарищ, он нагнулся и больше ничего не помнил.

Русский ветер завывает, немцев к гибели несет!

Боня кончил стихи. Последние слова вызвали бурную овацию. Однорукий тоже застучал ладонью по коленке.

— А винтовка? — спросил Андрей. — Винтовка у тебя была?

Однорукий коротко взглянул на него.

— Как же без винтовки! Я же говорю, патроны только кончились.

— А дальше?

— А что дальше?

— Дальше-то как?

— Как-как... Вперед пошли. С отчаяния, что ли. Никакого приказа, понимаешь, не было. Взводный как заорет, в Гитлера, его мать, и так далее, и с наганом вперед... А мы за ним. Ура!.. Шли, орали, а потом товарищ мой упал... Вот и все.

— А винтовка? — повторил Андрей. — Где винтовка?

Однорукий пожал плечами, удивляясь такому навязчивому вопросу.

— Не до винтовки, браток, меня едва вытащили. Эх, была бы рука целая, а винтовка бы к ней нашлась!

Наклоняясь к однорукому, — тот смотрел на сцену, где дети танцевали матросский танец «Яблочко», — Андрей, будто оправдываясь, пояснил:

— А я, понимаешь, не воевал... На фронт еду.

Однорукий кивнул машинально. Повернулся, с любопытством уставился на Андрея. Но смотрел не так, как раньше, не было в его взгляде отношения равного с равным.

Возможно, Андрею, чувствительному ко всяким мелочам, только показалось это. Но уж точно, было в глазах однорукого пытлиное любопытство. Необстрелянный, не нюхавший, не зревший этого ада в глаза... Каков ты будешь там? И каков будешь после него?

А произнес он:

— Ну, ну! Валяй! Войны на всех хватит!

Андрею стало тяжело сидеть в зале. Показалось, что душит его острый больничный запах. Не мог бы сознаться даже себе, что дело тут не в обстановке, а в случайном разговоре, который он сам же завел.

Нет, даже не в нем, а в соседе одноруком, в его, как ни странно, нынешнем, коротком благополучии, благодушии, что ли, которые позволяли ему быть разговорчивым, даже добрым. Ибо ничего не сказал Андрею дурного по поводу стыдного откровения новобранца.

А мог бы, имел, как говорят, право.

Андрей встал, выбрался в коридор.

Слышалась песня, знакомая по кинофильму:

Стою я рано у окошка,
Туман печалит мне глаза,
Играй, играй, моя гармошка,
Катись, катись, моя слеза...

Андрей стоял прислонясь к косяку и прикрыв ладонью глаза.

Эти детские беззащитные голоса... Знали бы сами ребята, как их больно слушать! И этот разговор с одноруким лег новым бременем, новой виной на его душу. Копится счет, и нечем на него пока ответить.

По коридору, шаркая, прошла невысокая женщина, встала около Андрея.

— К нам? — спросила улыбаясь.

Андрей посмотрел, не сразу вспомнил маленький домик, в котором побывал он в первый день своих бесконечных поисков, и Витькину маму.

Поздоровался, объяснил, что пришел сюда с детдомовцами.

— А как ваше ружье? — спросила женщина. В белом стираном халате, в косыночке выглядела она здесь более домашней, чем у себя дома. Андрей вспомнил, что зовут ее Нюрой.

— Неизвестно, — ответил он.

— А я здесь кручусь, — произнесла Нюра. — И ночью. Зимой много поступило солдатиков, да тяжелых таких, не дай бог...

— Видел, — сказал Андрей.

— Где видели? В зале? Там починенные, они жить будут. А те, которые у меня, на концерт не ходят, а как мясо лежат. Паленые, где что — не разберешь. Видать, сильно стреляли на передовой, что столько накалечили, а?

Уходя, добавила:

— И что говорить, мы жалуемся на бабью нашу долю... А мужицкая, если посмотреть, нисколько не лучше. Кромсают по-всякому, и бьют, и бьют... Кто же хлеб сажать после войны будет?

Нюра махнула рукой, пошла, Андрей сказал ей вслед:

— До свидания.

Она обернулась, ответила:

— Нет уж, не надо скорого свидания. И никакого не надо! К нам лучше не попадайте!

21

Детдомовцы высыпали во двор.

Тут и раненные поджидали, робко тянули в сторону, чтобы выпросить о родне, искали земляков. Совали печенье, хлеб, сахар, ребята с оглядкой брали.

К вечеру белые корпуса госпиталя будто поголубели. В густых еловых зарослях накапливались сумерки. Сильней запахло молодой зеленью.

Солдат разыскал Ваську, взял за плечо:

— Мне, понимаешь, нужно кой-куда сходить... Ненадолго.

— Я пойду с тобой,— сказал сразу мальчик.

— Но у меня дела, Василий.

— Все равно,— упрямо повторил он.— Я провожу. Ладно?

Боня подошел к ним, поглядывая на солдата, спросил:

— Сморчок! На ужин идешь?

— Нет,— сказал Васька.— У нас тут дела.

— Тебе оставить?

— Спасибо, Бонифаций,— поблагодарил Васька.— Ты пайку заberi себе, а баланду отдай Грачу, его за стекло наказали...

Боня раздумывал. Сразу видно, что он добрый малый, не обрадовался лишней пайке.

— Ладно. Ты, Сморчок, не зарывайся,— предупредил.— Исключат, смотри!

— Я не боюсь,— отвечал Васька и посмотрел на солдата.

С солдатом он действительно не боялся.

— Кстати,— сказал Боня,— тебя Сыч спрашивал!

— Я знаю,— отвечал Васька. И опять почувствовал, как защемило у него внутри.

— А это кто? — спросил Боня про солдата.

— Дядя Андрей,— неопределенно сказал Васька.— С фронта ко мне приехал.

— Родственник?

Слово «родственник» было в детдоме как пароль в какую-то другую жизнь. Не сразу, но хоть когда-нибудь.

— А ты как думал? — соврал Васька. Тут уж не соврать он никак не мог.

Боня вздохнул, посмотрел на солдата.

— Повезло тебе. А у меня никого нет.

— И у меня тоже не было! — простодушно воскликнул Васька.— А он, значит, взял и приехал!

— Я сразу заметил, что вы похожи,— сказал Боня.

— Правда?

— Прямо копия.

— Вообще-то родственники всегда похожи,— философски заметил Васька. И тоже посмотрел издали на солдата. А вдруг и в самом деле они похожи? Вот ведь фантастика! Второй раз говорят!

Лохматая закричала ребятам, и строй двинулся к центральным воротам по широкой асфальтированной дороге. А Васька и солдат направились коротким путем к своему лагу.

Васька шел и орал песню:

Горит в зубах у нас большая папироса,
Идем мы в школу единицу получать,
Пылают дневники, залитые чернилом,
И просим мы учителя поставить пять!
Ученики, директор дал приказ,
Поймать завхоза и выбить правый глаз!
За наши двойки и колы,
За все тетрадки, что сожгли,
По канцелярии — чернилками — пали!

Настроение у Васьки было наилучшее. Концерт удался, а дядя Андрей взял его с собой. Но главное — детдомовцы увидели его с солдатом.

Пусть знают, Васька не какой-нибудь доходяга, заморыш или безродный, которого можно прижать к ногтю. Васька — полноценный человек, потому что он не один.

Оттого-то лишний раз Васька продемонстрировал перед всеми и перед Боней свой уход с солдатом, свое небрежение пайком. Так может поступать занятый и уважающий себя человек.

Будет теперь разговоров в спальне!

А выгнать Ваську не могут, куда его выгонишь... Ему, как нищему, терять нечего, одна деревня сгорит, он в другую уйдет. Детдомов в Подмоскowie напихано видимо-

невидимо. Государство подрост оберегает, как лесник саженцы в погорелом лесу.

Беспризорный знак — лучший пропуск в роно, знавал Васька и это учреждение. Засуетятся, приветят, на место сопровождают. Да не только по служебной обязанности, а по естественному состраданию к детям.

Что греха таить, бездомные знали свое преимущество и умели пользоваться им. Васька тоже пользовался.

Шли солдат и Васька по тропе, навстречу попадались перевязанные солдатики. Кто гулял, кто первые желтенькие цветы нюхал. Один раненый медицинскую сестренку в кустах обнимал. А еще один лег под деревом и тянул через соломинку березовый сок. Поднял задумчивые голубые глаза на Ваську с солдатом и продолжил свое бесхитростное занятие.

А небось месяц-другой назад притирался к земле не так, под навесным огнем. Землю носом пахал, молил несуществующего бога пронести смерть мимо. Пронесло, да не совсем. Теперь-то он барин, лежит, наслаждается. Тянет прохладный, пахнувший древесным нутром сладковатый сок, и ничего ему больше не надо в жизни. Блаженное состояние — пить сок в тишине госпитальского парка, после оглушительных боев...

Оглянулся Андрей, позавидовал, что ли. И Васька оглянулся, углядел под лежащим разостланную шинельку.

— А кленовый сок слаще, — сказал он. — Шинель-то, дядя Андрей, где забыл?

Солдат спокойно отвечал, что шинель свою продал.

— Как продал? — изумился Васька, остановившись на тропинке.

— Продал, Василий. Деньги нужны.

— Вот еще, — протянул тот. — Деньги и так можно достать. А шинель — форма, как без нее жить.

— Что шинель... Вон руки-ноги люди теряли, а живут. Потому что душа в них живая осталась.

— Души нет, — сказал Васька. — Это поповские выдумки.

— А что же есть?

— Внутренности!

— И все?

— Ну, кишки еще. А знаешь, дядя Андрей, как нужно кричать, когда тебя лупят?

— Как?

Васька преобразился, будто втрое уменьшился, застонал, заныл, заблеял тоненько:

— Дяденька, не бейте, я семимесячный... Не бейте, я малокровный...

Выпрямился Васька, стал на себя похож. Гордо посмотрел на солдата.

А у того язык онемел, прошибло всего. Глотнул слюну, спросил странным голосом:

— Кто же это... Кто тебя такому научил?

Васька засмеялся глуповато.

— Когда бьют, сам придумаешь.

— Тебя били? Часто?

— Не считал,— отмахнулся Васька. Засвистел на весь лес. Разговор становился ему неинтересен.

— Послушай, Василий,— позвал солдат.— А про какие такие деньги ты говорил? И как их можно достать?

Они стояли перед лазом и смотрели друг на друга.

— По-всякому,— пробормотал Васька и сунул голову в дырку. Ему не хотелось объясняться подробнее.

— А все-таки? Ну, говори, говори.

— Чего говорить,— пронудил Васька.— Ну, я у спекулянтки сопру... Справедливо или нет?

— Конечно, нет,— сказал солдат.— Сегодня спекулянт, а завтра честный человек попадется.

— Барыг всегда видно,— упрямо твердил Васька.— Я в глаза посмотрю, в радужку... По радужке кого хошь узнаю. Они знаете где червонцы хранят? Никогда не угадаете! В валенках!

— Почему в валенках? — засмеялся солдат, удивляясь Васькиной фантазии.— Что ты придумываешь?

— Знаю, раз говорю,— обиделся тот.— Во-первых, в валенках жулики не ищут. А во-вторых, случись пожар в доме. Все сгорит, а валенок в валенок засунутые не сгорят... Дядя Андрей, а ты видел фильм «Два бойца»?

— Видел.

— Помнишь, они там на трамвае по городу едут? И один, который артист Андреев, говорит другому: «Кому война, а кому мать родна!» Это он про кого говорит? Про снабженцев, да?

— Про сволочь,— сказал солдат.

— А мы в детдоме говорим так: «Смерть немецким оккупантам и люберецким спекулянтам!»

Они остановились, пришли.

Солдат показал на одноэтажный домик около шоссе, темный, не освещенный изнутри.

— Смотри, Василий. Мой дом.

Васька посмотрел. Недоверчиво хмыкнул:

— Твой, а не живешь. В сарае валяешься...

— Другие живут.

— Кто другие?

— Не знаю, Василий.

Васька опять посмотрел. Сперва на дом, потом на солдата. Проверял как будто.

— Самый, самый твой настоящий?

— Настоящий... Я тут с мамой жил. А сейчас... Даже боюсь зайти.

— Вот еще! — воскликнул Васька пораженно. — Чего бояться? У меня вон койка своя, пусть попробуют занять! Любого прогоню!

— Ишь, какой боевой, — усмехнулся солдат.

— Был бы у меня свой дом! — сказал Васька задумчиво.

— Ну и что?

— Так... поставил бы себе топчан, тумбочку, тарелку бы собственную имел. И ником бы не разрешил ее облизывать.

— Кто же станет облизывать в твоём доме-то?

— Найдутся... шакалы, детдомовские. Они везде пролезут. — Васька прикинул. — Я бы, пожалуй, еще замок повесил. А сам через окно ходил.

— Вот те раз! — захохотал солдат. — Какой же это дом? Это не дом, а черт знает что! Берлога!

— Какой хочу, — нахмурился Васька.

— Ладно, ладно, — согласился солдат. — А теперь я вон туда, видишь домик? А ты в обратную сторону. Завтра встретимся. Иди, иди...

Проследил, пока Васька скроется, поднялся на крыльцо. Постучался, а сам раздумывал над Васькиными фантазиями о своём доме.

Дверь открыла Муся.

Не удивилась, произнесла: «Пришел?» Обыденно, чуть по-бабьи.

Андрей разглядел, что она в халатике, в валенках на босу ногу. Поверх халата — ватник. Но и такой показалась она по-домашнему уютной.

Он будто чувствовал тепло, исходящее от нее, женское, одурманивающее. Притаил дыхание, испугавшись чего-то.

Много всякого разного прошло с их встречи. Были моменты, когда он вовсе не вспоминал эту женщину, она жила в нём как забытый сон. Сейчас увидел и опьянел, одурел от ее близости. От одной возможности быть рядом с нею.

В комнате стоял полумрак. Горела коптилка.

Тетя Маня поднялась навстречу, в темном, на плечах плед.

— Андрюша пришел! А мы ждали... И Муся ждала. Та, не глядя, кивнула, стала собирать на столе карты.

— Гадаешь? — спросил Андрей.

— Сейчас все гадают...

Муся исподтишка посмотрела на гостя, не смогла скрыть жалобного восклицания:

— Ой, что с вами? С тобой? Так изменился...

Андрей повернулся к ней, молча глядел. Что он мог ответить?

— Изменился, потому что время прошло.

Тетя Маня пришла на выручку, подхватив слова о времени. Мол, недавно сидели здесь, разговаривали об Оленьке, а теперь...

Вынула платок, засморкалась. Суетливыми и будто постаревшими руками достала бумажку, никак не могла развернуть.

Андрей у нее взял, развернул, прочел. В углу был номер воинской части, а в центре обращение, вовсе не казенное, а какое бывает в письмах близким: «Дорогая Мария Алексеевна!»

Далее сообщалось, что фронтовой товарищ Оля, член артистической бригады, пала смертью храбрых и похоронена в станице Яблоневской, Ставропольского края...

— Это где? — спросил Андрей.

— Не знаю сама, — отвечала тетя Маня. — Хочу, Андрюшенька, съездить.

— Кто же вас пустит? Там недалеко бои!

Муся вмешалась в разговор:

— И я говорю: подождите, Мария Алексеевна. Олены уже ничем не помогут. Пусть пройдет время...

Голос у нее дрогнул, она махнула рукой и ушла на кухню.

— Ребенок еще была, — тихо говорила тетя Маня. — Девочка еще, а они убили. Лучше бы меня, я пожила, не хочу больше. Неужто озверели, что всех поубивают?

— Они фашисты, — жестко произнес Андрей, наклоняясь, вглядываясь в желтый огонек коптилки. — Несколько дней назад я ехал на фронт и знал, что буду воевать, но не знал — как. А сейчас, поверите... — Он поднял повлажневшие глаза, в них отсвечивало желтое пламя. — Вот тут накопилось. Нагляделся на беженцев, на раненых,

на женщин... И на детишек. Вот детишки, страдающие от войны, это пострашнее всего.

Андрей будто что-то пытался разглядеть в мерцающем огоньке.

— У меня есть святое право карать за это. Бить их...

— Андрюша, а где ваши вещи? — спросила тетя Маня. — Где ваше оружие... Шинель? Ведь вы тогда были при снаряжении, правда?

— Правда.

— Как сейчас помню, ваша винтовка стояла в том углу. А я обходила ее стороной, боялась, что она упадет и выстрелит.

— Будет у меня все, — ответил он. — Завтра Первое мая, я начинаю жить по-новому... Тетя Маня, вы помните стихи из Робина Гуда? Там, в самом начале?

— Как же, как же, — произнесла она. — «Двенадцать месяцев в году, двенадцать, так и знай...»

— «...Но веселее всех в году веселый месяц май!..»

— А дальше? — спросила тетя Маня. — Есть же слова дальше. Вы их знаете?

— Нет.

Тетя Маня прочитала:

— «Из лесу вышел Робин Гуд, деревнею идет и видит: старая вдова рыдает у ворот. — Что слышно нового, вдова? — сказал ей Робин Гуд. — Трех сыновей моих на казнь сегодня поведут...»

Пришла Муся с шипящей сковородкой, ловко поставила посреди стола на черепицу.

— Угощайтесь, — произнесла довольно. — Если гость не привереда, я могу сказать, как это называется.

— По-моему, вкусно, — сказал Андрей.

Муся засмеялась.

— Тошнотики — слышал? Старая картошка да очистки проворачиваются, да еще что-нибудь, что есть не станешь. И не так уж плохо, да? Есть частушка даже: «Тошнотики, тошнотики, военные блины...»

Муся обратилась к тете Мане:

— Вам тоже нужно есть. Андрей, ну скажи ей, война еще не кончилась. Мы должны беречь силы для победы.

— Поешьте, — попросил он и тронул плечо. Тетя Маня наклонилась, прижалась щекой к его руке, неслышно заплакала. Встала, пошла в свою комнату.

На пороге оглянулась, произнесла в нос:

— Простите... Вы ужинайте, а я отдохну.

Андрей и Муся молча доскребали сковородку.

Заведомо знали они, что останутся вдвоем и будут говорить. Но о чем?

В то странное утро их неожиданного сближения вовсе ничего сказано не было. И прекрасно, что не было лишних слов. Но это могло быть однажды и не годилось для продолжения, о котором тогда они не загадывали.

Сейчас оказались необходимыми какие-то слова, объяснения, причем с обеих сторон. Оба это понимали и не были готовы начать такой разговор.

Муся унесла сковородку, поставила чай.

Андрей машинально тасовал карты.

Так сидели они друг против друга, чего-то ожидая.

Муся протянула руку и погладила, провела по его щеке. Он молча взял ее руку в свои и стал целовать ладонь и каждый отдельно палец, а потом все косточки и ямки, по которым его когда-то учили считать длинные и недлинные месяцы.

— Милый, что случилось? — спросила она неслышно. Он понял вопрос по движению губ.

— Ничего не случилось.

— Но я же знаю, чувствую, милый.

— Все у меня нормально, — сказал он.

— Где твои вещи? Почему задержался?

— Я уезжаю завтра.

Муся поверх коптилки смотрела в его лицо, чужое, повзрослевшее за несколько дней. Все обострилось в нем, облеклось в жесткие законченные черты.

Исчез простодушный мальчик, открытый, не умевший прятать своих чувств. На его месте сидел мужчина, прикрытый, как броней, бедою непостижимой и всем, что она в нем натворила.

Тут же поняла она и другое.

Своей жалостью, словами и руками, растопив в нем лед отчужденности, вызвав ответные чувства, сделала она невозможной совсем встречную откровенность. Скорей откроется он случайному человеку.

Андрей, прижав ладони к вискам, глядел через коптилку на нее, на бледное лицо в голубых бликах, в ореоле светлых разбросанных волос. Он тоже думал о том, что не в силах открыться этой женщине.

Невозможно переваливать беды, хватит у нее своих собственных, скрытых и явных, которые он знал. Он спо-

собен был сейчас в одиночку тащить бремя своих невзгод, не травмируя больше никого из близких, ни тетю Маню, ни Ваську, ни эту в мгновение ставшую родной женщину.

Почти весело он произнес:

— О чем ты спрашиваешь, если перед тобою карты. Они ведь все знают?

Муся со вздохом сказала:

— Не смейся. Все женщины в тылу гадают.

— И верят?

— Да, представь себе. Когда трудно, человеку нужно во что-то верить.

— Ладно, поверю, гадай. Только учти, у меня все хорошо.

— Раз хорошо, то и выйдет хорошо,— произнесла она, тасуя и разбрасывая карты.— Ты у нас крестовый король?

— Может, король, а может, валет... Без топорика своего.

Подперев кулачком щеку, рассматривала Муся пеструю мозаику на столе. Провела ладонью по картинкам, не поднимая глаз.

А когда взглянула на Андрея, были в ее взгляде такая боль, такое отчаяние, что он, державший на языке очередную шутку, растерялся и сник.

Во взгляде, но не в голосе ее. Голос прозвучал ровно.

— Карты говорят, дружок, что пережил ты большой удар и не скоро оправишься. Виновник твоих злоключений темный король, вы должны с ним встретиться...

— Скорее бы,— вырвалось у Андрея.

— Что? — спросила Муся.— Вот, у вас скорое свидание при большой дороге. Есть у тебя и близкий друг, он имеет отношение к твоим бедам. Но он верный друг, ты его не бросай... Видишь, он выходит все время рядом с тобой. Нет, нет, не женщина. Это молодой бубновый король. Женщины тут есть, но не они сейчас главное в твоей жизни...

— Черт! — произнес Андрей, отчего-то пугаясь и вставая. Он с силой сдвинул карты, и несколько из них полетело на пол.— Ты что? Это? Серьезно?

— Ох, Андрей,— протянула Муся. И опять он увидел взгляд, наполненный дикой тоской, не имеющей выхода, как бывает у раненых животных.

Она стала собирать оброненные карты и, разгибаясь, оказалась перед ним.

— Так почему же не главное,— произнес он.— Именно главное, я ведь тебя люблю.

Сильно обнял ее, так, что хрустнуло, промычал едва понятно, зарываясь в ее мягкие волосы:

— Не думай, у меня никого не будет... Если ты захочешь ждать... Потому что... Люблю! Люблю!

Она тихо, будто не дыша вовсе, прильнула к нему. Молча затаилась, как бы прислушиваясь к его нутру.

Он руками провел, перебирая ее волосы, ее хрупкое плечо под теплым ватником, узкую податливую спину... Вмиг подхватил ее, подкосив рукой под колено, и так, держа на весу, стал целовать бездумно и бестолково, попадая губами в подбородок, в шею, в живот, ощущая через распахнувшийся халат женскую угарную духоту, от которой он еще больше распалялся и терял над собой власть.

С одной ноги ее соскочил валенок, обнажив белую коленку. Он стал целовать эту коленку. Пронес через комнату Мусю, положил на кровать. Медленно, бережно, как спящего ребенка.

Но она тотчас же приподнялась и села. Стала торопливо поправлять волосы, запахла халат. Будто опомнилась от обморока, от гипноза.

— Нельзя, милый... Сейчас нельзя!

— Можно! Можно! — бормотал он, наклоняясь, желая силой склонить и ее. Он не вдумывался в смысл ее и своих слов, почитая их необязательным сопровождением главного. Главное же была любовь.

Она поцеловала его в губы, коротко и легко. Со вздохом сказала:

— Да как же, в доме покойник... Несчастье в доме. А мы как безумные... Нет, нет!

Медленно приходил он в себя.

Понимал, как не понимать, что так оно и есть, несчастье, смерть и скорбящая за стеной женщина. Но было еще и другое: последний день встречи перед фронтом. Он должен был, он хотел любить и хотел, чтобы его любили.

Насколько сильным было его желание, настолько оказалось большим горе перед невозможностью это желание осуществить.

Все, все она чувствовала.

— Ах, господи, — прошептала в отчаянии, торопливо целуя его замершее, неподвижное лицо. — Не серчай, милый! Ну кто виноват, что так вышло... Мы ведь люди живые, а не скоты какие-то... Мы не можем делать плохо, правда же? Пожалуйста, не серчай!

— Да ничего я,— произнес он отрывисто, не сумев скрыть в голосе разочарования.

Сел на постель рядом с ней, уставившись окаменевшим взглядом прямо перед собой, в темную стену, за которой за тонкой перегородкой одиноко страдала тетя Маня, вслушиваясь в свое горе.

Но не могла она не слышать всего, что происходило в комнате, их шепота и поцелуев. Вот какие странности этого мира: война, похороны, несчастье, а люди продолжают есть, любить, целоваться...

Ничто кругом не изменилось оттого, что самые молодые, самые лучшие и прекрасные безвременно уходят из жизни. Никто не рвет на себе волосы, не стонает, не исходит на улице от горя. Все отдано женщинам и матерям, в одинокой ночи.

— Пойду,— сказал Андрей.

Муся ничего не говорила, но и не удерживала его.

— Пойду,— повторил он и теперь встал.

Она продолжала молча и как бы бездумно сидеть. Слышала ли она его?

Он обернулся, чтобы сказать прощальные слова. Вдруг почувствовал, что ужасно было бы ему оставаться, но еще ужасней уйти, оставив эту женщину на пустой постели, в пустой комнате.

Так, стоя на расстоянии, вглядываясь в ее фигуру, опавшую, горестно оцепенелую, сказал он то, что не думал, не помышлял говорить:

— Давай поженимся! Я вернусь, честное слово. Я выживу, выстою для тебя, для нас с тобой... У нас будут дети. Я всегда, всегда стану тебя любить...

Произнесено было неловко, грубовато. Но так отчаянно, так неумолимо, что она одним движением, как по воздуху, стала рядом с ним, прикрыв губами его слова.

Странно засмеялась, склоняясь к его груди, пока он не понял, что не смеется она, плачет.

О чём она плакала?

О себе, наверное, о бабьей доле, о судьбе, которая могла стать иной, будь она хоть чуточку хуже, легкомысленней, что ли. Воистину люди говорят, что судьба — это характер.

Не желая врать или притворяться в такой откровенный час, единственный в ее жизни, заговорила она, смахивая ладонями бегущие слезы. Заговорила о том, что она бы тоже любила его, самого лучшего, ненаглядного ей человека, лучшего из всех, кого она знала.

— Но ведь я женщина, русская баба,— доносился до него торопливый грудной голос.— А ты, Андрюшенька, родной мой, не понял, что русская баба не бросает мужа калеченого да несчастного посреди ужасной страшной войны... Мы жалеть умеем, Андрюшенька, а наша жалость, она и есть наша любовь. Знаю, знаю, ты думал, переспала, вот уже и моя. Но я и была твоя и вспоминать буду тыщу раз посреди ночи, до самого края жизни не забуду ничего. И не так, как мужик вспоминает, а изводиться по твоим ласкам буду, подушку омыwać слезами — так вспоминать... Но его не брошу. Он меня, Андрюшенька, тоже жалеет по-своему, как родитель старший все равно. Он обо мне печется, любит меня. А баба, ох, что баба... Она за ласковую душу отдаст все, и терпеть калеченого будет, и любить будет. Да тем сильнее, может, ты не понял, Андрюшенька, чем больше он несчастный...

Андрей будто застыл, похолодел весь от неожиданного горя.

Она знала, что может в нем сейчас твориться. Лгнула к нему, целовала, плакала и убивала своими словами.

— Я у тебя только первая женщина. Это вовсе не то, что первая жена. У тебя, милый, родной мой, все будет. Жена твоя, Андрюшенька, счастливица будущая, может, только в школу ходит... Не отчаивайся... Я буду тебя помнить, всегда, всегда.

23

Андрей шагнул на улицу, наткнулся на Ваську, сидящего на ступеньке.

— Ты? Василий? — спросил пораженно.— Что тут делаешь?

— Ни-ни...чего,— ответил тот, съезжившись, обхватив плечи руками.

— С тех пор?

— С каких... Ну, ты же сказал, что ненадолго. Я решил подождать.

— Вот шальная голова. А если бы надолго? На всю ночь?

Васька подул на руки.

— Сколько б терпения хватило.

— А постучаться ты не мог?

— Да ну,— отмахнулся Васька.— А кто здесь живет?

Андрей посмотрел на мальчика, на дом с темными окнами.

— Как тебе объяснить. Одна, в общем, хорошая женщина.

— Любишь ее? — спросил Васька.

— Что?

— Что, что... Не хочешь, не говори. Сам не маленький, догадаюсь.

— Ох, Василий, — только выдохнул солдат. — Не только ты, а я маленький в сравнении с ней.

— Ага. Значит, не любит, — заключил Васька. — Да ну их! Все они одинаковые!

— Смотри, а у тебя, брат, опыт.

— А чего я, слепой, что ли! Они в лесу около детдома на траве с солдатами лежат... Да и в песне не зря поют: «Ты меня ждешь, а сама с лейтенантом живешь...»

— И так бывает. По-разному бывает, Василий.

— Конечно, по-разному, — сказал Васька. — Ведь говорят же: до лейтенанта жена получает только удовольствие... До полковника — удовольствие и продовольствие. А после полковника только продовольствие...

— Пойдем, Василий, побыстрей. Вправду похолодало, — предложил солдат. — А женщин ругать нельзя. На них, сам видишь, весь тыл держится.

— Вижу. Только жениться бы я все равно не стал. Противно это.

— Что тебе противно-то?

— Да все. Целоваться противно. Я, конечно, сам не целовался, но видел. Лично мне не понравилось. А ты целовался, дядя Андрей?

— В общем... Да.

— Тогда скажи, когда взрослые целуются, им не стыдно в глаза друг дружке смотреть?

Андрей усмехнулся, прибавил шагу. Васька рысцой поспевал за ним.

— Когда люди любят друг друга, ничего стыдного не может быть. Понял?

— А как узнать? — спросил Васька. — Мы в детдоме много об этом спорим, ребята говорят, что любви не бывает. А вот учительница рассказала историю... Знаешь, жил дворянин один, а в него влюбилась девушка. Она ему даже письмо написала в стихах... Ну, такое письмо, ахнешь! А он ей, значит, говорит... Ты молода еще, поживи с мое, тогда поймешь, почему фунт изюма... И стал ухаживать за ее сестрой. А сестра эта была прости господи, такая, ну... С одним, значит, с другим, да еще жениху голову морочила. А жених был приятель этого дворянина.

Он возьми да вызови дворянина на дуэль. Это раньше так было — из-за баб вызывали на дуэль. А дворянин его и кокнул. И уехал на фронт добровольцем... А потом приезжает с фронта, а девушка его уже замуж вышла, да не за лейтенанта, а за генерала, что ли... Он ей по аттестату и деньги, и продукты, она и пошла за него. А дворянин увидел и влюбился. Генерал на передовой, понимаешь, немчуру бьет, а этот к ней каждый день домой ходит. Еще письмо написал, они раньше так делали... Вроде и встречаются, и письма еще пишут. И он, значит, в стихах как ей катанет на целую тетрадь. Написал, что он зазря не оценил ее, что был груб, а теперь, мол, любит. А она ему при встрече и говорит. Я, говорит, тебя любила и сейчас люблю. Но генерал меня обеспечивает, и я ему изменить не могу. С тем и прощай, дорогой! А в это время генерал в командировку приехал. Как увидел он их вдвоем, достал гранату, как ахнет!

— Не брешь, Василий,— сказал солдат.— Не было гранаты.

— Ну, не было,— сознался Васька.— А ты откуда знаешь?

— Слышал.

Шагалось по холодку легко.

Ночь не казалась уже темной. Дачная улица была пустынной, молчаливые ряды домов с потухшими стеклами.

Чтобы сократить дорогу, свернули они в редкий сосняк, на тропинку. Откуда-то сбоку вынырнули две фигуры, пошли наперерез. Один остался сзади, а другой приблизился вплотную, попросил прикурить.

Васька сообразил моментально: урки, раздевать начнут.

Покрылся липким потом, а руки и ноги ослабели от страха. И голос пропал. Но испугался не за себя, за солдата, который, ничего не подозревая, полез в карман за спичками.

— Дядя Андрей...— прошептал Васька, но кончить не успел.

Человек выкинул вперед нож, держа на уровне пояса, снизу вверх, хрипло приказал:

— Часы, деньги — быстро! Будешь кричать — прикончу! Живей! Живей!

Солдат стоял будто в растерянности, медленно доставая руку из кармана. Дальше Васька не успел увидеть, что произошло. Солдат ударил ногой по руке, и нож улетел в темноту. Потом он захватил локоть бандита, так что хруст-

нуло, и тот грузно шмякнулся на землю. Да попал на пень ребром, заорал от боли.

Зато второй навалился солдату со спины, опрокинул на себя.

— Помогите! — закричал Васька, но голос, срывающийся, слабый, прозвучал как во сне. И ноги подгибались, и не было сил бежать.

Он почти достиг дороги, упал, ударившись о какой-то булыжник. Тут только сообразил, что бросил дядю Андрея одного с бандитами. Пока Васька будет звать на помощь, они ведь убьют его.

Заплакал Васька, потеряв ушибленную коленку, нащупал злосчастный булыжник, поднял его. Прижимая к груди, поплелся обратно.

Острым детским зрением разглядел в серой мгле, как хрипят, катаясь по земле, двое, а в стороне сидит третий, и пытается встать, и не может. Здорово, видать, хрястнуло его об пень.

Васька увидел, что бандюга подмывал под себя солдата, навалился грудью, стал душить. Всхлипывая, подошел к ним, положил камень у своих ног и вытер рукавом слезы, чтобы не мешали видеть. Поднял камень и с размаху опустил его на голову бандита.

Тот мгновенно раскис, размяк, отвалился набок, издав гортанный звук.

Солдат встал на ноги, покачиваясь, сделал несколько шагов, увидел Ваську. Протянул ему руку, произнес только: «Бежим!»

Они с треском летели сквозь темный лес, спотыкаясь на колдобинах, на ямах, процарапываясь через кусты. Потом замедлили бег, пошли шагом, а на подходе к детскому остановились. Сели на землю и слова не могли сказать, задохнулись. Смотрели друг на друга и тяжело дышали.

Тут стало видно, что наступил рассвет. Верхушки деревьев все ясней очерчивались на фоне светлеющего неба. Звезды стерлись, повеяло сыростью.

— Останемся здесь, — предложил солдат.

— А если найдут? — шепотом спросил Васька.

— Кто? Эти? Да нет!

— Все равно страшно, — сознался он.

Собрали сухую хвою, подожгли. Поднялось пламя. Стало жарко. А ночь будто потемнела. И небо и деревья — все сгустилось вокруг.

Васька молчал, жался к огню.

— Ты что? Заболел? — спросил солдат, приглядываясь.

А у самого темный синяк разрастался под глазом и кровавая царапина поперек щеки.

Васька шмыгнул носом, стал крутить тлеющий прутик. Спросил неуверенно:

— Дядя Андрей... А я этого... не убил?

-- Кого? Бандюгу-то? — сказал тот. — Да что ты, оглушил малость. Переживаешь?

— Не знаю, — вздохнул Васька. — Я, когда шмякнул его по голове, сам думаю: вот и он встанет сейчас, кулачищем двинет, и брызнут мои глаза в разные стороны...

— Уж так ты это и успел подумать?

— Успел, после... Все равно я боялся его.

— Но ударил?

— А как же, — ответил негромко Васька. — А если бы тебя стукнули или ножичком пырнули? Им это что высморгаться.

— Да-а, — протянул солдат. Засмеялся, глядя на Ваську. — Я и не понял, зачем они подошли.

— Как же не понять? — удивился Васька. — Если двое в темноте подходят и прикурить просят, значит, грабить начнут. У женщин они сумочки берут, часики какие, брошки, кольца... А у мужчин часы и бумажник. Иногда раздеваться велют, если там каракуль какой. Говорят, одну артистку прямо около своего дома раздели, в Москве.

— А у меня-то что брать? — спросил солдат. — Я каракуля не ношу.

— Это они в темноте обмишурились. Они бы отпустили, наверное, если бы ты объяснил.

— Я солдат, Василий. У меня объяснения простые. Мне бояться да отступать положение не велит. Да и тебе тоже...

Васька ничего не сказал, пошел хворосту подсобирать. Хорошо, что не видно, как покраснел. Ведь он побежал сперва. Видел дядя Андрей или не видел, что Васька побежал?

Вернулся, подложил в костер палок, спросил:

— Как вы его... об пень-то!

— А-а... Это самооборона, — пояснил солдат. — Мы в ремеслухе тренировались. Тут и силы много не требуется, одна механика.

— Нет, правда? — Васька даже привстал. — Вот бы научиться! У нас хмырь есть один, он всех бьет. Он старше, с ним никто не может справиться.

— А ты пробовал?

— Я? — хихикнул Васька. — Да обо мне и речи нет.

Он самых здоровых гнет к земле. Если что ему нужно, отдай подобру, а то еще поиздевается... Вон как Грачу «велосипед» с «балалайкой»...

Солдат подкинул сухого лапника, костер загудел, поднялся высоко, осветив кругом кусты и деревья.

— Главное, Василий, это не сила и даже не техника, — сказал солдат. — Урки боятся смелых. Если бы ты первый ударил этого... своего...

— Кольку Сыча, — подсказал Васька, понизив голос, и оглянулся.

— Да-да. Если бы ты первым напал на него, я уверен, что он бы испугался.

— Нет, — произнес Васька. — Я его никогда не ударю.

— Боишься?

— Боюсь. Его все боятся.

— А Боня что ж?

— Бонифаций? Он сильный, только он не дерется. Понимает, что с Сычом лучше не связываться. Один у нас не отдал Сычу пальто. Так Сыч его раздел ночью, вытолкал в окно голенького и не велел появляться. Убрался, даже воспитатели не узнали.

— А что же воспитатели у вас делают?

— Живут, — сказал Васька. — Они сами ничего не умеют. То воспитатели новые, то ребята — попробуй узнай всех. Как на вокзале...

— Тяжело...

— Я и не говорю, что им лучше. Мы тут к одной в комнату залезли, так у нее ни денег, ни хлеба не оказалось. Одно крошечное зеркальце. Разве это жизнь?

— А зеркальце взяли?

— Взяли, — сказал, вздохнув, Васька.

24

Утром, во время завтрака, вошел в столовую директор Виктор Викторович, в темном отглаженном костюме, желтых туфлях и галстуке.

Он громко поздравил весь коллектив детского дома с праздником трудящихся Первое мая.

Ребята доедали овсянку. Кто-то царапал ложкой по тарелке, кто-то чавкал, а один, уже вылизавший кашу, хихикнул и надел тарелку себе на голову.

Директор посмотрел на придурка, переждал глупый смех и добавил, что, возможно, с утра придет машина из

колхоза, тогда все поедут в гости к шефам. Так что никуда не разбегаться.

Вот теперь поднялся шум. В колхоз ездить любили.

Забарабанили по столу, завывали, затрещали, заорали невообразимое. Ревели, мычали, визжали на разные голоса, некоторые свистели. Директор собирался сказать что-то еще, но лишь махнул рукой и ушел к себе.

Общее возбуждение достигло вершины, когда принесли большую и блестящую, наподобие бидона, жестяную банку с американским клеймом и каждому выдали по полной ложке белой размазни, именуемой сгущенным молоком.

В тарелку, в ложку, в бумагу, в спичечную коробку, в лопушок, в ладошку — каждый подставлял что мог.

У Васьки была горбушка, приберегал для солдата. Провертел в мякише дырку, подставил, и ему налили диковинного молока. Васька, не отходя, языком лизнул — понравилось. Еще лизнул — еще вкусней показалось. Таяло во рту, нектаром расплзлось по нёбу, по губам.

Голова пошла у Васьки кругом от такой сладкой жизни.

Стоял посреди коридора, лизал и наслаждался, зажмурившись. Представлялось ему, что, когда он подрастет, заработает денег, в первую очередь купит на рынке пайку хлеба и банку американского молока. Ложкой черпать будет и есть, подставляя снизу корочку, чтобы драгоценная сладость не капала мимо.

Неужто наступит такое золотое время для Васьки?

Кто-то, пробегая, саданул Ваську под локоть, хлеб с молоком отлетел на пол. Обмерев, бросился Васька к пайке. Но кусок упал удачно, ничто не пролилось, лишь осталось на полу бледное пятнышко. Васька лег на живот и пятнышко вылизал.

Прикрыв хлеб двумя руками, Васька пошел на улицу.

За сараем, привалясь к стене, спал солдат дядя Андрей, свесив набок голову.

Мальчик присел на корточки, подробно рассмотрел его лицо. Сейчас особенно стало видно, какое оно старое, изможденное, морщины, синяк под глазом и царапина на щеке.

Васька смотрел, и жалость разъедала его сердце, защипало в глазах.

Представилось: вдруг дядя Андрей умрет?

Уж очень вымученным, бледным он был, и тяжким, прерывистым было его дыхание.

Испугался Васька, ужас его объял. Помрет ведь, а может, уже помирает. Что будет он делать один?

Решил поскорей разбудить солдата. Известно ведь, когда человек не спит, он умереть не может. Потому что он станет думать, что умирать нельзя...

Осторожно положил хлеб на траву, стал теребить солдата.

— Дядя Андрей! А дядя Андрей! Проснись, не надо спать! Проснись скорей!

Солдат лишь головой повел, досадуя. Попытался открыть глаза, белками поворочал и снова закрыл.

Не знал Васька, что привиделось солдату необыкновенное. Эшелон приснился свой, прямо как в натуре, и винтовка своя, которую он и не терял вовсе, а по забывчивости оставил в козлах, в вагоне. Чистил боевое оружие солдат, обглаживал ладонью вороненую сталь, поблескивающую маслом.

Увидел Васька, что солдат не может проснуться, еще больше перепугался. Затормошил его, чуть не плача, стал на ухо кричать.

Хотел солдат и Ваське счастливую весть объявить про винтовку. Что нашлась, родимая, что стояла — ждала в козлах. Да жаль от эшелона отрываться, от занятия своего приятного.

— Сейчас, Василий... Почищу...

Пробормотал и проснулся.

Увидел близко от себя испуганное лицо мальчика.

Спросил хрипло:

— Что? Что случилось?

Васька сел на землю перед солдатом, облегченно вымолвил:

— Фу, напугался!.. Думал, что ты помер!

— Я помер? — спросил солдат, озираясь, проводя рукой по лицу. Ах, как ему приснилась собственная винтовочка, будто наяву видел ее. Кончики пальцев до сих пор ощущают гладкий тяжелый металл. Подремать бы чуть, может, вернулось бы благодное это состояние...

Но Васька все тут, протягивает кусок хлеба с белой размазней.

Вяло принял солдат хлеб, спросил:

— Что, лярд?

— Попробуй!

Васька уставился в рот солдату. Радостно смотрел, как дядя Андрей откусывает хлеб с молоком. Но солдат перестал жевать, поморщился.

— Это что же такое? Не лярд?

Лицо у мальчика побледнело от обиды.

— Подумаешь, лярд! — выкрикнул вздорно. — Он и не масло никакое, его американцы из угля делают...

— Ну да, ну да, — согласился виновато солдат. — А это что?

— Молоко особое, сгущенным называется... Как пирожное все равно!

— А ты хоть ел пирожное?

— Не помню, — сказал Васька. — Вообще-то Боня рассказывал, какое оно... Вроде как снег сахарный... Возьмешь, а оно тает.

— Так это мороженое!

— А мы ходили картошку перебирать. Тоже мороженая, сладкая ужасно. Я ее штук сто съел.

За разговором Васька умял возвращенную пайку, облизал пальцы, а руки вытер об волосы. И зло пропало.

Вспомнил об утренней новости, предложил:

— Едем с нами в колхоз? Там весело, накормят от пуза.

— Нет, — сказал солдат. — Ты поезжай. А я к старухе схожу.

— А потом?

— Видно будет.

Васька попросил:

— Меня подожди. Я к обеду вернусь. Съезжу только и вернусь. Ладно?

— Езжай давай!

Детдомовцы караулили машину у дороги.

Угладели издалека, бросились как ошалелые навстречу, облепили со всех сторон. Карабкались, сыпались с грохотом в деревянный кузов.

Зеленый «студебеккер» с откидными решетчатыми лавочками по бортам был ребятам хорошо знаком. Ездили на прополку, на окучивание, на сбор колосков. Каждый детдомовец мечтал стать шофером, чтобы гонять по пыльным проселкам такой зеленый «студебеккер».

Виктор Викторович дождался, пока все угомонятся, сел в кабину, и машина полетела.

— Даешь колхоз! — закричал Грач, размахивая над головой шапкой.

Кто-то дразнился:

— Небось люди замки покупают, говорят, Грач едет, держись, деревня, чтобы не растащили!

— А ты, Обжирай, молчи! Кто в прошлый раз стырил в конюшне кнут?

Повсюду шли свои разговоры.

— ...Боцман и говорит: «Я, говорит, тут все мели знаю! Вот — первая!»

— ...Старуха просит: сходи, сынок, принеси из погреба капустки. А я руку в бочку и за пазуху. А капуста течет по штанам, по ноге...

— ...Он пистолет как наставит: «Ноги на стол, я — Котовский!»

— ...И не «студебеккер», а «студебаккер», там в кабине написано...

— ...Ильинский тогда и говорит: «В нашем городе не может быть талантов!»

— ...Председатель так объявил. Мол, кончите семь классов, беру в колхоз. Мешок муки, трудодни там, картошка...

— ...В прошлый раз в амбар на экскурсию привезли, пока рассказывали, Сморчок дырку пальцем провертел и муки нажрался, вся рожа белая!

— ...А Швейк кричит: «Гитлер капут!» И в пропасть его...

Боня втиснулся боком между остальными, поближе к Ваське. Придерживаясь рукой за шаткий борт, спросил:

— Этот солдат... Он какой родственник? Дальний? Близкий?

— Родственники — это когда близко. А что?

Васька не сразу сообразил, куда гнет Бонифаций. Решил про себя: не открываться. Вообще наводить тень на плетень.

— Да так, — сказал Боня. — Вроде непонятно. Солдат, а ночует, говорят, в сарае у нас... Он что, с фронта приехал?

— В том-то и дело, что приехал, а тут несчастье, — по секрету передал Васька.

— Какое несчастье?

— Какое... Любил он, понимаешь, одну девушку. Она ему все письма на фронт в стихах писала. Ну а он пошел в разведку и целый штаб фашистов захватил. Гранату наставил, как закричит: «Сдавайся!» Они все и сдались. Ему орден за это. А он просит... Товарищ командир, мол, дайте несколько дней, мне надо к девушке съездить. Ну, ему дают. Приезжает он и что же видит...

— Что? — спросил Боня.

— А вот что! Живет она с лейтенантом, на полном, значит, обеспечении. А солдату и говорит: «Я тебя не люблю больше. Уезжай туда, откуда приехал. Мне и без тебя хорошо».

— Вот сука! — сказал Боня.

— Конечно, сука,— повторил за ним Васька.— И солдат ей так сказал: ты, говорит, тыловая сука... Тебе, говорит, не человек нужен, а звездочки на погонах! Это про тебя песню поют: «Ты меня ждешь, а сама с лейтенантом живешь» и так далее. Так вот, получай за все, и достает он гранату.

— У него есть граната? — спросил Боня.

— Есть... Хотел он в них кинуть, а потом раздумал. Выходит из дома и говорит мне: «Пусть живут. А я на фронт уеду. Мне эта граната для врагов пригодится. Давай, говорит, Василий, с тобой не жениться никогда. Все они, говорит, бабы, одинаковы. Целоваться с ними противно». А я в ответ: женщин ругать нельзя, на них весь тыл держится... А он сказал: «Ты, Васька, прав, конечно. Но любви на свете нет».

— А я-то смотрю, невеселый он,— произнес Боня.— Значит, так и ушел с гранатой?

— Так и ушел,— подтвердил Васька.— В сарае стал жить.

— Может, помочь надо? — Машина качнулась, Боня стукнулся губами о Васькино ухо.— Ты скажи...

— Ладно.

Боня повернулся к остальным ребятам, привставая на ветру:

— Песню поем?

Все завопили, каждый предлагал свое.

Боня, взмахивая рукой, запел громко:

Эх, граната, моя граната,
Ведь мы с тобой не про-па-дем!

Грянул хор, машина дрогнула:

Мы с тобой, моя граната,
В бой за Родину пойдем!
В бой за Родину пойдем!

С песней, как десантники на боевом задании, въехали они в деревню, где на избах полоскались под ветром красные флаги.

25

Детдомовцы сыпались из машины наземь, как картошка из ведра. Падали, раскатывались в разные стороны. Свободу почувствовали, возможность проявить свои неограниченные силы.

Лезли в огороды и сараи, в конюшню, маслозавод, сельпо, скотный двор. Разбежались, как тараканы при



свете, каждый нашел свою щель и был таков. Около сельсовета, где встала машина, жалкой кучкой торчали девочки, выбрав среди грязи посуше островок.

К Виктору Викторовичу подошел председатель колхоза, рыжий, бойкий дядька в овчинном полушубке и ушанке, на ногах сапоги, широко поздоровался. Был он, видать, под хмельком, говорил громко, махая руками.

— В клуб артиста пригласили... Пусть огольцы концерт посмотрят. Потом мы их по избам распахаем харчеваться. А где ж они?

Виктор Викторович развел руками:

— Разбежались. Теперь не соберешь.

— Как так не соберешь! — вздорно сказал председатель. — Сейчас молока велю привезти, вмиг будут тут.

Называя Виктора Викторовича на «ты», председатель взял его под руку, потащил в гости.

Вскоре подъехала телега с бидоном.

Рябая широкоскулая молочница стала разливать молоко по банкам, откуда-то налетели ребята, вывалянные в сене, жующие горох или жмых. Захлебываясь, обливая одежду, тянули банки, просили: «Дайте мне! Дайте мне!»

— Да всем же хватит, — произнесла молочница. — Небось фляга-то вон какая.

— Авось да небось, — передразнил Васька и подставил чью-то шапку. — Ты лей давай! Мы неограниченные!

Кто-то пил из ладоней, не дожидаясь посуды, боясь, что его обделят. Кто-то по Васькиному примеру тянул шапку, а еще придумали галошу, сняв с ноги.

— Ох, мамочки! — восклицала молочница. — Да что вы такие заморенные?

— Мы не голодные, — поправил Боня снисходительно. Он возвышался над остальными, молоко с его подбородка капало на Васькины волосы. — Пьем, мамаша, про запас.

Женщина всплеснула руками:

— Да какой же может быть запас? Вы не резиновые, поди?

Боня спросил строго:

— Грач, сколько ты можешь выпить?

Тот не торопился отрываться от миски, из которой он с другими ребятами тянул молоко с разных концов. Допил, поднял голову вверх, отвечал белым ртом:

— Пока неизвестно. Как назад попрет, так, значит, хватит.

Постепенно желающие отпадали. Детдомовцы, налившись жидкостью, словно разбухнув, садились на землю там,

где стояли. Пытались пить и сидя, но уже не лезло, и они зло сплевывали белую слюну, глядя снизу на тех, в кого вливалось больше.

Про Боню с завистью говорили:

— Он вон какой длинный! В него сколько ни лей, все зайдет!

Некоторые, подогадливей, бежали рысцой за сельсовет опростаться. Возвращались бодрые и активные.

Но и тут исчерпалось. Грач уже икал, отрывая, как малое дитя. Толька Кулак сидел обхватив живот и ловя воздух ртом: подперло у него под сердце. Какая-то девочка плакала: она не смогла выпить больше стакана.

Васька распластался, как рыба на песке. В глазах побелело.

Услышал, как молочница спросила с оглядкой:

— Кому еще надо?

Бидон, как назло, все не кончался. Кто мог допустить такое, чтобы его увезли?

С паузами Васька пробормотал снизу, почти из-под телеги:

— Надо... Еще... Ты не увози... Мы его постепенно...

На большее воздуха не хватило — пошло молоко. Причем изо рта и из носа одновременно.

Тетка, вздохнув, произнесла в утешенье:

— Дадут, дадут вам еще. Гуляйте!

Бидон увезли, а детдомовцы остались.

Впрочем, затишье продолжалось недолго. Умялось, утряслось, проскочило: вода дырочку найдет!

Сперва медленно, потом живей, как котята, стали кататься по земле, бороться. Играли в расшибаловку, в салочки, в ножижки, в чехарду.

Вернулся «студебеккер», привез артиста.

Ребята увидели, ринулись в клуб занимать места. По пути чуть не сшибли собственного директора, он ходил с наволочкой по домам, закупал продукты для семьи.

В дверях клуба стоял рыжий председатель, по одному пропускал детдомовцев, придерживая остальных.

Покрикивал лихо:

— Давай, огольцы! Сыпь в партер! Сейчас концерт изобразим! Смех и юмор! Чтобы росли веселыми, огольцы-молодцы!

Детдомовцы и прежде знали рыжего председателя. С ним связывались колхозные подарки, картошка и овощи или неожиданные праздники, такой, как сегодня.

Ребята с удовольствием смотрели ему в лицо, друже-

ски улыбались, кивали как старому знакомому. Никто не представлял только, что такое партер.

Самые просвещенные утверждали, что вино так называется, другие говорили, что это фамилия артиста.

Деревенских задарма не пускали, требовали червонец денег, если не было червонца, брали яйцами, маслом или салом.

Кто-то приволок соленый огурец, но с огурцом прогнали.

Клуб размещался в большой избе с деревянными лавками.

Детдомовцы заняли переднюю лавку, а некоторые сели прямо на сцене. Потом уже набилось народу столько, что стояли в дверях и в окнах. Стало душно, воняло сивухой.

Вышел на сцену председатель — здесь он показался ребятам, смотрящим снизу вверх, еще больше, — стал говорить о празднике и о задачах на посевную как перво-степенной помощи фронту.

— У нас в гостях подшефный детский дом номер тридцать три, — энергично произнес он, — воспитанники помогали нам активно бороться с сорняками, собирали на поле колоски... Спасибо!

Все захлопали, а некоторые детдомовцы захлопали сами себе.

Васька сидел сбоку сцены, ему было видно, как за короткой кулисой, в закутке, готовился к выступлению приезжий артист. Он покрасил себе карандашом щеки, губы, глаза, и Ваське стало заранее так смешно, что он прыснул в воротник.

Артист между тем из бутылочки взял в рот жидкости, шумно пополоскал и выплюнул прямо на сцену. Золотые зубы его вмиг побелели. Васька перестал хихикать и озадачился. Вот так штуковина! Красить щеки куда ни шло, но красить зубы... Нет, не надо было артисту скрывать их от публики. Любой пацан мечтает иметь столько блестящих зубов. Если уж необходимо красить, полоскал бы зубы на зрителях... Какой бы был успех!

Председатель кончил свою маленькую речь и представил слово артисту.

Тот выскочил на сцену, энергичный и приветливый. Кланялся, изгибаясь и кокетничая глазами, ему аплодировали. А Ваське стало заранее смешно.

Артист изображал на сцене пьяницу, который где-то потерял бумажник, но ищет его под фонарем. Его спра-

шивают: «Отчего ты здесь ищешь, ты же потерял в другом месте?» Пьяница отвечает: «А здесь светло!»

Васька закатился от смеха. Так долго заливисто он смеялся, что в зале стали смеяться на самого Ваську.

Артист тоже приметил Ваську, указывая на него пальцем, произнес:

— У меня дома такой же шкет растет! Приходит с улицы, а у него дырки на штанах!

Все засмеялись, а Васька прикрыл заплаты ладонями.

— ...Ну, починили мы ему штаны, на другой день снова дырявый. Мать и говорит: «Сошью-ка я ему штаны из чертовой кожи! Он в жизнь не сносит». Сшила, глядим, вечером снова дырки... Я спрашиваю: «Ты что, нарочно их рвешь?» — «Да нет, папа,— говорит.— Мы просто с Мишкой новую игру придумали». — «Какую игру?» — «Да я сажусь верхом на точило, а Мишка крутит!»

Артист мелко, профессиональным голосом заблеял и посмотрел на Ваську, как он станет реагировать. Но Васька почему-то не захотел смеяться. И никто из детдомовских не засмеялся.

Накрашенные брови у артиста поползли вверх, он недоуменно пробежал глазами по лицам ребят, поднатужился, заулыбался, как будто ему весело. Но Васька вдруг понял, что ему совсем не весело да и не интересно все это говорить и делать.

Васька не захотел слушать артиста, а решил уйти домой.

«Пускай,— подумал с неожиданной мстительностью.— Пускай залатано, зато у меня есть солдат дядя Андрей».

Васька отвернулся от сцены и стал смотреть в зал, на людей, которые смеялись и грызли семечки. Некоторые переговаривались между собой. Самые веселые, хва-тившие с утра самогона, пытались запеть. Их шумно одергивали.

Артист в конце изобразил зрителя в кино, который заснул во время сеанса, и все кончилось.

Прямо у входа рыжий председатель распределял ребят по домам колхозников, тыкал пальцем в грудь и говорил: «К Кузьминым... К вдове Люшкиной... А этого к Прохоровым...»

Васька шмыгнул в сторону, хоть знал, что будут сейчас сытно угощать детдомовских в избах. Картошки с мясом дадут, вина домашнего, семечек насыпят полные карманы. Поедут с песнями обратно, а директор повезет две наволочки крупы и творога и еще чего-нибудь.

Ваську ждет дядя Андрей, свой человек, а ему сегодня вовсе не до праздника.

Вышел Васька по наезженной колее, на окраину деревни, рысцой пустился в направлении Люберец. Только молоко забулькало внутри.

26

Как в прошлый раз, Андрей боковыми улицами миновал город, с оглядкой пересек шоссе около белокаменной поликлиники. Знакомой девочки, галчонка с тонкими ногами, во дворе не увидел, только след ее — белые квадратики, начертанные на асфальте.

Андрей стукнул раз и два в деревянную крашеную дверь.

— Входите, открыто,— раздался низкий женский голос.

Прихожая квартиры была завалена мебелью и тряпьем. Керосинки, корыто, велосипед... Пожилая женщина, волосы желтовато-седые на макушке косичками, встала перед Андреем с щеткой на длинной палке, вопросительно ждала.

— Здравствуйте,— сказал он.— Вы бабушка Шурика?

— Допустим,— произнесла женщина, глядя ему в лицо.

— Можно его видеть?

— Шурика нет дома. А вы кто будете? Знакомый?

— Да, мы встречались... однажды, но у меня к нему дело.

— Вот как! Ну, входите в комнату, раз дело.

Женщина отложила щетку и первой пошла по коридору. В комнате было так же сумрачно, северная сторона. Лишь за окном освещенная солнцем стена противоположного дома да зеленая ветка тополя у стекла.

Не сводя глаз с этой качающейся ветки в острых частых листиках, даже на вид липких, с молодой желтизной, Андрей сел на стул.

— Докладывайте,— предложила женщина, садясь напротив. Спокойно и доброжелательно выжидала, рассматривая его.

— Я был вчера, но не застал вас... А тут девочка около дома...

— Мариночка?

— Ее зовут Мариной?

— Ну да, прозрачная, как свечечка... Тяжелое дело.

— Почему тяжелое?— спросил Андрей.

— В больнице она.

— Как? Я вчера с ней разговаривал...

— Да, да,— сказала женщина.— Ее вчера и увезли. Хроническая дистрофия, еще там... Считают, что она не выживет. Так что у вас за дело?

Андрей молчал.

Раздумывал о девочке, о старухе и неведомо еще о чем. Поразительно все менялось в этом военном мире. Стабильным было одно: страдание взрослых и особенно детей, которые вроде и не чувствовали, что они страдают.

Сейчас и решил Андрей, что невозможно рассказывать женщине свою ужасную историю.

Он повторил то, что уже сказал. Ему необходимо встретиться с Шуриком лично. Дело не столь серьезное, но срочное. Поэтому он побеспокоил их в праздник.

— Пришла с работы и занимаюсь уборкой... Вот какой у нас праздник,— усмехнулась женщина.— Простите, я чая не предложила.

Она вдруг спросила:

— Шурик... натворил что-нибудь?

Андрей растерялся от столь прямого вопроса.

— Почему... так решили?

Женщина грустно посмотрела ему в глаза. Разумно объяснила:

— Как почему... Вот вы военный, а какое может быть у вас с ним личное дело? Он с бойцами до сих пор не водился. Да и в приятели по разным причинам не годится. Странно ведь.

— Мало ли странностей в войну,— едва ль не принужденно Андрей улыбнулся, хотя терпение его лопалось. Настырная попалась старуха.— Не водился, а теперь стал водиться, разве плохо?

— Не знаю! Не могу вам однозначно ответить на такой вопрос!— произнесла хозяйка, вставая.

Она разволновалась. Прошла по комнате, поправила кружевную накидку на кровати, ладонью разгладила складки.

— Я, молодой человек, старая большевичка, как говорят, еще с подпольным стажем. С товарищем Воровским работала, всякого пережила. Так вот у меня интуиция. Шурик в последнее время ведет себя странно. Незнакомые ребята, подростки, теперь вы... Где-то пропадает, чем-то занимается. Все помимо меня. Теперь положи руку

на сердце скажите, права я или не права, что беспокоюсь и хочу разобраться, что происходит в моем доме?

— Правы,— кивнул Андрей, подтверждаясь в своей мысли ничего не открывать. Разволнуется, сляжет с сердцем. Кому от этого польза?— Правы, но ваше беспокойство ко мне никакого отношения не имеет.

Он напрягался, чтобы говорить спокойнее. Глаз у бабки вострый, что и говорить. Истинная подпольщица. Он опять повторил, что вопрос этот личный, объяснить его трудно.

— Ну да, ну да,— кивала женщина, поджав губы и что-то соображая про себя. Она рассматривала свои руки, сложенные на переднике. Задала странный вопрос:— Вы на фронт... его не повезете?

— Как?

— На фронт, на войну то есть,— членораздельно подчеркнула женщина.— Не собираетесь с собой увезти?

— Простите. Как увезти? Зачем увезти?

Андрей озадаченно уставился на хозяйку, пытаюсь сообразить, шутит ли она или говорит серьезно. Но если серьезно, то вовсе уж непонятно. Может, это ее «пунктик» на старости лет?

Та мгновенно оценила реакцию и все поняла.

Опустилась устало на табурет, начала рассказывать издалека про своего сына, человека научного, который работал до войны по флотации руд, то есть по их обогащению. Строил заводы, ездил по стране, но своей семьи так и не сложил. А тут, в году тридцать седьмом, привезли испанских детей. Мальчика десяти лет они усыновили. Звали мальчика Арманд, но они именовали Шуриком. Мальчик способный, кончает девятый класс...

— Простите,— перебил Андрей.— А сын жив?

— Жив, жив,— сказала женщина.— На Урале, бронь у него. Он взял бы Шурика, да условия не те. Вот мы с ним тут и воюем, что называется. Я-то в военизированной охране на заводе Ухтомского служу, мне уследить за парнем невозможно. А он горячий, понимаете, эмоциональный, может наделать глупостей каких... Поэтому я спросила, вы уж извиняйте глупую старуху...

— Что вы!— сказал Андрей.— Мне об одной приятельнице узнать надо.

— Шурик с ней знаком?

— Да, да... Немного.

— Он ведь уехал в Косино. Вы знаете, где Косино? Женщина стала объяснять, что недалеко от озера,

оно зовется Белое, есть торфоразработки, бараки торфусек, три длинных таких дома. В одном из них живет приятель Шурика, испанец Арана. Года на два старше их сына, да там, если спросить, все знают.

— Спасибо вам,— Андрей заторопился, встал.— Возможно, съезжу.

Он знал, что поедет немедленно, сейчас. Но произнес именно так: «Возможно, съезжу», не хотел больше волновать старуху. Своим появлением он уже внес немалую смуту в ее беспокойную жизнь.

Уходя, Андрей посмотрел на окно: зеленая ветка качалась на ветру.

Женщина провожала его в коридор и все рассказывала какие-то подробности о Шурике, говорила о том, как испанцы часто встречаются, как поют прекрасно свои песни; «Колумбиану» не слыхали? А теперь приятель Шурика Арана решил жениться на русской девушке, а ухаживали они, между прочим, вдвоем...

— Не ссорились?— спросил настороженно Андрей. В полумраке прихожей он что-то зацепил, и за шумом хозяйка вряд ли смогла разобрать странность вопроса.

— Как не ссорились,— произнесла обыденно.— Друзья ведь, они и должны ссориться. Оба вспыхучие, фы-рр! Как сера! Но драться, нет, не дрались, не слыхала такого... Наоборот, Шурик тут подарок все искал, удочки раздобыл какие-то. Мне не показал, увязал, повез. По-своему назвал их как-то. Арма, что ли, я точно не запомнила. Говорю ему, передай поздравления своему Аране и невесту поцелуй. А удочки твои ни к чему им, лучше бы мешок картошки свез, проку-то больше... А он молчком да молчком. С тем и укатил.

— Торопился?— спросил Андрей.

— Уж как торопился... Бегом да бегом. Будто гнали его.

— И он гнал, и его гнали, и меня... тоже... время гонит,— поправился на ходу Андрей.

Попрощался, вышел на улицу.

На весь поселок играла маршевая музыка, гуляли люди, громко смеялись. Флаги на довоенных длинных древках были как лоскутки совсем: экономили материю.

Андрей стоял озираясь, наткнулся взглядом на белые квадратики, оставленные девочкой. Стало больно. Ах, Мариночка, Мариночка, свечечка моя на ветру! Снаряд тяжелый не тронул, блокада не взяла, бомба на Ладоге миновала...

«Я болею,— говорила она.— У меня от голода болезнь». А потом она пригласила: «Приходите завтра. Завтра ведь праздник и у военных тоже? А я вам куклу покажу, Катьку...»

Надо бы зайти, но сердце не выдержит, разорвется, когда он увидит куклу Катьку, которая тоже перенесла блокаду, даже не пискнула ни разу, и убитые глаза родителей.

Махнул рукой с досады, пошел прямо по улице, по ее середине. Ах, Мариночка, дай добраться до фронта. Свернем мы фашистам шею, сотрем с лица земли, как проказу окаянную.

Андрей вспомнил, как показывали в кино горящие дома Испании, большой пароход, а на нем дети. Медленно, осторожно выходят они на берег, а навстречу бегут русские женщины. Хватают, принимают на руки, целуют... А в зале плакали. Боже мой, чужая беда, а своя уже стояла на пороге. Вот и оказалось, что нет чужой беды, а есть одна общая и с ней нужно сообща бороться.

Не так ли произошло с ним, Андреем? Принял свою беду за главную. На том стоял и едва не сломался. Но увидел вокруг чужое страдание, чужую боль, чужие смерти и понял, что не о своем ему печься, а о чужом, оно и есть главная его беда.

Она-то и даст силы, чтобы выжить, испить кровавую чашу войны до дна. Не для личной мести искал он свое оружие, не для защиты абстрактной Родины-матери, а конкретно для помощи каждому, кого он встретил и принял, чью боль ощутил как свою.

Испанский беженец мальчик Арманд-Шурик стоял в этой цепи пострадавших, и одно это лишало Андрея возможности видеть в нем врага, хотя бы личного. Такой поворот усложнял, но и упрощал их будущие отношения.

27

На поляне за детдомом стояла Ксана и, задрав голову, следила за птицами. В своем кокетливом беретике, вишневом пальто, издали она казалась старше своих одиннадцати лет.

Андрей углядел ее на подходе, крикнул:

— Привет, подружка! Василия не видала?

— Здравствуйте,— произнесла Ксана, медленно, вовсе

не удивившись появлению солдата.— Васи, по-моему, здесь нет.

— А ты искала?

— Нет, не искала. Я просто гуляю,— ответила девочка.

— Василий в колхоз уехал, к шефам... Но должен вернуться.

Ксана кивнула и посмотрела наверх. И Андрей посмотрел наверх. Там под крышей второго этажа шла обыкновенная птичья толкотня, воробьи хлопотали около своих гнезд.

— Видите,— сказала Ксана,— как они устраиваются? А ребята заберутся, все яйца покрадут.

— Зачем им яйца?

— Едят,— объяснила Ксана.— Вася тоже по карнизу лазит, когда-нибудь сорвется.

— Он цепкий парень!— заметил Андрей.— Ты с ним дружишь?

Девочка качнула головой.

— Не знаю. До сих пор мы встречались в классе. Он мне казался... В общем, хулиганом... Однажды я видела, как он целого птенца съел.

— Ну какой он хулиган!— воскликнул солдат.— Переголодал небось... Ты его строго не суди.

— Я теперь понимаю. Он хороший человек.

Андрей взглянул на Ксану и подумал, что не случайно сказала она так про Василия, не зря гуляет около детдома.

— Василий верный человек,— подтвердил он.— Ты уж его не бросай, когда я уеду.

— На фронт?— спросила Ксана, глядя на солдата снизу вверх.

— Да.

— Скоро?

— Очень скоро. Все, подружка, кончились мои каникулы.

— Я забыла передать,— сказала девочка.— Вас приглашала моя мама на праздник.

— Скажи ей спасибо,— отвечал солдат и еще раз внимательно посмотрел на Ксану. Красивая девчонка, что и говорить. Но уже все понимает о себе. На месте Василия влюбился бы в нее без памяти.— Вот что,— попросил солдат.— Дождись Василия, передай: я пошел в Косино. Запомнишь? Косино, а там торфяные бараки... Вечером, может быть, вернусь.

— Не беспокойтесь,— отвечала Ксана.— Я передам. Он в Косино вам нужен?

— Не знаю. Пусть сам решит.

— Я так и скажу,— произнесла девочка, задумчиво посмотрев на солдата.— Вам также счастливо.

— Спасибо.

— Мы с мамой вас любим.

Андрей уже поворачивался, чтобы идти. Вскинулся, хотел что-то ответить, но увидел лишь в спину, как уходила она, держа руки в кармашках, величаво-спокойная, как маленькая женщина.

Круто повернулся и строевым быстрым шагом двинулся в сторону Косино.

Рассчитывал он добраться туда часа через два, но долгие обходы, кружение по окраинным улицам удлиннили путь.

Только от Ухтомской перестал он думать о возможных патрулях и пошел напрямик, через дачные травяные улицы, сады и переулки.

Выскочил на бывшее картофельное поле, в конце которого уже виднелись темные пирамиды торфа и низенькие полоски бараков. Поле граничило с болотом, и пришлось идти вдоль него по мягкой подзолисто-серой земле, все время видя эти бараки, но нисколько не приближаясь к ним.

Прямо посреди топи возвышались странного вида машины, от которых в разные стороны тянулись настилы из досок, валялись брошенные тачки.

Справа открылось озеро, большое, продолговатое, с темными лодками рыбаков и белой церковью на противоположной стороне.

Андрей срезал путь через сосновый редкий лесок, в обход болота, и ступил на тряскую, постоянно влажную тропинку, ведущую к баракам.

Тут было шумно и празднично. Ходили люди, бегали дети, заглядывая в растворенные окна, из которых доносились пестрые голоса и звуки гармошки.

Сушилось белье на проводах, а сквозь него, не пригибаясь, пьяный гонял с оглушительным треском на мотоцикле, сзади сидела женщина.

Им кричали из окон:

— Перед употреблением взбалтывает!

Парень зацепился за угол, и оба, он и его спутница, полетели наземь. Но, видать, нисколько не ушиблись и, гогоча, тут же поднялись, стали отряхиваться. Мотоцикл продолжал крутиться и трещать лежа, взбивая вокруг пыль.

Две старухи, как матрешки на чайниках, сидели нарядные на скамейке, грызли семечки. Андрея засекли издалека и не спускали с него глаз, все-то было им интересно. И то, что солдат пришел, и к кому направляется, какая такая девка подцепила на крючок зелененького мальчика...

— Где тут испанец живет?— спросил их Андрей.

— Энто что за испанец?— спросила одна бабка другую.

— Хамилья, верно, Спанец... Может, Петька наш?

— Нет, нет,— сказал Андрей.— Он из Испании, молодой парень.

— Молодой... Откуда, гришь?

— Из Испании, из-за границы...

— Он чево, солдат?

— Нет.

— Может, Алеха! Он как цыган, приехамши был...

— Так разве он не наш?— спросила старуха.

— Не наш, не наш,— повторила другая.— Перед войной приехал, а откуда, не знаю.

— А свадьба у кого сегодня?— спросил Андрей.

Обе старухи разом заулыбались, перебивая друг друга, подтвердили, что точно, Алеха женится на Ягоровой племяшке Лидке, которая в университете учится, а теперь Алехе призыв пришел, он, значит, свадьбу захотел сыграть перед отправкой на войну...

— Но испанца Арана зовут?— усомнился Андрей.

— Он, он и есть!— гоношились старухи, вокруг них собирались любопытные.— Мы его Алехой, значит... Он с Лидкой-то как спутался, Ягор недовольный был. У Лидки живот выше носа, как же тут справить, если люди видят усе... Порешили добром свадьбу сделать, пусть солдатка, не брошенная же...

— Где они?— перебил Андрей говорливых старух.

Ребятишки взялись показать: третья дверь по коридору в соседнем бараке.

Старухи проводили его возгласами и пустились обсуждать между собой, кому будет родственником этот солдат: по Ягоровой, значит, или по Алехиной родне.

В коридоре, у входа в барак, стоял огромный титан и деревянная бочка для питьевой воды.

Дверей в коридор выходило много, разномастных, обитых клеенкой или фанерой, и просто деревянных, с досочками крест-накрест.

— Сюда! Сюда!— кричали ребятишки, показывая на

одну из них, и уже тянули на себя, норовя вместе с солдатом заглянуть на чужую свадьбу.

Андрей постоял перед дверью, будто помолился про себя. Вздохнул и постучал. Никто не ответил ему. Он потянул ручку и оказался в комнате, где все было сдвинуто в сторону, а посередке стояли несколько столов с неубранной посудой и бутылками. Молодые женщины, девчата кружились вокруг тех столов, что-то приносили, уносили, спорили и на Андрея поперву не обратили внимания.

— К вам можно?— спросил он громко. И сразу затихло, три пары любопытных глаз уставились на него.

Откуда-то выкатилась коротышка в белой кофточке, нос курнос, а два голубых глаза навывкате.

— Здравствуй, дяденька!— потянулась к нему, на носочки встала.

— Здравствуй, тетенька,— ответил он и засмеялся. И все вокруг засмеялись, так интересно у них вышло.

— Вам жениха аль невесту? Вы кто будете?

— Я сам по себе, тетенька,— сказал Андрей бодро.— А где молодые-то?

— Вот чудодей!— прыснула кнопка и повернулась вокруг на каблучках.— Свадьба небось второй день, где они могут быть... Алеха с невестой на лодке поехали кататься, а мы тут грязь вывозим.

— Долго они?

— Сколько нужно молодым!

— Да с ими же их приятель Шурка поехал!— сказала другая женщина.

— Втроем, значит?— переспросил Андрей.

— Втроем, втроем... Они и всю жисть втроем.

Кнопка затопала каблучками, заголосила:

Ты куда меня повел, такую молодую,—

На ту сторону реки, давай не разговаривай!

Припевая, потянула Андрея за стол, совала стакан с подкрашенной самогонкой. Он сопротивлялся, отнекивался, сказал, что не пьет.

— Вот счастливая у кого жена...

— Нет у меня жены...

— Какое совпадение!— всплеснула кнопка руками.— А у меня мужа нет! Не отпущу! Торфушки, несите икону, мужской холостой пол обнаружился. Его как, силой венчать али уговаривать будем?

Женщины смотрели на солдата и посмеивались.

Андрей пробормотал, что лучше он подождет на ули-

це, потому что душно. Слышал, как кнопка крикнула вдогонку:

— Торфушки, зовите милицию, жа-них испе-ченный сбежал!

Старухи на лавочке продолжали обсуждать появление солдата и только при нем замолчали, он торопливо шмыгнул скорей мимо.

По знакомой тропе вышел в лес, подступающий к берегу, и сел на желтый песок, замусоренный углем от костров, бумагами и щепками.

Снял сапоги, скинул гимнастерку, оставшись в серой полотняной рубахе. Портянки расстелил на земле, а гимнастерку с сапогами положил под голову. Удобно улегся и стал смотреть на озеро.

Несколько лодок чернели на воде. Андрей, прищурившись, нацеливался на них, спокойно и обстоятельно, как снайпер, выбирающий цель. Со стороны могло бы показаться, что полеживал он себе беспечно, лениво или бездумно.

Не так оно было на самом деле.

А было чувство уверенности, что он достиг того, что хотел, и необходимо лишь время, которое у него есть. Вот и лежал, не спуская полужакрытых глаз с парящих по белой поверхности лодок, со всего озера, которое на исходе дня переливалось и мерцало, струилось и текло, как расплавленное серебро.

«И все. Все теперь,— подытожил он неторопливо и четко:— Они тут, и я тут. Вместе нам предстоит решить одну задачку, как обрести человеку свое лицо, свое имя, звание. Стать гражданином, имеющим документы, солдатом с оружием, единственного в глазах окружающих положения, когда человек зовется человеком, а солдат солдатом».

Как отнесутся те двое к поставленной такой задачке, станут ли они сопротивляться, отговариваться, вилять, отнекиваться, лгать, а может быть, и каяться, не это волновало его.

Он прошел к ним свой нелегкий путь, начав его с нуля и как бы обретая себя по крохам. Спасибо тем, кто принимал его за человека не по документам, а за солдата не по оружию. Они-то и помогли поверить в себя и возродиться.

Таким он предстал перед этими двумя, и оно было главным в его теперешнем положении. Оно диктовало ему милосердное снисходительное отношение к предполагаемым некогда врагам.

И все-таки не знал пока сам, как он поведет себя, когда встретится с ними. Это беспокоило его больше, чем то, как поведут себя они.

Физической расправы он не желал, но всяко могло случиться. Черт возьми, он живой человек, и любая драка могла дать выход накопившимся чувствам. Не к правосудию же обращаться, в конце концов!

Андрей не сводил глаз с воды, лежал раскованно и отрешенно, как бывает в жизни перед главным событием.

Вспомнилось из школьной жизни, как прочитала учительница по литературе Вера Андреевна им стихотворение про бурю. «Смело, братья, ветром полный парус мой направлю я, полетит по скользким волнам быстрокрылая ладья...»

Вера Андреевна принесла на следующий день патефон и сказала, что в музыке эти же слова звучат еще сильнее, еще эмоциональнее. Она достала пластинку, накрутила пружину и поставила иглу. Откуда-то из шороха и шипенья прорезался странный голос, а потом к нему присоединился второй. Они пели: «Облака плывут над морем, крепнет ветер, зыбь черней, будет буря, мы поспорим и помужествуем с ней!»

«Помужествуем! — горячо воскликнула Вера Андреевна. — Вы слышите, как звучит это слово: «по-му-жест-ву-ем»!» Она размахивала руками, странно и смешно напевая. Будто опомнилась перед многими устремленными на нее взглядами — где же увидишь такое! — и смущенно добавила, что запись хоть и хриплая, но прекрасная, надо только уметь слушать. «Я вам повторю это место, слушайте! Хорошенько слушайте!»

Ребята слезли со своих мест, окружили патефон. И опять из длинного шипенья возникли два мятущихся голоса, и один из них сильно и низко произносил: «Будет бу-ря! Мы поспорим и помужествуем с ней!» А потом плавно, как текучая вода после всяких гроз, пролились медленные слова: «Там, за далью непогоды, есть блаженная страна, не чернеют неба своды, не проходит тишина...»

Сколько раз мысленно Андрей потом проигрывал про себя эту песню, она так и слышалась ему из-под памяти, сквозь шорох и шипенье, и возрождала в нем силы, звала к борьбе.

Все-таки он задремал, сам не заметил как! Сказалась и прошлая бессонная ночь. Когда открыл глаза, было темно, от озера несло холодной сыростью. Песок под ним показался ему неуютным, мертвенно-холодным, как с другой планеты.

Андрей быстро вскочил, намотал портянки, прыгая на одной и на другой ноге, торопливо натянул отсыревшую гимнастерку. Пристально посмотрел на озеро. Оно светилось матово-бело и будто даже стало больше, но лодок нигде не было.

Не отводя глаз от озера, Андрей отряхнул с себя песок, поправил ремень, застегнул ворот.

Несколько секунд стоял, ни о чем, собственно, не раздумывая, глядя в молочно-холодную пустоту перед собой. Почувствовал озноб, ходко двинулся в сторону барачных, горевших редкой цепочкой огней.

Тропу теперь не разбирал, это было невозможно. Несколько раз оскользнулся, увязая по щиколотку в податливых болотных мхах. Вылезал на дрожащую, но спасительную твердь, чувствуя, как она пружинит и плывет под ногами.

Около барачных он остановился, почистил щепочкой сапоги.

Компании гуляющих, в основном женщин, стояли кучками во дворе, танцевали, пели частушки. Были частушки про любовь и про войну.

Андрей попытался миновать гуляющих стороной, но остроглазые девчонки приметили солдата, стали на его пути. Вроде бы шутя, но слишком старательно, желая показать себя и понравиться, закружились перед его глазами.

Одна из них — он сразу узнал кнопку — приблизилась, заорала ему в лицо:

Лейтенант, лейтенант, приходи на бугорок,
Приноси буханку хлеба и картошки котелок!

Тут другая, покрупней, в сапогах на босу ногу, в коротеньком платице, вразрез подруге завела свое:

Лейтенант, лейтенант, мягкие сапожки,
Постой, не уходи, у меня белы ножки!

Кнопка затопала ногами, выставив руки перед собой, очень ловко все у нее выходило:

Я любила лейтенанта, я любила старшину —
Лейтенанта за погоны, старшину за ветчину!

Женщины засмеялись, крикнули Андрею:

— Давай отвечай, а то до утра не отпустим!

Лейтенантская серия продолжалась бы долго, но в защиту солдата выступил гармонист-подросток и такое отмо-чил натуральное, что девчонки завизжали, напустились на охальника.

Кнопка спела ему, взбивая пыль ногами и кружась:

Ты меня не полюбишь, так я тебя люблю,
Ты меня не повалишь, а я тебя повалю!

Андрей под шумок протолкнулся к двери. Но кнопка углядела, догнала, дернула за полу гимнастерки:

— Эй, лейтенант, лейтенант!

Андрей огрызнулся с досадой:

— Ну какой я тебе лейтенант?

— А мне одинаково,— сказала кнопка смирно.— Что солдат, что генерал. Был бы мальчик хороший...

— Ну а дальше что?

— Кого ищешь-то? Жениха, что ль?

— Шурика ищу... Знаешь?

— А, Шурика... Так бы и сказал, он в комнате сидит, кукует по уходящему дружку. А может, и по невесте!

Андрей шагнул в коридор, отстранив кнопку, но она скользнула наперерез и снова встала перед ним.

— Эй, лейтенант! Лейтенант! Ты меня не забывай! Я хоро-шая!

— Ладно, не забуду. Вот же вязкая ты какая!

— Какая? — переспросила она.

— Прилипчатая...

Она толкнула его в грудь двумя руками, крикнула на весь коридор:

— Я бы не только к тебе, деревянному, я бы к пню старому прилипла... Тоже, лейтенант нашелся!

Андрей торопливо, по памяти, нащупал ручку и очутился в комнате, наполненной, как баня, гулками, неведомо откуда исходящими голосами, выкриками, пением.

И тут в основном были бабы, но постарше, тянули мотаню: «Ах, мотаня, ты мотаня, ты мотаня модная, ешь картошку понемножку и не будь голодная...» Другие отвечали протяжно: «Капустка моя мелкорубленая, отойдите от меня, я напудренная!»

Никем не привеченный, стоял Андрей за чужими спи-нами, разглядывая застолье. Вздрогнул, весь напрягся, как пружинка стальная: на переломе двух столов, на углу, сидел чернявый молодой парень, тот, кого он искал.

Никогда не видел его Андрей, но узнал сразу. Узнал

бы где хочешь, столько передумал о нем, столько представлял, вынашивал его образ.

Не сводя немигающих глаз, стал подбираться к нему через спины, табуретки, бутылки на полу. Лез, цепляя за чужие ноги, но не видел никого, кроме этого, родней родного теперь ему человека.

Втиснулся, подвинув, отжав кого-то, уселся рядом. Повернулся к парню, стал его рассматривать. Подробно оглядел, не торопясь, обстоятельно и детально, как собственное лицо в зеркале.

Отметил про себя, что красив оказался испанец, задумчив, курчав, как поэт Жуковский на гравюре в хрестоматии. Детский профиль, крошечный кадычок на тонкой смуглой шее. Одет скромно — рубашка да штаны. Все подштопано, без дырок, видать, бабкина рука.

Ах, Шурик, Шурик, дорогой Арманд! Прости, но должен тебя потревожить. Не я, не я, это голос судьбы зовет.

Слышь? Нет, не чуток, брат, своим горем занят. Свое, известно, громче чужого. А ведь я тут, под боком, кричу, молю о помощи! А? Что?

— Что? — спросил Андрей вслух. — Ты что-то хотел сказать?

Парень поднял голову, мельком взглянул на соседа. Ничего он не хотел сказать, не до того ему было. Андрей укоряюще покачал головой, но не обиделся.

Вот что значит небрежение к ближнему. А ведь я со всей душой. Я даже выпить предложу тебе...

— Выпьем? — сказал Андрей.

Налил в стакан подкрашенную вонючую свекольную самогонку, один стакан придвинул соседу.

Тот машинально принял, поднес к губам. Андрей приостановил его свободной рукой, чокнулся:

— Будем знакомы! Меня зовут Андрей!

Парень кивнул и выпил. Закусывать он не стал.

Андрею и это не понравилось. Европейец, но пьет по-русски, залпом. Дурачок, не закусывает только. Разговор начинается лишь, надолго ль его хватит.

— Я говорю, зовут Андреем. Ты понял? Андрей Долгушин, друзья называли Долгуша. Только вот какая у меня беда... Слышь? Друзья мои уехали все эшелонами, значит, на фронт, а я остался. Как дезертир, слышь?

— Что? — пробормотал парень, будто просыпаясь. С удивлением вытаращился на соседа, рассказывающего ему странные байки. — Что?

— Такая вот хреновина, — Андрей посмотрел в зеленые

глаза парня. Удачный цвет, брюнет с зелеными глазами. И чего там кнопка расточается, тратит молодую энергию по пустякам. Импортная красота пропадает...

Но, кажется, ему чужая невеста милей... Мда, ситуация, прям как в кино, на чужом пиру похмелье. Вот и гости орут: «Горько!», позабыв, что молодых тут нет, сбежали, хотят побыть последнюю ночь вдвоем. Им и в самом деле горько. Сейчас я, браток, добавлю и тебе горечи.

— Никому не пожелал бы такого, слышь? Как дезертир, говорю... Без оружия!

Андрей снова заглянул в чужие глаза, в которых появилось нечто осмысленное, но как далекое воспоминание неведомо о чем. Андрей этим удовлетворился.

Он выпил, закусил квашеной капустой и картофельными котлетами. Родные тошнотики, к месту и частушку вспомнил: «Тошнотики, тошнотики, военные блины, как поешь тошнотики...»

Андрей усмехнулся, поторопил своего приятеля, нежно положив руку на плечо.

— Пей, пей, а то у меня еще тост!

Парень нехотя повиновался.

Андрей размашисто наполнил стаканы, свой поднял на уровень глаз, рассматривая на просвет, глядя на соседа. Нет, вовсе не злодейским сквозь красную самогонку виделось его лицо.

А может, он это и не он вовсе?

— Теперь выпьем вот за что... Тебя звать-то как? Ты вроде и не представился?

— Шуриком,— вяло ответил парень.

— Ага, Шурик! Выпьем-ка с тобой, Шурик, за боевое оружие бойца, слышь? Ну хотя бы за винтовку-трехлинейку, образца тысяча восемьсот девяносто первого года, дробь тридцатого, данную солдату для поражения живой силы противника, огнем, штыком и прикладом... Скажу: пуще жены молодой твоего приятеля хранить ее надо!

Андрей стукнулся стаканом о стакан, но смотрел не отрываясь в лицо Шурика.

— Не сохранил я... Украли!

Что-то быстрое, как тень молнии, пронеслось по лицу парня, странно исказив его. Оно будто остановилось, помертвело. Подпрыгнула темная бровь, оттенив еще больше общую неподвижность, и сам он весь передернулся. Хотел подняться, но Андрей крепко держал руку на плече.

Упрекнул слегка, по-приятельски:

— Я же не кончил... Эдак ты... Я что говорю: украли

мое оружие, да вместе с вещами, с документами, и подвели меня тем самым под штрафную. А что такое штрафная — смерть! Да что смерть, позор-то хуже, хуже! Или как?

Шурик сидел как оглохший, схватившись руками за голову.

— Я спрашиваю, хуже или как? — громче повторил Андрей, кто-то на них оглянулся.

Шурик поднял голову, трудно было его узнать. Это было совсем другое лицо, скошенное неприятно набок, деформированное, как от удара.

— Я скажу... Скажу... — торопливо захлебываясь, повторял он.

— Ну, конечно, скажешь, — утешил его Андрей. Спокойно поднял стакан. — Выпьем, Шурик, вместе за то, чтобы мне выжить в этой истории, а? Чтобы снести сперва весь позор, всю тяжесть вины перед друзьями-солдатами, которые там за меня расхлебывают кровавую кашу... А ведь рядом с ними бить проклятущего немецкого пса я должен. Должен, а я здесь с тобой сижу. Вот в чем мой позор! Чтобы пережить его и остаться бы целым да живым! Ну? Иль ты не хочешь, чтобы так оно и было?

— Хочу! — простонал Шурик, схватил стакан, начал жадно пить. Его вдруг затошнило. Он скорчился, наклонясь и отрывая, стал пробираться к двери. Андрей поддерживал его.

Вывалились в темный коридор.

Рвота была долгой и мучительной. Вывернуло все, но спазмы, новые и новые, никак не оставляли его.

Часто дыша, вытирая рукавом рот, он стал рассказывать, как просился на фронт, не взяли. Хотел мстить фашистам за убитых в Испании родителей, за все, что сам пережил. Попросил каких-то ребят, чтобы достали оружие. Пообещал золотой крест, что носил от рождения на груди... Единственная память от родителей. Ребята нашли, показали, пьяный спал солдат.

— Нет, — сказал, морщась, Андрей, эта сумасшедшая исповедь была мучительна для него, как и вся обстановка, и ядовитый запах блевотины. — Не пьяный... солдат был.

— Да разве я смотрел! — крикнул Шурик. — Мне сказали, не бойся, винтовка учебная... Получит три дня губы!

— Ну, дальше?

— Я сильно боялся, схватил, побежал... Но вещей не брал, ничего не брал, кроме винтовки.

— Дальше? Дальше что? — натужно спросил Андрей.

— Я все продумал, решил вместе с Араной сесть в эшелон и доехать до фронта. Таких, как я, много, есть и моложе меня. Но я с оружием! Значит, меня не прогонят. Так я хотел сделать... Мой отец так сделал! Взял винтовку и ушел в бригаду. У нас все так делали! У кого оружие, тот и солдат!

— Где винтовка? — закричал Андрей, потому что он не мог уже слушать и ждать. Все в нем кончилось — терпение, жалость, доброта, даже мужество. — Где она? Где? Где?

Голос в пустом коридоре прозвучал отчаянно.

Шурик шепотом ответил:

— Нет.

Стало тихо...

Оба молчали, прислонясь к стене, не видя друг друга.

Как мертвая зыбь на море, их раскачивала одна стихия, увлекая на дно. Слышали они друг друга, способны ли были вместе искать пути спасения?

— Помоги, — подал Андрей голос, каким унижительным, просительным он был. — Помоги мне, Шурик...

— Нет ее, нет! — гортанно резко произнес тот и стукнул кулаками об стену. — Арана как увидел, схватил ее, бегом на озеро. Ты, говорит, себя погубишь и меня погубишь! Это трибунал!

— Куда? — устало спросил Андрей.

— В озеро. Сейчас, недавно.

— С лодки?

— Да, с лодки.

— Глубоко?

— Не знаю.

— На середине, что ли?

— Нет, нет, ближе...

— Лодка там есть?

— Лодка есть. Но их запирают на ночь.

— Ничего. До утра я не могу ждать. Не доживу. Кстати, как по-испански «оружие» будет?

— Арма, — ответил Шурик.

— Я так и думал.

— Слушай, — сказал Шурик. — Хочешь, я пойду, мы вместе пойдем и все как есть расскажем. Пусть меня судят! Я виноват, и я отвечу!

— Дурак, — произнес Андрей и пошел к выходу. Сзади, слышно по шаркающим шагам, плелся Шурик. — Бабку бы пожалел. Она тебя любит.

— Я знаю. Она мне больше родной.

— А что ты делаешь? Меня губил, себя теперь губишь, ее... Камарадо ты, камарадо.

29

Неподалеку от общежития стояли Васька с Ксаной, обсуждали, где искать солдата.

Ксана увидела первая, спокойно сказала:

— Смотри, он?

Васька наскочил на солдата, чуть не стукнулся:

— А я тут! Дядя Андрей!

— Устал? — спросил Андрей.

— Да нет...

— Не сердись, я не дождался. Сейчас пойдем ловить мою боевую... — Голос у него был раздумчиво напряженный.

— И я? — спросила вежливо Ксана.

— Ну и ты. Если не боишься утонуть.

Девочка независимо повела плечами. Мол, почему я должна бояться.

— Я не познакомил вас, — сказал солдат и оглянулся. Шурик стоял позади. Даже в полутьме двора было видно, как побелело и осунулось его лицо. Вот тебе и камарадо! А ведь его рвало от испуга. — Это Шурик, а это мои друзья.

— Он самый!!! Я его узнал, — произнес Васька глухо.

— Вот и хорошо, и я узнал. Значит, можно идти.

— Я думаю... Предупредить Арану? — спросил Шурик.

— Не надо! Зачем же портить человеку свадьбу?

— Ладно, — произнес Шурик и первым пошел в темноту, каким-то образом угадывая тропинку.

За ним шагал Андрей, потом Ксана, а Васька завершал шествие. Несколько раз он поскользнулся, и Ксана остановилась, чтобы поддержать.

— Да сам, — буркнул он, отстраняясь от ее рук.

— Вот чудак, — сказала она негромко.

Где-то на половине тропы Шурик неожиданно остановился, присел, коснулся руками земли:

— Какая, а?

Андрей нагнулся, приложил ладони, сразу различил влажное тепло, идущее изнутри.

— Что это?

— Вулкан! — воскликнул Васька.

— Земля... Торф горит,— сказал Шурик.— Мы по огню идем.

— По огню? — переспросила Ксана.

— Да, по огню.

— А ты испугалась? — усмехнулся Васька.

— Почему испугалась? После эвакуации я не люблю огня.

Дальше шли молча. Но всем казалось, а может, так оно и было, что через обувь чувствуют они горячий исход огня, полыхающего под ногами.

Васька все нагибался, щупал землю руками, говорил, ни к кому не обращаясь:

— Во, жжется!

Выбрались к озеру, стало светлей.

Запахло тиной, сыростью. Белая негаснущая полоса на западе, над насыпью железной дороги, отражалась в воде.

Шли теперь вдоль берега по песку. Был он неглубокий, с проплешинами твердой, вытопанной земли, но подвигались медленно.

Показалось фанерное зданье довоенной лодочной станции. Все услышали, как дробит зыбь о дно лодок, едва угадываемых на воде.

Андрей, не произнося ни слова, прошел по деревянному настилу, его шаги глухо раздавались в тишине. Нащупал цепь, рванул на себя, зазвенело, загрохотало. Казалось, что этот звон слышен по всему берегу.

— Сюда, сюда, живо! — прошептал он. Велел Ваське и Ксане лезть в лодку, которую придерживал за борт.

— Чем грести? — спросил Шурик.

— Досками... Садись, не тяни.

Андрей залез сам, покачнув лодку.

— Куда плыть? — спросил он.

— Туда...

— На огонек?

— Да, да. На огонек.

— Хотите, я весла достану,— громко сказал Васька, на него шикнули. Он продолжал шепотом: — Там замок не замок, а висюлька ржавая. Я одним гвоздем его...

— Сиди,— приказал солдат.

В две руки он и Шурик медленно погребли досками, взятыми со дна лодки, и почти сразу пропал из виду берег.

Здесь дул ветерок. Стало прохладнее.

Ксана опустила руку в воду, прошептала:

— Она и не холодная совсем.

— Не холодная? — удивился Васька и тоже сунул руку за борт.

Андрей приглушенно сказал:

— Сейчас мы выясним, какая она... Горячая или холодная. Приехали?

— Чуть левей, — попросил Шурик. — Здесь.

Андрей стал раздеваться, все на него смотрели. Ксана отвернулась, брала ладошкой воду, пробовала языком.

Гимнастерку, штаны, сапоги солдат увязал одним узлом, сунул Ваське под спину.

Встал на корме:

— Сидите тихо. Ныряю.

— Ни пуха ни пера!

— К черту! К водяному!

Лодка дрогнула и стала поворачиваться вокруг себя, когда он оттолкнулся. Раздался плеск.

Все смотрели на то место, где пропал солдат. Но вынырнул он с другой стороны лодки. Отфыркиваясь, подплыл, уцепился за борт двумя руками.

— Как? — спросил Васька. — Что-нибудь есть?

Солдат ничего не отвечал. Оттолкнулся и исчез в воде. Выскочил вдали от лодки, медленно подплыл и стал отдыхать. Никак не мог отдышаться.

— Глубоко? — опять спросил Васька.

— Не... Не очень, — с отдышкой произнес солдат.

— Холодно, да?

— Чуть привык. А вначале... Кипяток прямо. Ладно, я еще попробую.

Он ушел под воду, а все стали ждать. Появился под самым бортом, подтянулся и лег на край животом. Шумно перевалился в лодку. С него стекала вода.

— Замерзли? — сказала Ксана. Развязала узел и протянула солдату гимнастерку. Он накрыл только спину. Сидел тяжело дыша и глядя на воду.

— Ничего? — произнес тихо Шурик.

Андрей посмотрел на него.

— А ты не спутал? Место?

— Не должен. — Шурик неуверенно добавил: — Может, я поищу?

Ему не препятствовали.

Он разделся, потер ладонями бедра, плечи, грудь. Постоял, прикидывая, как ему прыгать. Но все не решался, пробовал ногой воду. Потом сразу как свалился неловко за борт. Тут же выскочил обратно, полез в лодку.

— Черт... Какая она! Дышать нельзя... Сдавило. Не могу.

Васька посмотрел на Шурика, предложил:

— Я попробую?

— Сиди! — крикнул на него солдат.

Он постоял, глядя во все стороны, прицелился, нырнул.

Не было долго, всем показалось, что прошли минуты. Даже Ксана, не теряющая равновесия духа, подала голос:

— Что это он... Не задохнулся там?

Андрей вынырнул одновременно с ее словами. Ухватился за борт.

Отрывочно и хрипло произнес:

— Тут она... Нащупал тряпку, но сил... не хватило. Отдохну.

Но отдыхал совсем недолго. Боялся, что отнесет в сторону лодку.

Васька подскочил, тоже стал раздеваться. Скинул быстро все и без паузы шлепнулся животом в воду. Не из-за того шлепнулся, что плохо плавал, просто с лодки неудобно нырять. Так он объяснит Ксане.

Почувствовал Васька резкий, обжигающий холод. Такой сильный, что стало больно в груди и онемели губы. Нащупал дно, не очень далекое, провел по нему руками. А уже не было сил не дышать.

Оттолкнулся, чувствуя спазмы в горле, выскочил из воды, чуть не захлебнулся. Здесь, на поверхности, показалось ему гораздо теплей.

Дядя Андрей висел около борта. Васька прицепился рядом. Сердце колотилось, как у воробья. Часто-часто дышал он.

— Тебе кто разрешил? — хрипло спросил солдат.

Васька не отвечал, не мог.

— Давай в лодку! В лодку!

Васька крепко держался за борт, молчал.

— Отвезу на берег... Ты понял?

— Дядя Андрей, я последний разок, да?

Не дожидаясь разрешения, Васька нырнул.

И теперь было холодно, особенно в глубине. Грудь сдавило, будто льдом. Васька перебирает дно руками, ухватывает какую-то ракушку или камень. Оттолкнувшись, долго, долго идет вверх. А может, и не вверх вовсе, кто знает... Задохнулся, открыл рот, а тут ночной воздух... Ух!

Лодка качается на воде совсем рядом.

— Все! Кончен сезон! — говорит громко солдат.



Подталкивает мальчика в лодку, залезает сам, накрывая ее сильно.

Васька дрожит всем телом и никак не попадет в рукав. Нижняя челюсть стучит, и коленки трясутся. Васька держит их руками.

Солдат, не одеваясь, гребет к берегу. Когда становятся отчетливо видны камыши, он прыгает, тянет лодку руками. Тянет до тех пор, пока дно лодки не ложится с шуршанием на песок.

— Бегом! — кричит он Ваське. — Бегом! За мной, давай! Быстрей!

Они скачут по песку и пропадают в темноте.

Добегают до болота, и солдат валится в густую жижу.

— Падай! Падай!

Васька бухается в грязь и чувствует, как ласковое тепло обнимает, окутывает его, пропекая до самой до брюхи. Только спина заледенела, и Васька закидывается навзничь, потом опять на грудь. И солдат дядя Андрей перекачивается, бормочет утробно: «Ох! Ох! Ох!»

Возвращаются они шагом, грязные, но довольные.

Солдат говорит:

— Теперь, Василий, домой. Понял?

— Вы останетесь, а я, значит, домой? Да? — занудил, захныкал Васька.

Не мог представить, что начнут его прогонять.

— Ты как думаешь, Ксану ждут дома?

— Пусть она думает, я чего...

— Ты — мужчина! Или не мужчина?

— Половинка, — огрызнулся Васька и сел одеваться.

Долго волынил, ожидая, что солдат что-то скажет.

Буркнул негромко:

— До станции... И вернусь.

Дядя Андрей вспылил:

— Ты что? А как она в электричке поедет?

— Спасибо, — произнесла Ксана. — Но я сама дойду. Честное слово.

— Тебя не спрашивают, — сказал солдат. — Василий человек самостоятельный, он сделает как надо. Доведет до дома вообще... Так я говорю?

Васька подавленно кивнул.

Медленно поплелся вдоль берега, Ксана пошла следом.

Андрей начал одеваться, но вспомнил, закричал вслед:

— Я утром... Утром приду!

— А что случилось с родителями-то? — спросил неожиданно Шурика. — Они что, оба, отец и мать, воевали?

— У нас все за революцию воевали,— громко и резко сказал Шурик.— Мне рассказали, что их фалангисты взяли в плен и...

— Понятно,— произнес Андрей.

— Десять лет мне было. Я прибежал в батальон, он на краю города отстреливался. Я говорю, что я тоже буду с ними, потому что хочу мстить. А они накормили меня, потом говорят... Говорят, как же ты будешь мстить, у тебя и оружия нет. Так не годится. Ты расти уж скорей, нам хорошие солдаты нужны. Но я же вырос...

Андрей взглянул на поникшего Шурика, недобро усмехнулся.

— Арма, значит. Искать буду, пока не найду эту армию. А вообще, как ни называй, все без нее плохо...

30

В детдом Васька вернулся в первом часу.

Влез неслышно в окошко, разделся, скорей под одеяло. Долго не мог согреться. Мелкая дрожь ходила по всему телу. Трясся, как заяц под кустом. Потом придышался, уснул.

Привиделся Ваське сон.

Будто гулял он по лесу и заблудился. Кружил, кружил, да все около болота, от которого пар с дымом валит. Понял Васька, что гиблое место, оставаться тут нельзя. Сгорит он от подземного пожара. А кругом обугленные деревья да завалы, нет никуда путей.

Вдруг тропочка нашлась в синей траве. Пустился Васька бегом. По острой осоке, по колючему шиповнику, по гнилым змеиным мхам. Падает, спотыкается, руками за кусты хватает.

А тропинка все шире, все светлей делается. Видит Васька — впереди на поляне избенка черная стоит. Тропа прямо к крыльцу поворачивает.

Поднялся Васька по косым шатучим ступенькам, в дверь стукнул. А перед ним старуха стоит в черной одежде, в платке, на самые глаза спущенном. Рукой зазывает Ваську, показывает, чтоб заходил.

Через неосвещенные сенцы шагнул Васька в избу и на смерть перепугался. Стоят посередь просторной светелки три дубовых стола. А на каждом столе гроб большой возвышается.

Отпрянул Васька назад, а дверь будто кто подпер с обратной стороны. Все в нем остановилось от леденящего

ужаса. Сердце замерло, не колотится, и дыхания нет. Увидел, как начали сползать с гробов крышки. Погребным холодом ударило в ноги, приморозило к месту.

Открылись гробы, стало видно, что в первом гробу пшеничное зерно насыпано до краев. А во втором гробу кровь алая, густая, полнехонько стоит. А в третьем гробу цветы ярко-огненные, невиданной красоты.

— Что это? — спрашивает Васька шепотом, обмирая от страха.

Тут и старуха рядом, с платком, опущенным на глаза.

Указывает загнутым пальцем на первый гроб, поясняет, что такой была наша жизнь перед войной. Всего-то полно и обильно, как хлебушко до краев.

А второй-то гроб — война всечеловеческая, что сейчас идет. Столько кровушки от нее пролилось и еще прольется, что никто сосчитать не сможет. Всю землю пропитает ею, все реки-моря зальет.

— А здесь? — говорит Васька, указывая на третий гроб.

— Такая будет жизнь после войны. На живой крови, на наших бедах вырастут невиданные цветы. Как цветы, прекрасной станет жизнь. И ты, Васька, будешь в ней самый главный человек.

— А скоро? — спросил он. — Скоро такая жизнь придет?

В это время кто-то больно сел на ноги Ваське.

Поджался он, а просыпаться не хочет. Ему бы еще немного у старухи про будущую жизнь выяснить.

Но тут сильнее придавило Ваську, мочи нет. Повернулся он, выглянул наружу.

В серых утренних сумерках увидел: сидит лыбится на Васькином теле Колька Сыч. Ждет, когда запищит Васька.

Приподнялся он на постели, ничего понять со сна не может.

— Что? Что? — спрашивает испуганно.

Откуда-то Купец объявился, с другой стороны притиснулся к Ваське. Тыкает в него пальцем:

— Он! Он самый! Я его где хошь узнаю.

— Та-эк, — растягивается рот у Сыча, самогонкой пышет. — Легавым заделался, кроха...

Он оттопыривает Васькино ухо, кричит в него:

— Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо? Так вот, плохо доносить, плохо сексотить, ябедничать...

— Продавать! — влезает Купец.

— Продавать — очень плохо. За это на-ка-зы-ва-ют! Ваську начинает знобить. Окно в спальню, как лезли, оставили распахнутым. Оттуда веет белым холодом. Снег выпал за окном.

— Кто указал Витьку? Кто Купца заложил? Кто испанца выдал? Кто? Кто? — наговаривает Сыч в ухо, дергая при каждом слове.

— Он! Он продал всех, — гундосит с другой стороны Купец.

Пальцами-клещами захватывает под ребром у Васьки кожу и медленно выкручивает ее до синей крови.

Знает Васька, как больно, когда выкручивают кожу до синей крови. Но уже и этого не чувствует, потому что все у него отнялось, одна душа болит. За то, что солдата не дождался, что захватили в неурочный лихой час, когда нет у него силы противостоять врагам.

Плывет перед глазами комната, кружится все, сливаясь и мельтеша. Плохо сейчас Ваське. Ох, плохо.

— Стой! — говорит Сыч, останавливая экзекуцию. Видать, что-то новое придумал. — Стой! Чего тут в спальне с ним мараться? Скажи?

— Валяй на снег! — подхватывает Купец. — Мы из него такую снежную бабу сваляем! А?

Идея пришлась Сычу по вкусу.

— Это красиво, — задумчиво произносит он, деловито предлагает Ваське: — Идем, что ли? Поиграемся, крошка, детство вспомним... Ах, счастливая пора, когда мы не умели продавать своих, а лепили снегурочек из снега. Туда, туда, в окошечко, — показывает он.

— Полезай! — грозит Купец, руку заламывает. — А то понесем!

Оглянувшись затравленно Васька. Шевелятся под одеялами ребята, давно не спят. Слушают. Каждый про себя затаился. Как Васька затаивался раньше.

Ни один не встанет, не скажет в защиту словечка, половину, четверть его. А скажет, получит то же самое. Ведь придумали потеху — сделать снеговика из живого человека... И сделают. Как некогда одного выгнали на холод...

Только не из меня. Я молчал. Я не слышал. Мне дела нет, что они там вытворяют. Меня не коснулось, мне и хорошо.

Наверное, так думает каждый.

Обложенный, как волчонок в загоне звероловами, поджался Васька, выставленный голым напоказ. Один — за

себя и за солдата дядю Андрея. Как тот сказал Ваське: «Урки боятся смелых...»

Нет, нет, никакой Васька не смелый. Поднялся с топчана, чтобы идти к окну. Трясется в лихорадке. От испуга или от болезни, кто его поймет.

А Сыч ему пинок под зад, поворачивайся живей. А Купец с другой стороны ногой норовит.

Вдохнул Васька побольше воздуха. Закрыв и открыл глаза. Представил ясно, как божий день, что стоит рядом с ним солдат дядя Андрей со своей винтовкой в руках и говорит серьезные слова:

«Если ты настоящий человек, Василий, а твое дело правое, умей же за себя и за свое право постоять перед врагом. Бей его, не бойся!»

Сунул Васька кулаком прямо в подбородок Сычу, тот и сел от неожиданности. Невелик был удар, а посадил противника. А Васька вторым кулаком в нос ему, даже кулак отбил. От собственного удара самого Ваську отнесло в сторону, как былинку.

Сидит Сыч, не может встать, задохнулся от боли и ненависти.

И Купец вытаращился... Атамана, их главного урку, которого милиция с прилегающим к ней населением побаивается, худосочный Сморчок кулаками мутузит.

Такое придумать и представить невозможно!

Взревел Колька Сыч, приходя в себя и подымаясь. — У-ббб-ю! На месте!

Верно, что убил бы он Ваську.

Но невесть откуда взялся Боня, непостижимым образом стал перед Сычом, загородил дорогу. Длинный, худой, как будто нескладный, а не обойдешь его с ходу.

— Пусти,— говорит Сыч.— А то за компанию... Раскрашу.

Боня смотрит спокойно.

— Чего шумишь? Чего разоряешься, спать мешаешь?

А кто уж тут спит. Все приоткрылись, смотрят, чья возьмет. Уже не о Сморчке речь, дело престижем пахнет. Даст послабку Сыч, и пойдет сыпаться его молчаливая рабская империя. Кто станет тогда бояться, за корку служить?

— Та-эк,— произносит Колька Сыч и медленно лезет рукой в карман.— Остренького на закуску захотелось? А, Бонифаций?

— Если достанешь ножик,— предупреждает Боня, го-

лос у него твердый,— измолотим всей спальней. По частям себя не соберешь.

Боня стоит перед Сычом и нисколько его не боится. Смотрит сверху вниз, презрительно губы кривит. А детдомовцы вокруг сбились, кто с чем. С подушками, с поленьями... Грач горшок от цветов прихватил.

И Купец, что рядышком стоял, уже из-за окна выглядывает, следит, чем дело кончится.

— Убирайся отсюда и никогда не приходи! Не пустим! — говорит Боня прямо в лицо.

Оглянулся Сыч, глазки забежали. Нутром почувствовал опасность. У каждого против него накопилось столько, хоть отбавляй. Навалятся кучей, живого места не оставят. Ни один лазарет не склеит тогда Кольку Сыча. А он еще себе нужен...

Он себя любит, бережет от любых потрясений военных, а паче тыловых. Чужими руками привык брать, страх наводить на своих ближних, пугая их друг другом.

Не углядел, прошляпил придурков и шакалов. Первое упущеньице. Сморчка в зародыше придавить надо было. Второе. Боню не пристращал как следует — третье. Он бы молчал, ходил бы паинькой. А нет, погнал бы от детдома к детдому, по всему пригороду, научил свободу любить.

А сейчас время отступить, укротиться, уйти неслышно. Позорно, но за позор он заплатит. Единолично и одновременно, как говорят.

— Ну ладно, ладно,— отступает Сыч, крутя головой, чтоб ненароком не стукнули.— Не прощаюсь!

Прыгает на подоконник, на улицу. Попадает прямо на голову Купцу. Тот завопил от неожиданности больше, чем от боли.

Сыч ему со зла шурнул кулаком:

— Не стой на пути, трус паршивый!

Детдомовцы высунулись в окошко, захохотали.

Грачев крикнул ему:

— Правильно, Сыч, бей своих, чтоб чужие боялись!

— Ах, это ты, Грач! — оскалился Сыч.— Я и не знал, что ты умеешь пищать!

— Ну и что, что пищим,— отвечал Грачев.— Зато по-своему, а не по-твоему.

— Пой, птичка, пой, пока не попала кошке в лапы! — только и нашел слов Сыч. Видно было, как он бесился. А тут еще Кузьмёныши подали голос. Прямо хором закричали:

— Ты, Сыч, нам не угрожай. Мы тебя нисколько не боимся.

А Толик добавил:

— Васька — человек, а ты зверь, Сыч! Зверь!

— Змея без жала, — сказал Боня и засмеялся. И все засмеялись.

Когда врага бьют, это еще не поражение. Его могут и при битье уважать. Но когда над ним смеются... Вот где крах.

Понял это Сыч, отпихнул скулящего Купца, показал в окно кулак.

— Смейтесь! Не пришлось бы только плакать кровавыми слезами!

— Первый и умоешься! — кричат.

— А ты, Боня, жидовская харя, смотри! Наизнанку вывернем!

— Сам смотри, — кричит Боня, усмехаясь. — Второй раз не выпустим. Руки-ноги перетасуем, а в милиции скажем, что так и было.

— Ха-ха-ха! — заревела спальня.

На втором этаже окна распахнулись. Девочки выглядывают, тоже смеются, показывают на Сыча пальцем.

А тут Грач горшок бросил, как бомба разорвался он у ног Сыча. Отпрянул тот, да поскользнулся на снегу.

Заорал детдом, засвистел, заулюлюкал.

Побежал Сыч, прихрамывая, за сосны, проклиная Купца и шепча угрозы.

— Увидим! Увидим!

А что можно увидеть после того, что все видели?

Лето перекантуется Сыч по пригороду, а осенью рванет на Кавказ в поисках сытой и легкой жизни.

31

На рассвете пошел снег. Он падал отвесно, возникая из серой мглы, и таял, ложась на черную воду.

Все скрылось от глаз за его густой завесой. А потом он поредел, открылись доселе невидимые берега, проявленные как на негативе. Белые деревья, белые дома и белые лодки около белого причала. Все это вокруг темной воды.

Снег Андрею не показался холодным. Странное было ощущение, но после жгуче-ледяной воды хлопья, падавшие на голое тело, казались почти теплыми, липли, приятно щекотали кожу.

Андрей задрал вверх голову, стал ловить снег ртом. Но тяжелые крупные хлопья сразу же забили глаза, и нос, и рот. Он провел по лицу ладонью, как умылся.

Посмотрел на своего спутника:

— Как там по-испански дом?

— Каса,— отвечал Шурик.

— Тоже ничего. Но дом лучше. Поехали-ка домой!

— Значит, все? — спросил Шурик, вовсе не обрадовавшись.

Ночные поиски не прошли для него бесследно. Похудел, осунулся, стали заметней глаза. Он будто и сам стал другим. От вчерашнего запуганного и отчаявшегося мальчика не осталось и следа. Появились сдержанность, решимость, даже злость.

Он заставил себя вторично прыгнуть в воду, а потом нырять столько, сколько нырял и сам Андрей. Видно было, что давались эти ныряния нелегко.

— Все,— подтвердил Андрей.

Они погребли к берегу и, только выйдя на него, почувствовали перемену вокруг и свою собственную усталость.

Уезжали летом, а вернулись зимой. Уезжали с надеждой, пусть самой крошечной. Вернулись безнадёжные.

Солдат накрепко привязал к причалу лодку, посмотрел на озеро. Мысленно попрощался с ним, как и с его глубокой тайной, которую оставлял на дне.

Достал из лодки тряпочку, в нее была обернута винтовка. Единственное, что они нашли. Так он и пошел с этой тряпочкой в руках, нес ее до самого барака.

А тут посмотрел и выбросил. К чему она теперь?

Ввалились в комнату такие неподвижно усталые, застывшие, что не хватало сил присесть.

А их будто ждали. Заохали, забегали женщины, и среди них кнопка, принесли и заставили выпить по стакану самогонки. Потом нагрели таз воды, раздели и вымыли.

Кнопка, то ли усталая от долгой свадьбы, то ли от первого утреннего света, не показалась теперь Андрею молоденькой девчонкой, а женщиной с синячками и морщинками на утомленном лице.

О вчерашнем разговоре она и не вспомнила. Притащила Андрею мужскую рубашку и кальсоны, повела его тихим коридором в свою комнату. На кровати, на диване, на полу спали гости.

Проворно бросила на пол тряпки, велела ложиться, а сверху навалила всего, что было под рукой, и чем-то тяжелым накрыла ноги.

Андрей, едва согрелся, утонул в беспамятном и бездонном сне.

Очнулся, как после обморока, сразу. В комнате ходили и разговаривали люди. Было все то же утро. По расчетам Андрея, прошло три часа, не больше. Но чувствовал себя он бодро.

Нашел в головах одежду, сложенную и сухую, и сапоги. Стал одеваться торопливо, но никто не обращал на него внимания. Бегала с посудой кнопка и на ходу улыбнулась ему, видать, так и не ложилась. И другие женщины суетились, занимались сборами жениха.

Теперь Андрей увидел его. Простой парень, русоволосый крепыш, ровня самому Андрею. Ни на шаг не отходил он от своей беременной, это было заметно, жены. А она почти девочка, худенькая, остроносая, с испуганными серыми глазами.

Велели присесть за стол. Посошок на дорожку. Разлили самогонку, стали чокаться и пить.

Бабы завели, затянули:

Последний нонешний денечек
Гуляю с вами я, друзья,
А завтра рано, чуть светочек,
Заплачет вся моя родня,
Заплачут куры, поросся-та...

— Пора! Пора! — завопил кто-то в дверях.

Новобранец поднялся, беспокойно оглядываясь.

Бабы заорали, заревели в голос. Обнимали парня, как и его жену, будто и она уезжала.

Андрей смотрел и думал, что провожали испанца русские бабы по-русски, с русскими песнями и русским плачем. Да и воевать он будет за Россию, как некогда воевали русские за Испанию.

Помогли ему надеть вещевого мешок, поправили лямки. Торопливо совали недопитую бутылку в карман. Суетились, колготились, и все от общего состояния беды.

А потом улеглось, затихло. Все сели присмиранные, только двери поскрипывали, кто-то входил и выходил. Новобранец с мешком приспособился боком на стуле, обводя провожающих тревожно-сосредоточенным взглядом.

С шумом двинулись на улицу. А тут снова начались суматоха, визг и плач. Девочка-жена вдруг охнула и закричала обморочно:

— Не уходи! Как же я! Как же ребенок будет! Не надо! Не пущу-у! — И захлебнулась враз. Ее подхватили, отпаивали, утешали.

Теперь новобранец подошел к каждому и с каждым попрощался. Тут стояли не просто гости, а жители из других

бараков. И с ними он попрощался, каждому пожал руку.

Дошла очередь до Андрея.

Вряд ли знал испанец, кто таков этот солдат и по какому здесь случаю. Шурик был в толпе, но ничего и никому он не сказал.

Подавал испанец Андрею крепкую руку, произнес то, что произносил каждому:

— Прощай, браток!

И дальше уже:

— Прощай, браток! Прощай, браток! Прощай!

Андрей подумал вдруг, что прощался он с парнем, как моряки перед смертельной атакой. В один бой им идти, но дорога, но судьба через войну у каждого своя собственная.

Заиграла яростно и пронзительно гармошка: «Прощайте, прощайте, пишите почаще, но только не знаю куда...» Кучкой, уже без жены, с одними провожающими, двинулся испанец в поселок Косино на призывной пункт.

Андрей собрался на станцию.

Шурику сказал:

— Ну, до свидания, что ли...

— Куда? — спросил Шурик.

— Туда же.

— Может, все-таки мне с тобой пойти?

— Хватит, — произнес по-доброму солдат. — Береги и не огорчай бабу. Как там, по-вашенскому, победа?

— Виктория, — сказал Шурик.

— Вот так-то!

Тропкой, а потом дорогой вышел солдат к железнодорожным путям и направился вдоль полотна к станции. Шагал, оставляя рыжие от липкой глины следы.

Навстречу шел поезд, и солдат отступил к краю, отвернув лицо. Только когда миновали первые вагоны, он увидел и вдруг сообразил, что это его эшелон, углядел и узнал вагон свой, даже показалось, что расслышал пронзительный голос Гандзюка.

От снежной метели, поднятой движением, заслезилась глаза. Но он смотрел и смотрел на мелькающие вблизи колеса, на теплушки, на двери, на окна...

Отгрохотало с вихрем и ветерком и унеслось в неведомое. А он остался, как брошенный, на путях.

Нагнулся к белому рельсу, приложил ладони, он еще был теплый, еще пульсировал, как живой. Но все тише и тише был стучок.

— Чего сидишь? — спросила железнодорожница в шинели, толсто укутанная баба.

— Ушел, — сказал Андрей.

— Кто ушел-то?

— Поезд ушел.

— Так другой будет. Только ты его не тут ждешь.

Встал солдат, пошел за женщиной следом. Вдвоем, казалось ему, легче идти. С Шуриком было бы легче и с Васькой своим тоже... С Васькой было бы совсем легко.

— Вот морока-то какая насыпалась, — произнесла женщина, оглядываясь на солдата. — Говорят, что примета нехорошая.

— Примета? — спросил солдат.

— Ну да... Снег на зеленые листья.... Ударит по молодняку.

По шпалам вдоль рельсов, которые увели его эшелон, направлялся Андрей прямо на станцию Люберцы. Он знал, что там должна быть военная комендатура. Шагал он теперь открыто, не хоронясь: незачем было хорониться. Даже наоборот, вдруг захотелось, чтобы выскочил неведь откуда в серых сумерках знакомый патруль с дошным лейтенантом-бухгалтером во главе и с рыжим разбитным солдатиком, славным, в общем, парнем. Теперь бы Андрей смог по совести поговорить, открыться бы им, что пережил-передумал и к чему теперь пришел. А путь свой прямой линией, вот как эти рельсы, проложил он к фронту и никаких препятствий для этого не видел. К фронту, где будет он иметь свое солдатское оружие, свою ненависть к оголтелому врагу и свое бесстрашие, ибо он пережил страх.

Но как бывает в таких случаях, никто не попадался на пути Андрея в этот ранний час, ни патруль, ни даже военные. Беспрепятственно дошел он до громоздкого бетонного моста через железную дорогу, потом до станционного моста и, легко перешагивая через блестящие, добежала отшлифованные рельсы, поднялся на каменную платформу. Здесь уже толпился народ, едущий на работу в Москву.

Пересекая платформу по одной, зримой только ему, Андрею, черте, ведущей к цели, он не глядел по сторонам. Случайно кинул взгляд в сторону, где несколько дней назад стоял его эшелон. Там сейчас остановился санитарный поезд — зеленые пассажирские вагоны с красными крестами на бортах. Около вагонов, где обычно стоят мед-

сестры да несколько выздоравливающих бойцов, сейчас сустились люди, выводили, выносили кого-то, а здесь, где был Андрей, все стояли, подойдя к самому краю, и настороженно смотрели. Андрей тоже заинтересовался, подошел, посмотрел.

Он увидел, как из узких вагонных дверей с вертикальными неудобными ступенями какие-то женщины в белых халатах, военные в бушлатах и сапогах и просто люди в темных ватниках выносили детей и ставили, сажали, а то и клали тут же у рельсов на землю.

— Блокадные... Ленинградские... Из Вологды привезли...— было произнесено в толпе, рядом с Андреем.

Никто никак не среагировал на эти слова. Все знали, что такое блокада и что такое Ленинград. Но было в детях что-то такое, что люди, и не слышавшие последних слов, останавливались и замирали, не в силах оторвать глаз. А за ними подходили все новые и так стояли, выстроившись на краю платформы и забыв про свой поезд.

Люди видели на войне все. Их ничем ни удивить, ни поразить было нельзя. Но вот они смотрели, а кто бы посмотрел на них: столько боли, скорби, мучительной жалости, потрясения, страдания, но и горькой радости было в их глазах. Ибо, хоть это были дети войны, жалкие обгарки на черном пепелище, но это были живые дети, спасенные и вынесенные из гибельного пламени, а это означало возрождение и надежду на будущее, без чего не могло быть дальше жизни и у этих, также разных на платформе людей.

У них. И у Андрея.

Дети были тоже разные. Но что-то их всех объединяло. Не только необычный цвет лица, сливавшийся с выпавшим снегом, не только глаза, в которых застыл, будто заморозился, навсегдашний ужас блокады, не только странные неразомкнутые рты.

Было в них еще одно общее — и в облике, и в тех же лицах, и в губах, и в глазах, и еще в чем-то, что рассмотреть можно было лишь не поодиночке, а только когда они все вместе, и что выражалось в том, как вели они себя по отношению друг к другу и к взрослым, как стояли, как брались за руки, выстраивались в колонну,— и можно выразить так: дети войны.

Страшное сочетание двух противоестественных, невозможных рядом слов. Дети здесь своим присутствием выражали самую низкую, самую адскую, разрушительную сущность войны: она была в зародыше, в зачатке по всем другим

детям, которые не были рождены, по всем поколениям, которых еще не было.

Но вот эти, которые стояли теперь колонной, взявшись по двое, готовые отправиться в неведомый путь, ведь выжили же! Выжили! Дай-то бог! Они были посланцы оттуда, из будущего, несущие людям, стоящим на другой стороне платформы, на этой, еще военной стороне жизни, надежду на будущее, несмотря ни на что. Им, а значит, Андрею.

Странной колеблющейся тонкой струйкой вслед за худенькой темной женщиной, тоже похожей на подростка, потекли блокадные вдоль рельсов все дальше и дальше в сторону города. И в каждом крошечном человечке, закутанном в тряпье, была, несмотря на робкость первых шагов, слабое покачиванье, — отчего живая струйка то растягивалась, то сжималась, и пульсировала, и рвалась, чтобы снова слиться, — неразрывная связь с ближними, друг с другом, с кем они сейчас шли, сцепив синие пальцы так, что никто бы не смог их разомкнуть, но и с людьми на платформе, и с этой беззвучной станцией, и с этой новой обетованной землей, которая их взрастит.

Семя, брошенное в жесткую почву, взойдешь ли, станешь ли шумящим колосом?

Стоя перед усталым лейтенантом с короткой щеточкой своих бухгалтерских усов, с испытующим, недоверчивым, колким взглядом в казенной комнате — комендатуре, Андрей не много мог объяснить. Словам тут не верят. Но сам пришел, с тяжким нечеловеческим чувством вины и покаяния.

Говорил, щурясь от желтого света не потухающей днем и ночью двухсотсвечовки на шнуре без абажура, а сам видел только эту нестираемую картину: качаемый ветром ручеек крошечных человеческих жизней, текущий вдоль рельсов в будущее. В будущее, которое Андрей будет защищать всегда. Даже когда, вот как они, не сможет стоять. Сидя будет, лежа, как угодно. Потому что если выжили они, то Андрей выживет благодаря им, взяв от них пример мужества и отдав во имя их даже жизнь. Во имя их, во имя Васьки.

Нарушая строгую томящую паузу, пока старательный лейтенант, облизывая кончиком языка свои усы, составлял рапорт и писал бумаги, макая часто в высохшие чернила ручку, — а тут еще громкий сержант, кричащий по телефону, да двое патрульных, балагуриящих в уголке, да какой-то штатский, кланчающий талон на билет, тоже отстал

от своих,— Андрей, как псих, как контуженный какой, из тех, что поют в электричке, прорвался вдруг.

Порывисто и хрипло запросил, сам не узнал своего голоса:

— Одно у меня, товарищ лейтенант! Все знаю! Штрафнуха! Но прошу! Прошу вас, под охраной... Или так... Мальчонка у меня, братишка меньшей, малой! Васька! В детдомовских тут! Минуточку бы! Крошечку только! Глазком, словцом одним! — И на выдохе, совсем уж отчаянно:— Он же умрет, если не увидит! Он ведь ждет меня. Ну как бы... Ну как ждал бы вас ваш сын!

Лейтенант оторвался от бумаги, но не посмотрел на Андрея, а посмотрел почему-то в окошко, отсюда, из желтого света, в синий наружный утренний свет. Не знал Андрей, что потому так трудно и медленно писалось лейтенанту, что и перед ним неотвязно стояло то же самое. Как встречал санитарный поезд из Вологды — его ждали двое суток по радиограмме,— как шел от вагона к вагону, принимая на руки неощутимо, невесомо воздушных детишек, будто не их, а раненых птиц, и не мог при этом смотреть им в глаза, в которых, казалось, только и оставалось что-то весомое и живое. А когда, протягивая руки, все-таки натыкался на встречный взгляд, прямой и немигающий, какого-то белого, зимнего цвета, то опускал глаза и чувствовал, как запирало в груди дыхание и все тело коченело.

Да еще рассказ — невнятный, на ходу, в спешке — этой маленькой черненькой женщины о том, как собирала по домам и по улицам одичавших детей, которые и фамилий-то своих не помнили, она давала им свою фамилию; как тонули на грузовичке, когда бомбили их на Ладоге, перебираясь по неверному льду, а бойцы вытащили, спасли; как от Жихаревки до Вологды из-за жестоких поносов устелили они дорогу детскими могилами, а потом, в больницах, чуть не дыханием выхаживали остальных, уцелевших...

Теперь посмотрел лейтенант на Андрея, медленно, особенно как-то посмотрел. И, потеряв кулаком глаза, отмаргиваясь, оттого что жгла усталое зрение яркая лампа, спросил кургузо:

— Где он... твой, живет?

Было для Андрея в этом вопросе многое. Последняя встреча, Васькины верующие глаза, которые невозможно обмануть.

В эту ночь Васька заболел. Температура поднялась выше сорока. Лежал он весь в поту, с красным лицом и тяжело дышал. Завтракать утром не захотел, только пить и пить.

Пришла Ксана, села рядом.

— Смотри, Вася, мама прислала тебе рубашку и штаны. А еще книжку сказок.

Васька кивнул, говорить ему было трудно.

— Хочешь, я тебе прочитаю?

Он опять кивнул.

— Вот хорошая сказка,— сказала Ксана.— Про Ивана, крестьянского сына, и чудо-юдо... Жили старик со старухой, а у них было три сына, а младший сыночек — Иванушка. Жили они, не ленились, без усталости трудились, пашню пахали да хлеб засевали.

— Обильно,— прошептал Васька.— Хлебушко до краев...

— Что? — спросила Ксана.— Так вот, разнеслась в том царстве-государстве весть: собирается чудо-юдо поганое на землю напасть, всех людей истребить, все города-села огнем спалить. Затужили старик со старухой, загоревали. Старшие сыновья утешают их: «Не горюйте, батюшка и матушка, поедem мы на реку Смородину, на Калиновый мост. Будем биться насмерть». — «Я тоже пойду,— говорит Иванушка.— Не хочу дома сидеть...»

Ксана прервалась и вдруг сказала задумчиво:

— Мама говорит, что плохо, когда на листья снег упадет. Будто примета, что молодых солдат много погибнет...

— Почему? — подал голос Васька.

— Ну, суеверие такое... Мы-то с тобой знаем, что это неправда.

— Конечно! — произнес он и закашлялся.

К обеду появилась женщина-врач, попросила Ваську приподняться. Выслушала трубочкой спину, грудь, в рот заглянула.

Боне, который находился в спальне, она сказала:

— Двустороннее воспаление... Нужно отправлять в больницу.

— Сделаем,— отвечал Боня и стал смотреть, как врач выписывает бумажки.

Васька дождался, когда врач ушла, попросил Боню:

— Не увозите меня.

— Как же,— возразил тот.— Тебе лечиться надо.

— Не увозите,— сказал Васька и заплакал.



Ксана отозвала Боню в сторону и прошептала ему.

— Он боится, что не увидит солдата...

— А когда он придет?

— Обещал утром.— Ксана добавила: — Последний раз.

— До вечера подождем,— решил Боня.— Пойду директору скажу.

Постучались, вошли трое военных.

Васька захотел подняться, никак через слезы не мог он разобрать, кто же из них дядя Андрей.

Но двое остались у двери, а третий приблизился к постели.

Произнес родным голосом:

— Что же ты, Василий? Все-таки заболел?

Васька отвалился на подушку, захотел улыбнуться.

— Нет... Я скоро встану.

— Да уж лежи теперь,— сказал солдат.— Куда тебе горопиться?

— А ты?

— Видишь, уезжаю.

— На фронт?

— На фронт, Василий.

— На реку Смородину, на Калиновый мост...— произнес Васька.

— Да, вроде того. Там река Сейм протекает.

— А когда вернешься?

— Теперь скоро, Василий. Фашистов добьем. Ты учись и жди.

— Я буду ждать сильно-сильно,— сказал Васька и закрыл глаза.

С закрытыми глазами добавил:

— Вот только снег выпал... И зачем он выпал! Зачем?

— Погода такая,— ответил солдат.— Но все равно весна... Помнишь, из Робин Гуда я стихи читал? «Двенадцать месяцев в году, двенадцать, так и знай, но веселее всех в году веселый месяц май!»

— Веселый,— сказал Васька. И закрыл лицо руками.

— Вашу винтовку нашли? — спросила Ксана.

— Винтовку? Да, да, конечно. Поэтому и еду,— отвечал дядя Андрей, оглянувшись на военных. Они уже делали ему знаки, что пора идти.

Были они при полной форме, в ремнях и даже с пистолетами. У солдата дяди Андрея не было ни кобуры, ни даже ремней или погон.

Только Васька этого разобрать не мог. А Ксана хоть и видела, но ничего не сказала.

— Будь счастлив, Василий, — солдат наклонился, поцеловал мальчика в лоб. Долго смотрел на его лицо, словно пытаюсь запомнить. Хорошо смотрел, как на своего, на родного человека.

Протянул руку Ксане:

— До свидания, подружка! Не забывай!

— Я никогда не забуду.

— Вот и спасибо. Я вас с мамой тоже буду помнить.

— Хотите, провожу? — спросила девочка.

— Нет. Будь около Василия. Не бросай его.

Тут один из военных сделал шаг вперед и строго произнес:

— Боец Долгушин, свидание закончено.

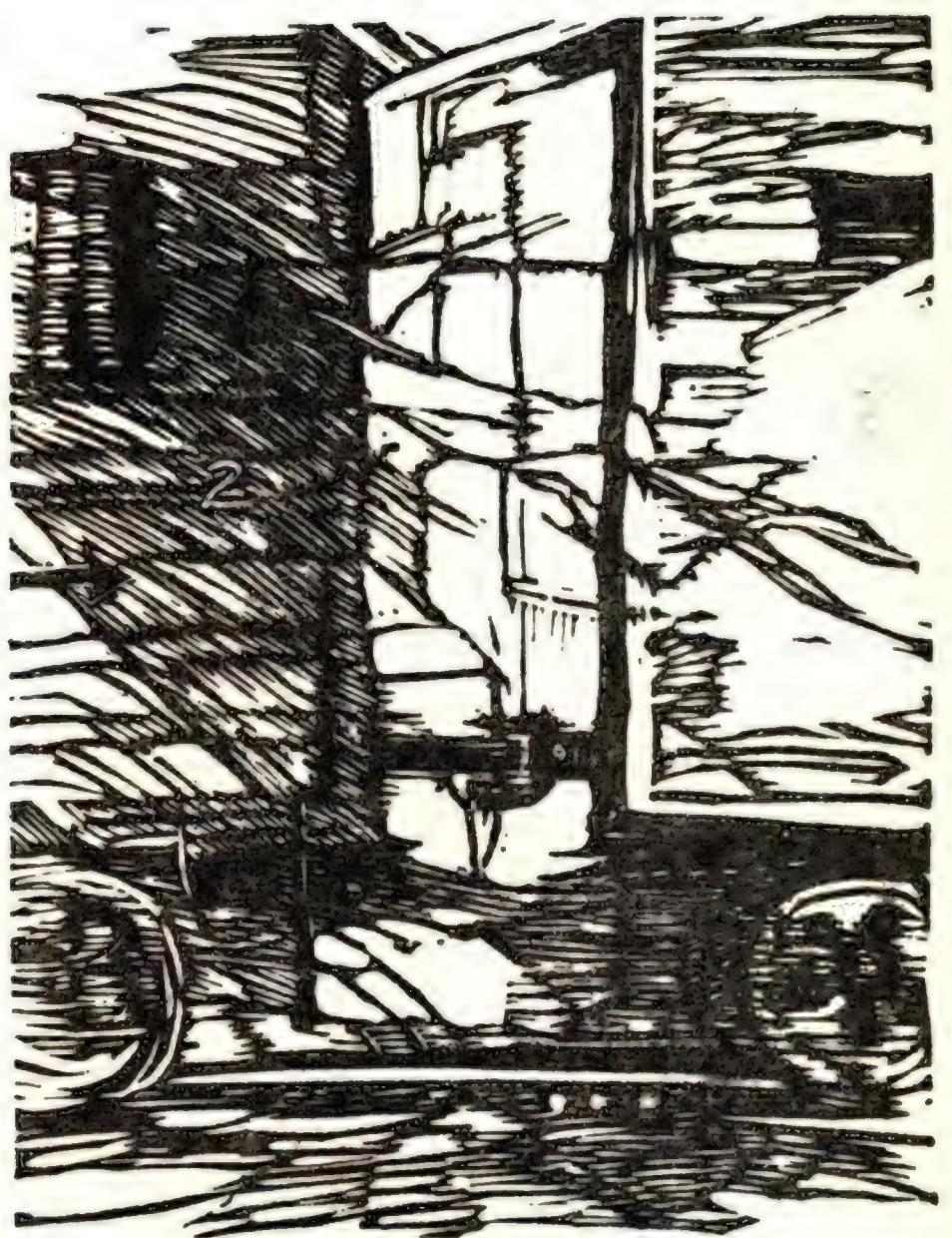
Андрей оглянулся, встал.

Быстро направился к двери, но с полдороги вернулся, торопливо заговорил, наклоняясь к Ваське:

— Жди, мой мальчик. Вернусь, будем вместе... Всю жизнь вместе! Прощай!

Солдат дядя Андрей и двое военных ушли, а Васька остался ждать.

Ночевала
тучка золотая



Посвящаю эту повесть всем ее друзьям, кто принял как свое личное это беспризорное дитя литературы и не дал ее автору впасть в отчаяние

1

Это слово возникло само по себе, как рождается в поле ветер. Возникло, прошелестело, пронеслось по ближним и дальним закоулкам детдома: «Кавказ! Кавказ!» Что за Кавказ? Откуда он взялся? Право, никто не мог бы толком объяснить.

Да и что за странная фантазия в грязненьком Подмоскovie говорить о каком-то Кавказе, о котором лишь по школьным чтениям вслух (учебников-то не было!) известно детдомовской шантрапе, что он существует, верней, существовал в какие-то отдаленные непонятные времена, когда палил во врагов чернобородый, взбалмошный горец Хаджи Мурат, когда предводитель мюридов имам Шамиль оборонялся в осажденной крепости, а русские солдаты Жилин и Костылин томились в глубокой яме.

Был еще Печорин, из лишних людей, тоже ездил по Кавказу.

Да вот еще папиросы! Один из Кузьмёнышей их углядел у раненого подполковника из санитарного поезда, застрявшего на станции в Томилине.

На фоне изломанных белоснежных гор скачет, скачет в черной бурке всадник на диком коне. Да нет, не скачет, а летит по воздуху. А под ним неровным, угловатым шрифтом название: «КАЗБЕК».

Усатый подполковник с перевязанной головой, молодой красавец, поглядывал на прехорошенькую медсестричку, выскочившую посмотреть станцию, и постукивал многозначительно ногтем по картонной крышечке папирос, не заметив, что рядом, открыв от изумления рот и затаив дыхание, воззрился на драгоценную коробочку маленький оборвыш Колька.

Искал корочку хлебную, от раненых, чтобы подобрать, а увидел: «КАЗБЕК»!

Ну, а при чем тут Кавказ? Слух о нем?

Вовсе ни при чем.

И непонятно, как родилось это остроконечное, сверк-

нувшее блестящей ледяной гранью словцо там, где ему невозможно родиться: среди детдомовских будней, холодных, без дровинки, вечно голодных. Вся напряженная жизнь ребят складывалась вокруг мерзлой картофелинки, картофельных очистков и, как верха желания и мечты,— корочки хлеба, чтобы просуществовать, чтобы выжить один только лишний военный день.

Самой заветной, да и несбыточной мечтой любого из них было хоть раз проникнуть в святая святых детдома: в ХЛЕБОРЕЗКУ,— вот так и выделим шрифтом, ибо это стояло перед глазами детей выше и недосыгаемей, чем какой-то там КАЗБЕК!

А назначали туда, как господь бог назначал бы, скажем, в рай! Самых избранных, самый удачливых, а можно определить и так: счастливейших на земле!

В их число Кузьмёныши не входили.

И не было в мыслях, что доведется войти. Это был удел блатяг, тех из них, кто, сбежав от милиции, царствовал в этот период в детдоме, а то и во всем поселке.

Проникнуть в хлеборезку, но не как те, избранные,— хозяевами, а мышкой, на секундочку, мгновеньице, вот о чем мечталось! Глазком, чтобы наяву поглядеть на все преле великое богатство мира, в виде нагроможденных на столе корявых буханок.

И вдохнуть, не грудью, животом вдохнуть опьяняющий, дурманищий хлебный запах...

И всё. Всё!

Ни о каких там крошечках, которые не могут не оставаться после сваленных, после хрупко трущихся шершавыми боками бухариков, не мечталось. Пусть их соберут, пусть наслаются избранные! Это по праву принадлежит им!

Но как ни притирайся к обитым железом дверям хлеборезки, это не могло заменить той фантасмагорической картины, которая возникала в головах братьев Кузьминых,— запах через железо не проникал.

Проскочить же законным путем за эту дверь им и вовсе не светило. Это было из области отвлеченной фантастики, братья же были реалисты. Хотя конкретная мечта им не была чужда.

И вот до чего эта мечта зимой сорок четвертого года довела Кольку и Сашку: проникнуть в хлеборезку, в царство хлеба любым путем... Любым.

В эти, особенно тоскливые, месяцы, когда мерзлой картофелины добыть невозможно, не то что крошки хлеба,

ходить мимо домика, мимо железных дверей не было сил. Ходить и знать, почти картинно представлять, как там, за серыми стенами, за грязненьким, но тоже зарешеченным окном, ворожат избранные, с ножом и весами. И кромсают, и режут, и мнут отвалистый сыроватый хлебушек, ссыпая теплые солоноватые крошки горстью в рот, а жирные отломки приберегая пахáну.

Слюна накипала во рту. Схватывало живот. В голове мутнело. Хотелось завывать, закричать и бить, бить в ту железную дверь, чтобы отперли, открыли, чтобы поняли наконец: мы ведь тоже хотим! Пусть потом в карцер, куда угодно... Накажут, избыют, убьют... Но пусть сперва покажут, хоть от дверей, как он, хлеб, грудой, горой, Казбеком возвышается на искромсанном ножами столе... Как он пахнет!

Вот тогда и жить снова станет возможным. Тогда вера будет. Раз хлебушко горой лежит, значит, мир существует... И можно терпеть, и молчать, и жить дальше.

От маленькой же паечки, даже с добавком, приколотым к ней щепкой, голод не убывал. Он становился сильнее.

Однажды глупая учительница стала читать вслух отрывок из Толстого, а там стареющий Кутузов во время войны ест цыпленка, с неохотой ест, чуть ли не с отвращением разжевывая жесткое крылышко...

Ребятам такая сцена показалась уж очень фантастической! Напридумывают тоже! Крылышко не пошло! Да они бы тотчас за косточку обглоданную от того крылышка побежали бегом куда угодно! После такого громкого чтения вслух еще больше животы скрутило, и они навсегда потеряли веру в писателей; если у них цыпленка не жрут, значит, писатели сами зажрались!

С тех пор как прогнали главного детдомовского урку Сыча, много разных крупных и мелких блатяг прошло через Томилино, через детдом, свивая вдали от родимой милиции тут на зиму свою полумалину.

В неизменности оставалось одно: сильные пожирали все, оставляя слабым крохи, мечты о крохах, забирая мелкосню в надежные сети рабства.

За корочку попадали в рабство на месяц, на два.

Передняя корочка, та, что поджаристей, черней, толще, слаще,— стоила двух месяцев, на буханке она была бы верхней, да ведь речь идет о пайке, крохотном кусочке, что глядится плашмя прозрачным листиком на столе; задняя — побледней, победней, потоньше — месяца рабства.

А кто не помнил, что Васька Сморчок, ровесник Кузьмёнышей, тоже лет одиннадцати, до приезда родственника-солдата как-то за заднюю корочку прислуживал полгода. Отдавал все съестное, а питался почками с деревьев, чтобы не загнуться совсем.

Кузьмёныши в тяжкие времена тоже продавались. Но продавались всегда вдвоем.

Если бы, конечно, сложить двух Кузьмёнышей в одного человека, то не было бы во всем Томилинском детдоме им равных по возрасту, да и, возможно, по силе.

Но знали Кузьмёныши и так свое преимущество.

В четыре руки тащить легче, чем в две; в четыре ноги удирать быстрее. А уж четыре глаза куда вострей видят, когда надо ухватить, где что плохо лежит!

Пока два глаза заняты делом, другие два сторожат за обоих. Да успевают еще следить, чтобы у самого не тяпнули бы чего, одежду, матрац исподнизу, когда спишь да видишь свои картинки из жизни хлебoreзки! Говорили же: чего, мол, хлебoreзку раззявил, если у тебя у самого потянули!

А уж комбинаций всяких из двух Кузьмёнышей не счесть! Попался, скажем, кто-то из них на рынке, тащат в кутузку. Один из братьев ноет, вопит, на жалость бьет, а другой отвлекает. Глядишь, пока обернулись на второго, первый — шмыг, и нет его. И второй следом! Оба брата, как выюны, верткие, скользкие, раз упустил, в руки обратно уже не возьмешь.

Глаза увидят, руки захапают, ноги унесут...

Но ведь где-то в каком-то котелке все это должно заранее свариться... Без надежного плана: как, где и что стирить — трудно прожить!

Две головы Кузьмёнышей варили по-разному.

Сашка, как человек миросозерцательный, спокойный, тихий, извлекал из себя идеи. Как, каким образом они возникали в нем, он и сам не знал.

Колька, оборотистый, хваткий, практичный, со скоростью молнии соображал, как эти идеи воплотить в жизнь. Извлечь то бишь доход. А что еще точнее: взять жратье.

Если бы Сашка, к примеру, произнес, почесывая белобрысую макушку, а не слетать ли им, скажем, на Луну, там жмыху полно, Колька не сказал бы сразу: «Нет». Он сперва обмозговал бы это дельце с Луной, на каком дирижабле туда слетать, а потом бы спросил: «А зачем? Можно спереть и поближе...»

Но, бывало, Сашка мечтательно посмотрит на Кольку, а тот, как радио, выловит в эфире Сашкину мысль. И тут же скумекает, как ее осуществить.

Золотая у Сашки башка, не башка, а Дворец Советов! Видели братья такой на картинке. Всякие там американские небоскребы в сто этажей ниже под рукой стелются. Мы-то самые первые, самые высокие!

А Кузьмёныши первые в другом. Они первые поняли, как прожить им зиму сорок четвертого года и не околеть.

Когда революцию в Питере делали, небось, кроме почты и телеграфа да вокзала, и хлебoreзку не забыли приступом взять!

Шли мимо хлебoreзки братья, не первый раз, кстати. Но уж больно невтерпеж в этот день было! Хотя такие прогулки свои мученья добавляли.

«Ох, как жрать-то охота... Хоть дверь грызи! Хоть землю мерзлую под порогом ешь!» — так вслух произнеслось. Сашка произнес, и вдруг его осенило. Зачем ее есть, если... Если ее... Да, да! Вот именно! Если ее копать надо!

Копать! Ну, конечно, копать!

Он не сказал, он лишь посмотрел на Кольку. А тот в мгновение принял сигнал и, вертанув головой, все оценил и прокрутил варианты. Но опять же ничего не произнес вслух, только глаза хищно блеснули.

Кто испытал, тот поверит: нет на свете изобретательней и нацеленней человека, чем голодный человек, тем паче если он детдомовец, отрастивший за войну мозги на том, где и что достать.

Не молвив ни словца (кругом живоглоты, услышат, разнесут, и кранты тогда любой, самой гениальной Сашкиной идее), братья направились напрямиком к ближайшему сарайчику, отстоящему от детдома метров на сто, а от хлебoreзки метров на двадцать. Сарайчик находился у хлебoreзки как раз за спиной.

В сарае братья огляделись. Одновременно посмотрели в самый дальний угол, где за железным никчемным ломом, за битым кирпичом находилась заначка Васьки Сморчка. В бытность, когда хранились дрова, никто не знал, лишь Кузьмёныши знали: тут прятался солдат дядя Андрей, у которого оружие стянули.

Сашка спросил шепотом:

— А не далеко?

— А откуда ближе? — в свою очередь спросил Колька. Оба понимали, что ближе неоткуда.

Сломать замок куда проще. Меньше труда, меньше

времени надо. Сил-то оставались крохи. Но было уже, пытались сбивать замок с хлебoreзки, не одним Кузьмёнышам приходила такая светлая отгадка в голову! И дирекция повесила на дверях замок амбарный! Полпуда весом!

Его разве что гранатой сорвать можно. Впереди танка повесь — ни один вражеский снаряд тот танк не прошибет.

Окошко же после того неудачного случая зарешетили да такой толстенный прут приварили, что его ни зубилом, ни ломом не взять — автогеном если только!

И насчет автогена Колька соображал, он карбид приметил в одном месте. Да ведь не подтащишь, не зажжешь, глаз кругом много.

Только под землей чужих глаз нет!

Другой же вариант — совсем отказаться от хлебoreзки — Кузьмёнышей никак не устраивал.

Ни магазин, ни рынок, ни тем более частные дома не годились сейчас для добычи съестного. Хотя такие варианты носились роем в голове Сашки. Беда, что Колька не видел путей их реального воплощения.

В магазинчике сторож всю ночь, злой старикашка. Не пьёт, не спит, ему дня хватает. Не сторож — собака на сене.

В домах же вокруг, которых не счесть, беженцев полно. А жрать как раз наоборот. Сами смотрят, где бы что урвать.

Был у Кузьмёнышей на примете домик, так его в бытность Сыча старшие почистили.

Правда, стянули невесть чего: тряпки да швейную машинку. Ее долго потом крутила по очереди вот тут, в сарае, шантропа, пока не отлетела ручка, да и все остальное не рассыпалось по частям.

Не о машинке речь. О хлебoreзке. Где не весы, не гири, а лишь хлеб — он один заставлял яростно в две головы работать братьев.

И выходило: «В наше время все дороги ведут к хлебoreзке».

Крепость, не хлебoreзка. Так известно же, что нет таких крепостей, то есть хлебoreзков, которые бы не мог взять голодный детдомовец.

В глухую пору зимы, когда вся шпана, отчаявшись подобрать на станции или на рынке хоть что-нибудь съестное, стыла вокруг печей, притираясь к ним задницей, спиной, затылком, впитывая доли градусов и вроде бы согреваясь — известь была вытерта до кирпича, — Кузьмёны-

ши приступили к реализации своего невероятного плана. В этой невероятности и таился залог успеха.

От дальней заначки в сарае они начали вскрышные работы, как определил бы опытный строитель, при помощи кривого лома и фанерки.

Вцепившись в лом (вот они — четыре руки!), они поднимали его и опускали с тупым звуком на мерзлую землю. Первые сантиметры были самыми тяжелыми. Земля гудела.

На фанерке они относили ее в противоположный угол сарая, пока там не образовалась целая горка.

Целый день, такой пуржистый, что снег наискось несло, залепляя глаза, оттаскивали Кузьмёныши землю подалее в лес. В карманы клали, за пазуху, не в руках же нести. Пока не догадались: сумку холщовую от школы приспособить.

В школу ходили теперь по очереди и копали по очереди: один день долбил Колька и один день — Сашка.

Тот, кому подходила очередь учиться, два урока отсиживал за себя (Кузьмин? Это какой Кузьмин пришел? Николай? А где же второй, где Александр?), а потом выдавал себя за своего брата. Получалось, что оба были хотя бы наполовину. Ну, а полного посещения никто с них и не требовал! Жирно хотите жить! Главное, чтобы в детдоме без обеда не оставили!

А вот обед там или ужин, тут по очереди не дадут съесть, схавают моментально шакалы и следа не оставят. Тут уж они бросали копать и вдвоем в столовку, как на приступ, шли.

Никто не спросит, никто не поинтересуется: Сашка шакает или Колька. Тут они едины: Кузьмёныши. Если вдруг один, то вроде бы половинка. Но поодиночке их видели редко, да можно сказать, что совсем не видели!

Вместе ходят, вместе едят, вместе спать ложатся.

А если бить, то бьют обоих, начиная с того, кто в эту нескладную минуту раньше попадется.

2

Раскоп был в самом разгаре, когда вовсю пошли эти странные слухи о Кавказе.

Беспричинно, но настойчиво в разных концах спальни то тише, то сильнее повторялось одно и то же. Будто снимут детдом с их насиженного в Томилине места и скопом, всех до единого, перекинут на Кавказ.

Воспитателей отправят, и дурака-повара, и усатую му-

зыкантшу, и директора-инвалида... («Инвалида умственного труда!» — произносилось негромко.)

Всех отвезут, словом.

Судачили много, пережевывали, как прошлогоднюю картофельную шелуху, но никто не представлял себе, как возможно всю эту дикую орду угнать в какие-то горы.

Кузьмёныши прислушивались к болтовне в меру, а верили и того меньше. Некогда было. Устремленно, неистово долбили они свои шурфы.

Да и что тут трепать, и дураку понятно: против воли ни одного детдомовца увезти никуда невозможно! Не в клетке же, как Пугачева, их повезут!

Сыпанут голодранцы во все стороны на первом же перегоне, и лови, как воду решетом!

А если бы, к примеру, удалось кого из них уговорить, то никакому Кавказу от такой встречи несдобровать. Оберут до нитки, объедят до сучочка, по камешкам ихние Казбеки разнесут... В пустыню превратят! В Сахару!

Так решали Кузьмёныши и шли долбить.

Один из них железочкой ковырял землю, теперь она пошла рыхлая, сама отваливалась, а другой — в ржавом ведерке оттаскивал породу наружу. К весне уперлись в кирпичный фундамент дома, где помещалась хлеборезка.

Однажды сидели Кузьмёныши в дальнем конце раскопа.

Темно-красный, с синеватым отливом кирпич старинного обжига крошился с трудом, каждый кусочек кровью давался. На руках пузыри вздувались. Да и ломом таранить сбоку оказалось не с руки.

В раскопе было не повернуться, сыпалась за ворот земля. Выедала глаза самодельная коптилка в чернильном пузырьке, украденная из канцелярии.

Сперва-то была у них свечечка настоящая, восковая, тоже украденная. Но сами братья ее и съели. Не вытерпели как-то, кишки переворачивались от голода. Посмотрели друг на друга, на ту свечечку, маловато, но хоть что-нибудь. Рассекли надвое, да и сжевали, одна веревочка несъедобная осталась.

Теперь коптил тряпочный шнурочек: в стене раскопа был сделан выем — Сашка догадался — и оттуда мерцал синенько, свету было меньше, чем копотти.

Оба Кузьмёныша сидели, отвалившись, потные, чумазы, коленки подогнуты под подбородок.

Сашка спросил вдруг:

— Ну, что Кавказ? Трепятся?

— Трепятся, — отвечал Колька.

— Погонят, да? — Так как Колька не отвечал, Сашка опять спросил: — А тебе не хотелось бы? Поехать?

— Куда? — спросил брат.

— На Кавказ!

— А чево там?

— Не знаю... Интересно.

— Мне интересно вот куда попасть! — И Колька злобно ткнул кулаком в кирпич. Там в метре или двух метрах от кулака, никак не дальше, находилась заветная хлебо-резка.

На столике, исполосованном ножами, пропахшем кисловатым хлебным духом, лежат бухарики: много бухариков серовато-золотистого цвета. Один краше другого. Корочку отломить, и то счастье. Пососешь, проглотишь. А за корочкой и мякиша целый вагон, щипай да в рот.

Никогда в жизни не приходилось еще Кузьмёнышам держать целую буханку хлеба в руках! Даже прикасаться не приходилось.

Но видеть видели, издалека, конечно, как в толкотне магазина отоваривали его по карточкам, как взвешивали на весах.

Сухопарая, без возраста, продавщица хватала карточки цветные: рабочие, служащие, иждивенческие, детские, и, взглянув мельком — такой опытный глаз-ватерпас у нее — на прикрепление, на штампик на обороте, где вписан номер магазина, хоть своих небось всех прикрепленных знает поименно, ножничками делала «чик-чик» по два, по три талончика в ящичек. А в том ящичке у нее тысяча, миллион этих талончиков с цифрами 100, 200, 250 граммов.

Но каждый талон, и два, и три, только малая часть целой буханки, от которой продавщица экономно отвалит острым ножом небольшой кусок. Да и самой не впрок стоять рядом с хлебом-то, высохла, а не потолстела!

Но целую, всю как есть не тронутую ножом буханку, как ни смотрели в четыре глаза братья, никому при них из магазина не удавалось унести.

Целая — такое богатство, что и подумать страшно!

Но какой же тогда откроется рай, если бухариков будет не один, и не два, и не три! Настоящий рай! Истинный! Благословенный! И не нужно нам никакого Кавказа!

Тем более рай этот рядышком, уже бывают слышны через кирпичную кладку неясные голоса.

Хотя ослепшим от копоти, оглохшим от земли, от пота,

от надрыва нашим братьям слышалось в каждом звуке одно: «Хлеб. Хлеб...»

В такие минуты братья не роют, не дураки небось. Направляясь мимо железных дверей в сарай, лишнюю петлю сделают, чтобы знать, что пудовый тот замочек на месте: его за версту видать!

Только потом уже лезут этот чертов фундамент крушить.

Вот строили в древние времена, небось и не подозревали, что кто-то их за крепость крепким словцом приложит.

Как доберутся Кузьмёныши, как откроется их очарованным глазам вся хлеборезка в тусклом вечернем свете, считай, что ты уже в раю и есть.

Тогда... Знали братья твердо, что случится тогда.

В две головы продумано небось, не в одну.

Бухарик, но один, они съедят на месте. Чтобы не вывернуло животы от такого богатства. А еще два бухарика заберут с собой и надежно припрячут. Это они умеют. Всего три бухарика, значит. Остальное, хоть зудится, трогать не могли. Иначе озверелые пацаны дом разнесут.

А три бухарика — это то, что, по подсчетам Кольки, у них все равно крадут каждый день.

Часть для дурака повара, о том, что он дурак и в дурдоме сидел, все знают. Но жрет вполне как нормальный. Еще часть воруют хлеборезчики и те шакалы, которые около хлеборезчиков шестерят. А самую главную часть берут для директора, для его семьи и его собак.

Но около директора не только собаки, не только скотина кормится, там и родственников, и приживальщиков понапихано. И всем им от детдома таскают, таскают, таскают... Детдомовцы сами и таскают. Но те, кто таскает, свои крохи от таскания имеют.

Кузьмёныши точно рассчитали, что от пропажи трех бухариков шум по детдому поднимать не станут. Себя не обижают, других обделят. Только и всего.

Кому надо-то, чтобы комиссии от роно поперли (А их тоже корми! У них рот большой!), чтобы стали выяснять, отчего крадут, да отчего недоедают от своего положенного детдомовцы и отчего директорские звери-собаки вымахали ростом с телят.

Но Сашка только вздохнул, посмотрев в сторону, куда указывал Колькин кулак.

— Не-е... — произнес он задумчиво. — Все одно интересно. Горы интересно посмотреть. Они небось выше нашего дома торчат? А?

— Ну и что? — опять спросил Колька, ему очень хотелось есть. Не до гор тут, какие бы они ни были. Ему казалось, что через землю он слышит запах свежего хлеба.

Оба помолчали.

— Сегодня стишки учили, — вспомнил Сашка, которому пришлось отсиживать в школе за двоих. — Михаил Лермонтов, «Утес» называется.

Сашка не помнил все наизусть, хоть стихи были короткие. Не то что «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»... Уф! Одно название полкилометра длиной! Не говоря о самих стихах!

А из «Утеса» всего две строчки Сашка запомнил.

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана...

— Про Кавказ, что ли? — скучно поинтересовался Колька.

— Ага. Утес же...

— Если он такой же дурной, как этот... — И Колька сунул кулаком опять в фундамент. — Утес твой!

— Он не мой!

Сашка замолчал, раздумывая.

Он уже давно не о стихах думал. В стихах он ничего не понимал, да и понимать в них особенно нечего. Если на сытый желудок читать, может, толк и будет. Вон Лохматая в хоре их мучает, а если бы без обеда не оставляли, они все давно бы из хора пятки намылили. Нужны им эти песни, стихи... Поешь ли, читаешь, все одно о жратве думаешь. Голодной куме все куры на уме!

— Ну и чего? — вдруг спросил Колька.

— Чево-чево? — повторил за ним Сашка.

— Чево он там, утес-то? Развалился аль нет?

— Не знаю, — сказал как-то по-глупому Сашка.

— Как не знаешь? А стихи?

— Чего стихи... Ну, там, эта... Как ее... Туча, значит, уперлась в утес...

— Как мы в фундамент?

— Ну, покемарила... улетела...

Колька присвистнул.

— Все??

— Все.

— Ни фиги себе сочиняют! То про цыпленка, то про тучу...

— А я-то при чем! — разозлился теперь Сашка. — Я тебе сочинитель, что ли? — Но разозлился несильно. Да и

сам виноват: размечтался, не слышал объяснения учительницы.

Он вдруг на уроке представил себе Кавказ, где все не так, как в их протухшем Томилине.

Горы, размером с их детдом, а между ними повсюду хлебoreзки натыканы. И ни одна не заперта. И копать не надо, зашел, сам себе свещал, сам себе и поел. Вышел, а тут другая хлебoreзка, и опять без замка. А люди все в черкесках, усаые, веселые такие. Смотрят они, как Сашка наслаждается едой, улыбаются, рукой по плечу бьют: «Якши», — говорят. Или еще как! А смысл один: «Ешь, мол, больше, у нас хлебoreзок много!»

Было лето. Зеленела травка на дворе. Никто не провожал Кузьмёнышей, кроме воспитательницы Анны Михайловны, которая небось тоже не об их отъезде думала, глядя куда-то поверх голов холодными голубыми глазами.

Все произошло неожиданно. Намечалось из детдома отправить двоих, постарше, самых блатяг, но они тут же отвалили, как говорят, растворились в пространстве, а Кузьмёныши, наоборот, сказали, что им хочется на Кавказ.

Документы переписали. Никто не поинтересовался — отчего они вдруг решили ехать, какая такая нужда гонит наших братьев в дальний край. Лишь воспитанники из младшей группы приходили на них посмотреть. Вставали у дверей и, указывая на них пальцем, произносили: «Эти!» И после паузы: «На Кавказ!»

Причина же отъезда была основательная, слава богу, о ней никто не догадывался.

За неделю до всех этих событий неожиданно рухнул подкоп под хлебoreзку. Провалился на самом видном месте. А с ним и рухнули надежды Кузьмёнышей на другую, лучшую жизнь.

Уходили вечером, вроде все нормально было, уже и стену кончали, оставалось пол вскрыть.

А утром выскочили из дома: директор и вся кухня в сборе, пялят глаза: что за чудо, земля осела под стеной хлебoreзки.

И — догадались: мама рóдная. Да ведь это же подкоп! Под их кухню, под их хлебoreзку подкоп!

Такого еще в детдоме не знали.

Начали тягать воспитанников к директору. Пока по старшим прошлись, на младших и думать не могли.

Военных саперов вызвали для консультации. Возможно ли, спрашивали, чтобы дети такое сами прорыли?

Те осмотрели подкоп, от сарая до хлебoreзки прошли и внутрь, там где не обвалено, залезали. Отряхиваясь от желтого песка, руками развели: «Невозможно, без техники, без специальной подготовки никак невозможно такое метро прорыть. Тут опытному солдату на месяц работы, если, скажем, с шанцевым инструментом да вспомогательными средствами... А дети... Да мы бы к себе таких детей взяли, если бы взаправду они такие чудеса творить умели».

— Они у меня еще те чудотворцы! — сказал хмуро директор. — Но я этого кудесника-творца разыщу!

Братья стояли тут же, среди других воспитанников. Каждый из них знал, о чем думает другой.

Оба Кузьмёныша думали, что концы-то, если начнут допытываться, приведут неминуемо к ним. Не они ли шлялись тут все время, не они ли отсутствовали, когда другие торчали в спальне у печки?

Глаз кругом много! Один недоглядел и второй, а третий увидел.

И потом, в подкопе в тот вечер оставили они свой светильник и, главное, школьную сумочку Сашки, в которой землю таскали в лес.

Дохленькая сумочка, но ведь как ее найдут, так и капут братьям! Все равно удирать придется. Не лучше ли самим, да спокойненько, на неведомый Кавказ отчалить? Тем паче — и два места освободилось.

Конечно, Кузьмёнышам не было известно, что где-то в областных организациях в светлую минуту возникла эта идея о разгрузке подмосковных детдомов, коих было к весне сорок четвертого года по области сотни. Это не считая беспризорных, которые жили где придется и как придется.

А тут одним махом с освобождением зажиточных земель Кавказа от врага выходило решить все вопросы: лишние рты спровадить, с преступностью расправиться да и вроде благое дело для ребятишек сделать.

И для Кавказа, само собой.

Ребятам так и сказали: хотите, мол, нажраться, поезжайте. Там все есть. И хлеб там есть. И картошка. И даже фрукты, о существовании которых наши шакалы и не подозревают.

Сашка тогда сказал брату: «Хочу фруктов... Вот тех, о которых этот... Который приезжал, говорил».

На что Колька отвечал, что фрукт — это и есть картошка, и он точно знает. А еще фрукт — это директор. Сво-

ими ушами Колька слышал, как один из саперов, уходя, произнес негромко, указывая на директора: «Тоже фрукт... От войны за детишками спасается!»

— Картошки наедемся! — сказал Сашка.

А Колька тут же ответил, что, когда шакалов привезут в такой богатый край, где все есть, он сразу бедным станет. Вон, читал в книжке, что саранча куда меньше размером детдомовца, а когда кучей прет, после нее голое место остается. А живот у нее не как у нашего брата, она небось все подряд жрать не станет. Ей те самые непонятные фрукты подавай. А мы так и ботву, и листики, и цветочки сожрем...

Но ехать Колька все-таки согласился.

Два месяца тянули, пока отправили.

В день отъезда привели их к хлеборезке, не дальше порога, конечно. Выдали по пайке хлеба. Но наперед не дали. Жирные будете, мол, к хлебу едете, да хлеба им давать!

Братья выходили из дверей и на яму под стеной, ту, что осталась от обвала, старались не смотреть.

Хоть притягивала их эта яма.

Делая вид, что не знают ничего, мысленно простились они и с сумочкой, и со светильником, и со всем своим родным подкопом, в котором столько было ими прожито при коптилке длинных вечеров среди зимы.

С паечками в карманах, прижимая их рукой, прошли братья к директору, так им велели.

Директор сидел на ступеньках своего дома. Был он в галифе, но без майки и босиком. Собак, на счастье, рядом не было.

Не поднимаясь, он поглядел на братьев и на воспитательницу и только сейчас, наверное, вспомнил, по какому они тут случаю.

Покряхтывая, привстал, поманил корявым пальцем.

Воспитательница сзади подтолкнула, и Кузьмёныши сделали несколько неуверенных шагов вперед.

Хоть директор не рукоприкладствовал, его боялись. Кричал он громко. Ухватит кого-нибудь из воспитанников за ворот и во весь голос: «Без завтрака, без обеда, без ужина!..»

Хорошо, если один оборот сделает. А если два или три?

Сейчас директор вроде бы был настроен благодушно.

Не зная, как зовут братьев, да он никого в детдоме не знал, он ткнул пальцем в Кольку, приказал снять кургу-

зый, весь залатанный пиджачок. Сашке он велел скинуть телогрейку. Эту телогрейку он отдал Кольке, а пиджачок его брату.

Отошел, посмотрел, будто сделал для них доброе дело. Остался своей работой доволен.

— Так-то лучше... — И добавил: — Ну, тово... Не бузите, не воруйте! Под вагон не лазьте, а то раздавит... А?

Воспитательница толкнула под локоть ребят, они разноголосно пропели: «Не будем, Вик Вик-трыч!»

— Ну, идите! Идите!

Разрешил, словом.

Когда отошли настолько, чтоб директор не мог видеть, братья снова поменялись одеждой.

Там, в карманах, лежали их драгоценные пайки.

Может, директору, который без понятия, они и показались бы одинаковыми! Ан нет! У нетерпеливого Сашки край корочки был отгрызен, а запасливый Колька только лизнул, есть он еще не начинал.

Хорошо, хоть штанами ни с кем из чужих не поменял. В манжетине Колькиных штанов лежала в полосочку свернутая тридцатка.

Деньги в войну невеликие, но для Кузьмёнышей они стоили многого.

Это была единственная их ценность, подпорка в неизвестном будущем.

Четыре руки. Четыре ноги. Две головы. И тридцатка.

3

Анна Михайловна, как ей было велено, довезла братьев на электричке до Казанского вокзала и сдала с рук на руки вместе с бумагами какому-то начальнику, лысоватому и в помятом костюме.

Звали его Петр Анисимович.

Он мельком оглядел братьев, отметил в списке, положив этот список в портфель, который не выпускал из рук, и пробормотал насчет одежды: мол, в Томилине могли бы, как предписано, выдать одежду и получше.

— Это ведь непонятно, что происходит, — вздохнул он.

А Кузьмёныши только сейчас сообразили, отчего томилинский директор обменял так странно их ватником да курткой, наверное, он прикрывал свою совесть от упреков. Если она была...

Размахивая портфелем, Петр Анисимович повел братьев вдоль состава к передним вагонам.

К нему подбегали какие-то люди с мешками, с вещами, жаловались, что не могут уехать на родину, просили помочь, пристроить хоть как-нибудь...

Петр Анисимович всем отвечал одинаково: «Нет, нет. Не могу».

А один раз вспылил, закричал:

— Да что у меня, богадельня, что ли! Это ведь непонятно, что происходит! У меня полтыщи беспризорных, я не знаю, куда их посадить! — При этом он указал почему-то на Кузьмёнышей.

Слово «посадить» им не очень понравилось, но они промолчали.

Повсюду, где они проходили, высовывались уже из окошек головы.

Вновь прибывающим кричали, свистели, улюлюкали, особенно когда узнавали кого-то из знакомых по рынкам, по станциям, где вместе ошивались, по кутузкам, где отсиживали...

Кузьмёнышей уже углядели, узнали, понеслось громко вслед:

— Томилинская вошь, куда ползешь? Под кровать — дерьмо клевать!

Братья заняли полки, самые верхние, третьи, и, не медля, бросились к окну, всовывая свои головы между чужими.

Увидели, что подводят люберецких, с которыми не только встречались, но и враждовали, и даже дрались, и вслед за остальными загикали, засвиристели кто во что горазд.

— Люберецкая вошь — куд-да-да пол-зешь, под кровать...

Так встречали потом люблинских, можайских (эти головорезы!), серпуховских, подольских, волоколамских, мытищинских (эти все из детприемника, такие паиньки, такие тихарики, но обкрадут, и не заметишь!), ногинских, раменских, коломенских, каширских, орехово-зюевских...

Но хуже всех — московских.

Последние были как бы привилегированными, их и кормили лучше, и одеты они были не в такое тряпье, как областные.

Московским завопил весь эшелон так, что не стало слышно звонков трамваев на Каланчевке.

Заревели, завыли, заблеяли, замычали.

Орали до самой темноты, встречая новые и новые партии своих собратьев.

— Мытищенские — через забор дрищенские!

- Ей, Можай, дальше поезжай!
- Кашира — протухла, не жила!
- Орехово-Зуево — раздето-разуево!
- Коломна всегда голодна!

Нас побить, побить хотели
Загорские ежики,
А мы сами не стерпели —
Наточили ножики!

Хором орали частушку, но зла в словах не было. Орали скорее по привычке.

Поезд, как ковчег, собирал из детдомов каждой твари по паре, и жить им теперь предстояло, как после великого потопа, на одной кавказской земле.

А ведь было, когда загорские подкараулили дмитровских, которые к монастырю пришли попрошайничать, и свирепо их избили. Изметелили так, что те долго не показывались, зализывали раны. А потом изловили кого-то из загорских, заехавших в Дмитров к родне, и месяц продержали в холодной брошенной церкви, сыром склепе. Те не остались в долгу, выловили дмитровского в электричке и к кресту на кладбище на ночь привязали: орал как резаный! Но кто ночью придет на кладбище, да на такой крик?.. Наоборот, прохожие бежали подальше.

Бывали штуки и похлеще между колониями и детдомами подмосковных городов, и стычки ножевые, и засады, и осады самих детдомов...

А теперь вот всех, всех совместно жизнь-злодейка свела. Будто несовместимые химические реактивы в одной колбе — поезде. Такая бурная реакция произошла, что, казалось, эшелон раньше срока разлетится вдребезги!

Слава богу, что у него не один, много вагонов!

Смешивалось не сразу, а полегоньку, так бы ни одно железо не выдержало. Потасовки кой-где произошли, и кто-то, правда, дорогой сбежал в другой вагон, а то и на другой поезд... не без этого.

К ночи состав стал затихать. Его набили доверху, как коробочку. Каждому из прибывших надо было не только чужих освистать, но и о себе подумать: найти полку, оттереть, отпихнуть соседа, воткнуться так, чтобы можно было сидеть, а лучше того — лежать.

Как и сделали наши Кузьмёныши.

Внизу, под их полками, тоже шла обычная свара. Кто-то кого-то не пускал, отталкивал, спихивал, изгонял... Поднимался крик; вмешивались взрослые.

Постепенно улеглись.

Разместили на одну нижнюю полку по двое, вальгом, заполнили на ночь и место на полу в коридоре. И Кузьмёныши, заняв третьи полки, не прогадали. Сюда никто не лез, высоко. И лезть высоко, и падать, если залезешь.

А если кто совался к братьям снизу, посмотреть, их ногами в любопытные рожи отбрыкивали. Нечего, мол, зыркать туда, куда не просят! Ничего вы тут своего не оставляли!

Возлежали, как бояре, каждый отдельно на третьей полке, и с высоты своего положения, будто в кино, наблюдали, что происходит внизу.

Разговорчики, смешки, анекдотики... Кто-то песенку запел: «На Кавказских на горах жил задрипанный монах, он там золото искал, никого не подпускал, вот он золото нашел, продавать его пошел...»

Чем там дело у монаха с золотом да Кавказом кончилось, осталось неизвестным: вагон дернуло!

Все затихли. Слушали. Верили и не верили, неужто тронулись, поехали?

А тут, помедлив, дернул вагон еще раз, посильней, клацнул, железом заскрежетал и правда поехал! Это стало ясно по легкому поскрипыванию, по редким пока толчкам да перестукам.

Никто не бросился к окну наблюдать, как она, столица мира, начнет уплывать редкими огнями, демаскированная уже, в прошлое, назад, в темноту.

Да плевать всем было! И нашим героям было наплевать на Москву, которая, это знали по собственной шкуре, слезам не верит!

Внизу лишь пискнули, как бы понимая, что на прощание положено ту, которой не поверят, слезу пустить.

Кто-то из девчонок пропищал: жалко, мол...

— Чего жалко-то?

— Уезжать жалко.

А чего жалеть?.. Они и сами не понимают: жалко, и все тут. Вдруг не вернемся! Куда же мы не вернемся? В Москву, что ли? Хорошо будет, так, ясно, не вернемся, на хрена она нам, белокаменная, сдалась! Дома каменные — люди железные...

Господи! Да пропади пропадом, задарма, этот неудобный, немытый, проклятый, выхолощенный войной край! Где все живут одним военным днем: купить да продать... А те, что стоят у станков да куют в выстудившихся цехах победу над врагом, они-то не только беспризорных не ви-

дят, а своих родных детишек запустили до уровня одичания: по двенадцать часов длится смена, так что спят тут же, в цехах...

Что же касается Кузьмёнышей, то нет у них на всем белом свете ни одной, ни единой кровинки близкой... Ни здесь и нигде вообще!

Друг у друга они есть — вот это будет верно.

Значит, куда бы их ни везли, дом их, их родня и их крыша — это они сами.

Обветшали, обзаплатились, ободрались, обовшивели в Подмоскovie, теперь сами будто от себя с радостью бежим. Летим в неизвестность, как семена по пустыне.

По военной по пустыне, надо сказать.

Где-то, где-нибудь в щелочке, трещинке, ямке случайной, застрянем... А прольется ласка да внимание живой водой, прорастем.

Чахлой веточкой прорастем, былинкой, крошечной бесцветной ниточкой картофельной, да ведь и спросу-то нет. Может и не прорасти, а навсегда кануть в неизвестность. И тоже никто не спросит.

Нет, значит, не было. Значит, не надо.

Это не только о Кузьмёнышах, о каждом из тех, кто ехал в сорок четвертом году через войну, через разрушенную, еще не успевшую ожить после фашистов землю на нашем удивительном, бесшабашно, безумно веселом поезде!

Некоторых я помнил по странной исключительности детской памяти не только в лицо, но и по фамилии и имени и попытался через десяток лет отыскать.

Открыточки такие желтенькие с запросом на адресные столы сотню, не меньше, разослал: и ни одна не принесла адреса. Ни одного письмеца, ни от одного нашего...

И вот уже печатаюсь двадцать пять лет; а фамилии те, не скрывая, намеренно выношу в своих рассказах, в повестях, документальных очерках, и снова — ни словечка в ответ.

Страшная мысль: неужто один я выжил изо всех? Неужто так и сгнули, затерялись? Не проросли?

Эта повесть, наверное, последний мой крик в пустоту: откликнитесь же! Нас же полтыщи в том составе было! Ну хоть еще кто-то, хоть один, может, услышит из выживших, потому что многие потом, это и на моих глазах частью было, начали пропадать, гибнуть на той, на новой, земле, куда нас привезли...

Сверху стало видно, а еще более слышно, как самые запасливые полезли в карманы, в торбочки, в мешочки, загашнички и извлекли оттуда съестное.

У кого морковинка, свеклочка, огурчик соленый, голова воблятья или картофелинка в печеном виде. У одного даже — каша, крутой комочек, завернутый в тряпицу... А еще — роскошь — серенький тошнотик. Из мороженных очистков их делали да отбросов.

Тошнотики, тошнотики, военные блины,
Раз поешь тошнотики: полные штаны!

И вдруг... Кишки от этого «вдруг» зашипало! Запах ошалелый пошел, по полкам, по вагону, по поезду... И по тем самым кишкам — будто ножовкой! Колбасное мясо открыли в продолговато-овальной американской баночке с золотым отсветом!

Суки-москвичи, забрались в дома-кирпичи, жрут калачи!

Это про них, про этих вот, которые едут с тушенкой, — обнищавшее Подмосковье в голос!

Несправедливо про всех, конечно. Да ведь со стороны, из-за лесов, казалось, что тут, в столице, у товарища Сталина бод боком, который с Мамлакат на коленях в книжке нарисован, не успели пузатые, похожие на ихнего директора все разокрасть! Иначе откуда бы, подскажите, шепните на ушко, баночка-то колбасная, золотистое солнышко, посверкивающее внизу?

О такой колбасе наши Кузьмёныши только по рассказам и знали! Да вот еще по запаху: дважды в жизни Сашка унюхивал этот незабвенный, ни с чем не спутываемый, секущий финкой под ребро запах и по ощущению пересказывал Кольке...

Как в байке про куриную лапку... Мол, вкусна куриная-то лапка, а ты ее едал, да нет, не едал, а только видал, как наш барин едал.

Теперь оба, как в темный колодец, где поблескивало звездочкой, смотрели вниз. Да не одни братья, все небось смотрели! И слушали, и принюхивались, когда еще доведется в жизни такое почувствовать! И понюхать!

А потом, как по команде, оба брата отвернулись и поглядели друг на друга. Оба знали, кто из них о чем думает.

Сашка подумал: рот бы себе чем заткнуть, чтобы не закричать, не зареветь от голода на весь вагон! Не про банку, хрен с ней, с этой недосыгаемой мечтой-банкой! А про директора-суку из Томилина, которому велели, пись-

менно, это уже по чужим разговорам стало ясно, дать им хлебный и прочий паек на пять суток! О чем он, падла, сидя тогда на ступеньках и почесывая прыщавые подмышки, думал, где его плюгавенькая совесть была: ведь знал, знал же он, что посылает двух детей в голодную многосуточную дорогу! И не шевельнулась та совесть, не дрогнула в задубевшей душонке ни одна клеточка!

Примите же это невысказанное от моих Кузьмёнышей и от меня лично, запоздалое из далеких восьмидесятых годов непростительное вам, жирные крысы тыловые, которыми был наводнен наш дом-корабль с детишками, подобранными в океане войны...

Владимир Николаевич Башмаков — так звали одного из них.

Он был директор Таловского интерната, и владел нашими судьбами, и морил нас голодом...

Ау, где ты, наполеончик, с коротенькими ручками и властным характером, обожавший накрутить очередному воспитаннику несколько смертельных суток.

— Без обеда, без ужина, без завтрака, без обеда, без ужина...

И душа сжималась от ноющего предчувствия, слыша приговор: сколько раз обернет он этот список голодным поясом вокруг тебя!

Оба Кузьмёныша вынули по кусочку выданного им хлеба. Крошечные сейчас уже совсем, от которых еще дорогой отщипывали и дощипались: словно мышинная говяшечка на ладони.

Колька понюхал, языком лизнул, предложил:

— Хочешь?

— А ты?

— Да я с утра обожраюсь, — сказал Колька. А сам подумал: если Сашка два кусочка съест, то ему сытнее будет. А на ночь так больше и не надо есть, а то вся сытость во сне пройдет как бы без пользы.

Сунул Колька свой кусочек Сашке, а сам отвернулся. Запах колбасы сживал со свету, разворачивал разрывной пулей все нутро.

Хоть бы не скребли, гады, ложкой-то по жести, от этого звука судорога начиналась в животе, будто это тебя, тебя, как банку, ложкой выскребают.

Взвять захотелось Кольке! Грызть деревянную полку, на которой лежал! Уткнулся он лицом в сухие доски, голову руками зажал, чувствовал, что еще немного, и плохо ему будет. Закричит, заревет зверем на весь вагон, так его

скрутило от чужого праздника. Да и Сашке, видать, не легче. Он кусочек Кольке назад вернул. Глядя загнанно в потолок, произнес ненавидящим шепотом:

— Только б до завтра дожить... Завтра, как встанет поезд...

Колька подхватил, как выдохнул:

— На ры-нок! Эх!

Рынок для обоих означало, что смогут они худо-бедно, но пережить эту дорогу.

Москвичам, что попались в попутчики, отвалили пай на несколько суток. Да, видать, еще и родня подбросила съестного. А у Кузьмёнышей лучшая родня — это рыночные тетки, которые свой товар плохо сторожат.

— Я тут одну штуковину придумал, как это завтра обтяпать,— сказал Сашка и почесал в голове. Там, в глубине, в неведомых потемках, рождались у Сашки самые замечательные идеи.

— Сделаем,— зло произнес Колька. Как отрубил. И было обоим понятно: он сделает все, что придумал Сашка. Разговором сыт не будешь, если хлеба не добудешь!

4

Поезд дернулся и встал.

— Это чево? Это Воронеж?

— Хрен догонишь! — отвечал другой голос снизу.

Братья, как по команде, проснулись, уставились в окно. На сереньком фасаде масляной краской коричневой было выведено: «ВОРОНЕЖ».

Слышали Кузьмёныши, на пути такой город будет.

Но не город их интересовал — рынок у вокзала.

Оба покатались с полкок на головы пацанвы, что толкалась внизу и глазела в окно. Братья протиснулись в тамбур и наткнулись на усатого коротконового проводника в грязно-синей военной форме железнодорожника. За голенищем сапога два флажка торчат. Уже волочет что-то в мешке, усы от напряжения вспотели, глаза выкатились.

— Дя-нька, стоять долго будем?

Проводник оттеснил их грудью в конец тамбура, бросил мешок с глухим стуком. Повернулся, расправляя плечи. Посмотрел.

— Вам-то чево надо?

— Рынок,— сказал Колька. С надеждой спросил, не зря же мужик мешок приволок. С картошкой мешок, по

виду определил. Надо, кстати, этот мешок не упускать из виду.

— Ха! Рынок-то за вокзалом,— пробормотал проводник и рукой махнул в сторону выхода.— Да гляди не опоздай! Поезд стоять долго не будет! Как один гудок даст, так и чеши.. А второй — уже тово... поедем.

Кузьмёныши переглянулись.

Оба подумали: хорошо, что не будет поезд долго стоять. Им и не надо, чтобы он долго стоял. Чем быстрее пойдет, тем лучше. Для них лучше. А уж они все наперед продумали и про себя, и про свой поезд.

За длинной стеной, кончавшейся полуразрушенным зданием вокзала — небось бои тут жестокие шли,— открывалась площадь, полная народу. Перескакивая через битый кирпич, через траншеи с водой, братья, подобно десяткам других пацанов, вскачь ринулись к рынку.

Вонзились в него с разбегу, как вонзается кинжал в свою жертву.

При входе, как всегда, семечки в мешках да веники вязанные. А дальше вглубь овощи пошли: картошка, свекла, репа, огурцы... Овощей-то, пожалуй, побольше, чем в Подмоскovie, и молока побольше, его прямо в стаканах с румяной пеночкой выставили. Варенцом прозывают. Кричат протяжно: «Ва-ре-нец! Кому-у ва-ре-нец!» Тетка им вслед кричит. А кричит потому, что у Кольки из кармана красная тридцатка выглядывает. А там за тридцаткой и еще какие-то бумажки синеют... Без тридцатки тетка бы и не заметила их, да и, уж точно, милком не назвала. Мало ли шантрапы ходит!

В том-то и была Сашкина затея, чтобы на весь рынок торчала из кармана драгоценная тридцатка, а рядом напихали обрезков из пачки папирос «Беломор-канал»...

Поди разгляди с ходу-то, пачка и пачка, и видно по тридцатке, что деньги торчат.

Конечно, братья рисковали. Натуральную-то тридцатку напоказ выставлять опасно, свой брат жулик мог бы легко поживиться! Но и это было учтено. Колька барином идет, тридцатку демонстрирует, а Сашка сзади караулит, глаз с нее не спускает, оттирает, если кто прицеливаться да приближаться станет.

Кругом гомонила толпа. Семечки лузгали. Вся земля в лузге.

Рядом завизжали: кого-то поймали, значит, бьют.

Эта картина братьям не внове, сами попадались и тоже орали как резаные, смотришь — кто-нибудь да вступится.

А молчком терпеть, так и голову оторвут за личную за собственность и не пожалеют.

Может, кто из своих, из эшелона орал, но братья скорей в другую сторону свернули. Слишком тут бдительные сидят!

Шагов с полсотни сделали и уперлись: вот оно! Вот где оно лежит, что искали!

На плоском дощатом прилавке, не в центре его, откуда не выскочишь, а с краю, на тряпочке выставлен ржаной домашней выпечки хлеб, аккуратно порезанный на равные округлые ломти. А рядом и вовсе чудное, белое, длинное: Колька увидел, будто споткнулся на ходу. Уставился завороженно.

Сашка его легонечко в бок шуркнул:

— Чево как баран на новые ворота-то... Батон это! Белая такая булка, в кино показывали...

Прошептал, а у самого в горле как кусок глины завяз, ни проглотить, ни выплюнуть. А все этот чертов батон, который перед глазами у них маячил.

Видел Сашка в одном довоенном кино: будто прямо на улице булочная стоит, а кто-то заходит и покупает вот такое белое... И говорит: батон, мол, купил! Неужели не понарошку продавали? Да без карточек! Да прям целиком!

Огляделись братья, лишь бы не опередили их. Не набросились бы покупатели на это расчудесное добро. Но нет. Никто не хватает, денежки не сует... Раз-другой приценятся да отвалят. Видать, дорог хлебушек-то, лежит нетронутый, ждет богатых хозяев, сияет на весь белый свет золотой корочкой, что по гребешку неровным шовчиком идет.

А запах от него! За сто метров слышали бы братья этот запах, может, оттого и вышли сюда, что голодный желудок, как пчелку на сладкое, на хлебный дух их привел?

Помолились братья про себя. Так попросили: «Господи! Не отдай никому, побереги, пока наш срок не подойдет! Отведи в сторону, господи, тех, у кого мошна большая, кто мог бы до нас это белое чудо-юдо схавать... Ты же видишь, господи, что нам дальше нужно ехать, а если мы сейчас упустим... Да и жрать охота, господи! Ты хлебами тысячи накормил (старухи сказывали), так чуть-чуть для двоих добавь!»

Может, и не те слова были, но за смысл ручаюсь, а за искренность тех молитв тем более.

Теперь братья поделили работу свою так: один лицом

к поезду оборотился, другой к батону и хлебу, а там еще рядом мед в сотах кусками лежит...

Вот они где нужны, четыре глаза-то! И все Сашкина шалая голова на голодное брюхо придумала! Спиной к спине, и тридцатку не свистнут, и все вокруг видно, а сигнал дать — лишь локотком двинуть.

Сашка услышал: прогудел паровоз. Сипленько, тягуче, словно позвал к себе: «У-у-й-е-д-у-у!»

Он-то и есть сигнал к действию. Как труба архангела, зовущая наших героев начать свое правое дело.

Теперь вперед! Только вперед! К батону — чуду-юду, к ржаным округлым ломтям, к меду в кусках, возле которого роятся нахальные осы... Но прежде к золотому родимому хлебушку! Скорей, Колька! Скорей!

Двинул Сашка брата острым локтем под ребро. «Шуруй», — прошептал.

А Колька чуть выше, поприметнее бумажки с тридцаткой высунул и прямиком к прилавку. Знает: минута или две у них в запасе, не более. Придвинулся к прилавку вплотную, покрутился так, чтобы денежки его стали заметны, спросил:

— А тут чево? — Именно тем проходным тоном, когда ясно, что ничего тут стоящего для него нет. Так, ерундовина всякая.

Молодая деваха, голубые стеклянные глаза навывкате, как пуговицы, в небо уставились. В ширину больше, чем в высоту, выросла. Сашка бы сейчас нашелся что сказать: «Ширше прилавка свово». Ишь расперло, на каких таких харчах, как не на рыночных, ее откормили до такого свинства?

Рядом мужичишка, чахлый в сравнении с ней, задавила, небось мяса в ней пудов сто будет.

Все это пронеслось в Колькиной голове как легкий сквознячок, в то время как он нехотя, с недовольной миной хлеб оглядывал.

— Носят тут всякое... — процедил и посмотрел вдаль, сейчас дальше пойдет. — Тут ничего стоящего не видать.

Девка семечки лузгает, равнодушно отплевывает в сторону. Работает, строчит, как пулемет все равно. Но и ее задело.

— Всякое? — спросила, даже лузга повисла на нижней губе. — Это тебе всякое? — Сунула под нос Кольке батон.

Колька вроде уж уходить хотел, но задержался, взял батон в руку, и от пружинистой корочки, от дурманящего запаха вдруг подступила к горлу тошнота.

— Из отрубей, что ли? — спросил и поморщился. Не любит, сразу видно, когда суют ему всякую всячину из отрубей.

— Сам из отрубей! — вспыхнула деваха. — Батон пшанишный! Глядеть надо лучше!

А Колька и правда глаза закрыл, вот-вот его вывернет наизнанку. Как начнет он блевать вот тут на глазах у этой сдобной девки, так кранты всем их планам. Вот ведь загвоздка! Все продумали, каждое движение загодя предусмотрели, а тошноту от голода, спазмы в кишках забыли, не учли.

Мотнул Колька головой, вдохнул побольше воздуха и еще вдохнул. А напоказ — ручкой ко рту, будто зевок сделал. Натурально даже вышло, позевывает малый, скучно ему тут стоять, смотреть на какой-то чахлый батон, который якобы не из отрубей.

— Ну и почему? — спросил, небрежно отодвигая тот батон в сторону девахи. Но не настолько далеко отодвигал, чтобы не забрать снова.

— Сто пятьдесят.

— А меньше?

— Чево меньше? Ты посмотри! Чистая пшаница!

— Сто, — буркает Колька, махнув рукой. Видел, мол, я твою чистую пшеницу. Грош ей цена в базарный день.

— Сто сорок, — говорит деваха. И опять строчит свои семечки.

— Сто двадцать, — бросает Колька и собирается уходить. Уже шаг в сторону сделал, на деваху, на ее батон он и не глядит. Неинтересно.

— Сто тридцать, — кричит вдогонку деваха. Веер семечек изо рта.

— Ладно, — нисходит Колька, возвращаясь и хлопая по карману так, чтобы снова стали видны его деньги. — В ущерб себе, учти!

Взял батон, стал засовывать в тот же карман с деньгами. А чтобы не дать пухлой купчихе опомниться, сразу на хлеб пальцем:

— А это — почему?

— Кусок — тридцатка! И мед — тридцатка! — Деваха заработала губами, лузга полетела во все стороны.

— Беру! Хоть обдираешь ты меня, как липку! — лихо произносит Колька, вдруг развеселившись, и сразу два ломтя сует в тот же карман, где уже лежит батон. И, не дав девахе прийти в себя, тут же еще два куска меда сует за пазуху. — Эх, где наша не пропадала... Все беру! Все!

Деваха будто смекнула что-то, семечки отставила, глаза-пуговицы уставила на Кольку.

— Плати! Ты чё, лапаешь да лапаешь! Плати, говорю!

А мужичишка при ней, дремавший до сих пор, вздрогнул от крика жены, озирается. На его глазах продукт национализируют, а ему бы только ворон ловить.

Вот он второй, критический момент! Когда все взято и надо красиво смыться. Как сказали бы в сводке информбюро: окружение вражеской группировки под Сталинградом завершено. Пора наносить последний удар.

Для этого и стоит Сашка в засаде. Как отряд Дмитрия Боброка на Куликовом поле против Мамай. В школе проходили. Мамай, ясное дело, толстозадая пшеничная деваха...

Монголы-татары стали теснить русских: деваха крикнула вторично:

— Плати! — И ухватила Кольку за рукав. — Плати давай!

В это время и приказал волынский воевода Дмитрий Боброк выступить засадному полку и нанести по фашистам решающий танковый удар.

Как черт из-под печи вынырнул рядом Сашка.

— Скорей! Скорей! — закричал, чтобы сильнее оглушить торговку. — Поезд уходит!

Колька головой вертанул, и деваха невольно вслед за ним посмотрела: поезд, их поезд, медленно трогался в путь.

Поскрипывали, будто разминаясь, колеса. Гомонилась пацанва у дверей, запихиваясь вовнутрь.

— Бегом! — еще громче, внося панику, грохнул Сашка. — Потом... Потом отдадим!

Деваха сразу пришла в себя. В Колькин рукав вцепилась намертво.

— Когда потом? Сейчас плати! — И взвизгнула: — Де-н-ги!

— Отдай деньги-то! — закричал Сашка. — А то — останемся!

— Да они же под батоном!

— Давай сюда батон!

Схватил Сашка батон, а там еще и хлеб мешает. Начал Колька под хлебом искать, дернул руку, мол, руку-то отпусти, как же я достану.

Отпустила деваха руку, Колька и рванул. А Сашка с батоном давно летел к поезду.

Так это все выглядело: впереди Сашка с батоном, потом Колька, а по его пятам пшеничная деваха и ее муж.



Деваха раскалилась до того, что Колька ее тепло спиной слышал.

Но не до смеху ему было, хоть деваха ширше своего роста, а шпарит так, что не отстаёт, и страшно ему. Догонят, убьют. Эти уж точно не пожалеют. Тут и другие торговцы подхватили, для них гон воришки — развлечение. А бить, так и вовсе душу отвести...

Крик на весь базар:

— Держ-и-и! Укра-а-а-ал!

Весь эшелон в окна выставился. Тоже зрелище, как в театре.

Подмосковные ребята
Жулики-грабители:
Ехал дедушка с навозом
И того — обидел-ли!

Из всех пятнадцати вагонов, из ста окошек, пятьсот насмешливых рож, пятьсот ядовитых глоток. Крик, хохот, рев, визг, подначки. Кто во что горазд.

— Эй, Воронеж, хрен догонишь!

— А догонишь, хрен возьмешь!

— Эй, мужа, гляди, потеряла!

— Не баба, паровоз! Выпусти пар, а то взорвешься!

— Может, ее к поезду — вагоны толкать?

— Буфера велики!

Кто-то модную песенку заорал, ее подхватили: «Поезд едет из Тамбова прямо на Москву, я лежу на верхней полке и как будто сплю... Пари-ра-ра! Держи вора!»

Из окон посыпались огрызки, бутылки, банки, они-то и притормозили вражеское продвижение фашистско-мамаевых орд. Как всегда в истории, исход сражения в конечном итоге решал народ.

Сашка первым подбежал к своему вагону, ухватился за поручень, оглянулся.

Колька поскользнулся, выронил кусок хлеба, который держал в руке. Нагнулся подобрать, второй уронил.

А деваха, грозя в окна кулаком, уже топчет рядом с Колькой. Вот-вот ухватит. А сзади мужичишко. А какой-то парень из добровольцев потеху себе устроил. А там еще, еще бегут...

— Брось! — закричал Сашка изо всех сил. Отчаянно, на весь Воронеж. — Брось! Брось! Брось!

Колька растерялся, но уже дыхание над собой услышал! Не дыхание, а шипенье будто, скрежет и лязг: не меньше как танк на него наезжает!

Чуть не на четвереньках, на руках и ногах запрыгал,

за лесенку руками схватился, а уж деваха его за ноги тянет.

Сашка и проводник вцепились в Колькины подмышки, рвут к себе, а деваха к себе, растягивают, как гармошку. Орет, голосит, визг пороссячий! И парень рядом...

Рванули бедного Кольку, так рванули, что осталась у девахи в горсти Колькина штанина.

А парня, что подоспел и руки протянул, проводник флажками по морде да сапогом добавил:

— Не лезть! — закричал. — Шелгунщиков не пушаем! Ха! Спекулянты несчастные! Ме-шоч-ники!

И снова полетели в них из окон банки-склянки, а кто-то попытался мочиться на ходу...

Под улюлюканье, под насмешки поезд набирал скорость. «Па-ри-ра-ра! Де-р-жи во-ра-а!»

5

Батон кормил Кузьмёнышей долго.

Нутро они выгрызли, до крошки, до пылинки вылизали и съели. А вот форма...

Жесткая корка стала им сосудом, ее берегли. Волшебным сосудом, если посудить. От нее по Сашкиной идее пользу можно было взять двойную, тройную, пятерную!

На станциях, на крошечных полустанках со своим пустотелым батонем и неизменной тридцаткой, которая торчала у Кольки из кармана, они подскакивали к рыночным теткам и просили налить в батон сметанки, или ряженки, или варенца.

Потом между братьями разыгрывалась маленькая шумная сценка: один из них начинал кричать, что это дорого, а поезд отходит...

Молочное выливали, а то, что впиталось в батон, выскребали ложками. Ложки брали у москвичей.

Но и батон оказался не вечен, как все не вечно в нашем мире.

Корочка постепенно истончилась, подмокла, и на какой-то несчитанный день после Воронежа кормящий сосуд распался на мелкие кусочки. Их, не без сожаления, тут же съели.

Кончился и мед. Во время Колькиного бега он растекся за пазухой, пропитав рубаху и Колькин живот. С рубахой, с той было просто: ее обсосали, обжевали в несколько приемов, вылизали до дыр.

А вот свой живот Колька трогать не дал. «Эдак и без рубахи и без живота останешься» — так сказал.

Ходил по вагону, а вокруг него вились осы. На первых порах нижняя пацанва так их и различала: Колька — это тот, который сладкий, а Сашка — по контрасту, значит, горький.

Клички бы сохранились, но сами Кузьмёныши, любившие морочить окружающих и выдавать себя друг за друга, быстро всех запутали, особенно когда медовый запах пропал. Это был выработанный годами способ самозащиты.

Снизу кричали:

— Эй, сладкий! Хватай батон, станция сейчас будет!

А Колька отвечал:

— Это вы ему скажите! Он — Колька! — И указывал на Сашку.

Они и местами менялись, и одежду друг друга надевали. Смысла в этом и видимой пользы не было будто бы никакой.

Окружающим без разницы, кто из них что носит и кто где спит. Но братья-то знали, очень даже знали, что это пока все равно. А случись неприятность, криминальная история, так важно сбить с толку окружающих, тем самым запутать след...

Как прежде они поступали...

Но братья смотрели сейчас не назад, вперед!

А скоро другие запахи стали реять по вагону, подавив все остальные: и меда, и пота, и мочи. Поезд въехал в так называемую по-школьному «зону черноземья».

Удивить видавшего виды беспризорника нелегко. Но вдруг открылось, это было для глаз непривычно: земля тут и в самом деле черна.

Без деревьев почти, без лесов и березок там разных, лежит бугром до горизонта, а цвет ну такой черный, как черны ногти у каждого уважающего себя шакала из детдома.

Грачей, что садились на эту землю, нельзя было различить! Паровоз и тот затерялся!

Еще удивляло: без присмотра, без сторожей растет на этой черной земле всякий фрукт и овощ. Какой, издали на ходу не разберешь. Вот если бы чуточку потише, если бы притормозило где!

Но поезд, как назло, все мимо, мимо проносил, все чесал, шпарил как угорелый...

И уж молились в вагонах: миленький, ну встань на секундочку... На чуточку, нам бы по морковинке, по све-

колке только... Притормози, призадержись, ну чего тебе, родненький паровозик, стоит!

И вдруг — встали.

Может, их молитву слышали? Может, силой мысли пар остановили — посреди полей?

Замедлил эшелон движение, зашипел и замер.

Машинист, молчаливый старик с короткой шевелюрой, буркнул, обращаясь к кочегару:

— Баста. Будет нашей ораве тут кормежка! На два часа запри пар да подай кипятку, чаи гонять будем!

Весь состав, полтыщи гавриков, кроме разве самых малых да самых несмелых, да еще больных, высыпал из вагонов посмотреть, отчего встали. Но некоторые без промедления ринулись в поле, в придорожные огороды к зеленеющим невдалеке грядкам, и стали рвать.

Сперва это делали самые дерзкие, самые пронырливые. Остальные стояли и смотрели.

И вдруг, что-то сообразив, все бросились вперед. Будто дикая орда понеслась к зеленым посевам и разом собой их накрыла.

Машинист лишь хмыкнул, глядя в окошко на этот разор: в зеленях, как жучки в траве, мельтешила, суетилась, перебегая с места на место, ребятня.

Он долил в жестяную огромную кружку кипятку и, подняв дрожащими руками и пригубив осторожненько, добавил:

— Россея не убудет, если детишки раз в жизни наедятся...

На поле же творилось невообразимое. Каждый шарпал, как мог. Тащили все, что попадалось под руку. Обрывали молодую, еще в молочных зернышках, никогда не виданную кукурузу. Зубами от плетей отгрызали крошечные тыковки, их жевали, не сходя с места, будто яблоки, вместе с кожурой. Остальные с плетями выдергивали и тащили к поезду.

Огурцы, морковь, молодую свеклу совали за пазуху и в рот, отплевывая черную, на вкус пресноватую землю. Крутили головы незрелым подсолнухам в желтом цвете, а если не хватало на это сил, выдергивали с корнем и так, будто дрова в охапке, волокли к вагонам.

Порой попадались овощи такие несуразные! Колька нахватал под рубаху огромных огурцов, а потом выяснилось, что они и не огурцы вовсе, а кабачки, и жрать их была одна мука. Но сожрали, не пропадать же добру!

В такой необычный, скажем, момент произошла встреча Кузьмёнышей с Региной Петровной.

Братья несли свою добычу и ни о чем не помышляли, только бы запихать все на верхнюю полку да успеть сбежать и принести еще.

Надо сказать, работали они руками и зубами одинаково. Оба успевали на ходу откусывать от шляпки подсолнуха сладковатые сочные семечки, пережевывать их и выплевывать в траву.

А женщина стояла у входа в их вагон.

Сашка даже рот открыл от удивления, и оттуда вывалилась белая непрожеванная каша из недоспелых семечек. Да и Колька опупело, сам не свой, уставился на нее. Такая это была неожиданная женщина.

Молода, наверное, молода, темноволоса, густые длинные волосы небрежно откинута назад. Глаза у женщины были черные, посверкивающие изнутри, непонятно какой глубины и обволакивающей теплой ласки; и губы, это были крупные, живые губы, они жили как бы сами по себе и ничем не были замазаны, что понравилось братьям больше всего. Еще была в лице у женщины гордая восточная величавость. Голову свою она держала высоко, как держат только богини и царицы.

Так увидели ее оба брата. И сразу влюбились. Безнадежно, на всю жизнь.

Но этого они друг другу не сказали. Это было единственное, что оказалось у них не просто общим, как все остальное, но и отдельным, принадлежащим каждому из них.

Да и нравилось Кузьмёнышам в женщине разное.

Сашке нравились волосы, нравился ее голос, особенно когда она смеялась. Кольке же больше нравились губы женщины, вся ее колдовская внешность, как у какой-то Шехерезады, которую он видел в книжке восточных сказок.

Но это не сразу. Все это было осознано ими потом.

Сейчас же братья застыли перед ней, будто увидели около вагона не человека, а спустившегося с неба ангела.

С раздутыми пазухами, торчащими на полметра, с руками, занятыми подсолнухами, со ртами, забитыми молодыми, незрелыми семечками, которые они так и не успели дожевать, они увязли перед ней, и вдруг оказалось, что они не знают, как им дальше жить.

Женщина посмотрела на них и громко рассмеялась. Голос у нее оказался низкий, бархатный, от него пошел по коже озноб.

— Вот тебе на! — произнесла, будто пропела контральто, женщина, разглядывая наших братьев. — Откуда же это вы? Такие одинаковые? Два сапога пара! Нет! — воскликнула она и наклонилась, чтобы рассмотреть их поближе. — Нет, вы как два сапога на одну ногу!

И опять замечательно легко и будто даже искристо (красные искры в теплой ночи!) рассмеялась.

И так как братья оробело молчали, и только изо рта у Сашки продолжали сыпаться белые недожеванные семечки, женщина, обращаясь к ним, как к давним, как к добрым своим знакомым, добавила:

— А у меня в вагоне тоже двое мужичков, но только они меньше вас! Гораздо меньше! Им в сумме семь лет. А зовут их Жорес и Марат; очень серьезные, скажу вам, важные они мужички! Меня же вы можете называть Регина Петровна... Вы запомните? Ре-ги-на-пет-ров-на... Ну, а вы кто?

Только теперь Сашка догадался закрыть рот, а Колька, откашлявшись и выплюнув под ноги остатки семечек, сиплым от волнения голосом сказал, что они — Кузьмёныши.

— И все? — спросила весело женщина.

Братья одновременно кивнули.

— Так не бывает! — воскликнула с улыбкой женщина, и губы ее задрожали, наверное, так она смеялась. — Может, мне называть вас Кузьмёныш-первый и Кузьмёныш-второй?

— Нет, — сказал Колька сурово. — Мы — по отдельности — будем Колька и Сашка. А вместе мы Кузьмины, Кузьмёныши, значит.

Женщина покачала головой, будто удивляясь сказанному, и волосы ее темные заволновались и частью упали на висок и на плечо.

— Кто у вас кто? Ху из ху? Как сказали бы англичане... Да нет, если вы скажете, я в другой раз все равно не различу, вы ведь под копирку, понимаете... Под копирку сработаны...

Братья не поняли «копирку», но сознались потом друг другу, что с ними впервые в жизни разговаривали по-инострански. Сашку даже пот пробил, а Колька пустил струйку в штаны.

Но женщина этого не заметила. Она наклонилась к братьям близко-близко, от нее невозможно стало дышать, и стало слышно, как густо пахнет чем-то темным, душистым, никогда раньше не веданным. И волосы ее волнующе вдруг склонились к ним. Снизив голос, она сказала, как говорят только своим:

— Дружочки мои! Мы с вами встретимся, я ведь буду у вас воспитательницей! Да, да! И вы мне всегда будете говорить, кто у вас кто, и не будете меня морочить, ведь правда? Вы ведь морочите других? С вашей похожестью кого хочешь можно заморочить... А?

Братья потупились.

Она была первой женщиной, которая все сразу про них поняла.

— Прощайте, мои милые Кузьмёныши! — сказала женщина и вздохнула. — Я везу из Москвы двух таких важных мужичков, и они долго не могут без меня жить... Мы еще встретимся? Ну, скажем, на следующей станции... Да? Вот и договорились. Счастливо!

Она ушла.

А Кузьмёныши залезли в вагон, выгрузили на верхней полке свое богатство, но почему-то уже не радовались ему.

Они сразу стали ждать, когда поезд отойдет, чтобы скорей прийти на следующую станцию.

Когда же это случилось, после многих томительных минут, женщины под странным именем «Регинапетровна» у вагона не оказалось. Не было ее и на других станциях. Так что братьям могло показаться, что ее не было вовсе. А на другой день на поезд напал понос.

6

Дристали все, весь эшелон, потому что грязные овощи не могли в таком количестве перевариться в истощенных детских желудках.

Усатый проводник лишь тяжело вздыхал, заглядывая в туалет.

Все было загажено, стульчак, и пол вокруг стульчака, и кран с водой, и раковина под краном, и полочка для мыла, и даже стены были забрызганы чуть не до потолка.

Уже добрались и до тамбура, до междвагонного перехода, а кто-то ухитрился наложить в вагонную печку.

На частых теперь остановках ребятня бежала не в поле за добычей, а под насыпь, чтобы облегчиться.

Но уже и сил отбегать не было, садились тут же, у вагона или под вагоном. У некоторых, послабее, хватало только сил забраться под вагон, обратно их выволакивали.

Машинист, весь в саже, в черной засаленной робе, маленький, сморщенный, теперь, прежде чем отправляться, сам пробегал весь состав и, наклоняясь, умолял:

— Ребяточки! Милые! Да как же я поеду, если вы у

меня на колесе сидите-то! Грех-то какой, не дай бог, кого подавлю! Я же фронт обслуживал, на Сталинград по рельсам, положенным на землю, составы с войском возил... По ночам возил! И ни одной аварии, считай! А тут...

Он качал седым ежиком и звал на помощь директора.

Появлялся суетливый Петр Анисимович, он перебежал от вагона к вагону и, прижимая портфель к груди, наклонялся, просил:

— Вылазьте! Ехать надо! Поезд ждет! Этак мы никогда не сдвинемся с места, вы понимаете?

Ребятня не отвечала, не двигалась. Только голые, выстроенные в ряд зады издавали в ответ на слова директора громкие звуки.

Директор выпрямлялся и, глядя на машиниста, произносил, разводя руками:

— Это ведь непонятно, что происходит!

— Да понятно-то понятно,— бормотал машинист.— А что делать будем?

На ближайшей станции, а станция называлась Кубань, встали на трое суток. Временный мост через горную реку, наведенный еще саперами во время наступления, снесло разбушевавшейся стихией, а новый мост еще не пустили.

Состав отвели на запасные пути.

Детей выгрузили, разместили в соседнем товарняке на сене: прежде здесь возили лошадей.

Сашка, из них двоих более нетерпеливый, нажирался вдвойне, напихивая в себя овощей, семечек, зеленых арбузов, баклажан и прочего. Он первый и слег с животом. Каждый час бегал вслед за остальными в тамбур.

Он даже изловчился на вагонном переходе, у лязгающих железок, пристроиться так, что у него все выливалось фонтанчиком через дырку.

Потом и выливаться стало нечему. Зеленое прошло, и желтое прошло, и черное даже. Появилась слизь, а в ней и сгустки крови.

К вечеру вместе с директором пришли двое в белых халатах: мужчина и женщина. Всех осмотрели. И Сашку тоже. Пощупали ему живот, взглянули на язык.

Сашка лежал на подстилке на сене, бледный и молчаливый.

Уж Колька старался его расшевелить, про станцию рассказывал, которая называется станцией, и про то, что в садах растет желтый плод алыча. Прямо на улицу перевешивается, рви да жри до отвала. А у насыпи еще один

плод, тоже бесплатный: терном зовется. И его завались.

А косточек от всяких там фруктов у насыпи валяется столько, что земли не видно. Шантрапа, все шакалы, которые могут ходить, кладут те косточки на рельсу и долбят камнем. По всей станции звон да долбеж стоит!

— Слышно,— попытался сказать Сашка и даже улыбнулся бескровными губами. Как все из него выжало-то. Колька смотрел и удивлялся.

Но об одном, что видел тут, на станции, он промолчал. О странных вагонах на дальнем тупике за водокачкой. На те вагоны он набрел случайно, собирая вдоль насыпи терн, и услышал, как из теплушки, из зарешеченного окошечка наверху, кто-то его позвал. Он поднял голову и увидел глаза, одни сперва глаза: то ли мальчик, то ли девочка. Черные блестящие глаза, а потом рот, язык и губы. Этот рот тянулся наружу и произносил лишь один странный звук: «Хи». Колька удивился и показал ладонь с сизоватыми твердыми ягодами: «Это?» Ведь ясно же было, что его просили. А о чем просить, если, кроме ягод, ничего и не было.

— Хи! Хи! — закричал голос, и вдруг ожило деревянное нутро вагона. В решетку впились детские руки, другие глаза, другие рты, они менялись, будто отталкивали друг друга, и вместе с тем нарастал странный гул голосов, словно забурчало в утробе у слона.

Колька отпрянул, чуть не упал. И тут неведомо откуда объявился вооруженный солдат. Он стукнул кулаком по деревянному борту вагона не сильно, но голоса сразу пропали, и наступила мертвая тишина. И руки пропали. Остались лишь глаза, наполненные страхом. И все они теперь были устремлены на солдата.

А он, задрав голову, показал кулак и привычно произнес: — Не шуметь! Чечмеки! Кому говорят! Чтобы ти-хо!

Он шагнул к еще не опомнившемуся Кольке, ловко развернул лицом к станции, будто знал, откуда он взялся, и подтолкнул в спину.

— Топай, топай отсюда! Тут не цирк, и смотреть тут нечего!

Колька летел до самой станции, зажав в горсти свои дурацкие ягоды. Не будь Сашка в таком тяжелом состоянии, он тут бы выложил ему новость да про чечмека бы спросил... Шпана, скажем, или беспризорщина, или жулье, или блатяги?.. Эти названия ему известны. А тут — новенькое, переварить башкой надо. Но Сашка был плох. Погибал, судя по всему, Сашка.

А белая женщина, та, что в халате, еще таблетки принесла и бурду во флаконе. Колька из жалости к брату половину тех таблеток сам пожрал (вот отравы-то) и бурду выпил. Одному Сашке, он понимал, с такими лечениями не выжить. Он даже градусник подержал за Сашку, но тут его засекли.

Остроглазая белая врачиха разделила братьев и велела Кольке пока пожить в другом вагоне.

Колька сопротивлялся, не уходил, даже пытался на голос взять, но все напрасно. Врачиха оказалась твердокаменной. Чуть не силой, при помощи белого мужчины, вытурила Кольку и велела не показываться возле Сашки. Не то, пригрозила, его вообще увезут.

Колька сообразил, залез под вагон и оттуда через пол попробовал переговариваться с братом. Когда врачей не было, Сашка глуховато отвечал. Приложив ухо к деревяшке, можно было разобрать.

Тогда Колька набросал между рельсов травы да лопухов, и сделал себе лежак, спал под тем местом, где находился Сашка. А чтобы знал, что Колька всегда при нем, он постукивал по дну вагона камешком. Сашка ему отвечал.

Так миновало двое суток.

Их бывший эшелон, стоящий неподалеку, привели в порядок. Вскребли, отмыли, очистили, провоняли известкой да карболкой. Так что первые, кто хотел в него переселиться, не смогли там дышать, слезы катились. И потому еще сутки ждали, когда вся дрянь из вагонов выветрится.

В эти сутки Колька еще раз пробрался к странному товарняку. Не поленился проделать круга по колючим кустам, а все из-за одной лишь подлой привычки, свойственной любому шакалу: кружить, как кружат осы именно там, где гонят! Известно, там всегда что-нибудь да ухватишь. Пусть не ртом, а глазами... У нас и за погляд деньги берут! А у шакалов детдомовских острый глазок за вторую пайку почитается.

Но сколь ни вглядывался Колька, сидя в кустах рядом с насыпью, сколь ни вслушивался, ничего не мог обнаружить. Видел солдата, но не того, что турнул Кольку, а другого, повыше и покрупней, он вышагивал вдоль эшелона, стараясь спрятаться от пекла в узкой вагонной тени.

За свою немалую жизнь, его и Сашкину, много повидали они всяких поездов, проходящих через Томилино: санитарных с красными крестами на боках, военных с танками под брезентом, с беженцами, с трудармейцами,

даже с зеками... Однажды они видели, как везли пленных фашистов, тоже в теплушках, а ихних генералов так в отдельном шикарном вагоне... Их потом по Москве колонной водили. Но этот эшелон, Колька мог поклясться, не был ни фашистским, ни беженским. Он скорее был похож на их беспризорный поезд: тоже, видать, не кормили. Так ведь шакалы и сами могли добыть себе пропитание — привычное с детства дело! А взаперти-то как будешь?

Колька знал, как тяжело сидеть взаперти, не однажды они с Сашкой попадали в кутузку, последний раз за стибренный на рынке соленый огурец. Пока их тащили, они тот огурец сжевали, а потом сидели всю ночь и орали, так хотелось пить! Ну Кузьмёнышей хоть за соленый огурец запирали или еще за что, а этих?.. Может, они директора почистили? Может, хлебрезку скопом взяли?

Пока Колька соображал, поезд тот прогудел и поехал. Солдат последний раз вдоль состава глазом стрельнул, на ступеньку вскочил, и тут снова раздались голоса. Уже не один вагон — все вагоны. Завопили, закричали, заплакали...

Поезд покатыл в ту сторону, откуда братья только что приехали, но вот какая странность, звуки и голоса из теплушек еще долго реяли в воздухе за станцией, пока не растаяли в теплых сумерках.

Но это, конечно, все Колькино воображение, потому что никто, кроме него, как оказалось, этих криков и плача не слышал. И машинист седенький с их паровоза мирно прохаживался, постукивал молоточком по колесам, и шакалы суетились у поезда, и люди на станции двигались спокойно по делам, а радио доносило бравурный марш духового оркестра: «Широка страна моя родная...»

А потом и мы двинулись в сторону неведомого нам Кавказа.

За рекой Кубанью, которую мы переезжали в великий разлив тихим шажком по хлипкому, по вздрагивающему временному мосту, наведенному в недавние времена саперами, открылись нам затопленные сады, а потом на горизонте засветились и далекие горы. Мы ликовали, будто сделали в своей жизни великое открытие: «Горы! Смотрите, это же горы! Настоящие горы!»

Они синели, как редкие тучки на краю неба, и ехать до них, как оказалось, предстояло еще не одни сутки! Дух захватывало от сверкающих вершин, в это время нам и правда казалось, что все наши шакальи мечты об изобилии,

о сытной и замечательной радостной невоенной жизни непременно сбудутся.

И забылась, стерлась странная такая встреча на станции Кубань с эшелоном, из которого к нам тянули руки наши сверстники: «хи! хи!»

Наши поезда постояли бок о бок, как два брата-близнеца, не узнавшие друг друга, и разошлись навсегда, и вовсе ничего не значило, что ехали они — одни на север, другие — на юг.

Мы были связаны одной судьбой.

Но когда было решено, что все в поезд переходят и он отправляется, Сашке и еще двоим сказали, что им нельзя ехать, слабы и вообще, их надо госпитализировать.

Колька лежал под вагоном и, приложив ухо к полу, слушал.

Не все он понял, но главное-то сообразил: кранты Сашке.

Сперва таблетками травили, бурдой разной, а потом вывели: нельзя! В поезд его нельзя, с Колькой нельзя! Так и совсем уморят.

Колька сидел под вагоном, шептал Сашке последние новости, настропалил против белой врачихи, которая не пускает...

А Сашке на Кавказ ехать надо. Ему в этой деревне, которая зовется станицей, делать нечего. Хоть терна тут растет много и алычи много, а косточек у насыпи так целый миллион, а выжить братья смогут, лишь когда они вместе и в поезде...

Тут же Колька предложил — откуда мысли-то в голову пришли — поменяться местами. Ночью, когда все заснут, перелезть вместо Сашки на сено, а Сашку в эшелон отправить. А когда станут отъезжать, то вскочить на поезд...

Может, умный Сашка не такое бы придумал, ясное дело. Но Колька был горд своим планом, сам сообразил, как выручить брата из беды.

Но тот идею с обманом отверг. Вид у них был слишком разный. Сашку, чахлого до изнеможения, со здоровым и румяным Колькой трудно спутать. Да и ночи у них нет, поезд скоро отправляется... Надо что-то другое соображать.

Сашка помолчал и спросил:

— А эта не поможет? Которая... Резина?

— Резина? — спросил Колька. — У меня резины нет, а тебе зачем?

— Да не у тебя,— крикнул Сашка.— А воспитательница... Ее же Резиной зовут?

Колька при ее имени, так исковерканном, подскочил и башкой о вагон стукнулся. В глазах искры побежали. Как же он сам-то не сообразил! Ну, конечно! Кто еще может им помочь, если не эта чудотворница, восточная царица, Шехерезада! Скорей, скорей ее разыскать надо!

— Регина Петровна... Вот как ее зовут! — сказал Колька и потер макушку.— Ты лежи. Сделай вид, что спишь, и никаких таблеток не бери, а то отравят. И везти себя не давай! А я сейчас... Я ее найду! Слышь? — И стукнул в дно три раза: Это чтобы Сашке было веселей ждать. А Сашка лишь один раз ответил. Он силы берег, да их у него и не было. А Колька бросился к своему эшелону, потому что времени у них оставалось совсем мало.

Все вагоны насквозь пробежал Колька, на полки и под полки заглядывал, но нигде не было восточной женщины по имени Регина Петровна. И никто ее не знал.

Кольку приветствовали, здоровались, кричали снизу и сверху:

— Эй, Кузьмёныш! А где твой второй Кузьмёныш?

— Ты кто из них? Ты Сашка или Колька?

— Я Петька,— отвечал он.

Колька еще подумал: а женщина бы, которая Регина Петровна, произнесла бы это по-инострански: «Ху из ху». Непонятно, но здорово, будто кто-нибудь выругался.

В другое время Колька бы из этого текста анекдот смастерил и весь бы вагон потешил, но теперь... Дошел до паровоза, почему-то на тендер заглянул, двух мешочников там увидел, они сидели на угле и жрали яйца с огурцом. Но женщины нигде не было.

Понял Колька: пропадают они с братом. Уж и паровоз под парами, и машинист по переднему с красным ободом колесу молоточком стучит, смотрит, небось, как оно, колесо, будет крутиться или нет...

Подбежал к нему Колька, спросил с надеждой:

— Не скоро поедem?

Седой машинист, сегодня он был не в саже, небось и в баньку парную успел сбегать, пристукнул молоточком, послушал и сказал:

— Да чего еще ждать... И так засиделись! Вот дам сигнал и поедem. Через полчаса! Чего не успел, торопись!

А Колька ничего не успел. Брата спасти не успел. Может, ворваться в товарняк, где лежит Сашка, да схватить его, пока там сообразят, они до вагона своего добегут.

Всякие несуразности приходили в Колькину голову, но не было среди них ни одной, которая могла помочь брату. А все это от отчаяния! Не найти ему до отхода эту Регину Петровну!

Поднял он глаза и остолбенел: прямо перед ним на путях стоит она, задумалась и смотрит куда-то вдаль, Кольку не видит. А в руках у нее, вот уж сказали бы, так не поверил ни за какие коврижки, самая настоящая папироска. Кольке ль не знать папирос фабрики «Дукат», марки «Беломоро-Балтийский канал».

И она, Регина Петровна, потягивает папиросочку, выпускает теплый дым и сосредоточенно так вдаль глядит. Думает.

Не будь отчаянного положения, не посмел бы ни в жизнь Колька подойти к такой странной, красивой да еще и курящей женщине.

Но сейчас не до колебаний было. Бросился, как к своей, стал объяснять, путаное объяснение у него вышло. Про понос, про порошки да таблетки и про ту, которая белая, потому что в белом халате, и хочет она Сашку оставить, а Кольку прогнать... Как уже прогнала! А одного Сашку они тут уморят, пропадет он на этой станции. А без него Колька пропадет. Они до сих пор потому и не пропали, что не было такого, чтобы их разделить...

Регина Петровна швырнула папироску наземь, не докурив, и сразу спросила:

— Стало быть, ты — Колька! Пошли!

Сашка не видел, как переезжали они реку Кубань по хлипкому, по дрожащему под напором свирепой воды мосту.

Все прилипли к окнам, и Колька голову высунул, чтобы все подробнее разглядеть и рассказать Сашке.

Грязно-коричневая река с ревом неслась вниз, закручивала огромные воронки и взбивала у каменных быков порушенного моста белые буруны.

Поезд шел тихо, как бы ощупью, и седой машинист с ежиком, наверное, не раз вспомнил свои фронтовые дороги, и особенно путь на Сталинград, где ехать приходилось по рельсам, положенным на голые шпалы через заволжские степи.

Деревянные сваи и сам мост несильно, но вполне ощутимо раскачивались. А если, как сделал Колька, смотреть только на одну ревущую внизу воду, то могло пока-

заться, что мост медленно, вздрагивая и поддаваясь, опадает в глухую пропасть под ними.

Колька отпрянул, головой помотал: страшно стало.

Но мост уже подходил к концу, и по бокам высокой насыпи — слава богу, переехали и не упали — пошли сады и огороды, сплошь затопленные водой.

Такого никто из ребят никогда не видывал. Силища, если столько воды в реке, что все вокруг под собой похоронила! Одни верхушки деревьев торчат!

Пришла Регина Петровна — она теперь вроде как шефство над ними взяла, потому что пообещала белой врачихе за братьями, особенно за Сашкой, следить, — и объяснила, что в жаркое время, вот как сейчас, на горах тает снег и реки на Кавказе начинают разливаться. Кубань тоже горная река.

— Это что же значит? — сказал с недоверием Колька. — Мы на Кавказе, что ли?

Регина Петровна посмотрела на него черными блестящими глазами, могло показаться, что она думает о чем-то другом, и ответила, что да, конечно, они уже на Кавказе. Въехали, дружок!

— А горы? — расстроенно спросил Колька.

Сашка промолчал, он был слаб. Но и он бы, конечно, спросил то же самое. Вот тебе и Кавказ — одна вода на огородах!

Но Регина Петровна улыбнулась мягко, и губы у нее, крупные некрашенные губы, дрогнули, и глаза наполнились грустной глубиной.

— Подождите до вечера, — так произнесла, наклоняясь и будто выдавая огромную тайну. — До вечера, милые мои Кузьмёныши, будут вам горы!

— А какие они? — спросил за себя и за Сашку Колька. А Сашка лишь слабо кивнул.

— Увидите... Красивые... Нет, они замечательно красивые! Караульте, не пропустите!

Регина Петровна положила им по кусочку хлеба, намазанного лярдом, американским белым маслом, без запаха и вкуса, а сама ушла. Ее ждали два мужичка: Марат и Жорес.

Сашка слизнул языком лярд, но есть не стал, и Колька на ближайшей станции выменял оба куса на целую литровую банку желтой крупной алычи. На хлеб можно было выменять что угодно.

Сашка алычу попробовал чуть-чуть совсем и медленно, с усилием произнес: «Эх, в Москве бы...»

И Колька сразу понял брата, который хотел сказать, что в Москве такое богатство никому и не снилось — литровая банка алычи! — и жалко, что Кузьмёныши не могут ни похвастать, ни угостить собратьев из томилинской их шараповки!

Колька представил, как появились бы они с братом в детдомовской спальне со своей алычой! Все бы бросились просить, уставясь на невиданный фрукт, а Колька бы нехотя объяснил, что это, мол, фрукт с Кавказа, с берегов горной реки Кубань, алычой прозывается, и там ее завались: жри до горла!

И тут бы он стал угощать шакалов, оделяя всех просящих: Боне бы дал штуки три, он старший и никогда не бил Кузьмёнышей; Ваське Сморчку дал бы пару, он всегда голодный... Тольке Буржую дал бы одну, он тоже как-то дал Кузьмёнышам лизнуть из ложки, когда его sereneкий солдат-отец приносил ему кашу в котелке и Толька обжирался у них на глазах.

И воспитательнице Анне Михайловне дал бы Кузьмёныш одну штуку. Хоть и холодная равнодушная женщина Анна Михайловна и всегда безразлично относилась к Кузьмёнышам, вовсе не замечая и ни разу не запомнив их, но Кольке ее жалко. Все-таки ждет она своего генерала, значит, не совсем уж равнодушна, и с солдатами не гуляет, как некоторые другие...

И потом, однажды Кузьмёныши забрались в ее крошечную комнатку в надежде чем-нибудь поживиться и ничего, даже сухой корочки, не нашли. Была какая-то баночка, желтенькая, костяная с пудрой, которую тут же на рынке барыга жадно выхватил у Кольки, отдав за нее три картофелины. Потом Анна Михайловна всем говорила, что у нее пропала драгоценность из слоновой кости... Пожалуй, воспитательнице Колька бы отдал целых две алычи, пусть нажрется за баночку.

И вороватому директору Виктору Викторовичу дал бы алычу Колька. Он Кузьмёнышей на промысел отпускал. И усатой музыкантше... Не жалко... На Кавказе алычи много, пусть едят! Им тоже в войну нелегко. И тоже алычи хочется.

Так раздумывал Колька, а сам всю эту алычу и умял. Пока мысленно кормил Боню, да Тольку, да Ваську, да Анну Михайловну... Брал в рот по одной, по две, а то и по три штуки! И вышло, что в мечтах-то хорошо угощать своих, все в свой живот утекло.

Отяжелел Колька, захотелось ему поспать. Однако пом-

нил он слова Регины Петровны, что надо ему караулить горы. Если бы Сашка был здоров, они, конечно бы, лучше караулили; один спит, а другой в окошко зыркает: замечательно красивые горы ждет.

Теперь же Колька за них обоих смотрел, но никаких гор он не видел! Взгорки будто начались, холмы, но таких холмов и в Подмоскovie завались, не их высматривал Колька. Уже вечереть стало, горизонт налился синевой, и будто тучи сизые впереди набухли, а Колька разочарованно отодвинулся от окна.

Сашке, который жадно следил за Колькиным выражением лица, расстроенно протянул: «Кавказ! Кавказ! Хрен тебе в глаз!»

— Нет... Ничего? — прошептал Сашка и тоже потускнел.

«Ху из ху», — хотел выругаться Колька по-инострански, но не стал. Все-таки эти слова произносила сама Регина Петровна.

А тут и она объявилась и как-то странно и глубоким, низким голосом произнесла: «Горы-то видели? Кузьмёныши? Иль проворонили? Проспали?»

Колька аж подскочил, бросился к окну:

— Так нету же гор!

Произнес с отчаянием, потому что вдруг ему показалось, что вообще на Кавказе нет никаких гор, а одни лишь пустые разговоры про них.

— Ну как же, милые... Дружочки мои, Кузьмёныши! — сказала как-то задушевно и приподнято Регина Петровна и тихо засмеялась. У Сашки под сердцем потеплело от такого журчащего ее смеха, и стало ясно, что не может не быть на Кавказе гор, если сама Регина Петровна о них говорит!

Воспитательница подошла к окну, кивнула в сторону горизонта:

— Вот, вот же они!

— Где? — Колька высунулся, и другие воспитанники стали смотреть.

— Не видите?

— Не видим! — отвечали ей хором.

— Не вижу, — сказал Колька. Но не так уверенно, потому что он не мог не знать, что Регина Петровна говорит лишь правду. Пусть курит. Пусть смолит свои папиросы, это ее дело. Но шутить по поводу Кавказских гор она так легкомысленно не станет.

Регина Петровна указала рукой на тучки, которые нача-

ли из синевы переходить в нежную розовость, и сказала:

— А это что?

— Это? — спросил ее тоном Колька. — Ну, это же...

Он хотел сказать, что это тучки, обыкновенные тучки, которые небесные вечные странники... Но вдруг понял и осекся. И уже тихо, тихо прошептал:

— Горы? Да?

И вдруг, как псих, закричал на весь вагон:

— Го-ры! Го-ры-ы!!

И все, кто еще ничего не знал, бросились к окнам и стали показывать друг другу на тучки и объяснять, что это вовсе не тучки, а так белеют, сизовеют далекие на горизонте вершины гор, и ехать до них еще, может, несколько дней.

И Сашка, который понял, что все они увидели, все, кроме него, заволновался, возбужденно попросил: «Покажите, покажите мне!» И он пододвинулся к окну, а Колька стал ему втолковывать: «Вон, вон впереди...» И Сашка, побледнев, спрашивал: «Где? Где?» А потом тоже увидел и, измученный, устало улыбнулся.

Вот и доехали они до Кавказа. До самых настоящих гор.

И если уж чем-нибудь они хвалиться будут в томилинском своем детдоме по возвращении, то уж, ясно, не алычой или терном, которого завались на насыпи, и даже не бурной рекой Кубанью и новым дрожащим мостом, по которому они первые из всех эшелонов проехали над страшной кипенью реки. Нет, нет!

Они сразу расскажут главное: как увидели они настоящие в дальней сиреневой дымке белеющие тучки в высоте над горизонтом, прямо по ходу поезда, и как это оказались хребты и вершины Кавказских гор.

— Ура! Да здравствуют горы! — заорал Колька во все горло, и все подхватили и стали барабанить по полкам, по стенам, стали плясать и кувыркаться через головы... Это вышло как праздник, вагон будто сошел с ума... И только за общим гамом, неуправляемым, но тем не менее стройным детским хором можно различить неизменное слово «горы».

Но ехали еще полтора суток: ночь, день и еще ночь, пока не приблизились к этим горам и к тому месту, где была их станция.

Разбудили их рано утром.

По вагонам пронеслось — выгружаться, не забывать своих вещичек, у кого они есть!

Усатый коротышка проводник выкрикнул про вещички и подмигнул на ходу братьям:

— Вот и добрались, шибздики, до Кавказа, можете вылезти да пощупать, с чем его едят!

Он побежал к дверям, а свернутые в трубочки флажки торчали у него из-за сапога.

Кузьмёныши посмотрели друг на друга и в окно.

Состав остановился около невысоких и пустынных гор — ни станции, ни вокзала. Сгорели во время недавних боев.

Название — «Кавказские воды» — было начертано углем на фанерке, прибитой криво к телеграфному столбу.

Вправо от железной дороги до горизонта открывалась просторная в утренней дымке долина в квадратах зеленых полей с цепочками деревьев вдоль невидимых отсюда проселков и белых, вкрапленных в эту зелень домиков, а может, и целых селений.

За долиной, в едва различимой дали, бугрились буроватые холмы, в рыжих пятнах леса, как в подтеках, а уж за ними, будто возникая прямо из воздуха, сверкали ледяными вершинами главные Кавказские горы.

Еще прежде на каком-то полустанке их проводник Илья, тыкая флажками вверх, дотошно объяснял Кузьмёнышам, как они, эти горы, прозываются, какая — Казбек, а какая — Эльбрус, с двумя головами и одним туловищем, словом, тоже близняшки.

Вспомнилась сразу папиросная пачка в руках красавца полковника с зигзагом изломанных вершин, ничуть не похожих на эти горы.

Они виделись еще с дороги как бы сквозь кисею, реальные, но не настолько, чтобы ощутить их реальность.

В ясное сегодняшнее утро различались все складки ущелий на серых склонах, как и ледяные натеки, сходящие белыми кривыми штрихами вниз.

Горы были рядом. Они казались даже ближе рыжих лесных холмов, над которыми нависали.

Но уже становилось ясно, что рыжие холмы за долиной далеки, даже очень далеки, а уж те вершины, что парят над ними в небесах, и того дальше.

Влево от железной дороги, от не существующей сейчас

станции, прямо от рельсов поднимались пологие и безлесые взгорки, выгоревшие на солнце до желтизны. На одном из них белела колоннами ротонда, неведомо каким случаем уцелевшая в войну.

В направлении этой ротонды и повели детей, выстроив в колонну по пять человек в ряду. Но сразу же выяснилось, что никто строем ходить не умеет, да и не хочет, а шли кучками, сбившись по детдомам, и напоминали каких-то беженцев при отступлении.

В то время как передние вслед за директором втягивались в просторное ущелье, задние еще копошились возле вагонов и никак не могли от них оторваться.

Пройдя неширокой, но утоптанной дорожкой между невысоких горок-горбов, ребята вдруг очутились на обширной площадке, прикрытой от станции этими горками.

Тут белели развалины бывшего санатория, и прямо посреди кирпича и мусора на земле все увидели странные бетонные ямки квадратной формы, наполненные водой. Вода в них пузырилась и кипела, легкий парок реял над площадкой, а от воды несло тухлятиной.

— Фу, навоняли! — пронеслось. И стали повторять эту шутку и громко смеяться, сбрасывая с себя напряжение первых тяжелых минут на незнакомой земле.

Подбежал запыхавшийся Петр Анисимович, который челноком сновал по колонне взад-вперед, и, размахивая своим портфелем, попросил остановиться.

Но все и так стояли, не зная, куда идти дальше. Оказалось, что они пришли.

Указывая на ямки, Петр Анисимович сказал:

— Серная вода! Не слышали? Ну, вот... Значит, даже полезно, если кто хочет помыться...

Ребята молчали. Подходившие сзади еще продолжали гомонить и, ничего не слыша, толкали передних и спрашивали: «Это что, наш дом, да? Мы прибыли, да?»

— Надо это... Надо лезть... Раздеваться и смыть всю дорожную грязь, — добавил чуть громче директор и покосился недоверчиво в сторону ямок. Было ясно, что и он не знал, как в них моются.

— Сам и лезь! — сказали в толпе громко. — Мы чево, дураки, что ли! Или нас сюды на суп везли?

— На суп? — не понял Петр Анисимович. — Почему на суп? — Он всматривался в лица ребят, будто искал хоть в ком-нибудь поддержки. Но лица, как на подбор, были усмешливые, любопытствующие, в крайнем случае недоверчивые или испуганные.

— Это ведь непонятно, что происходит! — произнес он, вытирая лоб.— Почему на суп? А?

— Потому что вареные, как раки, будем! — сказал кто-то, не скрываясь.— Это же кипяток! Вон как бурлит!

— Ага,— пробормотал директор и вздохнул.— Серная вода... Никогда не видели... Это понятно, в общем...

Петр Анисимович посмотрел на ямки и, потоптавшись, направился к ближайшей из них.

Не оглаживаясь больше на ребят, даже словно забыв про них, он стал медленно раздеваться. Снял пиджак, сложил его вдвое, наружу подкладкой, а под него, как какую-то драгоценность, портфель спрятал. Стащил брюки, рубашку, майку и почему-то в последнюю очередь ботинки.

В одних трусах, сатиновых, темных, длинных до колен, он медленно, покряхтывая и вздыхая, подошел к ямке. Потрогал воду ногой, рукой пощупал и все не решался окунуться. Как царь в «Коньке-Горбунке» перед кипящим котлом, где потом и сварится!

Вдруг, охнув, Петр Анисимович скользнул по краю прямо в воду, брызги полетели на ближайшие камни.

По толпе, сгрудившейся вокруг такого цирка, пробежал смешок. Раздались голоса, хохот, шутки.

— Это ведь непонятно, что происходит! — произнес кто-то тоном директора.

— Очч-чен-но понятно! Сейчас мясной бульон будет!

— С наварчиком!

— Суп по-директорски!

— А может, братва, спасать пора: вас-то, придурков, много, а директор у нас один!

— Бросьте ему портфель! Он без портфеля утонет!

Кричали разное, а Петр Анисимович плескался и никакого внимания на ребят и на их реплики не обращал.

Он фыркал, чесал под мышками, с головой окунался, сплевывая воду фонтанчиком изо рта, и всем своим видом изображал, как ему приятно бултыхаться в тухлой ямке.

Шуточки постепенно смолкли. Недоверие уступало место любопытству. Самые бедовые приблизились к ямкам и, хихикая, попробовали воду. И тут же отскочили. А самого любопытного, зазевавшегося у края, столкнули прямо в одежду. И он, уже не пытаясь вылезать, продолжал плавать под хохот и ободряющие крики из толпы.

Тогда полезли сразу несколько ребят с оханьем и аханьем; будто пугаясь тухлой воды, но ясно было, что ничуть

они не боятся, потому что с ходу начали брызгаться, плескаться, пускать изо рта фонтаны...

Тут и остальных прорвало. Поняли наконец, что никакой суп им не грозит, а это баня, да веселая такая баня, развлечение, словом.

С ревом, с криками «ура!» бросились занимать скорее ямки, которых уже не хватало, и началась потасовка и обливание друг друга водой.

Только девочки жались в сторонке, с боязнью и любопытством наблюдая за общей сварой.

Но появилась Регина Петровна и повела девочек за собой.

За развалинами санатория, на краю поляны, дымился большой квадратный бассейн. Его почему-то сразу не заметили. Сюда и привела Регина Петровна девочек. Быстро разоблачила догола двух крепеньких молчаливых суровых мальчиков лет трех и четырех и по очереди опустила в бассейн. Девчонки, привычно повизгивая, полезли следом.

Странная, наверное, была картина, если взглянуть со стороны.

Полтысячи детей — теперь заметней стало, что это дети, — самые обыкновенные дети, бесились среди развалин, дорвавшись до купания. Они ныряли в свои и чужие ямки, брызгались, расплескивали теплую воду на кирпичи. Лишь Петр Анисимович, одевшись и зачесав свои редкие седеющие волосы, посиживал в сторонке, прижав портфель к коленкам, и поглядывал с опаской в сторону гомонившей ребятни.

Рядом, присев на корточки, покуривал «козью ножку» с независимым видом старенький машинист с белым ежиком волос. Это он показал директору необычную баню. Не впервой, наверное, бывать ему здесь.

С трудом извлекали купальщиков из ямок, чтобы снова построить в колонну.

Кто-то уже одевался, а иные все продолжали барахтаться в воде, и не было сил их извлечь оттуда. Колька с Сашкой тоже сначала не хотели лезть, уж очень противно пахла вода. Кишки выворачивало. Но потом понравилось, да и ямку они успели захватить небольшую, но удобную, выложенную цветным голубым кафелем.

Братья друг друга потеряли, вместе окунулись, решив посмотреть, как они выглядят под водой. Но уцепиться было не за что, они сразу же всплыли. Тогда они погудели ртами в воду, покрутили буруны, обрызгав кого-то, кто пытался к ним сунуться из соседней ямки, и стали оде-

ваться. Им времени хватило, да и Сашка, ослабший от болезни, не мог долго сидеть в воде.

В мокрой одежде, как и многие другие, стояли братья в середине колонны и смотрели на горы, те, что блистали в высоте. Оказалось, что их отовсюду видно и смотреть на них можно сколько влезет. И это не надоедало.

Петр Анисимович, не обращая внимания на сидевших в ямках, выкликнул всех по списку.

Выяснилось, что за время дороги потеряли они семь человек: кто-то отстал, а кто-то, наверное, и бежал, не без этого.

Той же тропой вернулись они к железной дороге и мимо станции (теперь понятно стало, отчего это место звалось «Кавказские воды», хоть надо бы назвать, наверное, «Тухлые воды») начали спускаться в долину.

Шли, растянувшись по широкой и пыльной дороге между зеленых полей. Пытались запомнить Кузьмёныши, что и где растёт, на всякий случай, конечно, не очень-то веря, что может пригодиться, ведь неизвестно было, куда и сколько им идти.

С небольшим перерывом — во время перерыва бросались шарапать что попадало под руку, но делали это уже лениво, отъелись за дорогу — брели они до тех пор, пока не показались белые домики посреди зелени.

Колонна насквозь пересекла по белой, мягкой от пыли и странно пустынной улице станицу, которая звалась Березовской, хотя никаких берез тут не росло.

За станцией лежало поле с торчащими вверх каменными столбами ростом повыше Кузьмёнышей, их было много, серого цвета, похожих на надолбы, что ставили под Москвой против фашистских танков. Видать, и тут оборонялись, подумалось обоим братьям, — вон сколько камней навтыкали! Но взгляд их был сейчас устремлен вперед, на дорогу, которая, судя по всему, кончалась.

Километрах в трех от станицы встали. Прямо у начала зеленых гор за деревьями были видны строения: один дом белый, двухэтажный, два других — по одному этажу, но длинные, похожие на бараки.

На столбике у входа за зеленую колючую ограду висела надпись: СИЛЬКОЗТЕКНЮКОМ.

Слово это было зачеркнуто мелом крест-накрест, а внизу торопливой рукой дописано: «Для переселенцев из Мос. обл. 500 ч. Беспризорные».

Петр Анисимович озабоченно оглядел подтягивающуюся колонну. Прижимая к себе портфель, прочитал

надпись на столбике, покачал головой и повернулся к ребятам.

— Ну вот, мы на месте,— сказал и вытер пот со лба.— Значит, здесь мы будем жить. Дисциплина, значит, и все прочее, сами понимаете... Не шевутить. Далеко не бегать, искать вас некому... Пропадете.

В это время где-то за горами бухнуло и раскатилось протяжным громом. Ребята подняли головы, но никаких туч не было и в помине.

Петр Анисимович тоже посмотрел вверх, хотел произнести свое: это ведь непонятно, что происходит... но сказал другое.

— Мины рвут... Которые после фашистов... Ладно.— И опять ладонью вытер пот.— Значит, теперь вам укажут, где спальня, а где столовая, туалет... Можете быть свободны.

Судя по всему, это была как бы вступительная речь в честь их приезда.

Замороженный человек, руководивший до сего времени каким-то складом, иначе он не умел говорить. Да и сказать ему было нечего, в такой роли он сам оказался впервые. Велели отвезти детей, он их и отвез.

Прежде возил картошку в ОРСе, мыло возил, растительное масло в бидонах. И это было главное, что он умел делать. Он слыл приличным в районе хозяйственным.

В портфеле у него, как прежде накладные, лежали какие-то документы на детей. В них надо было еще разбираться. Если, конечно, достанет времени.

Произнеся «можете быть свободны», Петр Анисимович махнул рукой в сторону домов, полагая, что прибывшие так и бросятся скорее занимать свои железные койки. Но он ошибся. Колонна как стояла, так и продолжала стоять. Все смотрели на дома и чего-то ждали.

Директор уже успел заметить, что в разных обстоятельствах эта непонятная, неуправляемая масса вела себя непредвиденно по-разному, но в то же время, не сговариваясь, все пятьсот человек делали одно и то же.

И теперь толпа напоминала большого колючего ежа. Ни шутки, ни смешка, ни даже какого-нибудь звука не раздалось.

Неосознанная тревога, возникшая во время долгого пешего пути от станции, с приходом на место не исчезла и не растаяла, а стала даже сильнее.

Да еще эти непрекращающиеся взрывы, они будора-

жили ребят, напоминали им о чем-то, о чем пора уже было забыть. Дети прибыли на поселение для мирной жизни, и благословенный горный край должен был встретить их миром. Золотым солнцем на исходе лета, обильными плодами на деревьях, тихим пением птиц на заре.

Я помню ощущение тревоги, которое возникло в нас по пути от станции сюда, к подножию лесистых гор.

К поезду, к вагону, да и к дороге, мы привыкли, это была наша стихия. Мы чувствовали себя в относительной безопасности среди вокзалов, рынков, мешочников, беженцев, шумных перронов и поездов.

Вся Россия была в движении, вся Россия куда-то ехала, и мы были внутри ее потока, плоть от плоти дети ее.

Теперь нас уводили по твердой, в глубоких трещинах дороге, где цвели никем не собранные цветы, где зрели яблоки и щерились, уставясь на солнце, черные, осыпавшиеся наполовину, подсолнухи. И не было ни одного человека. Ни единого...

За весь наш многочасовой путь не попалась нам ни подвода, ни машина, ни случайный путник. Пусто было кругом.

Поля созревали. Кто-то их засеивал, кто-то пропалывал, убирал. Кто?..

На долгом нашем пути была деревня, кто-то ведь в ней жил...

Отчего же так пустынно и глухо встретила нас эта красивая земля? Отчего даже здание техникума со скоропалительной дурацкой дощечкой, напоминавшей нам о нас, о нашей одинокости, было пустынным, без единого человека?

А мы и правда сами напоминали зверят, брошенных для какого-то невероятного эксперимента в пустыню: «500 ч. Беспризорные». Так была обозначена наша порода. Только что означало «ч»? Чечмеков, чумаков, чудиков? А может быть, чужаков?

За нашей спиной в горах снова гулко взорвалось, и девочка, в самой середине колонны, произнесла — мы услышали — «хочу домой». И заплакала.

Все зашевелились, оглядываясь и вслушиваясь, как ее утешают.

Ей говорили:

— Ну, чего ты! Чего испугалась, смотри! Вот наш дом! Видишь? Здесь теперь все наше, и дом, и речка, и горы... Мы приехали, чтобы здесь жить!

В горах в который раз прогрохотало. Мы стояли перед входом в новую жизнь и не торопились туда войти.

Думаю, что все мы переживали и чувствовали себя одинаково. А мысли были такие скользкие, неясные, но вовсе не о том, что мы приехали домой и что все тут теперь наше...

А нашего — тут — были только мы сами. Мы да наши ноги, которые и всегда готовы были драпануть, случись хоть что-нибудь. Да наши души, о которых говорят, что их, то есть душ, будто бы нет...

Отчего же в тот момент, я помню, точно помню, так сильно болело у меня, да, наверное, не только у меня, внутри?

Может быть, от ужасной догадки, что не ждет нас на новом месте никакое счастье. Впрочем, мы и не знали, что это такое. Мы просто хотели жить.

8

День хвали вечером, так говорят.

А пока во дворе, замкнутом с трех сторон домами, с четвертой — живой колючей изгородью, сбросили имущество, что дали в дорогу: несколько ящиков с консервными банками, на которых были заграничные этикетки, флягу прогорклого растительного масла откуда-то из запасов ОРСа, припасенного самим директором, странные подарочные мешочки с ненашенскими этикетками и кучу тряпья.

К счастью, в двухэтажном доме, во всех его комнатах, оказались койки с матрацами, а кому не хватило коек, постелили прямо на полу.

Девочек, их было меньше, разместили на первом этаже, мальчиков на втором, а самых старших, шести-, семиклассников, в одном из крыльев одноэтажки. Другое ее крыло было отдано под кухню и столовую. Вторую одноэтажку заняли директор и воспитатели. Здесь же находились склад и другие служебные помещения.

Но это был видимый порядок, которого удалось достичь в течение нескольких недель. Все остальное складывалось стихийно, то есть вообще никак не складывалось. Три воспитателя да директор — и весь штат колонии. Никто никого не знал, и не было возможности сразу учесть эту полутысячную машину, сведенную волею случая вместе.

Не имелось повара, да и варить оказалось нечего. В красивых американских банках обнаружились зеленые

крапивные щи. В подарочных пакетах, которые раздали по группам, не успев их проверить, содержалось: письмо от английских профсоюзов — тред-юнионов, газета «Британский союзник», несколько пачек сигарет, презервативы, плоские бумажные спички, а также рекламные красавицы в непотребных позах.

Пока Петр Анисимович догадался, что эти пакеты предназначены вовсе не детям, половина воспитанников дымила сигаретами, а презервативы надували и подбрасывали в воздух... Красавиц развесили по стенам, для верности подписав карандашом, что у них как называется. «Британский союзник» пошел на подтирку, и, поскольку единственный туалет загадили с первого дня до крыши и все вокруг тоже, теперь это делали за стеной дома, у зеленой ограды, и повсюду валялись клочки непривычно жесткой союзнической газеты. Пожалуй, она оказалась здесь всего полезней.

Банки же от крапивных щей использовали вместо тарелок, разрезав каждую пополам. Ложки ребята добывали сами и держали при себе. У многих были самодельные, вырезанные из куска дерева. Да и нечего было есть пока этими ложками. Бурда, которую с самого начала варили в таганке на самодельной кухоньке, гущи никакой не имела, называлась затирухой: кукурузная мука, вода и постное директорское масло, ее можно пить из консервной банки прямо через край. А вскоре и муки не стало, колония перешла на самостоятельную добычу съестного, впрочем, большинству это было не в новинку. Кузьмёнышам тоже.

Устроившись вполне прилично в уголке за печкой, которая пока не грела, но ведь катила зима — и тут Кузьмёныши смотрели далеко вперед, дальше других, — братья произвели проверку наличных ценностей.

В их загашнике, устроенном невдалеке, у берега Сунжи, мелководной и рыжей речонки, лежали спички, плоские, заграничные, из союзнического пакета, два презерватива, пакет, прозрачный, красивый, ключи от вагона, стуренные из кармана проводника, когда он описывал братьям названия гор, тридцатка, потершавшаяся на сгибах от частого пользования, и несколько картофелин, утащенных у того же простодушного раззявы проводника.

В сравнении с томилинскими заначками это было куда больше, а больше всегда лучше.

Лаз, устроенный в бывшей звериной норе, братья рас-

ширили, чтобы можно было упрятать и кое-что еще, если появится... И оно появилось, хоть и не сразу.

Следующее, что совершили в своей новой жизни Кузьмёныши: провели обследование самой колонии, то есть тщательно осмотрели ее территорию, все помещения, углы, чердаки.

Начали они по привычке с хлеборезки, которая до поры пустовала. Кроме гирь да весов — они виднелись через окно, — не было там ничего. Замочек же на дверях висел хлипкий, а окна без железных решеток.

Все это Кузьмёныши отметили как некоторый прогресс в сравнении с Томилином. Занятым показалось и то, что столовку с кухней неосмотрительно разместили рядом со спальней мальчиков. При случае надо бы поискать ходы на кухню с этой не охраняемой никем стороны. Хотя кухни в том понимании, к какому привыкли братья, тут тоже не было.

Затируху варили сами девочки прямо на улице на таганке. Да и не стоила она того, чтобы братья захотели ее стащить.

В столовку при желании можно было проникнуть на обед и раз, и другой. Тем более что братья и здесь, на месте, с первых же дней всех успели своим сходством запутать и одурачить.

Обменивались койками, обменивались одеждой, ложками, мисками, даже привычками, если это было возможно.

Так что однажды кто-то из ребят вполне искренне воскликнул:

— А вы сами-то, братцы, хоть помните, кто из вас какой брат? Кто Сашка, а кто Колька?

Братья, не задумываясь, отвечали, что они этого не помнят, чем заморочили остальных еще больше. Спальня грохнула так, что заглушила дальние взрывы в горах, но уж кто смеялся по-настоящему, так это сами братья. Начиналось дуракавалянье, а уж в нем Кузьмёныши чувствовали себя, как мальки в воде.

Обследовали они директорский кабинет и особенно, рядышком, склад вещей.

У директора поживиться пока было нечем, и это невыгодно отличало нынешнего директора от томилинского жулика, которого, конечно, не раз пытались обобрать воспитанники, да звери-собаки мешали.

На складе же, куда удалось всунуть нос, кроме мешков с тряпками стояла лишь фляга с постным маслом, ее-то и взяли братья под наблюдение.

Тем более что и замок, и задвижка были примитивны: пальцем можно открыть.

Слоняясь у дверей склада, наткнулись на Регину Петровну. Она жила тут же, рядышком, за углом.

Крошечная комнатуха с торца дома, две железные койки, такие же, как у колонистов, тумбочка.

Но уже на окошке красовалась занавесочка, на койках какие-то непривычные для глаза цветные покрывала, на полу у порога коврик и еще зеркало, небольшое, в деревянной оправе, на стене.

Кузьмёнышам, которых воспитательница пригласила в дом, все это показалось невозможно праздничным и нарядным. Да ведь иначе и быть не могло.

Они топтались у порога, не смея своей обувью, своим присутствием нарушить этот порядок, так что хозяйка почти силой протолкнула их в комнату и предложила садиться прямо на койки. Стульев пока не было.

Поясняя на ходу, что мужички играют во дворе и, слава богу, меньше толкотни и грязи, Регина Петровна постелила на тумбочку чистую салфетку, на нее поставила блюдечко с двумя сухарями. Потом принесла от таганка в ковшике чая, налила всем и положила каждому по несколько крупинок сахара из белого бумажного фантика, точно такого, как от лекарства, которым пичкали Сашку на станции Кубань.

Братья жадно хлебали сладкий чай, экономно отгрызали от сухариков кусочки, которые сами собой таяли во рту, растравляя и без того сильный голод.

Сама же хозяйка, забрав в узел густые черные волосы, курила у окошка, легонького, кстати, окошка, его запросто можно было взломать, если бы кто захотел сюда забраться. Опытный Колька это сразу определил.

— Ну, вы всех заморочили своим сходством? — спросила Регина Петровна, поглядывая в сторону братьев. — А я тут сортировала документы, хоть я и занимаюсь девочками, но и ваши попались... Одна характеристика на двоих. Там написано, что у вас не только внешность, но и привычки, и наклонности, и все остальное одинаковое. Так и сказано. Мол, не стоит на вас две характеристики писать, потому что Кузьмины все равно что один человек в двух лицах.

Регина Петровна хотела что-то еще добавить, но раздумала.

— Ладно. Потом, — поколебавшись, сказала она. — А кстати, кто у вас кто? Ху из ху?

Колька со вздохом посмотрел на оставшийся кусочек сухарика и сказал:

— Сашка вон ест быстрее, у него терпежу мало. У меня побольше. Зато он умней, мозгой шевелит. А я — деловитый.

— Ага, значит, разные... Я подозревала, что они вас не знают. Что вы их совсем заморочили. Хотя... Иных и морочить не надо, им все дети на одно лицо. А кстати... — Регина Петровна что-то вспомнила и выпустила в сторону окошка струйку дыма. Так вкусно она курила, делая трубочкой губы, что и братьям захотелось закурить. — Там в характеристике упоминается, что вы и в милицию попали... За что же, если не секрет?

Колька замялся, посмотрел на Сашку. Но Сашка догрызал свой сухарь и помалкивал.

— Ну... Мы соленый огурец стащили у одной на рынке.

— Огурец? Один огурец?

— Не, не один, а два! Один я взял, а другой — Сашка. Чтоб больше было!

А Сашка добавил, доев сухарик:

— Нет, не так. Мы бдительность потеряли. Один из нас стоял на атасе. Ну то есть, если что, он должен кричать «атас» или «атанда»... А другой спер из бочки огурец. А потом и другой, который на атасе, решил тоже схватить огурец, а тут нас и схватили...

Регина Петровна не засмеялась, а задумалась, глядя в окно.

Докурила, бросила «бычок» за окно, повернулась к братьям.

— Потерпите уж, дружочки. Мои мужички тоже терпят... Да и все девчонки из моей группы голодают не меньше вас. Вот директор в Гудермес собрался, может, он привезет продуктов. А пока... Вы приходите ко мне, ладно? Приходите, правда, чем-нибудь да угощу. Вон у меня еще сахарину на неделю достанет, чай будем пить.

Братья поднялись, пообещали заходить. И хоть они не глядели друг на друга, но чувствовали, причем знали, что одинаково чувствуют: они не станут часто заходить к этой замечательно красивой и доброй женщине Регине Петровне именно потому, что она сама голодает.

Вот если им удастся надыбить какой-нибудь кусочек «с коровий носочек», тогда зайдут. Зайдут, чтобы по-царски ее одарить.

Более того, они и промышлять будут лучше, оттого что их Регина Петровна, наверное, сама промышлять не

умеет. Разве с ее нежными пальцами взломаешь замок? А есть-то ей да ее мужичкам — Марату и Жоресу — тоже надо.

Вот так они подумали, когда прощались. Кольке таки удалось сэкономить кусочек сухарика и сунуть его в карман. Потом он подарит его Сашке.

9

Обследовав дома, кладовки, спальни, чердаки (там за плохо забитыми дверьми тоже матрацы лежали), изучив до кустика колючую живую изгородь и найдя в ней два потайных лаза, братья обратили свое пристальное внимание на речку, на ближайшие сады и, конечно, на станицу Березовскую, расположенную в трех километрах от колонии.

То, что они приняли за противотанковые надолбы в поле, оказалось старинным кладбищем, вовсе не страшным, без крестов и свежих могил. На серых гранитных столбах было что-то вырезано на неизвестном языке, а на некоторых нарисованы два кармашка с патрончиками, такие видели братья в картине «Свинарка и пастух» у красавца пастуха. Пастух пасет овец и во все горло орет песню.

Братья потрогали гладкий камень и прорисованные кармашки и одновременно подумали, что в здешних горах в отличие от любимой картины, которую они глядели раз десять, никто не поет веселых песен и овец не пасет.

Братья несколько дней приглядывались к станице и сделали вывод, что люди-то в ней живут. Скрытно как-то живут, неуверенно, потому что по вечерам и на улицу не выходят, и на заваulinке не сидят. Ночью огней в хатах не зажигают. По улицам не шатаются, скотину не гоняют, песен не поют. Черт знает, как они могут так жить, но живут, вот что главное.

Первый раз братья по полю со стороны садов проникли. Наткнулись на картошку, один куст для пробы подкапали, засекли: урожай созрел, надо прийти вечером.

Неслышно дошли до сеновала, подождали, прислушиваясь. Но тут раздался кашель, тяжелый кашель, мужской, какое-то бормотанье. Они повернули обратно. Встреча с сельским хозяином не сулила ничего доброго. На Томилинском рынке мужики били жестоко, насмерть. Городские били тоже, но милосерднее.

Вторично впотьмах после отбоя в колонии наведались, нарыли картошки, напихали в пазуху и в карманы, краешком улицы прокрались.

И опять ничего такого не увидели, лишь глухие голоса кое-где за заборами.

Ни собачки, чтоб залаяла, ни квохтанья курицы, ни визга поросенка, как у них в Томилине, ни каких-нибудь частушек под разбитую гармошку...

Ни-че-го.

А было время, томилинская ребятня, да и братья тоже, ходили подглядывать, как кривоглазый гармонист, днем он продавал на платформе мороженое, лапал девчат, нисколько не стесняясь пацанвы, и некоторых сажал себе на колени и задира л юбку. Ухмылялся пьяно, единственный глаз его вытаращивался, прихохатывая, он говорил: «Как насчет этого дела?»

Ребята смущались. Молчали. И тогда гармонист растягивал свою облупленную гармошку и орал на всю улицу похабные частушки.

В Подмоскowie в домах была жизнь. Это точно.

А здесь она словно бы исподтишка теплилась. От непривычки братья робели: как забраться в дом, если нет о нем точного понятия, кто хозяева, когда, в какое время бывают дома?

Но тут сам случай пришел им на помощь.

Однажды, бродя вокруг станицы, наткнулись они на человека, который собирал сушняк.

Братья хотели прошмыгнуть мимо, но узнали проводника из вагона. Усатый, коротконогий, но сейчас без своей форменки, в рубахе, простых портах, он вдруг оказался молжавым мужчиной, ну, почти как тот гармонист.

Проводник посмотрел на ребят, ощерился. Вспомнил небось, как два близнеца в Воронеже от спекулянтки удирали! Он им еще Казбек с двуглавым Эльбрусом показывал. А они тово... Ключи свистнули. И свистнули-то скорее по привычке: очень уж они блестящие да звонкие, так рука сама и схватила. А зачем, бог знает.

— Пришли? — спросил деловито проводник и будто ухмыльнулся.

— Гуляем, — сказал Колька. А Сашка кивнул.

— Дак тут ваши уже многие гуляли, — сказал проводник. — Половину моей картошки пригуляли! — И приказал: — Бери хворост, пошли.

— Картошку — это не мы, — отрезал Колька.

— Не вы... Не вы... — отмахнулся проводник. — Вы

только ключи стянули. Или нет? — Он повторил: — Ну, пошли! Ладно.

Хворост был связан в огромные пучки. Каждому досталось по пучку. Донесли до дороги, погрузили в тележку, деревянную, с ржавыми колесами, и покатали к деревне. У крайнего дома, беленького, с палисадом и огородом на задах, выгрузились. Проводник ушел в дом, а ребята остались ждать во дворе.

Одновременно обоим подумалось: оттого на этом огороде и промышляли колонисты, что он с краю, ближе к колонии. С краю всегда безопасней тащить.

Пока стояли, с интересом оглядывали дворик с глухим высоким забором, вдоль которого изнутри тянулся навес, под навесом кукурузная солома, хворост, какие-то железки, среди которых валялся позеленевший от времени медный кувшин с узким горлом. Кувшин стоило запомнить, хоть неизвестно пока зачем. Пол во дворике, братья такое видели впервые, был твердый, гладкий, мазанный желтой глиной. У входа в дом валялась полинявшая от времени козья шкура.

Хозяин высунул из дверей кудлатую голову, крикнул: — Да заходи, чего стали-то?

Братья с оглядкой, гуськом, чтобы можно было драпануть в случае чего, прошли сумрачные узкие сенцы, где стояли медные и глиняные кувшины, и ступили на порог горницы. И здесь было белено, и стены, и потолок, как белят в России печки.

В углу, где должна быть икона, портрет товарища Калинина, всесоюзного старосты. Посреди стол, грубый, ничем не покрытый, два табурета, койка. Под койкой домотканый коврик: по черному полю красные узоры. Больше ничего в комнате и не было. У входа прибита полка, а на ней немудреное хозяйство, сразу видать, холостяка: чугунок, две железные миски, солдатский котелок, кружка, помятая с одного бока. На столе стоял жестяной, весь закопченный полуведерный чайник.

— Так и живу, — сказал проводник и снова усмехнулся. — Как говорят: живу хорошо, жду лучше! — И к ребятам, которые уселись на койке, на грязноватом сером одеяле, рядышком, плечом к плечу, — не только потому, что тесно, но и просигналить одним как бы случайным движением можно: — Соседушки, значит? Вот же как!

Братья кивнули.

— Я уж забыл, как вас там? Кличут-то?

Колька сказал:

— Я Сашка.

Сашка сказал:

— Я Колька.

Как будто их вранье имело сейчас значение. Скорей всего, дурачили по привычке.

— Ну, а я вот... Илья. Так и зовите.

Братья опять кивнули.

— А я ведь вспомнил, как вы бежали от этой дуры-то! Сам бегал... Ох и побегал я, если бы знали. Но после расскажу. Я тут один живу. Бабы у меня нет. Вот картошку варю на улице, таганок сделал. Чай кипячу. Да смотрю, чтобы меня отсюда не шуганули к такой-то матери!

Колька сразу спросил, этот вопрос их интересовал:

— А что, дом разве не ваш?

Проводник натянуто засмеялся, усы зашевелились.

— Ха! Да мово тут... Даже вша и то не наша! Станица-то знаете как прозывается?

— Ну, Березовская,— ответил Сашка.

— Березовская! Какая же она Березовская, если она Дей Чурт звалась,— заорал проводник.— Это теперь она Березовская. А могла стать Осиновская али Сосновская... Она на самом деле Дей Чурт. Вот так-то.

И проводник Илья обвел глазами комнату, посчитав, что ребята поняли.

Но Кольке надо было знать все точно. Зачем бы они тогда шли сюда? И он спросил настырно:

— Ну и что — дай черт? — нарочно переврал.

— Вот именно — черт... Гиблое место... А черти кругом!

Проводник Илья покачал головой, удивляясь такой несообразительности. Сказал, наклоняясь и шепотом, будто были они не одни. Да вообще ребятам показалось, что он все время оглядывается.

— А вы чево сюда приехали-то, а? Ханурики? Тараканы городские?

— Нас везли,— сказал Колька.

— А куды везли-то? Куды?

— На Кавказ...

— Ха! Кавказ большой! — отмахнулся Илья.— Вас везли заселять тут землю. Понятно? Вот зачем... несчастные обормоты! Вы тут должны населением стать... И я, я должен населением стать... И они тоже, жучки непоседливые... — И он указал в окошко, на белеющий за живой зеленой изгородью домик напротив.

— А там — живут? — спросил сразу Колька.

— Живут... Как я... Ничего своего. Все с чужого плеча. — И он почему-то ткнул пальцем в цветной коврик.

— Ворованное, что ли? — спросил вдруг сообразивший что-то Сашка.

— Ну?!

Проводник кивнул и с каким-то остервенением добавил:

— Если не твое, то ясно, ворованное. А вы, что же, не на ворованном живете? В техникуме?

Колька подтолкнул Сашку. Оба подумали одинаково: «Тут что-то не так. Или этот Илья чокнутый, но вроде бы незаметно. Или он подозревает братьев, что они у него картошку копали. Про ключи-то догадался... Хоть и не пойман — не вор!»

Колька осторожно спросил, поглядев на дверь:

— Откуда вы знаете? Что мы... Мы и не лазим ни-где...

Проводник Илья хмыкнул только. И сурово посмотрел на братьев.

— Ха! Лазать надо, а как же жить? Вон, у вас кладовка, там одежда для зимы... Без охраны. Вам туда сам господь велит залезть! А я куплю, понятно?

Братья неуверенно кивнули. Не проверочка ли? Мол, попытаю мелкосню, а как согласятся, так и зацапаю. Братья-то были народ ученый и в милиции бывали не только из-за огурцов.

Но Илья настойчиво гнул свое.

— Картошку подкопаете, прибыю. Это своим скажите. У других — копайте, мне без разницы... А вот одежду при-тащите... Денег дам! И картошки дам... И еще чего!

— Посмотрим, — сказал неопределенно Сашка, который уже все понял и, наверное, даже придумал что-то насчет этой одежды. — Так мы пойдем? Дядя Илья?

— Без дяди, просто Илья, — сказал Илья. — Приходите. Я, пока не в рейсах, здесь буду. А насчет чужого, это вот...

Он на крыльце поднял палец и долго что-то слушал. А когда грохнуло в очередной раз в горах, произнес:

— Слышите? А?

— Мины рвут, — определил Колька самоуверенно.

— Ха! Мины... — совсем без улыбки осклабился Илья. — А мы, жалкие переселенческие сучки, огня не жжем, боимся... Боимся! Это разве жизнь? — Он пнул зло попавшую под ноги козью шкуру.

— Кого? — опять спросил Колька.

— Чертей! — крикнул Илья и подтолкнул их к дверям.

10

Произнеся привычное: «Это ведь непонятно, что происходит!» — директор уехал в Гудермес, — что за Гудермес, какой он, где находится, братья не знали, — и колония понемногу стала расползаться. Поволокли в станицу матрасы, подушки, остатки мебели, меняли на картошку, на прошлогоднюю кукурузу.

Притащили плоский камень, грохнули прямо посреди спальни — Сашка придумал! — и трое занялись работой. Один клал зерно на камень, второй ударял по нему другим, поменьше, третий — ладошкой сгребал крошево в консервную банку. В этой банке потом варили из дробленого зерна кашу.

Не очень уверенно, но упорно обирали поля километр за километром, расширяя зону вокруг колонии, хотя особенно обирать было нечего. Кукуруза еще не вызрела, а картошка росла лишь у станичных. Но там ее стали охранять!

Однажды хозяева с дубьем гнались за колонистами аж до самых ворот и только чудом не прибили. Но прокричали с угрозой, чтобы все слышали: «Еще станете копать, урки бесштаные, дома пожжем! По ветру пустим!»

Колонисты отвечали:

— Деревенские ублюдки! Катитесь отсюда! Мы вашу деревню раньше спалим!

— Березовская вошь, куда ползешь! Под кровать... Дерьмо клевать!

— Ну, смотрите! Как загоритесь, так и знайте!

— Сами поможем! — заорали в голос колонисты. — Пропадите вы с этим Кавказом! Чтобы вас тут моль сожрала! Чтобы вас тут кинжалами всех порезали! Кулаки недобитые!

Во все горло заорали:

Мой товарищ, мой товарищ острый нож,
Ох, да сабля ли-хо-дей-ка!
Пропадешь ты не за грош, не за грош!
Жизнь на-ша копей-ка!

Ребята о кинжалах — так, к слову помянули. Но станичные примолкли и с оглядкой удалились. И больше сюда не заходили.

Вокруг техникума теперь каждый вечер стояло зарево от костров. Каждый колонист, объединив усилия с несколькими другими, разжигал огонек из сушняка и старой травы и варил какое-нибудь хлебово, чаще всего в консервной банке.

Братья тоже пустили в дело свою картошку и несколько кукурузных початков, выменянных у проводника Ильи на матрацы.

Илья, покачав головой и осмотрев матрацы, полез куда-то под крышу, принес несколько початков желтой, тверже камня кукурузы и опять наставительно, серьезно напомнил: «Одежда нужна. Там ее навалом, говорят... Тащи одежду!» С тем и выпроводил.

Однажды сидели братья у костра. В жестяной банке с дужкой из проволоки кипело хлебово из корней камыша, которого тут у речки росло предостаточно: кукурузы хватило ненадолго.

Сашка, почесывая грязную голову, сказал:

— Пора драпать. А?

Колька не спросил: «Куда?»

Из колонии тянулась одна дорожка, на станцию. Туда по одному да по двое уходили колонисты и уж никогда не возвращались.

— Не будем ждать?

— А чего ждать-то?

— Директора... Из Гудермеса...

— А может, его и нет, Гудермеса-то! А ты вспомни Вик Вик-трыча! Он бы поехал? За продуктами?

— Для своих собак поехал бы!

— Ну, да. И этот... Увидел — дела кранты, портфельчик в руки и отчалил! Нужны мы ему больно!

Помолчали. Шуршала трава в костре, сгорала быстро, поэтому братья натащили целую гору этой травы. Кругом, там и сям, полыхали огни, но рядом с Кузьмёнышами на этот раз никого не было.

Колька попробовал самодельной деревянной ложкой хлебово, поморщился и вдруг сказал: «А склад?»

Сашка лежал на земле и смотрел на небо.

— Чего склад? Ты думаешь, там осталось?

— Осталось. Илья знает!

Он знает... Как чужими руками жар загребать!

Колька спросил:

— Трудно, что ли? Взломаем...

Сашка смотрел на небо, затухающее, в подернутой синей предвечерней дымке, и молчал.

— Там камнем долбануть: все отлетит! — добавил Колька.

— Камнем? Никакого камня не потребуется, — спокойно произнес Сашка. — Там ведь задвижка?

— Ну, задвижка, — подтвердил Колька.

— А дужка у замка продолговатая. Если замок повернуть боком...

— Понял! — воскликнул Колька. — Понял. Ход у задвижки будет больше...

— Так это и дураку понятно, — лениво, не двинувшись, произнес Сашка, созерцая небо. — А наши шакалы, вот как ты, долбили по замку камнем... там вмятин... Долбачи безголовые...

Больше братья ничего друг другу не сказали. Разговором сыт не будешь, если хлеба не добудешь! Сегодня, как стемнеет, они пойдут на склад... А пока надо жрать свое хлебово да следить, чтобы другие шакалы не опередили их в этом деле.

Давно известно, идеи носятся в воздухе, и если склад не ограбили до сегодняшнего дня — это не причина для успокоения. Сегодня придешь, а десять гавриков одновременно додумаются насчет задвижки. И такие чудеса в природе бывают!

Братья быстрехонько проглотили варево, спрятали понадежней банку и потом до сумерек сидели в кустах, сторожа двери склада.

Но никто в этот раз не покушался на него. Может, братья одни такие дурачки и были во всей колонии — надеялись, что там что-то лежит. А там почистили еще до них, законным путем почистили, не зазря же директор Петр Анисимович уезжал в Гудермес с огромным мешком. С портфелем и мешком. Что он, свои шмотки поехал туда продавать?

Произошло, как замышлялось.

Трусцой, с оглядкой, добежали Кузьмёныши до склада. Колька повернул замок горизонтально, дернул задвижку влево, и — чудо, чудо, совершившееся поначалу в Сашкиной гениальной башке, — задвижка звякнула, дверь открылась.

Мгновенье братья оторопело смотрели на черный проем, не верилось, что все окажется так просто. «Сим-Сим, отворись!» И вот оно, пожалуйста!

— Шухари! — возбужденно, оттого слишком громко, прошептал Колька и нырнул в дверь склада. В его тайную, притягательную глубину.

А Сашка, быстро щелкнув задвижкой, поставил замок на место. Отбежал, оглянулся, не следит ли кто, юркнул в кусты стоять на атаке.

Конечно, его подмывало, зудило заглянуть хоть одним глазком, что же там лежит, на складе. На минутку ощутить себя владельцем целого вагона барахла! Нет, не для того, чтобы все до единого было твоим. Зачем одному — ну двоим — столько тряпья?

Ощутить себя человеком — вот что хотелось. Ничего за душой, да и в животе одни камышовые коренья. И вдруг — все твое! Ходишь барином посреди своего царства, щупаешь, пробуешь разве что не на зуб и знаешь: захочу, возьму одно, а захочу, возьму другое. А может, и ничего не возьму, глазами наемся да и отвалю в сторону.

Тут Сашка сам себя остановил: совсем ничего не брать не годилось. Брать надо. В меру. Колька сообразит, какая это мера. Лишь бы никто не помешал.

Знал Сашка, примета такая есть: не думай, не призывай в мыслях никого, подумал — и вот тебе на: идут. Девчонки идут, голосят на всю округу свои девчоночьи сплетни. Про директора, про Гудермес, куда он уехал. Дался им всем Гудермес, земля обетованная, где булки на деревьях зреют. А булки-то растут вот на этом складе. Так подумалось Сашке.

Только умолкли вдали девчонки, Регина Петровна их возлюбленная появилась с Маратом да Жоресом. Присела на ступеньках склада, смотрит, как ее мужички возятся. А те под самые кусты лезут, чуть на Сашкину голову не наступают. Не дай бог, углядят... Шума будет! Или Колька, чего доброго, начнет барабанить изнутри. Он-то не видит, что рядышком на крылечке Регина Петровна сидит, задумчиво так сидит, папироску засмолила, вдалеке смотрит.

Но Регина Петровна не докурила, позвала мужичков и ушла. А Сашке стало ее вдруг невозможно жалко.

Замечательная женщина, а ведь тоже торчит в этой дурацкой колонии, терпит нужду. Разве такие красивые женщины должны жить в колонии, среди шпаны, и терпеть нужду? Что ее-то сюда привело? Колонисты, те другое дело, они как перекасти-поле, куда ветер повернет, туда их и гонит... Однажды кто-то про брата Кольку так и сказал: «Ты, мол, Перекасти-Коля».

Эх, знал бы Колька там, внутри, какой грустный взгляд у Регины Петровны, тяпнул бы он чего-нибудь и на ее долю!

Задумался Сашка, вздрогнул от неожиданности: девчонки обратно возвращаются. Спорят, голоса далеко слышны. А спорят они о том, что сегодня, оказывается, посылали на станцию телегу за директором, который должен вернуться. Колонист же, не будь дураком, сел на проходящий поезд да и был таков. А лошадь с телегой сама по себе домой вернулась... Без колониста, но и без директора.

Скрылись девчонки — трое ребят из старшей группы откуда-то вынырнули. Вот уж не подозревал Сашка, сколько тут народу ошивается. И не бескорыстно, видать!

Колонисты с оглядкой к складу подошли, подергали замок, достали гвоздь, стали гвоздем ковырять.

У Сашки волосы поднялись дыбом. Ноги, руки онемели. Что, если Колька подумает, что это Сашка около замка шурует, и начнет изнутри голос подавать?

К счастью, чьи-то крики неподалеку раздались. Колонисты отпрянули. Будто бы гуляя, засвистели песенку, ушли.

У Сашки отлегло. Хоть напуган малость, а зловредно подумалось: «Дурачки! Великовозрастные! Отрастили руки, а тут головой надо работать! Мозгами больше крутить, а не гвоздиком своим!»

Чуть затихло, Колька постучал.

Три раза: негромко вроде бы, а Сашке показалось, что на всю колонию барабанит.

Бросился к дверям. Замочек стал набок поворачивать, а замочек не поворачивается. Видать, колонисты гвоздиком покрутили да и заклинили замок!

— Открой! — шепчет за дверь Колька. — Скорей давай!

— Счас! Счас! — нервничает Сашка, никак чертов замок не может развернуть. А тут чьи-то голоса рядом.

Отпрянул от дверей. Но сразу вернулся. Как же он Кольку на складе запертым оставит.

А тот уже не шепчет: громко шипит, злится.

— Открывай же! Чево канителишься! Сыпанемся!

Рванул Сашка замок, освободил его. Чуть сам не упал. Палец второпях прищемил, кожу порвал, до крови.

Колька из дверей выскочил, Сашка его и не узнал: какой-то карапет в длинном до земли пальто, в шапке до глаз, в ботинках огромных. Маленький Мук, а не Колька. Не зная, так испугаться можно.

Защелкнули дверь. Три шага от склада не сделали, им навстречу Регина Петровна. Да не одна, с девчонками своими, воспитывает.

Наткнулась на Кузьмёнышей, удивилась. И девочки остановились, рассматривают.

— Вот и мои дружки!— сказала воспитательница.— А у нас-то радость! Директор вернулся! Вы почему ко мне не заходите?

Братья топтались на месте, на Регину Петровну не смотрели.

Девчонки захихикали. Тут и воспитательница обратила внимание на Колькин наряд. Расхохоталась. В другое время братья, может, тоже бы посмеялись, но сейчас им было вовсе не до смеха.

— Что за одежда? Тебя кто так одел?— спросила энергично Регина Петровна, оглядывая Кольку.— И, кстати, ты кто? Сашка или ты Колька?

— Сашка,— промычал Колька.

Не хотел он обманывать, но пришлось.

И Сашка, отсасывая кровь из прищемленного пальца, добавил:

— А я Колька.— Это на случай, если в будущем придется прикрывать брата.

— Вот, девочки, запоминайте... Если сможете,— произнесла Регина Петровна весело. Но тут же стала серьезной. Даже строгой.

Наклонясь к Кольке, сказала:

— Ну, прости, я такая глупая, сразу не сообразила, что ты новое пальто надел. И пальто, и шапку... Но откуда?

— Со склада,— ответил вдруг Колька нахально. Сашка даже слюной подавился. Закашлялся. Теперь драпануть бы, пока не сообразили!

Но воспитательница была наивным человеком. Ничего-то она про склад не поняла. Добродушно воскликнула:

— Вот и хорошо. Пора вас приодеть.

И тут же сказала девочкам:

— Идите, я вас догоню.

Девочки ушли.

— Великовато, конечно,— произнесла Регина Петровна, осматривая Сашку, который был Колькой. Поправила на нем воротник и шапку поправила.— На вырост...— добавила задумчиво.

Собралась быстро уходить, но что-то ее задержало.

— Вы хоть до холодов-то не надевайте,— посоветовала.— Сейчас тепло... Жарко, не правда ли? Подумают, маскарад какой...

— Жарко,— сказал Колька, будто сознался в чем-то. Регина Петровна напоследок взглянула на него, на Сашку и быстро ушла.

А братья тут же дунули к лазу, что в кустах. В этом маскараде, Регина Петровна права, через двор идти небезопасно. А еще через десять минут, завязав пальто, ботинки и шапку в узел, они удалялись в сторону станции Березовской, на ходу делясь пережитым.

Колька орал:

— Захожу я туда... Мать честная! Кругом навалом барахла! Растерялся: с чего начинать... А тут голоса...

— Это девчонки...

— Ну, да, а я с испугу в тряпье головой! Посидел, стихло. Начал копаться, слышу, замок звякает...

— А это шакалы!

— Тебе хорошо, ты видишь! А у меня дрожь пошла... Накинул пальто, а оно волочится... И шапка на глаза... И ботинки мешают... Думаю, скорей надо! Пусть волочит, пусть хоть как... А ты замок не открываешь! Жарко!

— Да заел замок-то!

— Заел... А я там спекся... Регина Петровна что-то спрашивает, а у меня пот течет, спина мокрая... Думаю: брошусь в кусты! Сил моих нет ждать! Все равно ведь попались!

— Ты зачем ей про склад-то?

— А как еще?

— Придумал бы!

— Вот я и придумал! Что она, не знает, что у нас с тобой вошь на аркане и дыра в кармане... Больше ничего своего нет!

— Все равно... А Илья нас ждет?

— Может, и не ждет. Он всегда дома. Он в темноте не выходит.

— Боится, что ли?

— Боится...

— Я тоже боюсь...— сказал вдруг Сашка.

Колька присвистнул, посмотрел на брата.

— А ты чего?

— Не знаю.

— Как же можно бояться, не зная чего?

— Можно. И потом... Если все кругом боятся... это даже страшнее.

— Ладно,— рассудил Колька.— Сейчас загоним барахло — нажремся! И страх пропадет!

Илья с ходу уперся глазами в узел, пригласил в дом.

Окошки занавесил, лампу керосиновую зажег. Пригласил картошки вареной, блинов толстых из кукурузы, которые он звал чуреками. Сала нарезал, и сало у него, жука, тоже оказалось. Никогда перед Кузьмёнышами не выкладывался хозяин так богато.

Да ведь и братья теперь не те: купцы! Хозяева! Со своим товаром пришли! Какой же тут может быть толк без застолья?

Илья и бутылку поставил:

— Гуляй, Ванька! Ешь опилки! Мы живем на лесопилке!

Разлил по кружкам, пригласил угощаться. Братья посмотрели друг на друга.

Оба подумали: пить страшновато, а опозориться и того страшней. Впервые в жизни их так угощают, принимают на равных. Впервые наливают, как взрослым, сивуху.

А Илья кружку свою тянет.

— Поехали, поехали!— как говорят проводники. За удачу! Да?

Братья взяли каждый свою кружку, понюхали. Ворочают, как от помойки. Лучше бы им морса сладкого... Как-то разок угощали, вкуснотища, не то что это.

Но вида не подали, не показали, что противно. Наоборот, чокнулись громко с Ильей, будто всю жизнь только и делают, что выпивают!

Проследили глазами, как Илья без напряжения опрокинул в себя, не глотая, капли стер с подбородка и корочкой занюхал. Сразу видать, мастак!

Заметив, что братья медлят, весело приказал:

— Залпом, ну? Пить так пить, сказал котенок, когда несли его топить...

Братья натянуто засмеялись. Колька закрыл глаза, глотнул, еще глотнул, и у него сразу все потянуло обратно. Пересилив себя, сделал он еще несколько глотков, пока не закашлялся, слезы брызнули из глаз.

А Илья уж догадливо корочку с сальцем подсунул, так ловко, что попал в рот.

Колька стал жевать солененькую корочку, а слезы все текут, и судороги в горле. Ни дыхнуть, ни слова вымолвить.

И вдруг, как это произошло, сам не понял, легко,

приятно стало. Счастливое тепло разлилось по телу, жаром ударило в голову. Поглядел он на Сашку, будто другими глазами увидел, что тот еще не знает, как это замечательно, когда выпьешь. А Сашка еще мучается, головой мотает, губы вывернул наизнанку.

— А вы думаете, мы мед тут пьем!— кричит озорно Илья и по-свойски стучит Сашку по спине. И тоже ему корочку с беленьким, с тающим на языке сальцем.

— Ешь, пока живот свеж! Завянет, ни на что смотреть не станет!

Откуда-то достал спичечный коробок, стал показывать братьям, как у них на транспорте вымеряют бутылку. Спичечная коробка в рост называется «машинист», на ребро — «помощник машиниста», а плашмя — «кочегар»... Так и спрашивают, когда садятся, как, мол, будем поддавать, по машинисту или по его помощнику?

Братья дружно попросили лить по машинисту! Им эта игра понравилась.

Через полчаса, разруганные, осмелевшие, они уже хозяйничали за столом, иной раз будто покрикивали на Илью.

И вот что диво-то: он лишь улыбался, но все, все сносил! Без бинокля видно, славный и покладистый парень, этот Илья! Свой парень в доску! Подливает да подкладывает, на узел и не глядит, будто его нет.

— Тряпье и есть тряпье,— сказал, как отрезал.— Не за то принимаю, что в узле, а за то, что своими вас обоих тут почувствовал!

И предложил выпить — по «машинисту», конечно,— за смелых братьев, хоть не семеро смелых, как в кино, но уж точно, что каждый семерых стоит! С такими да с молодцами любое дельце повернуть можно. И склад, и еще что...

— Любой... Склад...— пытается отвечать Колька, но у него никак не хочет складываться слово. Все вроде сознает, слышит, а губы будто чужие, не его губы, провоцируют вместе с деревенеющим языком.— Любовь... Склад...

Сашка и не пытается говорить, лишь мотает головой.

— Там ведь этого барахла-то... Завались?— допытывается Илья, и вдруг лицо его делится надвое, натрое, множится и расплывается в глазах у Кольки.— Надо только брат да брат? А?

— Брат!— невпопад подтверждает Колька.— Я всегда брат... И он всегда брат...

Сашка согласно кивает головой и, уронив ее на руки, не поднимает от стола.

Илья, что-то сообразив, меняет тон и сам меняется, будто и не пил совсем.

— Ах, глупыши... Ах, дурачки мои зеленые... Чего мне с вами делать-то теперь?— бормочет.— Ведь, ей-бо, не дойдете до своей колонии... Не дойдете, а?— И потряс Кольку за плечо.

— Я... Готов... Я вперед... по машинисту...— выкрикнул, поднимаясь, Колька и вдруг стал валиться на стол, свою кружку с остатками самогона опрокинул. Удивился, обмакнул в лужицу палец, лизнул, и его затошнило.

Илья подхватил Кольку, потащил к порогу.

— Я и говорю... Готов! — уже другим, вовсе не дружеским голосом сказал он и, поддерживая, выволок на двор. Оставил блевать, вернулся за Сашкой.

Потом отвел обоих под навес, где лежало у него сено.

— Тут дрыхните! Машинисты! Завтра разбуду!

Вернулся домой и накрепко запер дверь.

Схватил узел и вывалил его содержимое прямо на пол. Поднимал, каждую вещь отдельно осматривал не спеша и складывал рядком на постель.

Потом снова прошелся, в обратном порядке, щупал, прикидывая, сколько же такие пальто, да шапка, да ботинки, крепкие, высокие, на кожемите, стоят... Пальто суконное, новенькое, с заграничным клеймом. А шапка своя, в Казани делали, гладенький мех, ласковый на ощупь... Не мех, кыска... Погладил, и душа размягчела.

Все любят добро, да не всех любит оно. У Ильи в жизни по-разному было, но только теперь почувствовал: фарт ему шел в руки! Не упустить бы!

12

Говорится: с кем поживешь, у того и переймешь.

Рос Илья без родителей, тех еще в тридцатом раскулачили да увезли из деревни. С тех пор сгинули. Видно, на пути в далекую Сибирь сложили свои косточки. Остался он с бабкой, так и жил, бедствовал, словом.

С малолетства ишачил в колхозе — очень уж бедный колхозик тот был. Запомнил Илья анекдотец. Ехали Черчилль, Рузвельт и Сталин, а на дороге бык. Черчилль кричит ему: «Линкор пришлю!» Рузвельт «летающей крепостью» стал пугать. Бык ни с места. А Сталин шепнул словцо, и бык, задрав хвост, убежал. Спрашивают господа,

чего же он испугался больше самолета и линкора. Сталин отвечал: «А я сказал ему, что в колхоз отдам!» Это как раз их колхоз и был.

Не успел Илья на общественных харчах окрепнуть — война. Мал он для фронта, а на трудработы годился, хоть и недобрал веса. Тощ, да мал, да зубы не все выросли.

Согнали их по повестке со всей округи, погрузили в товарняки и через всю Россию, по пути родителей, в далекую Сибирь. За дорогу оголодали они, сено ели, которым пол был устлан.

В Омске их впервые покормили в грязноватой станционной столовке. Кто поопытней — Илья запоминал, — тот немного ел. А все больше запасался. Корки за голенище, кашу в носовой платок.

Как в воду глядел! Под Новосибирск привезли, там и бросили. Месяц бездельничали: ни начальства, ни работы. Ни питания. Стали разбойничать, на возки с продуктами, с хлебом, картошкой налетать. Расхватывали да разбегались. Посмотрел сейчас Илья на колонистов, как это все на них самих похоже. Большая Россия, много в ней красивых мест, а бардак, посудить, он везде одинаковый...

Решил Илья, звали его между своими по фамилии Зверев — Зверёк, с тремя дружками к дому подаваться. Такая трудармия их не устраивала.

Сели они в проходящий товарнячок, поехали. Но глупо ехали, почти не скрываясь, и где-то перед Уралом, на перегоне, их забрали.

Посадили в пустующий домик стрелочника, заперли, часового приставили. Они в окошко увидали состав с углем, попросились будто по нужде! Часовой молод был — отпустил. Они за домик да прямо на тот состав. Только их и видели!

Стали осмотрительней. Как железнодорожный узел, слезают на подъезде. Пешочком по кругу обойдут, а у семафора свой состав караулят. Так и Урал проскочили.

Жили впроголодь, понятно. Где что выпросят или украдут. Однажды у проезжего дядьки удалось свистнуть чемодан. Съестного в нем не оказалось, но лежало офицерское нижнее белье, гимнастерка, штаны суконные. Попробовали на себя натянуть: все на шесть размеров больше, для маскарада и то не годится.

И опять Илья об этом вспомнил сегодня, рассматривая пальто.

Послали с обмундированием Зверька в деревню, но

он не такой лопух был, как эти братья. Продуктов набрал, молока, мороженного в кусках, яиц, творога, а за гимнастерку выменял рубаху по себе.

Под Тутаевом, бывшим Романовом, сонных от жратвы, их снова прихватили. Бросили до окончательного выяснения в колонию для малолетних. А колония та — под охраной да за колючей проволокой.

«Мы к Тутаеву подходим, видим сразу три угла: сборный пункт, больница рядом да проклятая тюрьма...» Так у них про свою колонию пелось. А вид, надо понимать, открывался подобный со стороны матушки-Волги.

К тому времени, как попался Илья, накопилось в колонии подростков тысячи две. Голодуха. Пока всех просеют, пока разберутся: ноги протянешь.

Однажды сговорились — бежать. Каждый день лошадь с продуктами приезжала; ей ворота открывали. Порешили между собой: как лошаденка станет выезжать, скопом броситься в открытые ворота... И — врассыпную. Кому повезет, тот на свободе будет.

Дождались, приехала дохлая кляча, тухлую рыбу привезла. Из нее баланду варили, рыбкин суп. Разгрузили, открыли ворота, тут колонисты и кинулись с криком... С криком, чтобы самим не страшно было!

Вой, визг, топот, пальба!

Зверек сразу сообразил — бросилась ребятня кучей в одну сторону, а он в другую, к Волге.

Май был, вода ледяная, но он с ходу этого не ощутил! Потом лишь понял, что не доплыть; тонуть начал...

Очнулся, лежит на печи, шубой овчинной укрыт.

Высунул голову, поглядел: изба. Дед со старухой сидят у стола, меж собой о нем толкуют. Старуха и говорит: «Давай, старик, сдадим его обратно. Там, в колонии, сказывают, убийцев всяких держат, может, и этот из них?» А старик ей в ответ: «Дура ты, дура старая! На ем написано, что он убийца? А если нет? А если и наш сынок мается где-то, а добрые люди ему откажут в помощи?»

Быстро поправился Илья. Старик ему рассказал, что работает на реке бакенщиком. Углядел на середке: кто-то руками по воде молотит, а уж видно издали, что тонет... Что за купальщик по весне, удивился, подплыл, а он, Илья, уж в беспамятстве...

Приодели Илью в сыновнее шмотье, кусок сала дали, хлеба. Старик на прощание перекрестил, впотьмах вывел из дома.

— До Ярославля тут недалече, — сказал. — И до Ры-

бинска близко, но вот как через мост пройти, не знаю. У моста охрана, могут схватить.— Но Зверек опыта за дорогу набрался. Подлез к машинисту, нанялся до Рыбинска уголь кидать, так и проскочил.

Пришел в родную деревню. Изба забита, бабки нет. Умерла бабка. Сунулся к соседке, тете Оле, ночь была, а он-то весь в угле. Увидала соседка в окошке его черную физиономию и решила, что черт лезет: такой крик подняла, что вся деревня сбежалась.

День-другой пожил Илья, все советовали ему осесть да жениться. «Пароход плывет по Волге, дым густой, густой, густой... Ох, зачем же мне жениться, погуляю холостой!»

Не сиделось Илье: на военный учет станешь, загребут опять! Пошел он дальше по России чемоданы курочить, «углы отворачивать». Опыт у него уже был. На толкучке, при посадке или с крыши вагона крючком с верхней полки. Мал, да ловок был! Да удачлив!

Но однажды попался; запихнули опять в колонию.

Но теперь-то Зверек, как и всякий зверек, заматерел. Умел, как говорят, фуфло двигать, обманывать то есть.

Стекла кирпичом натолок и вдохнул покрепче. Можно было бы и сахара толченого, но сахара в ту пору не было. Забило стеклом легкие, пошла горлом кровь. Положили в больничку. А из больнички путь на волю всегда короче. Да, видать, стекла он крупновато сделал, кровь кусками отплевывал еще долго. С полгода.

В Калининской области, близ Осташкова, завербовался на лесозаготовки — дрова пилить. Работа для дураков: пилу на себя да пилу от себя... А во время пилки как песенку приговариваешь: «Для себя, для тебя, для те-плы-ш-ка... Для себя, для тебя, для те-плы-ш-ка...»

Как-то с дружкой шел он на работу, увидел пленных фрицев, они по соседству лес валили. Жили почти как вольняшки — на краю деревни, в земляночке.

Так вот, сидят фрицы, сало жрут. Увидели, кричат: «Рус, шнель». — Мол, идите сюда, угостим!

Ребята от закуски отказались, но в памяти засело: гады фашистские наше сало жрут да нас же угощают!

На обратном пути не выдержали, решили заглянуть. Зашли в землянку, никого: те по избам да по бабам разбежались. Тут парни еще больше озверели. Это что же получается? Мы в бараках живем, баланду хлебаем, а они в тепле да на печке с нашими бабами!

Все, что было в землянке, забрали, в первую очередь

бацилу, то есть мясо, сало, консервы... Муку взяли, около пуда, да не смогли дотащить, так про запас у дороги на сосне и повесили. После, мол, заберем.

Пришли в избу к знакомой бабке. Жарь, бабка, мясо, вари, пеки и самогон доставай! Мы праздник победы устраиваем! Сегодня окружили и разгромили немецко-фашистских захватчиков, а это наш трофей военный!

Бабка ничего не поняла, но ужин приготовила.

Наелись, напились, спать завалились.

Ночью Зверек от странного чувства проснулся, будто кто-то несильно зубами его босую ногу трогает... Дернул он ногой, а там как рыкнет! Подскочил: мать честная, овчарка в избе, а рядом военные да участковый милиционер.

Допросили их и бабку допросили. Шмон у нее устроили. Бабка весь трофей, что не успели пожрать, выложила, только муку не отдала. Нет у меня муки... Не было и нет. Никаких я тринадцати килограмм в глаза не видала.

Погрузили Илью с дружкой в сани, повезли в город. А повезли через тот самый лес, где они накануне проходили. Илья дорогой и говорит: «Стой, гражданин начальник! Ты муку, кажись, спрашивал? Так вон, вишь, на суку она висит!»

Рассвирепел начальник, решил — чернуха, вранье, значит. А потом и сам увидел, кричит на Илью: «Лезь давай! Как повесил, так и снимай!» А Зверек ему в ответ: «Не... начальник... Я тебе показал, ты спасибо скажи. А мне она теперь долго не понадобится. Мне по твоей милости рыбкин суп хлебать! Так что тебе надо, ты давай и лезь на сосну!»

Слазил начальник. Ничего с ним не случилось! И опять-таки Илье развлечение!

Дали Зверьку год. Он в первый же месяц в глаз порошка от химического карандаша насыпал. Ослеп на полгода. Попал в больничку, что называется, закосил. И на волю...

Усы отрастил, даже на вид стал старше. Решил по новой жить.

Один зек еще там, в лагере, — подзалетел он туда за то, что бумажники по карманам тырил, словом, щипач, — рассказал, что земли бросовые на Кавказе. Езжай, мол, там дома прямо со скарбом и огородом раздают за бесплатно. Только не спутай, скажи, что из беженцев...

А Зверек-то из каких? Бегал же. Беженец и есть. Устроился проводником на южном направлении, ко-

лонистов к месту доставлял. Без волокиты вселился. Все, как и говорили: дом, огород... И картошка, невесть кем посаженная, в огороде растет, и подсолнух, и кукуруза зреет.

Не сразу понял, что попал он, как и положено зверьку, в капкан. Нюх ему отказал. Хотел честным путем зажить, а опять в авантюру вляпался. Да какую!

Бежать бы! Да устал он бегать. И — деньги нужны. А тут, глядь, Кузьменыши подвернулись.

Проснулись братья поздно. Солнце за середину дня перевалило. На сене стало душно.

С трудом, преодолевая вялость, дошли до избы, а уж Илья завтрак приготовил: чай да чуреки, и опять — самогонка.

Кузьменыши головами замотали: не то что пить, смотреть на нее не могли. При виде бутылки начинало поташнивать.

Медленно отхлебывали чай из железной кружки и исподтишка поглядывали на Илью, который был сегодня особенно суетлив и многословен. Он спросил:

— А вы так и не умылись?.. Ну и правильно. Часто умываться даже вредно. Я в какой-то книжке читал. А можно и после завтрака. Историю про кошку знаете? Нет? Ха! Вот, расскажу. Поймала кошка птичку. Только присела, решила закусить, а птичка-то была сообразительная, говорит: «Как же ты, кошка, не умывшись, станешь меня есть? Нечистоплотно вроде?» Только кошка лапки разняла, а птичка пырх и улетела. Вот с тех пор кошка и умывается только после еды...

И опять энергичный хозяин все пытался налить им самогона, будто ничего вчера такого и не было.

Или правда ничего и не было? Братья помнили лишь начало, остальное виделось сквозь какую-то муть. Кто-то хвалился, кричал; кто-то куда-то звал...

А может, не кричал, не звал, потому что и во сне приснилось им обоим что-то лихое, с лошадьми... Куда-то скакали на лошадях, и дух захватывало от этой скачки. Трудно было отделить сон от яви, но уж точно: лошадей наяву быть не могло!

Тут вспомнил Колька про вещи и посмотрел в угол, а потом на Сашку. И Сашка о вещах подумал.

Илья перехватил их взгляд, быстро спросил:

— Что? Потеряли что-нибудь? — И как-то странно засмеялся. Усы у него зашевелились.

— А пальто... где?— спросил Колька.

— И шапка?— добавил Сашка.— И эти... ботинки?

— Ах, вы вон о чем!— простодушно удивился Илья.— Ха! Они далеко... Их уже не догонишь!

— Как... не догонишь?— спросил Колька и посмотрел на Сашку, и оба уставились на Илью, который между тем продолжал им улыбаться. Но улыбка стерлась, он озабоченно спросил:

— Вы же мне подарили, эти... тряпочки? Я вас вчера правильно понял?

— Подарили?— переспросил Колька, округляя глаза.

— Мы? Подарили?— повторил за ним Сашка.

Оба вытаращились на Илью, будто впервые его видели.

— А вы что? И не помните? Как дарили?

Но Илья и сам увидел, как братья ошарашены.

Встал, подлил им чая. Отломил по куску чурека. Сел, покачал удрученно головой.

— Ха! Вы даете... Ну, может быть, мне напомнить, а?— И так как братья продолжали молчать, он рассказал про вчерашнее, как стал он торговаться, предлагал на выбор картошку, кукурузу или деньги, а Сашка попросил сала. А когда порешили, что даст он им шматок сала да ведро картошки, тот же Сашка вдруг заявил: да бери задарма! Мы завтра снова принесем! Илья, конечно, наотрез отказывался, но тут и Колька присоединился к брату и стал наседать, уговаривать Илью в честь их крепкой дружбы взять эту дурацкое барахло и унести, чтобы с глаз долой. А им вроде ничего не стоит снова покурочить этот складик. Где они, как Сашка объяснял, лишь замок в задвижке провернули...

Братья выслушали Илью, уставясь в пол. Они даже друг на друга не смотрели. Ничего такого они вспомнить не могли. Но если Илья про задвижку знает... Тогда... Лихо это они по пьянке добро свое профукали!

Илья предложил еще чайку согреть, но братья заторопились домой.

— Ха! Понимаю! Времечко не ждет! Не ждет!— оживился Илья и встал. И братья встали.— Можете на меня, как всегда... Как на своего,— говорил он, выходя вслед за ребятами во двор.— Если свистнете, готов соответствовать! А подарка не возьму больше, так и знайте! Задвижечку отодвигайте, одежду несите, но... За наличные! Ну! По петушкам?

Колька и Сашка неуверенно кивали. Были они подавлены. Торговали — веселились, подсчитали — прослезились!

У самой калитки Колька со вздохом оглянулся и, не глядя Илье в глаза, спросил, голос его прозвучал жалобно:

— Но... Может, нам сала немного... Мы бы взяли. Сашка промолчал. Он даже отвернулся, чтобы не видеть Колькиного унижения.

Илья уж совсем собрался уходить. Удивился. Переспросил:

— Сала? Вам... Сала?— И сделал паузу, рассматривая в упор братьев.— Так вы, живоглоты, вчера его подобрали, у меня только голая тряпица с солью осталась!

Братья удрученно молчали. Про сало, кроме того кусочка, что совал им на закус сам Илья, они тоже не помнили.

— С кормежкой вы того... Вы за четверых хаваете-то!— Илья вздохнул, так неприятно было ему отказывать своим лучшим друзьям.

Вдруг он оживился:

— Ха! Постой-ка! Посмотрю, а вдруг...

Щедрость из него так и перла. И щедрость, и широта душевная. Не мог он отпустить лучших друзей с пустыми руками!

Он скрылся в доме, вернулся, неся в руках небольшой, с пол-ладони кусочек сала. Тут же отыскал лопушок, завернул в него. Помедлил, поколебался, сразу видать, последнее отдавал. От сердца отрывал, как говорят!

Он так и сказал, протягивая:

— Ладно уж, в честь дружбы... Сам как-нибудь проживу.

Братья вразнобой сказали: «Спасибо». И пошли.

Илья смотрел им вслед. Вдруг крикнул:

— Эй, живоглоты!

Кузьменыши оглянулись. Он молча на них смотрел, будто колебался, сказать или не сказать, но вдруг крикнул негромко:

— Тикали б вы отсюда! Правду говорю! Бегите! Что есть мочи бегите!

13

В колонию не пошли.

Если даже директор, как говорили, что-то там привез и наварят горячей бурды, им все равно не хватит. Опоздали. Еще кому-то подарочек. Правда, не такой жирный.

Только скрылась деревня, свернули они с проселка,

покрытого мягкой горячей пылью, в поле, а за ним, вдоль кустиков, речка Сунжа бежит. Тут по-над берегом, среди зарослей колючей ежевики и дикой маслины с мелкими серебристыми листьями — птицы на нее, как заметил Сашка, никогда не садились, — прилегли на траву.

Говорить не хотелось.

Колька первый не скоро произнес:

— Голова трещит! А у тебя?

Сашка угрюмо отмалчивался.

— И трещит, и гудит... Паровоз, а не голова! Больше пить никогда не буду... Я и не думал, что это так...

Он не договорил, спустился с берега к воде, стал зачерпывать воду руками и плескать на лицо. Потом, сложив руки ковшичком, напился и, прихватив сколько можно воды, хоть капало сквозь пальцы, отнес к Сашке и вылил ему на лицо. Плеснул, Сашка даже не отвернулся, а может, и не заметил.

— Ты знаешь, что такое собачник? — спросил он, не открывая глаз. Капли блестели у него на носу, на лбу и стекали по вискам.

— Что? — без любопытства спросил Колька. — Собачник? — Он сообразил, что в умной башке Сашки что-то заваривалось важное.

— Нет, не знаю.

— Ящик... Железный такой ящик, — продолжал Сашка ровно, глаз не открывая. Может, он сон свой рассказывал. — Снизу вагона его подвешивают... Это когда мы на одной станции стояли, я в соседнем поезде углядел... А Зверек флажками ткнул и говорит: собачник, мол, до войны или когда там... собак, говорит, в таких ящиках возили. А сейчас и людям впору ездить.

— Ловок твой Зверек! — Колька вздохнул.

— Вместе ворон ловили, — сказал Сашка и открыл глаза. — Так вот, я тогда залез, примерился... И правда ехать можно.

Колька понял.

— Значит, пора? — спросил, глядя на Сашку. — А колония?

— Попробовали же!

Сашка рассказал анекдот про человека, который увидел на дороге дерьмо. Нагнулся, удивился, на язык попробовал. И вдруг воскликнул: «Хорошо, попробовал, а то бы вляпался!»

Колька не засмеялся. Он прикрыл лопушкой голову и дремал на солнышке. Да и чего смеяться, если они оба

по тому самому анекдоту вляпались... С колонией вляпались... Да и с Ильей тоже.

А Сашка уже не терпел. Его идея подтачивала.

— Пойдем на станцию,— предложил он.

— Сейчас?

— А когда еще...

— Может, сперва это... Может, склад покурочить? Как говорит Зверек...

— Не Зверек он, Зверь,— сказал Сашка жестко.— Ну, пошли? Да ты не думай, мы сегодня и вернемся!

Колька понял, что Сашка не зазря себя и его гонит, значит, так надо.

— Полежим чуть-чуть?— попросил он.— У меня ноги дрожат.

— Вот и разойдемся,— деловито произнес Сашка.— Вон, кстати, подвода...

Вовремя Сашка углядел подводу, а так бы топать им на станцию до вечера. И то неизвестно, дошли бы.

Через поле наперерез выскочили они к телеге, крикнули издалека:

— На станцию?.. Дяденька?

— На станцию, тетенька,— сказал мужчина и показал, рукой повелел:— Садись! Авось да небось добежим! У меня паровоз ходкий!

Не старый мужик и не седой, как заметили братья, но старей Ильи. В линялой, до белизны выгоревшей гимнастерке с белыми от кальсон пуговицами, в кепочке с козырьком на глаза. Сидел, подремывал, изредка вскидывал на дорогу светлые с голубизной глаза и опять погружался в себя. На братьев, подсевших к нему, он уже не обращал внимания.

Где-то лишь на подъезде к станции любопытствовал:

— Колонисты небось?

— А что?— настороженно спросил Колька.

— Бегете...

— Куда... Мы бегем?

— Ну куды-куды... Ясно, куды все бегут... Домой!— сказал мужик и причмокнул, понукая лошадь.

— Может, у кого и есть дом... А у кого и нет,— огрызнулся Колька. И посмотрел на мужика.

Но тот, видать, не собирался ссориться и разговор затеял вовсе не для обличения. Он приподнял кепочку, глянул на братьев, точно в голубое окунул. Молвил кротко:

— А ведь верно. У кого он есть... А у кого? Я скажу, такая война, что всех перевернула и выкинула из привычного... Небо с землей поперепуталось, живые с мертвяками... А нонче-то вдруг все поняли — войне-то конец... О доме заговорили... — Он молчал, но ответа не ждал. В свое погрузился. И снова начал неожиданно: — До этого о жизни не думали, думали не как жить, а как бы выжить... Не до жиру, быть бы живу, во как думали! Как уцелеть. — Он постучал кнутовищем по ноге, и она отдалась деревянным стуком. Только теперь братья заметили — мужик-то без ноги. Инвалид, значит.

Он между тем продолжал:

— ...Отдал часть себя, другую часть готов был отдать. Вроде сам себе не нужен был. А сейчас дело-то к концу, так себя жалко стало... А вдруг, думаю, поживу? А где жить? — спрашиваю. — Дом-то где? Где? Нету... Семью поубивали и дом спалили. Так я в свою деревню не поехал, как узнал. Приехать на такое — все равно что на кладбище поселиться! Кажен день кровью истекать. Себя убьешь... Вот и решился в Березовскую... Ну, как приживусь... Вы-то малы, у вас запас времени есть шерстью обрасти. А у mine нет. Я без надежды поселялся... Это сейчас надежда появилась. Вон, за станцией, на подсобном я вкалываю. Если что, Демьяна спросите...

Сказал и снова будто под козырек спрятался. Ушел, как черепашка под панцирь.

Когда братья у станции сошли, поблагодарили, он вроде бы оживился, кивнул:

— Бывайте! — И дернул вожжи. — А вообще приходите, если не побегете... Я-то лично не побегу. Край-то богатый, можно бы жить... Страх все портит. А мне так все одно бояться нечего. Кончилась моя боясть...

Братья еще раз сказали «спасибо» и пошли. Враскорячку пошли, костистые их зады на тележных слегах порядком набило. Добре́ли до серных ямок, ополоснулись, стало легче. Совсем легко. Будто те вонючие ямки были наполнены живой водой из сказки.

А когда-то, в невероятно далекие времена, ехали сюда, на воды, барышни и барины из северных столиц... В белых нарядах с цветными зонтиками, в богатых экипажах, гуляли тут столичные дамы и усатые офицеры, и все затем лишь, чтобы попить кавказских вод и привести в порядок здоровье... Играл им тут духовой оркестр, цвели глицинии. А после горячих вод прекрасные господа поднимались наверх, к ротонде, и смотрели на даль-

ние горы в закатном золотом свете... Как выразилась Регина Петровна: лицезрели!

Так ли было, или придумала воспитательница сказку, братья не разобрали. Воды-то были, они тут и до Кузьмёнышей текли. А вот что касается господ, ради ямок тащившихся без поезда из Москвы, тут братья откровенно засомневались. Ради чурека, скажем, ради картошки или алычи другое дело... Жрать захочешь, прискочишь... А вода, она и есть вода. Ешь — вода, пей — вода...

Но поезда все не было, а его здесь, с горки-то, изда- лека видать, братья забрались на небольшую вершинку, где блистала белоснежная ротонда.

Вблизи она оказалась не такой уж белоснежной. Была она облезлая, загаженная, да к тому же все колонны ис- писаны, исцарапаны надписями: по-русски и по-немецки, наверное.

Сашка присел на каменные ступени, стал смотреть на долину. Как некогда барышни и кавалеры смотрели. А Колька нашел острый камень и нацарапал на колонне: «Кузьмины из Томилина. 10.9.44 г.».

Усмехнулся, разглядывая надпись. Знайте наших, то- же, мол, принимали воды и лицезрели закаты в горах! Приедут они через... ну... через двадцать лет стариками, как этот Демьян, покажут шакалам детдомовским на ро- тонду: гуляли тут с Сашкой... Оркестр, мол, играл, и барышни с зонтиками ахали от восторга...

Колька свою картину додумать не успел, за дальним изгибом плешивой горы дымок показался. Братья рыс- цой побежали вниз, успели как раз к поезду.

Сашка деловито прошел вдоль состава, заглядывая под вагоны, наконец нашел то, что надо, позвал брата. — Смотри! — указал пальцем.

Прямо под вагоном, нависая над рельсой, прикреплен грязный рыжий ящик, продолговатый, как гроб.

Сашка приподнял крышку и велел Кольке лезть.

— А не уедем?

— Ну, уедем, — сказал Сашка. — Ну и что?

Громко сопя от натуги, Колька влез в ящик, потом туда забрался и Сашка. Выходило, что валетом ехать можно. Прямо в боковой стенке набиты круглые отвер- стия, в них можно смотреть одним глазом. Рядом шпа- лы, рельсы, трава. Одно боязно, не оторвался бы ящик на ходу, а то правда гробом станет.

— Гроб железный с музыкой! — сказал Колька в ды-

ру.— Из северных столиц... В экипаже, на воды... Господа прибыли, Кузьмины!

И щеки надул: «Пум, пум, пум, пум...» Оркестром заиграл в честь своего прибытия в собачнике.

А Сашка сказал:

— За бесплатно куда хошь? А?

— А куда ты хошь?— спросил Колька.— Пум, пум, пум...

— Дальше, дальше,— сказал Сашка.— Я еще дальше хочу. Я обратно не хочу.

— А хуже не будет?

— Чем сейчас-то?

— Да. Чем сейчас!

Поезд впереди загудел, громыхнули вагоны. Ящик с силой трянуло.

Колька громче ударил марш: «Пум, пум, пум...»

А Сашка предложил:

— Поехали, а?

— Сейчас?

— А что?

— А Регина Петровна?

Сашка промолчал.

— Она с мужичками одна останется? Не жалко?— крикнул Колька.

Сашка быстро откинул крышку и выскочил. За ним вывалился и Колька, споткнулся о шпалину. Смотрели вслед поезду, вагону со своим, уже ставшим своим, ящиком. Будто мечту проводили.

Ночевали в полусгоревшем товарняке на запасных путях. У Регины Петровны объявились лишь вечером следующего дня.

Но прежде прошли мимо склада, чтобы убедиться, что замок, тот самый замок с задвижкой, на месте.

Воспитательница открыла не тотчас. Увидев братьев, пригласила войти, но сделала знак: тише, мол, дети спят.

Кузьмёныши на цыпочках прошли в комнату, оглядываясь на кровать, где валетом в разных позах спали мужички. Жорес разбросанно, на спине, а Марат, наоборот, комочком, натянув одеяло на голову. Сейчас стало заметно, что Жорес старше.

Сама Регина Петровна была в ярко-розовом, сверкающем, как золото, платье, с пуговицами и очень длинном, до пола.

Такая блестящая, с распущенными черными волосами,

она показалась братьям еще прекраснее. Вот уж и правда царица.

— Садитесь. Я вас ждала. С чем пришли, дружочки? Голодные?

— Нет,— отвечал за обоих Сашка.— Мы уже один раз ели.

А Колька положил на тумбочку сало, завернутое в лопушок.

Регина Петровна посмотрела на сало, не притрагиваясь к нему, на ребят. Покачала головой.

— Нет, нет. Спасибо. Я не возьму.

И так как братья недоуменно молчали, пояснила:

— Вы заработали, вы и ешьте! А как, кстати, вы его заработали?

Братья переглянулись.

— Ну, вот,— сказала Регина Петровна.— Думаю, что мы друг друга поняли. Правда?

Сашка кивнул. Он соображал быстрее Кольки. Но тут и соображать не надо. Воспитательница еще там, у склада, догадалась о краже вещей. Оттого и волновалась, и ждала. Но ведь не выдала! Вот главное!

Она между тем продолжала:

— Я ведь вас искала, спрашивала. Вы не ночевали, да? Все решили, что вы удрали, говорят, вас видели на станции... Но я не поверила, я знала, что вы не уедете так. Я не ошиблась.

Регина Петровна полезла в карман висящего на стене пальто, что-то поискала и, не найдя, вернулась, села.

— Господи, как без курева тяжело... Хоть травку какую... Ну, ладно. Вот для чего я вас искала: на днях мы начинаем работать, на консервном заводе. Петр Анисимович договорился. Работать будут старшеклассники: пятые — седьмые классы. Но я записала и вас... Хоть подкормитесь там. Вы поняли, да?

Братья неуверенно кивнули, никакой завод не входил в их планы.

— Пожалуйста, не перепутайте: вы у меня не четвертый, вы у меня пятый класс... Младших пошлют в колхоз яблоки собирать... А теперь идите спать.— И уже вслед:— Сало, сало свое не забудьте!

Колька без слов забрал лопушок с салом. В дверях как по команде оба брата обернулись.

— Вообще-то мы думали... Что мы...

— Что — вы?

— Чуть не уехали!— выпалил Сашка.

— Совсем?— как-то глухо произнесла Регина Петровна. И все в ней потухло.

— Ага.

— А мы? А остальные?

Ребята замаялись. Но ведь и так было понятно, что они не уехали потому лишь, что думали о ней.

— Дружочки мои... Подождите!— быстро, горячо подхватила Регина Петровна.— Вот на консервный завод съездим... Поглядим... А вдруг да понравится? Я думаю, что у нас уладится... Уладится. Вот увидите.

Колька ничего не ответил, он так быстро соображать не мог. А Сашка, нахмурясь, глядя в пол, произнес как бы за двоих:

— Вообще-то... Мы подождем. Правда.

Получилось почти по-взрослому.

— Ну и лады.— Регина Петровна чуть повеселела.— А у меня еще сюрприз... Чуть не забыла. Подите-ка сюда.

Она достала из тумбочки огромную мохнатую шапку, а из шапки извлекла ремешок.

Братья вперились в шапку глазами.

— Что это?

— Папаха... Наверное...

— Откуда?

— Из подсобки... От самодеятельности, что ли, осталось. А может, из деревни... Не знаю. Там много этого... Ребята нашли... Ну, пошли дурить, маскарад устроили...— Регина Петровна прислушалась к крикам во дворе.— А я для вас прихватила... Нравится?

Братья лишь переглянулись: сообразили свою промашку. Как же они, общаривая чердаки, пропустили подсобку! А если б там пожрать было?

Колька заинтересованно спросил:

— А черкески с патрончиками там не было?

— Не видела,— сказала Регина Петровна.— Был кинжал, только сломанный, и поясок... Мне показалось, что он вам пригодится.

Но братья пояском не заинтересовались. Они стали по очереди примерять папаху. Колька залез в нее по шею и утробным голосом заорал песню, забыв про спящих мужичков.

И в какой стороне я ни бу-ду-у,
По какой ни пройду я тропе,
Друга я никогда не забуду-у-у,
Если с ним подружился в Москве-е-е!

— Тише ты! — Сашка стянул с него папаху и нахлобучил на себя.— Я буду Хаджи-Мурат! А ты...

— А я Буденный! — крикнул Колька и потянул к себе папаху.— Буденный-то за красных, а твой Хаджи-Мурат за фашистов!

— Это Хаджи-Мурат за фашистов?

Регина Петровна прекратила спор, отобрав у них папаху.

Улыбнувшись, произнесла:

— А я сейчас подумала... Я ее разрежу и сошью вам на зиму два капора.

— Чего? — переспросили братья.— Тапора?

— Ну, я знаю, что... Шапки, в общем... Все польза. А пояс можете взять, Коле для штанов,— ты у нас Колято? — вместо веревки сойдет.

Братья уткнулись в ремешок, узенький, в темных заклепках и узорах, вдобавок на нем болталось множество других ремешков-висюлек.

Колька примерил новинку, довольный, решил:

— Я на нем ложку буду носить... И еще что-нибудь...

В пору бы повесить для красоты ключи, украденные у Ильи, да ведь сопрут! Может, кукурузу? Вообразил: Колька идет по томилинскому детдому, а на поясе у него, словно гранаты-лимонки, кочаны кукурузные висят! И папаха на затылке! Знай наших! С гор вернулись! Не оробели! Нажрались вволю да с собой привезли! По кочану отцепляет и шакалам отдает!

Но я знаю, мы встретимся снова,
И тогда, дорогая, вдвоем...

Регина Петровна легонечко подтолкнула братьев к дверям:

— Идите во двор петь!

Братья ушли.

Прикрыв дверь, она вернулась и снова пошарила в карманах пальто, собирая в ладонь табачные крошки. Набралось вместе с мусором немного. Из клочка газеты неумело свернула самокрутку, прикурила и вышла за дверь. Долго стояла на крылечке, приглядываясь к ребятам во дворе и стараясь среди них угадать Кузьмёнышей. Нацепив папаху, благо в подсобке их оказалось много, колонисты с палками гонялись друг за другом, изображая войну. А кто-то волочил за собой дырявую бурку, голые пятки мелькали из-под тяжелой полы.

Регина Петровна последний раз затянулась и ушла домой. Прилегла, попыталась спать, но не спалось. Не-

сколько раз вставала, глядела в окно. Наконец хоть чем-то решила себя занять. Взяла ножницы и стала резать папаху на две равные части. Думала о Кузьмёнышах, о том, какие замечательно теплые шапки выйдут из этой папахи, и совсем забыла о времени. Она не заметила, как тихо, будто сама по себе, откинулась створка окна и оттуда выглянуло черное дуло.

Три человека смотрели из темноты на ее руки, кромсающие на куски папаху...

14

В ребячьих спальнях ор продолжался допоздна. И крики, и визги, и беготня. Регина Петровна была права: колонистов накормили, и они ожили, известно, кормежка — праздник, да какой!

Оттого и разбузились: выли, пищали, блеяли, гавкали, мычали, лаяли и все в том же духе.

Кому-то пришло в голову: завопили песню. Не в лад, но громко.

Бродили мы с товарищем вдвоем,
Бродили мы с товарищем вдвоем.
Бродили мы с товарищем по диким по горам,
По диким по го-ра-ам!

Поначалу шло жидковато, кто во что горазд, но вот уж голос за голосом, ниточка к ниточке вплелись, встроились, сложились, и грянуло, окошки позванивали...

Вдруг камень покатился, ого-го!
Вдруг камень покатился, ого-го!
Вдруг камень покатился и товарищ мой упал!
Товарищ мой у-па-л!

Особенно дружно выходило это: «Ого-го!» Тут уж ревели все, кто мог, и со слухом, и без слуха, реветь было приятно. Да и воздуха в легких хватало.

Я взял его за руку, ого-го!
Я взял его за ногу, ого-го!
Я за руку, я за ногу, товарищ не встает!
То-ва-рищ не вста-ет!
Я плюнул ему в рожу, ого-го!
Я плюнул ему в рожу, ого-го!
Я плюнул ему в рожу, он обратно не плюет,
Об-ра-тно не плюет!

Далее, как полагается, товарищу вырывают яму (ого-го какую!) и хоронят. А потом земля зашевелилась (ого-го!), и товарищ встает из нее и... «В рожу мне плюет!» Ответил, в общем. И сам — живой. Смешно! Закатились, хохотали...

Затянули тюремную: «Сижу в тоске и вспоминаю я, а слезы катятся из глаз моих...» Не допели. Слезы под такое настроение не подходили.

Заводили разухабистые уличные, блатные, рыночные (жалостливые), сиротские, инвалидные, лагерные, вокзальные и поездные, колониетские, сибирско-ссылные, бытовые, одесские — воровские (жестко-сентиментальные), хулиганские, каторжные (из дореволюционных) и некоторые из кино... Из «Большой жизни»: «Прощай, Маруся, блядовая...» По-настоящему-то надо «плитовая», но пели только так!

Но уж такой стройности не выходило. В каждом углу тянули свое, а вскоре и вовсе стихло.

Взрыв раздался под утро. Но было еще темно.

Кузьмёныши проснулись одновременно. Обоим показалось, что на них упала бомба. Это было им знакомо по первым месяцам войны.

Во все окна полыхнуло зарево, окрасив стены в дрожащий кровавый свет. Было слышно, как внизу у девочек кто-то взвизгнул и закричал.

Сразу несколько голосов завопило:

— Горим! Горим!

Братья спали без матрацев и не раздевались, не то железная сетка отпечатается до самых ребер. Едва соображая, вместе со всеми в панике бросились к выходу. Двери отлетели. Задние подмяли передних, началась свалка. В темноте кому-то отдавили пальцы рук, разбили нос.

Кузьмёнышам повезло, их лишь чуть помяло.

Высыпали во двор и окунулись в голоса, в беготню, в яркий и жаркий свет, в какую-то зловеще-веселую панику.

Суеты было много, никто ничего не понимал, все бежали, и все кричали. Стало видно, что горит дом, тот самый, где располагался склад.

Но первая мысль наших братьев была не о складе, конечно, о Регине Петровне с мужичками... Где она? Успела выскочить?

Пока опупело смотрели, соображали, а после крепкого сна соображалось туго, увидели и воспитательницу. Прижав к себе судорожно мужичков, она стояла посреди всей этой суетни, одна, такая застывшая, будто онемелая, в огромных глазах ее был страх.

— Регина Петровна! — закричали громко братья и бросились прямо к ней, с кем-то по дороге сталкиваясь, кого-то отпихивая, — Регина Петровна, мы тут! Мы тут!

Она лишь краем глаза зацепилась за кричавших ребят и, ничем не показав, что увидела или услышала их, вновь уставилась на огонь, пламя прыгало в ее расширенных зрачках.

Подскочил Петр Анисимович, крикнул неведомо кому: — Где ведра? Несите ведра! Это ведь непонятно, что происходит! — И исчез.

Тут же появился снова, уже с ведром воды.

Закрываясь портфелем от огня, он направился к горящему дому, но близко подойти не смог и выплеснул воду наземь. Она тут же превратилась в пар.

Теперь, когда первый страх и чувство опасности прошли, ребятня, даже девочки, уже не вопили от испуга, а носились по двору радостно-возбужденные, ошалелые от такого невиданного зрелища! Им уже нравилось, что так горело!

Пламя возносилось вертикально вверх, как гигантская свеча, и гудело, рассыпая дождем крупные искры.

Дом светился изнутри, обнажился его каркас. В это мгновение он казался прозрачным, и каждую накалившую огнем балочку в его скелете можно было сейчас разглядеть.

Лишь несколько девочек, из самых боязливых, прибились, как к спасительному островку, к стоящей все так же неподвижно Регине Петровне.

Петр Анисимович, обращаясь к Регине Петровне, закричал:

— Вы видели? Что-нибудь видели?

Регина Петровна не обернулась к директору, будто не заметила его. Не сразу до нее дошло, что это к ней, к ней обращаются с вопросом.

— Что... Видела... — медленно, как во сне, произнесла она, не отрывая взгляда от огня.

— Я спрашиваю! — кричал Петр Анисимович и все отгораживался от пламени портфелем. — Вы видели, как взорвалось? Видели или нет? И потом это... На лошадях...

— На лошадях? — пробормотала Регина Петровна. — На каких лошадях?

— Это ведь непонятно, что происходит! — закричал Петр Анисимович, но осекся: только теперь дошло, что воспитательнице худо.

Подбежала другая воспитательница, Евгения Васильевна, сунула ватку с нашатырем к носу Регины Петровны, потерла ей виски, а та вдруг ахнула и стала оседать, запрокидывая голову.

Ее тут же увели в спальню девочек. Мужичков забрали туда еще раньше.

Кузьмёныши, наблюдавшие все это, ринулись следом на помощь своей Регине Петровне, но их дальше дверей не пустили.

— Идите, идите...— сказали.— Все тушат пожар, а вы чего тут шлёетесь?

За дверью, слышно стало, кто-то плакал навзрыд, какая-то девочка, ее утешали.

— Ну, кто сказал, что лошади,— тускло произносил чей-то голос.— Ерунда... Честное слово, ерунда... Не было никаких лошадей и никаких гранат... Ну, что-то там взорвалось на складе... Там ведь керосин, и масло, и что угодно... Разве теперь узнаешь!

Братья посмотрели друг на друга и пошли во двор. Уже обвалилась крыша дома, подняв к небу салют из горящих углей, даже головешек. Искры медленно падали вниз и светлячками тлели в сухой траве. Никто не пытался их тушить. Даже Петр Анисимович, поняв, что соседним зданиям пожар не угрожает, притулился на крылечке столовой и так, прижав портфель к груди, сидел, глядя на огонь. Было что-то жалкое, беспомощное в его позе, будто говорившей: «Это ведь непонятно, что происходит!»

За свою сорокалетнюю жизнь этот человек пережил множество катастроф, если и выживал, то благодаря природному долготерпению.

Когда он ушел с орсовской базы, сам ушел, ибо тащили вокруг все и вся, пахло тюрьмой, направили его в роно и там всучили детишек. На него смотрели как на человека конченого, ибо знали, какие уж там детишки — пятьсот головорезов худших из худших: тот, кто отсеивал, отделялся от самых отъявленных. И пока он готовил поезд, подыскивал воспитателей, выпрашивал продукты и одежду, сквозила в лицах районного начальства невысказанная мысль: не повезло Мешкову! Сгорел Мешков! А едет, потому что знает, хуже ему уже не будет... Некуда, как говорят!

Стало заметно, что уже рассвело.

Неожиданно из колхоза прикатила водовозка с пожарной помпой.

Ребята сразу нашли себе занятие: качать насос; по двое, а потом по четверо вверх и вниз. Но быстро устали, отвалили. Лишь Кузьмёныши, мокрые, старались помогать взрослым, пока вдруг не обнаружили на ладонях белые пузыри. Их погнало спать.

Уходя, они снова попытались проникнуть к Регине Петровне, но дверь оказалась запертой. Постояли, прислушиваясь, но никаких голосов не раздавалось с той стороны.

Спать тоже не хотелось.

Братья пошлялись по двору, теперь совсем пустынно; странно было видеть, как дымятся остатки дома в наступившей вдруг пустоте.

Помпа уехала, стало тихо.

Сашка вполголоса сказал:

— Ты думаешь... Гранатой?

— Почему гранатой? — спросил тихо Колька.

— А чем же? Ты слышал, как грохнуло?

— Я спал... — ответил Колька. — Мне приснилось, что меня по башке треснуло, а потом я проснулся и решил, что бомба.

— А лошади?

— Какие лошади?

— Они же говорят, были лошади.

— Говорят, кур доят, а коровы яйца несут...

— Значит, не веришь? — сказал Сашка. Он повторил: — Значит, не веришь... Пойдем!

— Куда?

Сашка не ответил. Взял Кольку за руку, крепко взял, была какая-то решительность в нем сейчас. Повел вдоль зеленой ограды к их тайному лазу. Первым прокорябался сквозь колючки, дождался Кольку, снова схватил его за руку и потащил за собой к краю кукурузного поля, которое примыкало к тыльной стороне сгоревшего здания.

Среди поломанных стволов кукурузы на мягкой земле четко различались многочисленные следы копыт. Кое-где была вывернута трава и отброшена в стороны. Клочки ее висели даже на стеблях кукурузы.

Колька нагнулся и поднял гильзу. Блестящую медную гильзу, ее нетрудно было заметить в траве.

Сашка взял у брата гильзу, повертел ее и сунул в карман. Пригодится.

— А как ты догадался? — спросил Колька и снова пошарил глазами по земле, но нигде ничего больше не валялось.

— Как... Ясно же, что если они были, то были тут... Что они, дураки во двор заезжать! Это же ловушка!

— А кто? Они?

— Не знаю.

— Думаешь, они и стреляли?

— Не знаю,— повторил Сашка и посмотрел на горы. Чистое, без единого облачка, наступало новое утро. Горы празднично блестели в высоте и светились своими снежными вершинами. Они казались совсем близкими.

Никакой пожар, никакие ночные страхи не могли поколебать этой вечной неземной красоты.

— Жаркий день будет,— сказал Колька и задумался.— А в Томилине небось в школу пошли...

Братья посмотрели друг на друга и одновременно подумали о том, что в Томилине, в этой грязной помойке, хоть и было им неуютно, но жилось проще, спокойней, чем здесь, среди этих прекрасных гор.

15

К обеду того же дня приехали на мотоцикле два милиционера, с ними еще военный.

Пока дети, столпившись во дворе, рассматривали чудо-мотоцикл да спорили вокруг него, приехавшие прошли к директору, о чем-то с ним поговорили и с воспитателями поговорили, обошли кругом сгоревшего дома и укатили, поднимая далеко видный шлейф белой пыли.

Ребят никто ни о чем не спрашивал, и Кузьмёнышей тоже. Но даже если бы спросили, они б не рассказали о своих находках.

Во время обеда в столовой объявили, чтобы все знали, что никакого опасного взрыва от бомбы и гранаты не было, а случился по неизвестной причине пожар на складе, взорвалась канистра с горючим, от которой и загорелся весь дом.

Объявлял директор Петр Анисимович, стоя посреди столовой с портфелем, свободной рукой он вытирал пот со лба. Вид у него был очень озабоченный.

Он объявил и вдруг добавил:

— Это ведь непонятно, что происходит,— чем рассмешил обедавших колонистов.

Кузьмёныши в это время тоже были в столовой, проникнув по второму разу, наверстывая за пропущенный вчера обед. Да и баланда из риса пришлась им по душе.

При словах директора о канистре, которая якобы взорвалась, они многозначительно переглянулись и продолжали хлебать дальше.

Директор еще добавил, что завтра придет машина от консервного завода и заберет старшеклассников. Младшие

своим ходом отправятся в колхозный сад и будут собирать яблоки. Их там накормят...

На этом история с пожаром вроде бы закончилась.

Обгорелые остатки дома разгребли, бревна, обугленные, распилили на дрова, колонистов в саже с ног до головы послали отмываться в Сунжу, и они терлись песком.

Братья узнали, что Регину Петровну с мужичками временно поселили на кухне, отгородив одеялом угол. Но самой ее не было. Девочки сказали, что она уехала в больницу, а за мужичками просила присмотреть своих девочек, но и Кузьмёнышей просила помогать.

Братья кивнули.

— А когда вернется? — спросил Колька.

— Через несколько дней. А что?

— Ничего. Она заболела, да?

— Нет, — сказали девочки. — Но так нужно.

Братья ушли. Между собой рассудили, что девочки врут и что Регина Петровна не стала бы бросать мужичков, если бы не заболела. Но коли она и вправду обещала скоро приехать, значит, это не страшно. Вот только попрут их с консервного завода. Доказывай потом, что малорослые от недостатка соли. И ноги не растут, и руки, и зубы... И голова тоже не растёт.

Известно, в войну с солью, да спичками, да с мылом всегда тяжело. Это бабы хорошо знают. Но и детдомовцы упражнялись в изготовлении фальшивого мыла: на деревянный брусочек наплавливали от обмылков, насобирав у бани, тонкий слой и загоняли.

Вместо спичек были «катыши», кремень, да железка, да кусок трута. А вот соль изобрести не удавалось. Как-то проникли они на скотный двор, где лежал огромный соляной камень. Встав на четвереньки, как великую сладость, облизывали тот камень, никакой силой не могли их оторвать.

Старшеклассники, если посудить, не намного переросли Кузьмёнышей, но отличались от них внешним видом. Прическами отличались: у них, как в той песенке, уже вился «чубчик, чубчик, чубчик кучерявый...». Они по-взрослому, втягивая в себя дым, курили. На девочек смотрели презрительно: «бабы-дуры!» И цыкали через редкие зубы слюной наземь. Зубы никак не хотели расти.

Особенно шепелявил Митек, его братья знали.

— Шегодня не вышпался, а как вштал, пошмотрел в штоловой, што дают, и вшпотел...

Над его шепелявостью смеялись, говорили: «Это Митек,

который вшпотел, когда шъел в штоловой швой ришовый шуп!»

Так вот, на следующее утро, очень раненько, когда от земли, от поля еще веет чистотой и легкостью и совсем мало пыли, прямо во двор въехала зеленая новенькая машина «студебеккер», вся в заграничных надписях — и на борту, и на капоте, и на двери кабины. Борта у нее в кузове откидывались вовнутрь, и из них получались такие решетчатые деревянные скамейки во всю длину машины.

Из кабины, громко хлопнув дверцей, выскочила молодая женщина в штанах, как у мужчины, в ватнике и заломленной лихой фуражке. Но все ребята сразу увидели, что это женщина, а через минуту уже знали, что ее зовут Вера.

Потом она приезжала каждое утро и отчего-то всегда смеялась, глядя, как колонисты наперегонки переваливаются в кузов машины. Она была веселым человеком и покрикивала, заливаясь от смеха: «Давай, мужики! Напружинься, счас вкалывать поедем! А то без вас конвейер не ползет!»

О том, что такое конвейер и как он ползет, ребята узнали позже, но в эту шоферицу Веру, хоть и была она в мужчинской одежде и, что всего хуже, в штанах, влюбились все колонисты поголовно. Они говорили о Вере проникновенно, каждый мечтая втайне понравиться ей, а может, и жениться, когда вырастет. И каждый, конечно же, с этого времени хотел быть, как Вера, шофером. Девочки тоже.

В первое же утро, как и предполагали братья, их попытались из машины турнуть. Тем более что и другой малышни набилось много. Она потом набивалась каждый день, и каждый день приходила воспитательница и вытаскивала зайцев, мечтавших проехать на машине до завода. Обратно они были согласны топать пешком.

Но от зайцев отделявались, а от Кузьмёнышей не смогли. В два горла они завопили, что они старшие, хоть и живут в младшей спальне, что они мало соли ели и что рост — это еще не все.

Пожалуй, по одному их, как и остальных зайцев, все-таки выковыряли бы из машины, но двоих, когда они держались друг за друга и блажили на всю колонию...

Махнули рукой, велели отправляться.

Вера, одобрительно посмеиваясь, проверила, все ли уселись, лукаво взглянула в сторону Кузьмёнышей, за-

лезла в кабину, крутанула стартером, с места рванула вперед. И погнала.

Колонисты взвыли от такой пронизывающей и лихой езды. Восторженно заорали, засвистели, заголосили в тридцать луженых глоток, а Вера, заливаясь от смеха и оглядываясь, чтобы глазком одним в заднее стеклышко увидеть своих разбойников, как она их после называла, поддала еще.

Машина летела, а не ехала по белой наезженной дороге среди покрытых белой пылью кустов, оставляя за собой длинный дымный хвост.

Так их и привезли в первый день, гикающую и воющую от наплыва чувств ребятню.

Из окошек конторы, из проходной завода выглядывали люди, говорили между собой: «Колонистов привезли».

Вера выскочила из машины, сдвинула на затылок кепочку и крикнула, засмеявшись: «Мужики! Вылазы! Счас поштучно вас сдавать под расписку буду!»

Но никто их не пересчитывал, не проверял. Вера уже на пустой машине въехала в большие железные ворота на территорию, а ребят провели через узкую дверь проходной.

Они очутились на огромном, отгороженном от мира высоким каменным забором дворе, заставленном корзинами и ящиками с фруктами. Тут были помидоры, сливы, яблоки, груши и те самые странные кабачки, которых вместо огурцов нажрались однажды наши Кузьмёныши. Никто ничего не охранял. Пробегали озабоченные женщины в синих грязноватых халатах, оглядывались на ходу на горланящую ребятню и исчезали за стенами длинных зданий. Может, они и появлялись, чтобы посмотреть на колонистов, присланных им для помощи. Мужчин на заводе было не более десятка.

Ребята с оглядкой, чтобы никто не видел, начали таскать из корзин фрукты — кто сливу, кто помидорину, старались засунуть сразу в рот и проглотить. Но прошла мимо женщина и бросила на ходу: «Да вы ешьте! Ешьте, не стесняйтесь! Это все из шланга промыто...»

Тут уж пошел такой шарап, что жарко стало. Все бросились к корзинам и стали хватать, засовывая и в рот, и в карманы штанов, и даже за пазуху. Набрали яблок, и груш, и слив, и помидоров, кто к чему близко стоял. Разбухли, отяжелели.

Набили каждый брюхо и под рубаху, нажрались так, что только из глаз да ушей не текло.

Но никто по-прежнему не торопил их, никто не упрекнул за шарап. Вот что обидно: как было много всего, так и оставалось много. Всех корзин даже при желании пережевать или, скажем, стырить со двора завода оказалось невозможно. Хоть и знали колонисты, свято верили в то, что нет для них невозможного, если это касается жратья.

Не съели с ходу, животы малы, так переварить можно и опять поесть. И другим в колонию захватить. И само собой, запас для других дней сделать... Засушить или еще как...

Так понимали Кузьмёныши, когда набрали за пазуху слив. Потом эти сливы помялись, их, уже кашцей, пришлось потихоньку из-под рубахи выгребать и выбрасывать.

Если бы в Томилине шакалам да хоть одну сливину, не то что корзину! Даже эту размазню от слив!

Работу же дали всем как раз по переборке слив. Каждый день приносили огромные стеклянные бутылки, литров по сто, в эти бутылки колонисты должны были складывать сливы, очищая их от мусора, сортируя по спелости. Бутылки заливали какой-то вонючей жидкостью, после которой плоды начинали противно белеть и становились несъедобными.

Как поясняли колонистам, в таком виде сливы могут храниться хоть до зимы, и, когда пройдет горячая пора урожая, их пустят в переработку и сварят джем и варенье. Какое же варенье из испорченных белых слив!

В общем, хоть все объяснили, ребятам не понравилось, что на их глазах и их усилиями происходит порча продукта. А раз жрать после заливки этой отравой нельзя, значит, порча, и убедить их в обратном было невозможно.

Помидоры и яблоки колонисты перебирали более охотно. Тут ничем не заливали, не травили, а приходили огромные парни, евреи, и уносили тару в двери цеха.

Так их все звали: евреи. Были они все рослые, наверное, метра в два, голубоглазые, светловолосые и — веселые. Огромные корзины они хватали шутя, как игрушки, по корзине на плечо и вовсе не ныли, не уставали, как заметили Кузьмёныши.

Евреи — значит сильный и добродушный народ. Так оба брата решили.

А вот тетка Зина, которая стояла в дверях цеха, куда уносили евреи продукцию, поначалу не понравилась. Была она немолода, сварлива, в грязном синем халате и в белой косыночке, завязанной на затылке узлом.

Тетка Зина зорко приглядывала за колонистами, гна-

ла самых любопытных от дверей, кричала на весь двор:
— Уж эти шкелеты! Откуда такую шушеру привезли?!
Это ведь стыд-позор, глаза бы мои не глядели на их лёбра!
Голос у нее пронзительный, слышно в любом конце заводского двора.

Но однажды, прокричав так, она вдруг поманила к себе Сашку, он оказался ближе, спросила его: «Ты, малой, откеда?»

— Я? — спросил Сашка, не подходя близко, он не знал, что ожидать от тетки Зины. — Я из Томилино...

Тетка кивнула. Будто могла знать, где находится Томилино.

Может, слово поняла как надо? Томилино, где томятся.

— А родители твои где?

Сашка пожал плечами, отвернулся. Он на такие вопросы не отвечал.

— Один, что ли?

— Зачем один! — огрызнулся он. — Нас двое!

— Как это — двое? С кем — двое? — допрашивала настырная тетка.

— Ну... С братом.

— Ишь ты, — произнесла тетка, посмотрев в ту сторону, куда указал Сашка. Колька сидел у корзины и жрал помидор. — Вы что же, двойняшки?

Сашка подумал, кивнул. Он не знал, что такое двойняшки, но понял так: раз двое, называется двойняшки.

— Позови ево-то, — приказала тетка Зина.

Она сердито оглядела Кольку и покачала головой.

— Ладноть. Я вас потом размечу, — решила будто про себя. И поманила рукой. — Сюды ходите...

Двери в это время в цехе были закрыты: перерыв.

Тетка Зина ввела их в запретное царство, где стояли огромные, высотой в одноэтажный дом, котлы, они шипели. У каждого котла была железная лесенка, которая вела вверх.

Тетка Зина посадила их на ящик под лесенкой, достала банку, наполненную какой-то желтой кашицей, похожей на детский понос.

— Ешьте тут, вот ложки. По цеху не шлундять. Ясно?

Братья кивнули, уставясь на банку.

Уходя, тетка Зина пояснила:

— Это икра... Баклажанной прозывается. Ее бы по-нормальному с хлепцем, да хлепца-то нету. Без хлепца, значит...

Тетка ушла. Тут и набросились. Пошли загребать ложками. Так быстро замелькало: сами опомниться не успели — кончилась! Она и не жевалась, а всасывалась, нежная, теплая, пахнувшая так, что сладко кружилась голова.

Кузьмёныши вылизали пальцами банку, засовывая их по очереди, зеленоватое стекло заблестело от чистоты. И уж через минуту всего-то, которую и отсутствовала тетка Зина, они сидели, уставясь на пустую банку голодными глазами. Им хотелось еще.

Тетка Зина посмотрела на них, на банку, крикнула от досады. Но больше от удивления.

— Чемпиёны! По скорости!

Она протянула Сашке красную тесемочку.

— Ты у меня меченый будешь. А ты — нет. — Это Кольке. Кольку она приняла как нечто вторичное, который лишь повторял по форме своего брата, но мог и вообще не быть.

Она взяла из рук Сашки тесемочку, повязала вокруг шеи.

— Вот так. А икры больше нету. Будет... Будет день, будет и пища... Ходите, работайте. — И указала на двор.

Вроде не совсем понятно она выразилась, да Сашка допер и Кольке потом пояснил: она, мол, сказала, что на другой день даст икры еще.

Только на другой день тетка Зина будто и не замечала братьев. Напрасно Сашка мелькал перед глазами, даже поздоровался с ней. Тетка Зина кивнула сурово и ничего не произнесла. Наоборот, заорала тоненько на весь двор:

— Ишь! Мелкорослые! Шкелеты несчастные! Не тронь, не тронь корзину-то! Пущай евреи таскают!

И на второй, и на третий день тетка Зина не обращала на братьев внимания. И уж когда они перестали о ней думать, вдруг в перерыв сама нашла их за ящиком, где они сидели и жрали помидоры, которых уже терпеть не могли, и опять позвала в цех.

Под знакомой железной лесенкой, на ящике, она поставила банку и ушла. Но теперь в банке было что-то другое, не «блаженная» икра, как ее переименовал Сашка, забыв настоящее название. Банка была доверху наполнена ароматным сладким-пресладким повидлом.

И опять братья, хоть старались не торопиться, все

срубали за какие-то секунды. Но тетка Зина, видать, была начеку и принесла вторую банку, а потом и третью.

На третьей Колька с Сашкой не выдержали, стали притормаживать.

Это, конечно, не значило, что они могли бы эту, третью, не доесть. Или, скажем, отказаться от четвертой банки...

Просто они стали есть чуть медленней, как иные любят выражаться: со вкусом. Может, четвертая оказалась бы с еще большим вкусом, но ее не дали.

Тетка Зина подсела к ним, перерыв не кончился, спросила:

— Как, чемпиёны? Вкусно?

Братья согласно кивнули, посмотрели со значением друг на друга.

Дело в том, что накануне Сашка и Колька поменялись одеждой. Это было сделано для общей мороки, не для тетки Зины, а красной тесемочкой был помечен Колька, а не Сашка.

Тетка Зина пристально посмотрела на них и вдруг ткнула в Сашку пальцем: «Чево снял метку? Думаешь, не признаю? Дык я тебе везде признаю! Ты другой!»

Никто никогда не угадывал братьев, а сторожиха тетка Зина угадала. Это поразило обоих. Они сидели перед ней сытые, благодарные и немного пристыженные.

Но тетка Зина не стала их укорять. Она спросила:

— А там... В своем... Томительном... Чем вас кормили?

Братья замялись. Это был странный вопрос. Везде, по их разумению, кормят одним и тем же, если вообще кормят: баландой.

— Баландой!— сказал Сашка.

Тетка Зина в основном обращалась к нему.

— Баландой?— спросила тетка Зина.— Это похлебкой, что ли?

Братья опять смутились.

Как не знать, что такое баланда. Баланда, она и есть баланда! Мутная жижица, а в ней кусочек картошечки черной, мороженой может попасться или... Или сгусток нерастворившейся манки: жутко вкусно. А вот рис, суп из риса, на днях они первый раз в жизни попробовали.

— Мамалыгу-то вам дают?— спросила опять тетка Зина.

— Малыга?— спросил Сашка.— Не... Затируху дают.

— Заваруху?— переспросила тетка Зина.— Ну, как

и мамалыга, только пожиже будет...— И вздохнула.— А нас ведь тоже привезли... Из Курской, значит, области.

Братья уставились на тетку Зину. Не сразу поняли, как это можно привезти взрослых, которые вроде сами по себе.

А тетка Зина продолжала:

— Приехал полномочный, велел вещи собирать... А у мене сестра больная да девка — невеста, но дурная, голова не в порядке, над ней фашист насильничал. Так мы увязали узлы — нищему собраться — лишь подпоясаться!— а сами ревом, а чево ревом... Пусто, даже травой заросло, да и мины там... Ни скотинки, даже кошек поели... В земляночках жили. Нас в товарняк — и повезли. А мы все ревом, все ревом. А полномочный и говорит: «Хватит, бабы, реветь, я вас в рай везу...»

А мы-то решили, что в рай — это на расстрел, значит, потому что всё изменников искали, хто спал с фашистом, тот у нас и изменник... А моя-то дочь спала, хоть и силком... Ну и в голос! Аж вагон криком изошел...

Тетка Зина оглянулась. Люди начинали суетиться по цеху, перерыв заканчивался. Она встала.

— А потом привезли в рай, сюда, стало быть, а тут ничего. Даже жить можно. Только эти...

Она не сказала, но показала ладонью, будто шашкой махнула.

— Мы так боимси... Так боимси... У нас уж было... Да вы малы, вам не надоть это...

Сашка спросил, оглянувшись вслед за теткой Зиной:

— Скажите, а кто? Кто?

Тетка Зина посмотрела вокруг, быстро зашептала, заталкивая братьев глубже под лестницу:

— Да чечня ж проклятая! Чеченцы прозываются. Неуж не слыхали? Они тут при фашистах вот как мы, изменяли! Можя, их девки баловали, мы ж не знаем! Так их сгребли, прям как нас, в товарняки и узлов собрать не дали! Рассказывают... Нас-то на Кавказ, а их — в сибирский рай повезли... Рассказывают... А некоторые...— тут голос стал глуше, едва-едва разбирали Кузьмёныши.— Некоторые-то не схотели... Дык они в горах запрятались! Ну и безобразят! Разбойничают, значит! Вот как!

Торопливо, с оглядкой, все это выпалив, тетка Зина стала выталкивать братьев из-под лестницы, произнося:

— Ну, идите, идите! Много будете знать, скоро состаритесь! Идите!

Сашка упирался, не хотел уходить.

— Так это они подожгли... Гранатой-то!— воскликнул он, пораженный своим открытием.

Тетка Зина испуганно оглянулась и вдруг закричала на весь цех:

— Ну, чево тут смотреть? Чево? Цеха не видали? Давайте, давайте работать! Некогда лясы точить!

С тем, больше не желая слушать, и выставила братьев во двор.

16

Вдруг затеяли самодеятельность. Для колхоза.

Уж очень стали натянутыми отношения с местным населением!

Деревенские подкараулили колониста на бахче и избили до полусмерти. В отместку колонисты поймали молодого мужика с бабой близ колонии — занимались в кукурузе любовью, — привязали спиной к спине голяком и в таком виде привели в деревню. А когда стали сбегаться люди, утекли в кусты...

И — началось.

Петр Анисимович вернулся из правления колхоза грустный, прижимая портфель к груди, повторял одну фразу: «Это ведь непонятно, что происходит...»

Он собрал воспитателей, пересказал все, что слышал на правлении, и в заключение предложил:

— Может, это... Может, встретиться с колхозниками, поговорить? Или спеть им что-нибудь? Вон как ревут в спальнях!

— Можно спеть и сплясать, — отвечали. — Тут все артисты. Особенно фокусников много: из ничего делают нечто!

Но директор шутки не принял, а, прижимая, как ребенка, портфель к груди, попросил страдальческим тоном:

— Значит, это... Давайте хор... И стихи. Я так и скажу деревенским, что мы у них выступаем, а они чтобы это... Ну, угощение... Словом, мир между нами.

О мире, о дружбе и прочем таком до колонистов не дошло. Дохлый номер, как они понимали. Крали и будут красть, а чего еще делать. А вот насчет угощения, это было понятно. Желающих выступать сразу нашлось немало.

И Кузьмёныши всунулись, сказали, что пели раньше в хоре и от имени Томилина споют какую-нибудь песню.

Их записали.

И далее записывались по бывшим коллективам. Запись происходила в столовой.

Мытищинские предложили хор — их было много: «На богатырские дела нас воля Сталина вела». Другая: «Лети, победы песня...» — эти две для запева, а далее: «Дорожная». Для души.

Первую одобрили, да и о второй отозвались с похвалой, все знали «Дорожную» Дунаевского.

— Может, и Дунаевский, — отвечали вразнобой мытищинские, — мы вам лучше споем.

Мытищинские встали в стойку: выставив вперед правую ногу и пристукивая в такт, дружно промычали: «Тум-та, там-та, тум-та...»

Начало всем понравилось. Будто поезд стучит. Дальше шли слова:

Раз в поезде одном сидел военный,
Обычно-вен-ный,
Купец и франт,
По чину своему он был поручик,
Но дамских ручек
Был генерал.
Сидел он с кра-ю,
Все напева-я:
Про первертуци, наци туци, верверсали,
Ерцин с перцен, шлем с конверцем,
Ламца-дрица, о-ца-ца!

— Что это? Это ведь непонятно, что происходит? — спросил Петр Анисимович, разглядывая странный хор. — Какой Герцен? Какой генерал?

Хор удрученно молчал.

— А может, дальше? — спросил кто-то из воспитателей.

— Дальше? — удивился Петр Анисимович. И отмахнулся портфелем.

Но хор понял его слова так, что им велят продолжать дальше. Мытищинские снова, как по команде, выставили правую ногу вперед и замычали слаженно: «Тум-та, тум-та, тум-та, тум-та!»

Кто-то из солистов с грустной томностью вывел под это сопровождение:

Вот поезд подошел к желанной цели,
Смотрю я в ще-ли —
Мадам уж нет!

Хор грянул изо всех сил, желая понравиться директору:

Про-пал пору-чик,
Дамских ру-чек...

— Хватит! Хватит!— попросил Петр Анисимович. И даже привстал, прижимая к подбородку портфель.— Эту не надо. Только первую. Про богатырские дела...

— А другие?— спросили из хора.

— Какие другие? У вас есть другие?

— У нас много,— отвечали.— «Халява», «Мурка», «Чего ты, Валька, курва, задаешься»...

— Нет, нет!— сказал Петр Анисимович.— Это оставьте себе!

Хор разочарованно удалился, уступив место люберецким.

Люберецкие станцевали «Яблочко», припевая: «Эх, яблочко, вниз покатилося, а жизнь кавказская... накрылася!»

— Танцуйте без слов,— сказал, вздыхая, директор.— Без слов у вас лучше получается.

Можайские изобразили сценку под названием «Кочерга»: в школе никто не знает, как написать заявление, чтобы привезли десять штук... кочергов... Так один говорит... А другой поправляет: «кочергей»... Это — взяли.

Каширские — там одних девчонок собрали — спели песенку про «Огонек»: «На позицию девушка провожала бойца...»

— На позицию девушка, а с позиции мать!— крикнул кто-то из колонистов. Но никто на такой выпад не среагировал, песню одобрили.

Два колониста из Люблино предложили пародию.

— Пародию?— оживились воспитатели.— Ну, ну!

Сперва они запели с чувством про журавлей: «Здесь под небом чужим я как гость нежеланный...» При этом показывали в окно, на небо. Явно чужое. Про колонистов, словом, песня. А после куплета вдруг завели инвалидским пропитым голосом:

— Да-ра-гие ма-ма-ши! Па-па-ши! Подайте, кто сколько может... Кто рупь, кто два, кто реглан...

Милый папочка, пишет Алечка,
Мама стала тебя забывать.
С подполковником дядей Колею
Каждый вечер уходит гулять...

Из комиссии попросили про инвалидов не петь. Лучше уж про журавлей. Люблинские согласились, но сказали, что они тогда добавят про фюрера на мотив «Все хо-

рошо, прекрасная маркиза». Про фюрера разрешили без прослушивания.

Раменские напросились декламировать «Кавказ подо мною» на стихи А. Пушкина и отрывок из поэмы Баркова про то, как один дворянин по имени Лука любил купчиху. Трагедия, словом.

Луку отвергли, остальное взяли.

Коломенские предложили колхозные частушки, специально для деревенских... Вроде бы как хор Пятницкого.

Наученный горьким опытом с «Яблочком», Петр Анисимович попросил спеть одну.

С подвыванием, как поют в народном хоре, на знакомую мелодию «На закате ходит парень возле дома моего» коломенские проникновенно завели:

Я работала-а в колхо-зе-е, ах!
За-ра-бо-та-ла-а пятак! Ах!
Пятаком прикрыла... сзади... Ах!
А перед остался та-ак! Ах!

— Нет, это для них... для переселенцев не очень...— сказал быстро Петр Анисимович. И облегченно вздохнул.— Все?

Но тут вышел перед комиссией Митек и прошепелявил:

— Я тоже хочу выштупать на шчене...

— Ты?— поразился Петр Анисимович.— Это ведь непонятно, што происходит...— ненарочно прошепелявил он сам.

— Почему непонятно,— не понял Митек.— Фокуши...

— Чего? Чего?— Все оживились.

— Фокуши,— сказал Митек.

И, уже не дожидаясь согласия, спросил Петра Анисимовича:

— Вот, ваши часы...

Петр Анисимович вяло запротестовал:

— Нет, нет. Ты моих часов не трогай!

— Так они уже тут,— сказал Митек и достал из своего кармана директорские часы.

— Это ведь непонятно, что происходит...— ахнул директор. И отмахнулся.— Там, в клубе... Только у колхозников ничего это... не бери. А то это... Конфликт начнется... Подумают, что пришли опять... Чистить их карманы.

— А у кого же брать?— спросил невинно Митек.

— У кого хочешь,— повторил директор.— Но у них не бери!

— Ладно,— сказал Митек и многозначительно посмотрел на директорский портфель.

В это время еще несколько шакалов полезло к комиссии, и каждый кричал:

— Я тоже умею... Фокусы!

— Хотите, стакан буду грызть?

— Или лампу?

— Хотите... Слезы потекут! У всех!

— А я могу угадывать! По руке! Что будет!

Директор поднял портфель и, будто обороняясь, крикнул:

— В следующий раз! Стаканы грызть — в следующий раз! Тем более что стаканов нет! А слезы у нас и без того... Текут! До свидания! До свидания, товарищи!

17

Прошла неделя. Колонистов всех, кроме девочек, перевели работать в цех. Рассовали кого куда. Несколько человек попали на мойку банок.

Мойка-карусель из штырей, на штыри надевают донышком вверх стеклянные банки. Карусель крутится, в одном конце ее кожух железный, там банки попадают под фонтаны кипятка, потом их обдают сильным паром. Когда карусель сделает круг, банки возвращаются такие раскаленные, что их снимают рукавицами. В горячие банки заливают кипящий джем.

Рукавицы в первый же день колонисты стырили. Сами у себя. Далее — хватали ошпаренные банки рукавами, благо у всех одежда была не по росту, велика.

Мойка нравилась ребятам, потому что рядом варился джем.

Другую часть колонистов, с ними и Кузьмёнышей, направили на конвейер. Тот самый конвейер, о котором упоминала веселая шоферица Вера. Ребят привели, показали. Из огромного бака, где плавали в воде высыпанные из корзин помидоры, выползала широкая резиновая лента. Стоя по обе стороны, надо было ловко выхватывать всяческие веточки, листья, гниль, не пропуская ничего лишнего. За этим строго следили две женщины, поставленные в самый конец ленты.

Шелестящая, мягко изгибающаяся лента уползала под самый потолок, где из специальных сеток на нее

проливалась густая струя воды, вымывая остатки сора, всю грязь.

Лента скрывалась за железным массивным колпаком, из-под которого вырывался во все стороны с шипеньем горячий пар. С обратной стороны колпака, из короткого хобота, в широченный чан изрыгался вместе с паром резко пахнувший, красный, раскаленный поток томата.

Стоять у конвейера целый день надоедало.

Но он, правда, и не работал целый день: то ленту заест, то помидоры запоздают... То пар отключат или вообще энергию. А когда ленту не заедало, палки в нее вставляли!

И тогда ребята, в первую очередь Кузьмёныши, торопились в дальний угол цеха, где рядом с мойкой банок в отгороженных стальными барьерчиками котлах варили сливовый джем.

На этот запах джема колонисты слетались, как пчелы на мед.

Кузьмёныши так раньше многих других!

Икра баклажанная — «блаженная» — слов нет, хороша, ее хоть ведрами ешь, да только приедается.

Яблочный соус кисловат, его быстро отвергли.

Фаршированный перец — тут фарша от пуза нажрешься — от случая к случаю готовят.

Но джем... Вот райское кушанье! Если в банку с головой влезешь, так всю и высосешь, аж на пузе медок проступает!

Ни одна варка не обходилась без пристального наблюдения колониста.

Рослые евреи поднимались по гулким железным лесенкам на самый верх и опрокидывали в котел тяжелые корзины со сливами, теми самыми, что теперь очищали во дворе одни девочки.

Потом с тех же лесенок, вздрагивающих, позванивающих от тяжелых мужских шагов, сыпали сахарный песок, с треском распарывая над котлом сероватые джутовые мешки и тут же сбрасывая их на пол.

Колонисты подхватывали эти мешки, выгребали из них сахарные крошки.

А иной раз кто-то из грузчиков будто невзначай наклонял мешок за край котла, и тогда манна небесная с неба просыпалась в подставленные ладони ребят: белая, сладчайшая струйка!

Песок совали в рот и сосали, наслаждаясь. И в карманы набивали, так что осы и пчелы вились потом роем за машиной.

Но самый торжественный миг наступал, когда началась разливка джема. Из узкой горловины, густой, душистый, маслянисто-коричневый, он изливался в нагретые на пару стеклянные банки, и если они невзначай лопались, колонисты подхватывали стекло, еще ошпаривающе горячее, с густыми подтеками тоже горячего джема, и быстро поедали его, рискуя порезаться или обжечься. Но вот же чудо: никто никогда не порезался! И не обжегся!

Банки, заполненные джемом, закрывались сверкающими, как золото, жестяными крышками. На подачу крышек (вот везуха) посадили Митька, того самого, который «вшпотел от шупа». Здесь он тоже работал «вшпотевши», на зависть другим колонистам, от своего такого особенного положения.

Весь процесс производства джема — от котла до склада — братья тщательно проследили и знали наизусть. Это было не пустым любопытством.

Братья сообразили, что джем, особенно в закупоренных банках, может стать хорошим подспорьем в голодную зиму. То есть о зиме они подумали позже, а пока возникло желание стащить несколько банок для заначки. Для себя и, конечно, Регины Петровны с ее мужичками.

На этот счет договорились и с простодушным Митьком. Как только в цехе оставались он да закрывальщик, а банки скапливались на длинном, обитом железом столе, за спиной закрывальщика, Митек начинал громко насвистывать мелодию песенки: «Дорогой товарищ Сталин, приезжай ты в наш колхоз...»

Кузьмёныши по очереди оставляли конвейер и торопились на призывную мелодию, как небось не поторопился бы в родной колхоз сам товарищ Сталин...

Главное во всем этом деле — успеть спрятать банки близ конвейера, пока никто не видел из взрослых.

Евреи в счет не шли.

Они лишь усмехались, когда натыкались взглядом на колониста, запихивающего очередную банку в карман.

А иной раз как бы невзначай прикрывали его своим мощным торсом.

Сашка разделил операцию по джему на три этапа.

Первый — вынести из варочной и надежно заначить. Второй — пронести мимо востроглазой тетки Зины и опять же надежно запрятать во дворе. Третий и, может быть, основной — переправить джем за глухой забор. На волю.



Уже через несколько дней после начала операции было заханырено у Кузьмёнышей, припрятано то есть, заначено, семь запечатанных банок с джемом.

В цеху, близ конвейера, находилось столько всяких труб, металлических хитросплетений, с множеством закоулочков и отверстий, что при желании можно было схоронить не семь, а тысячу семь банок! Ни одна ищейка во время шмона не смогла бы их там отыскать.

На этот счет наши братья, как, впрочем, и остальные колонисты, были непревзойденные спецы.

Чтобы протащить припрятанные банки мимо глазастой тетки Зины, которая вроде бы и не была злой, но уж очень напуганной и поэтому вдвойне старательной, Сашка предложил брату ходить в обнимку. На машину, с машины, в столовку, во двор...

— Жарко небось,— сказал непонятливый Колька.

— Терпи!

— А зачем? — опять спросил Колька.

— А затем! — передразнил Сашка. — Как пойдешь, так и поймешь! Места-то сколько меж нами остается!

Колька сообразил. Поинтересовался:

— А эти... Которые влюбленные: тоже носят? Они ведь всегда обнимаются. Сам видел!

Сашка подумал, сказал:

— А фиг их знает.

Теперь они ходили, взяв друг друга за плечи. Женщины из цеха, гляючи на них, произносили: «Ишь какие дружные! Водой не разлить!»

Кто мог догадаться, что, если бы их удалось разлить водой, под рубахами обнаружались бы целых две банки: одна на другой. Отрепетировано было за колонией в кукурузе, а проверено в стенах колонии. Когда шли обнявшись, ни при каких условиях разглядеть банок было нельзя. Разве что прощупать, но кто бы стал щупать?

Правда, именно тетка Зина в тот день, когда заложили они между собой первые банки, что-то заподозрила.

Раньше сколько мимо обнявшись ходили, и ничего. Не останавливала, не спрашивала ни разу. А тут, вот бабье чутье-то, тетка Зина как закричит пронзительно, на весь цех:

— Эй, ты! — на Сашку, конечно. Его она узнавала и без красной тесемки на любом расстоянии. — Поди, говорю. Чево ты все мимо... мимо...

Подошли оба, не разжимая объятий. Банки холодили

кожу, елозили гладким стеклом по ребрам во время вдоха и выдоха. Иногда похрупывали друг о дружку.

Тетка Зина посмотрела на братьев и сказала:

— Чево склешились-то? Аль на толчок тоже по двое ходите?

Колька молчал. Его тетка Зина и не спрашивала, она его вообще не признавала. Да и Сашка придумает быстрее, чего и как ей ответить.

И Сашка сразу же ответил миролюбиво, что ходить так по двору удобней, потому что им посекретничать надо. От уха до уха ближе выходит.

Сашка в общем-то не врал. Секрет и правда был, только не в ушах дело.

— Ишь какие!— вздорно проговорила тетка Зина.— Шикреты! А вот узнаю я ваши шикреты, что тогда?— и придиричиво посмотрела им вслед. Но ничего не заметила.

А братья не торопясь вышли наружу да скорее за угол.

Тут, на заднем дворе, за спиной цеха, где никогда не появлялись работники завода, находилась свалка. Банки, ящики разные, тележки, бочки и прочая рухлядь. Здесь-то джем надежно прикрыт.

Оставалось переправить его на волю.

Для интересу, хоть мало верилось, испытали братья проходную. Но вохровская старуха с незаряженной винтовкой хоть и не была догадлива, как тетка Зина, но прикрикнула на них: мол, чево скопом лезете, ходите, как люди, чередой, как все ходют!

«Как все — можно,— подумалось братьям.— Да вот банки тогда не пронесешь!»

Был у Сашки еще один способ: перебрасывать джем через забор. Только забор-то каменный, глухой, метра два высоты.

Забежал однажды Колька после работы, выскочив вперед всех, а Сашка с заднего двора кинул ему несколько пустых банок.

Из пяти штук поймал Колька только одну. Поменялись они местами, но результат оказался не лучше. Сашка и вовсе ни одной не поймал. А больше предложить он ничего не смог. Словно бы торможение у него с головой вышло.

Колька как бы невзначай Сашке жмень сахарного песку подсунул. Слышал, что от песка мозги варят быстрее. Вон как джем в котле!

Но и песок не влиял на брата. Он поскучнел, потускнел, зачах, даже осунулся.

Бродил один по двору или подолгу разговаривал с теткой Зиной. А чего с ней говорить, ее на это дело не уговоришь, Колька был уверен. Банки лежат, а время идет... Вдруг их больше не повезут на завод: каждый день последним может стать!

Однажды Сашка сказал:

— Знаешь... Они здесь тоже были.

— Кто?— спросил Колька, но уже и сам догадался.— Черти?

Так Илья звал чеченцев.

— Ага. Черти. Проскакали на лошадях, с винтовками... Стрельнули и скорей в горы. Тетка Зина видела. Говорит, чуть не померла со страха.

— Убили кого?— спросил Колька.

— Не знаю. А ты думаешь, Регина Петровна почему молчала?

— Почему?

— Она их видела. И заболела. Тетка Зина говорит, от страха, так бывает.

— Регина Петровна ничего не боится,— сказал Колька.

— А мужички? А взрыв? Думаешь, не страшно?

Братья сидели на задней части двора, на ящиках, близ своей заначки. У самых ног в траве протекал через двор ручей. В него сбрасывали отходы из цеха. Ручей был грязновато-желтого цвета и вонял.

— Ну? Ты придумал?— спросил Колька.

— Чево?

— Сам знаешь чего! Так и будем на заначке сидеть?

Сашка почесался и сказал:

— Эх, чешка вошится...— Что означало на детдомовском жаргоне «вошка чешется». И без всякой связи:— Давай уедем, а?

— Сейчас?

— Ну, завтра. Вон, тетка Зина говорит, она бы давно удрала, да у нее семья... Они тут мобилизованные, их к заводу прикрепили. А нас-то никто не прикреплял!

— Как же Регина Петровна?— спросил Колька.

Сашка задумался.

— А вдруг она не вернется?

— Она вернется,— твердо пообещал Колька.— У нее мужички здесь.

— А вдруг она умерла?

— Нет,— опять сказал Колька.— Мы ее только дождемся и на дорогу банок накопим. Нам все равно их вынести надо.

Сашка молчал, смотрел на дальние горы, размытые, едва видневшиеся в бледновато-голубой дымке. Светило нежарко солнце. Было тихо. Лишь всплескивал ручей да жужжали осы.

— А может, никаких чертей нет?— спросил с надеждой Колька.— Ведь их с милицией ловят? Раньше бухали, бомбили. А теперь и бухать перестали.

Колька говорил не потому, что верил. Ему понравилось жить на Кавказе.

Еще бы! Сбылась мечта, извечная мечта голодного шакала о жратве. Где это он еще вволю сможет объедаться сахаром, да «блаженной» икрой, да вареньем? Тетка Зина сказала, что везли их в рай, так он и в самом деле тут рай, на заводе.

И нечего плакаться, что к заводу прикрепили. А Колькина бы мечта, чтобы вовсе от завода никуда колонистов не открепляли. Вырастет, попросит, пусть его навсегда прикрепят. Вот когда сладкая жизнь для него начнется! Будет, как евреи, сахар носить! А уж кто носит, в убытке не остается.

Сашка посмотрел на Кольку и понял, о чем он думает.

— Ладно,— сказал он брату.— Подождем.

— А джем? Как с ним быть?— не унимался Колька.

Сашка пристально посмотрел на горы, на забор, под которым протекал гнилой ручей.

— Будем сплавлять.

— Чево?— не понял Колька.

Сашка засмеялся.

— Пустим их по воде, банки, понял?

— Как это?

— Как... Не знаю. Придумаем,— пообещал Сашка. Он подставлял лицо под солнце и, закрыв глаза, о чем-то думал.

Идея Сашки была мировая. Привязать варенье к деревяшке и пустить по течению. Ну, а по другую сторону забора все это, конечно, ловить...

Попробовали разок: деревяшка утонула. Нашли доску. Но и доска не пошла, в осоке застряла из-за своей неповоротливости.

Сашка дело с досками отставил. Весь перерыв шлялся по двору, рыскал глазами по углам, искал. Чего искал,

он и сам не знал. Наконец на свалке набрел на галошу. Большую такую галошу, непонятно, кто ее, этакую громадину, мог носить! Гулливер разве какой!

Принес Сашка галошу к ручью. Камень в нее сунул, с кулак примерно, пустил по течению.

Проскочила галоша все буруны, все заторы, под стенкой проплыла, а там, за стенкой, Колька ее поджидал.

Тогда Сашка банку песком нагрузил и сунул в галошу. Галоша опрокинулась, банка утонула.

Сашка еще раз банку с песком загрузил и на этот раз крепко веревкой связал банку и галошу.

Это все пронеслось, пролетело по воде и выплыло наружу. Только часть песка просыпалась. Да черт с ним, с песком-то, песок — пускай, — решили братья. — Джем не размочет, он напрочь закрыт. Лишь бы не тонул, а плыл, ведь со дна его не достанешь! Загонит, закатит течением в камыш, иди-свищи!

В какой-то вечер, сразу после работы, вышел Колька вместе со всеми ребятами за ворота и пустился бегом к ручью. Колонистам за проходной все равно приходилось подолгу ждать свою машину.

Место, где вытекал ручей, было пустынное, находилось оно в стороне от проходной.

Оттого и бежать надо было изо всех сил, заводская кирпичная стена протянулась на полкилометра!

Свистнул Колька, как было условлено, я, мол, тут, на стреме... Валяй, запускай свою технику!

Свистнул и стал ждать. Даже прилег на траву, чтоб видней было.

Время шло. Тянулись минуты, пустые, потому что пусто на воде было.

И вдруг, когда уже и не ждал, когда стал подниматься да отряхиваться, увидел: черная галоша, как подарок судьбы, вынырнула из-под стены и поплыла... Как английский тяжелый дредноут — в книжке картинку когда-то видел! Плыла, поворачиваясь по течению разными боками, а в ней — вот главное! — драгоценный пассажир в золотой шапочке!

Отвязал Колька баночку, от избытка чувств поцеловал ее в золотую макушку и в холодное донышко поцеловал. И у щеки подержал. И около уха: слушая, как переливается густой маслянистый джем.

Банка на свободе смотрелась иначе, чем там, на территории завода, где она вроде бы еще и не была своя.

И галошу Колька погладил, как живую.

Гладил и приговаривал:

— Хорошенька-я, галошечка... Умненькая... Славненькая. Глашечка ты наша родненькая!

Так и стали ее называть братья между собой: Глаша.

Однажды Кузьмёныши зашли к девочкам в спальню. Помялись, попросили: нельзя ли, мол, с мужичками Регины Петровны немного погулять.

Девочки разрешили. Только ненадолго, сказали. И далеко не шляться...

С оглядкой привели братья своих меньших братьев на берег желтой Сунжи, вытащили из заначки драгоценную банку джема, вскрыли ее. Посадили мужичков на траву, стали угощать. Ложка была одна, кормили по очереди. Одну ложку Жоресу, другую Марату.

Мужички ели не торопясь, серьезно. Старательно вылизывали ложку, время от времени заглядывали в банку, много ли там осталось. И хоть видно было, что им ужасно понравилось, — еще бы, райская пища! — но сами ничего не просили, а ждали, когда им еще дадут.

Потом сразу как-то наелись.

Вздохнули, заглянув напоследок в банку, спросили: «А еще будет?»

— Будет, — пообещал Колька. — Глаша привезет, и будет.

— Глаша — это кто? — спросил Жорес.

Сашка посмотрел на Кольку и сказал:

— Глаша — это... Это Глаша. Она хорошая.

— Может, это ваша мама? — спросил Марат.

— Нет, — сказал Колька. И вздохнул.

— А мы соскучились, — пожаловался Марат. — Без мамы плохо.

— Конечно, плохо, — подтвердил Колька.

— А ваша мама приедет?

— Не знаю, — сказал Колька и стал закрывать банку. Закрывал и слизывал с краев капельки джема. На мужичков не смотрел.

— Все мамы приедут, — сказали мужички.

Кузьмёныши заторопились, спустили детишек к воде, обмыли им губы, щеки, руки, все это было сладкое. По дороге в колонию предупредили: про джем, который привозит Глаша, молчок... А то Глаша обидится.

Братья пообещали.

Чистеньких, зарумянившихся, очень довольных вернули мужичков девочкам.

Колька опять спросил:

— Когда же вернется Регина Петровна?

— Вернется, — сказали девочки. Ясно было, что-то они недоговаривают.

А между тем Глаша возила джем исправно, и однажды Колька сунул руку в лаз, на ощупь посчитал. Выходило, что у них в заначке скопилось целых одиннадцать банок.

— Одиннадцать! — сказал он шепотом брату, который, как всегда, когда лазали они в нору, стоял на стреме.

Видели бы томилинские! Да они бы рехнулись, если бы им показать такое богатство!

За крошечку сахара продавались в рабство, с листьев, рискуя головой, слизывали, забравшись на липу, по весне сладкий сок... Ели мороженую картошку — не только из-за голода, из-за сладости. О конфетах лишь легенды рассказывали, никто их в глаза не видел. Да и варенья никто не видывал тоже.

— Одиннадцать! — повторил Колька для весомости. — И еще два пустых мешка от сахара!

Мешки они прихватили, чтобы сподручней с вещами было, когда побегут.

18

Шакалы на то и шакалы, чтобы все видеть. У братьев четыре глаза, а у шакалов сто четыре. И каждый за угол умеет смотреть, не только напрямую. И усмотрели.

Как ни береглись братья, как ни пытались втихую сплавлять свою Глашу, их все-таки засекли.

Не взрослые, те простофили, лопухи, непонятно, зачем им глаза повтыкали... Свои засекли, шакалы.

Однажды Колька торчал у ручья, поджидал Глашу. Увидел, кто-то из колонистов бежит в его сторону.

Колька на всякий случай штаны приспустил. Пусть думают, что он тут по нужде торчит.

— Тебя там ищут! — крикнул колонист.

— Кто меня ищет? — спросил Колька и покосился на ручей: не дай бог Глаша поплывет, тут все и откроется!

Не подозревал, что все давно открыто и заговор против них созрел.

— Брат тебя ищет! Кузьмёныш! Он там, на заднем дворе! Сашка, что ли?

— Это я — Сашка, — сказал Колька.

Подтянул он штаны, бросил последний взгляд на ручей, на колониста и пустился бежать вокруг стены. К проходной уже подлетел, а тут Сашка навстречу.

— Ты... звал?— запыхался Колька, дышит тяжело.

— Я? Звал?— удивился Сашка.— Я не звал. А Глаша где?

— Какая... Глаша? Ты разве послал?

— А ты не принял?

Уставились друг на друга. Без слов стало ясно: подловили.

Брели на посадку, Колька вяло спросил:

— Может, отдадут?

— Шакалы-то?— Сашка усмехнулся, носом засопел.— Не банку жалко... Они дело порушили... Понял?

И с тем молчок. Даже в машине не глазел по сторонам, не рассматривал шакальи рожи, не пытался угадать, кто сыграл с ними шутку.

Если рассудить здраво, то и обижаться Кузьмёнышам надо лишь на себя. Подловить других и не дать подсмотреть за собой — это и есть главная забота любого колониста.

Если он хочет выжить.

А выжить все хотят.

И шакалы хотят... Вот стайей и обступили, и рвут уже...

Галошу, Глашу, они, конечно, вернули. А джем не вернули. Поделили еще там, до прихода машины, и все начисто вылизали. Будто не с завода вышли, где можно было и без того нажраться. Ан нет. Та же банка, да на свободе вдвое слаще показалась!

Теперь колонисты тащили банки из цеха куда больше, чем раньше. В штанинах тащили и за пазухой, для чего, наподобие наших братьев, объединились в пары, тоже стали в обнимку ходить.

Работницы на заводе надивиться не могли: как это наши сиротки возлюбили друг друга! Господи, по двое, в обнимку, такие миленькие, славненькие... Прямо ангелочки!

Ангелочки же тащили и тащили. У них под одеждой не крылышки прорезались, а крышки от консервных банок!

Под конец придумали в корзинку загружать. Эти корзины время от времени, чтобы освободить цех, вытаскивали наружу. И мешки из-под сахара, и битую тару.

Сашка увидел, ахнул: что значит коллективный ум! Он-то сам до корзины не допер, а шакалы доперли. Они

все сволакивали теперь на задний двор, целые склады там образовались.

Галоша работала в несколько смен. Шакалы стали звать ее Волшебной калошей, кто-то сказку такую читал.

Но никакая сказочная калоша не могла сравниться с этой реальной Волшебной калошей: эта давала не какое-то фантасмагорическое счастье, а вполне реальное, переведенное в энное количество сладких джемовых банок с золотыми крышечками!

Сперва братья переживали за свою Глашу, особенно волновался Колька, не утопили бы, не потеряли, не порвали...

Но однажды Сашка сказал:

— Берите насовсем! Пользуйтесь!

Колька услышал, едва не бросился отнимать. Даже слезы покатались. Так вот, задарма, ничего не потребовав взамен, отдать их золотую, родненькую, славную Глашу?! Лучше, наверное, банки из заначки отдать! Они столько не стоят, сколько их замечательная Глаша!

Колька так рассвирепел, что крикнул:

— Сбрендил, да?— и повертел пальцем у виска. Показывая, насколько у Сашки перевернулись мозги и насколько он сбрендил.

А Сашка спросил невинно:

— Заметно?

Колька присмотрелся, вытер дурацкие слезы. Нет, не было заметно, что Сашка сбрендил. Он и улыбался, как бывший Сашка, и глаза у него были все те же. Только вот с башкой что-то случилось — стала она варить наперекосяк, может, он джему переел! Колька не случайно в него пихал в последнее время... Может, у него мозги от сладостей слиплись?

— Но ведь Глаша-то наша! Наша!— закричал ему Колька с отчаянием.— Как мы без нее жить-то будем?

— Потихе...— сказал Сашка, и оба брата оглянулись.

Но никто не слышал их спора. Находились они на заднем дворе, где были полными хозяевами.

Журчал вонючий ручей, бурьян мирно прорастал сквозь старые ящики, лежащие тут с невероятно давних времен, может, даже с довойны.

Сашка надул щеки и громко выдохнул:

— Будем жить, как жили. Без Глаши. Хватит.

— Хватит?— поразился Колька.— Да мы... Мы только начали!

— И закончили,— спокойно сказал Сашка.— Теперь надо замереть.

И так уверенно он сказал, что Колька проглотил очередную фразу, которую готовился ему выдать со зла.

Колька всегда верил в изворотливый ум своего брата. Всегда. Первый раз, пожалуй, усомнился. А Сашка посмотрел на Кольку и все прочел, что тот не сказал.

— Пойми, они же забурились!— Это про шакалов.— Ты видишь, как они шуруют? Они рвут на ходу подметки, про будущее и не думают! Вот сука буду, если они не пойдут вместе с нашей Глашей ко дну...— И добавил:— Себенева...

СБНВ расшифровывалось так: сука буду на все века! И большим пальцем, ногтем, под зуб и под горло. То есть зуб на отрыв даю и горло подставляю... Такая была клятва. Для посторонних же, для взрослых скрытый смысл клятвы якобы раскрывался так: советский боевой нарком Ворошилов... «Ворошиловым» клясться не запрещали. А «сукой» запрещали.

Сашка «сукой» не часто клялся. Тут уж можно было ему поверить.

Но Колька спросил:

— Может... Им сказать?

— Что ты им скажешь?

— Ну что... Что это, хватит. Что зашухарятся ведь, большой бенц будет, и все мы...

— Все они,— поправил Сашка.

— ...И все они... это... завалятся.

— Ну, скажи,— спокойно произнес Сашка.— Они тебе сейчас же поверят... Только почему ты сам не поверил, а? Ты же сейчас рассуждал не лучше самого оголтелого хитника из этих... из шакалов!

Колька вздохнул. Трудно было и правда отказаться от богатства, дармового, которое текло прямо в руки... По ручью, разумеется, текло.

Да кто же из колонитов откажется — в преддверии той голодной зимы, которая, они по опыту знали, у них у всех впереди? Завод-то на месяц, на два: для откорма! А потом? Зубы на полку?

Но Сашка твердо стоял на своем. Шакалы оголтели, и нет у них главного, что отличает приличного вора от шакала... Нет меры, нет совести. В краже совесть тоже нужна. Себе взял, оставь другим. Умей вовремя остановиться, когда изымаешь свою долю из чужого добра. Если от многого берут немножко, это не кража, а просто дележка! Так сказал великий писатель, какой именно, Сашка забыл. Неважно: писательский опыт он усвоил.

Шакалы же несли не стесняясь! Уже в машине у кого-то выскочила банка из-под одежды. Из-под забора тащили чуть ли не у всех на глазах. Однажды прямо в ящике, который перекинул через забор замечательный грузчик-еврей.

Шоферица Вера улыбалась да пошучивала, заламывая козырек фуражки:

— Ну, пиратики! Ну, разбойнички! Как поработали? Ох, чувствую, моя машинка тяжело пойдет!

Вера видела все. Но никогда никому не доложила. Не продала, словом.

Недели, наверное, две прошло с тех пор, как Сашка себя и Кольку отставил от банок.

Ходили смирененькие, тихонькие, сами не тырили, но другим не мешали. Все произошло однажды, когда двое колонистов стали протаскивать корзину с мешками якобы во двор.

Глазастая тетка Зина остановила их:

— Чево все с мешками носитесь! Оставьте, я сама потом... Работать надо!

— Мы — помогаем! — с трудом провернули языком колонисты. Корзина была тяжела, очень тяжела: перегрузили от жадности, банок пятнадцать засунули, что ли! А теперь стояли, покраснев от натуги, и не знали, что дальше делать...

— Без помощи! — сказала тетка Зина. — Сама вынесу!

Колонисты тупо молчали, выдохлись уже. Да и корзина тянула вниз, аж потрескивала от напряжения. Потом дно с грохотом отскочило и, позванивая, полетели по бетонному полу банки, зайчики от золотых крышек брызнули во все стороны.

Банок было много. Они катились по неровному полу, а одна, словно по заказу, попала прямо под ноги главному технологу, который проходил мимо. Старик технолог нагнулся, поднял банку, поправил очки в металлической оправе и посмотрел на этикетку.

— Джем сливовый, ГОСТ 36-72 РРУ РСФСР, — прочитал он и оглянулся: весь цех, прекратив работу, смотрел на него. А самая последняя из баночек еще продолжала катиться по цеху, будто удирала, как удирал бы колонист после такого шухера.

— Это же воровство? — спросил технолог и посмотрел вслед той катившейся баночке. — Это же настоящее воровство?

Вот тут двое шакалов, бросив корзину, и дунули. Через железные цеховые двери, да по двору, да через проходную... Их никто не пытался ловить. Да и чего двух-то ловить; попались двое, а остальные не попались, только и всего.

Колонистов от работы на заводе отставили.

19

Вечером воскресного дня колонной, хоть это была далеко не та колонна, которая недавно еще сходила с поезда, поражая своей огромностью, пришли ребята в березовский клуб для встречи с местными жителями.

Концерт самодеятельности совпал со скандалом на заводе.

Но верней сказать, что его поторопились организовать после кражи банок, чтобы как-то растопить неприязнь между колхозниками и колонистами. За два месяца пребывания в этих местах колонисты успели насолить всем.

Клубик находился в самом центре станицы, одноэтажный, кирпичный, с колоннами на фасаде. На колоннах еще видны были следы осколков, наспех заштукатуренные и забеленные.

Зал был просторный, с откидными деревянными стульями, сбитыми по рядам. Занавеса на сцене не было. Справа и слева вели ступеньки. В простенках, по обе стороны сцены, проглядывали какие-то нерусские надписи, их замазали масляной краской и частично прикрыли портретами вождей. Так что выходило: вожди как бы своими спинами стыдливо прикрывали свои собственные призывы, только на другом, нежелательном теперь языке.

Слева на авансцене, почти у края стола, стояла фанерная трибуна, крашенная в грязновато-бордовый цвет.

Народу, как ни странно, пришло немало. Большинство переселенцев были под хмельком, оживлены, громко разговаривали, перекрикивались с ряда на ряд. В зале было шумно.

Колонисты просочились на свободные места. Но многие по извечной привычке бездомных в чужом месте не разъединяться (а вдруг бить будут!) протиснулись вперед и уселись прямо на пол между первым рядом и сценой. Те же, кто не поместился, выстроились у стенки, при-

жавшись к ней спиной (тоже самозащита!), заняли боковые проходы.

На сцену поднялся директор Петр Анисимович со своим привычным портфелем, и некоторые, завидев его, зааплодировали. Он направился к трибуне. Как и полагалось, он уже имел кличку: звали его за глаза Портфельчик. Колонисты говорили: «Портфельчик шмон в спальне устроил!» Теперь кто-то из них вслух прокомментировал:

— Портфельчик будет докладывать. О наших достижениях.

Передние, из шакалов, кто слышал, засмеялись. Достижения их были известны.

Директор сделал паузу и, когда шум и смех утихли, начал говорить. Говорил он без бумажки. Он поздравил новоселов-колхозников с первым нелегким годом пребывания на освобожденной от врага земле. И пожелал успехов в уборке урожая и начале новой жизни. Тем более что немецко-фашистские захватчики разбиты, бегут и скоро, очень скоро, должен наступить час окончательной расплаты. Как и предсказывал вождь мирового пролетариата, «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».

Все зааплодировали. Не Портфельчику, а вождю, конечно.

— Наши колонисты,— продолжал директор,— тоже прибыли сюда, чтобы осваивать эти плодородные земли и после голодной, бесприютной жизни начать новую трудовую, созидательную жизнь, как и живут все советские трудящиеся люди... Ребята скоро начнут учиться, но они же будут помогать сельским труженикам убирать урожай...

— Да уж помогают!— выкрикнули из зала. Раздался незлобный смех.

— ...А те, кто выйдет из колонии по возрасту в пятнадцать лет, поступят в колхоз или на консервный завод,— продолжал директор, постаравшись не услышать реплику.— Так что жить нам с вами по соседству придется долго. Я так думаю: сегодняшняя встреча поможет нам лучше понять друг друга и подружиться... Вот для начала колхоз выделил нам подсобное хозяйство, правда, далековато... Но ничего. У наших братцев ноги молодые, добегут... Так вот... Есть теперь база для пропитания, там посевы, телята и козы... И прочее... Спасибо!

В зале жиденько зааплодировали. Слова о долгой соседской жизни с колонистами энтузиазма не вызвали.

Тем более и кусок поля со скотиной пришлось отрезать! Но все оживились, когда директор, уже сойдя с трибуны, добавил, что колонисты народ, безусловно, способный, артистический, и они приготовили для колхозников свой первый самодеятельный концерт.

На сцену вышли мытищинские, человек двадцать. Воспитательница Евгения Васильевна объявила песню о Сталине. Директор одобрительно кивнул. Хор грянул:

Лети, победы песня, до самого Кремля,
Красуйся, край родимый, колхозные поля.
В колхозные амбары пусть хлеб течет рекой,
Нам Сталин улыбнется победе трудовой...

Ребята из хора, те, что были впереди, вдруг пошли пританцовывать, изображая колхозников, кружиться, и всем стало весело. Зал великодушно зааплодировал, а хор стал неловко кланяться. Но так как аплодисменты не кончались, а петь по списку было нечего, мытищинские стояли и ждали. Потом они, как по команде, выкинули правую ногу вперед и запели: «Тум-та, тум-та, тум-та, тум-та...»

Раз в поезде одном сидел военный
Обы-кно-вен-н-н-ный... Купец и франт...

Директор поднялся и стал пробираться к выходу.

Ребята, конечно, поняли так, что Портфельчик не захотел слушать не одобренную им песню. Но причина была не в этом. Или не только в этом.

Надо было срочно, об этом никто не знал, с шоферицей Верой доехать до колонии и принять участие в обыске, по некоторым предположениям, именно на территории колонии были запрятаны банки с джемом, уворованные с завода.

Концерт был удобным поводом убрать колонистов, всех до одного, из зданий техникума, чтобы провести такой обыск. Провести и успеть вернуться. По завершении концерта предполагалось, что колхозники в знак той же дружбы пригласят колонистов к себе на ужин.

Кузьмёныши, как и остальные ребята, ни о чем на этот раз не догадались. Даже прозорливый Сашка был беспечен, его волновало лишь, когда им дадут выйти на сцену.

Оба вертелись в узенькой, похожей на коридор комнатке за сценой, а воспитательница Евгения Васильевна со списком выкликала очередных выступающих...

— Каширские... Быстрее! Быстрее! Люберецкие, готовы?.. Люблинские...

— А мы? Когда будем петь? — подступили к воспитательнице Кузьмёныши.

— Как фамилия?

— Кузьмины!

— Оба?

— Что, оба?

— А по отдельности вас как?

— Мы по отдельности не бываем.

— Ага... — сказала воспитательница Евгения Васильевна. — Значит, семейный дуэт? Ждите.

Братья посмотрели друг на друга и ничего не ответили. Хоть и семейными ни за что ни про что обозвали! А вообще с Евгенией Васильевной — Евгешей — они встречались, да, видать, та забыла. Случилось как-то, к Регине Петровне пришли, а там чай пьют втроем, Евгеша эта и еще директор. Повернулись, смотрят, а Кузьмёныши, как напоказ выставленные, торчат посреди комнаты, а сразу уйти неудобно.

Регина Петровна рассмеялась и, указывая на них, говорит, вот, говорит, мои дружки, отличить, кто есть кто, нельзя; и зовут их Кузьмёныши. А по отдельности напоминать не надо, все равно заморочат. — Ведь заморочите? — спросила она братьев. Те кивнули. Все охотно засмеялись, а Регина Петровна тоже засмеялась, но не как остальные, которые развлекались, а по-родственному, как своя.

Но Кузьмёныши не стали о себе напоминать. Лишь бы про номер не забыли.

В это время несколько человек, в том числе технолог с завода, директор и солдат с миноискателем, обшаривали техникумовский двор. Попадались железки, детали от каких-то старых машин, но того, что искали, не было.

Кто-то предложил вернуться в спальню старших мальчиков, где уже и так все было перевернуто вверх дном.

Несколько раз прошли из угла в угол — безрезультатно. Собрались уходить, но тут в наушниках у солдата запищало, указывая на малое присутствие металла.

Солдат провел своей «кастрюлей» на длинной ручке по комнате, потом снял наушники и показал на дальний угол.

Принесли лом, стали отрывать толстую половую доску. Она не поддавалась.

Директор с сомнением смотрел на всю эту процедуру, бросил взгляд на часы. Спросил солдата:

— Это не ошибка?— И уже к другим:— Это ведь непонятно, что происходит! Ну как они, скажите, могли что-то сюда спрятать! У них ни инструмента... Ничего...

— Ладно,— согласился технолог и поправил металлические очки.— Это последнее. Не найдем, закончим. Значит, твои молодцы ловчей нас!

— Или честней!— сказал директор.— И ничего они не украли!

— Кроме тех, шестнадцати...

— Кроме тех...— вздохнув, повторил директор.

Подросток из Раменского в это время с выражением читал стихи:

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины:
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне...

Сашка сказал Кольке:

— Про товарища Сталина стихи!

— Как это?— не понял Колька. До него всегда медленно доходило.

Сашка рассердился, стал объяснять:

— Ну, он же на горе стоит... Один, как памятник, понимаешь? Он же великий, значит, на горе и один... И орел, видишь, не выше его, боится выше-то, а наравне! А он, значит, стоит и на Советский Союз смотрит, чтобы всех-всех видно было! Понял?

Подросток продолжал читать:

...Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уже люди гнездятся в горах...

В этом месте в зале почему-то наступила особенная, глухая тишина. Впрочем, увлеченный чтец этого не замечал, он выкрикивал бойко знакомые стихи:

...И ползают овцы по злачным стремнинам.
И пастырь нисходит к веселым долинам.
Где мчится Арагва в тенистых берегах,
И нищий наездник таится в ущелье...

Раздался странный шелест по рядам. В зале вдруг от ряда к ряду стали передаваться слова, но смысл их

трудно было уловить. Понятно было одно: «Стихи-то про чечню! Про них! Про гадов!»

Так возбудились, что забыли и поаплодировать. Колонисты аплодировали сами себе.

...Доску наконец-то вскрыли, взвизгнули напоследок огромные гвозди, и глазам комиссии открылась яма, подземелье, в глубине которого мерцали золотыми бликами крышечки банок. Сколько их там было: сотни или тысячи, сразу невозможно было понять.

Банки были уложены кучками на землю, и на крышечках каждой из них стояла метка хозяина: буква и цифра. Это чтобы потом не перепутать!

Технолог, кряхтя, спрыгнул в яму, поправил свои железные очки, осмотрелся, все не верил, что такое может быть. Задрал голову к директору, попросил подать ему бумагу и карандаш.

— Акт будем составлять! Тут у них товару поболее, чем на заводском нашем складе,— сказал.— Оприходуем? Товарищ Мешков?

Петр Анисимович, сразу побледневший, с готовностью полез в портфель и достал бумагу. Потухшим голосом произнес:

— Это ведь непонятно, что происходит...

Когда Кузьмёныши вышли на сцену, в зале стояла натянутая тишина. Братья посмотрели на передний ряд, где сидели колонисты, потом, уставясь в пространство, завели:

На дубу зеленом да над тем простором
Два сокола ясных вели разговоры,
А соколов этих люди все узнали...

Грустная, конечно, песня, как соколы прощались, один из них умирал, а второй ему и говорит... Говорит, что мы клянемся, но с дороги не свернем.

И сдержал он клятву, клятву боевую,
Сделал он счастливой
Всю-ю стра-ну род-ну-у-ю...

Закончили на высокой ноте, очень даже трогательно, а для большего веселья грянули гоп со смыком. Она тоже хорошо ложилась на два голоса.

Изобразили в сценах и под рокот одобрения убежали.

Уходя, братья видели, как через сидящих на полу колонистов пробирается к своему месту директор Петр Анисимович, прижимая к груди портфель. Лицо у него,

нельзя не заметить, было не просто грустным, а каким-то угнетенным, серого цвета.

Тяжело вздохнув, он уселся на свой стул и приготовился слушать, не зная, что концерт подходит к концу.

— Фокусы и манипуляции!— объявила со сцены Евгения Васильевна и, помахав рукой с зажатым списком, вызвала на середину Митька.

Митек голову обвязал найденным в подсобке башлыком наподобие какого-то восточного факира, но колонисты его узнали и сразу захихикали:

— Это Митек! Митек! Он от шупа вшпотел!

Митек сделал вид, что ничего не слышит, и вообще изображал из себя какого-то мага. Он поднял руки вверх, поводил ими в воздухе, на ладони оказалось яблоко. Митек откусил яблоко, а колонисты с первого ряда прокомментировали:

— Ни фиги себе! А банку с джемом достать можешь?

Директор при этих словах вздрогнул, испуганно оглянулся.

Митек со вкусом доел яблоко, снова пошарил в воздухе, шевеля пальцами, и у него обнаружилась в руке золотая крышечка, из тех, которыми закрывают банки в цехе. Потом крышечек оказалось много, и они посыпались на сцену, а две упали в зал.

— На заводе наворовал.. Крышек-то!— громко сказал кто-то, на него зашикали.

— Не мешай смотреть!

— Главный номер! — предупредил Митек и посмотрел в зал.— У одного из вас, кто сидит в жале, я возьму череш вождю предмет...

В зале оживились, стали проверять карманы.

Директор поежился и с опаской поглядел на Митька. Может, он сейчас жалел, что разрешил ему выступать.

Митек беспечно осмотрел зал, нашел директора и сосредоточился на его портфеле, даже руку к нему протянул.

Петр Анисимович прижал свой портфель к себе.

Митек мудро усмехнулся. В руке у него появилась бумажка.

— Вот!— крикнул он и помахал бумажкой в воздухе.— Это из портфеля.

— Докажи!— закричал зал, а директор покосился на свой портфель. Он был крепко заперт на оба замка.

— Можно? Доказать?— спросил Митек директора.

— Можно, можно,— устало отмахнулся тот, не выпуская из рук портфеля.

— Читайте,— сказал Митек и уткнулся в бумажку.— Шегодня, пятого октября, был проишведен обышк на территории колонии, в чашношти в шпальне штарших мальчиков... В шпальне были вшкрыты полы и обнаружен тайник, а в нем...

— Пойстойте!— вскрикнул Петр Анисимович и даже привстал от волнения.— Да это же мой документ!

— Читайте! Читайте, фокусник!— закричал зал.

— ...Тайник,— повторил Митек четко.— А в нем пятьшот банок коншервированного шливого джема жаводского ишготовления...

— Верните мою бумагу,— попросил директор.— Я сейчас объясню...

Но уже колонисты пробирались к выходу, наверное, надеялись спасти хоть часть своих сокровищ. Да и какой тут к черту вечер дружбы, если шмонают за твоей спиной!

Стали подниматься и колхозники, посмеиваясь между собой. Вот это фокусники так фокусники, по соседству пятьсот банок в честь дружбы унесли и спасибо не сказали.

Среди шума и хлопанья стульев не сразу различился голос задних рядов: «Ти-ше! Ти-ше, говорят!»

Люди недоуменно замолкали, оглядываясь в сторону голоса: чего это как резаный вопит, может, и его уже обчистили?

В наступающей тишине явственно, совсем рядом дробью прозвучали копыта, раздалось ржанье лошади и гортанные выкрики. Потом грохнуло, как с потолка, дрогнули стены, посыпалась штукатурка. Впечатление и правда было такое, что обрушивается свод. Люди машинально пригнулись, а некоторые бросились на пол.

Наступила глухая тишина. Все прислушивались, ждали, глядя вверх. Но ничего не происходило. И тогда люди зашевелились, приходя в себя и растерянно озираясь. И вдруг бросились к дверям, без давки, без крика, вообще без слов проскочили и исчезли, оставив колонистов в полутемном клубе.

— Дружки-то новые слиняли?!— произнеслось в тишине нахально. И тут обрел голос Петр Анисимович.

— Всем колонистам оставаться в клубе!— выкрикнул он, оглядываясь на дверь.— Будем выходить организованно, когда... Когда... Когда...

— У Портфельчика пластинку от страха заело!— прошептал Сашка.

Колька кивнул. Но он тоже смотрел на дверь.

С улицы влетел — все вздрогнули — крик.

— Они машину взорвали! Там Вера наша! Там дом горит!

— А люди? — спросил хрипло директор. Непонятно было, каких людей он имел в виду. Тех, что были тут и разбежались, или... тех...

— Ну, кто-нибудь там есть? — голос у директора взвизгнул и сорвался.

Колонист повторил про машину и про Веру... И про дом, который горит.

Директор осторожно подошел к дверям и выглянул наружу. Еще раз выглянул, прислушиваясь к звукам, что доносились с улицы. Не очень решительно произнес, хриповато откашливаясь:

— Будем это... Значит... Наружу... Это ведь непонятно, что происходит...

Колонисты потянулись к выходу, но никто не рвался вперед.

Пустынна была улица, темна, ни одного окошка не светило в домах. Может, их успели покинуть?

На площади за клубом костром пылал «студебеккер», тот самый, что возил колонистов на завод. Ребята, замерев, глядели на огонь. Наверное, подумалось сейчас о Вере.

Директор, не останавливаясь и будто не замечая горячей машины, двинулся вперед, а все кинулись за ним вслед. Где-то на окраине, за деревьями, колебалось розовое пламя. Когда приблизились, стало видно, что горит дом.

Колька, вздрогнув, сказал:

— Это же дом Ильи!

А Сашка спросил:

— Думаешь, он там?

— Откуда мне знать?

— Небось сбежал... Или... Нет?

Братья переглянулись. В глазах у Сашки, который был лицом к пожару, плясали красные огни.

Директор оглянулся, почти истерически закричал:

— Никому... Никуда... Не подходить! Только со мной! Ясно?

И оттого что он так громко и так не по-мужски закричал, ребята будто сжались и притихли совсем.

Картина была такая. Директор шел впереди, выставив перед собой портфель, как щит.

Походка его была не то чтобы нерешительная, а какая-то неровная, дерганая, будто он разучился ходить. Он, наверное, спиной чувствовал, как его подпирают дети. А им тоже казалось, что вот так, за ним, ближе к нему, они лучше прикрыты и защищены.

Слава богу, что никто из них не мог в это время видеть его лица.

Да еще эта глухая темнота, особенно беспросветная после яркого пожара!

Мы шли, сбившись в молчаливую плотную массу. Еще наши глаза, не привыкшие к черной ночи, хранили на своей сетчатке красные блики пламени. С непривычки могло бы показаться, что повсюду из черноты выглядывают языки огня. Даже ступать мы старались осторожно, чтобы не греметь обувью. Мы затаили дыхание, старались не кашлять, не чихать.

Задние поминутно оглядывались и норовили протиснуться в середку, так казалось безопаснее. Все кругом угрожало нам: и ночь, и вязкая тяжелая темнота, и непролазная чаща кукурузы по сторонам дороги, потрескивающей от нечувствительного ветерка.

Что мы знали, что мы могли понимать в той опасности, которая нам угрожала? Да ничего мы не понимали и не знали!

Шушуканье да скрытность вокруг каких-то дел, о которых можно было лишь догадываться, как о несчастном пожаре в колонии...

Но ведь мы были легковверны, беспечны, мы еще не угадывали, что мы смертны, даже опасность, не совсем для нас ясная, казалась нам прежде не больше чем игрой.

Война приучила нас бороться за свое существование, но она вовсе не приучила нас к ожиданию смерти.

Это потом тот, кто уцелеет, взрослым переживет все снова: ржание лошадей, чужие гортанные голоса, взрывы, горящую посреди пустынной улицы машину и прохождение через чужую ночь.

Нам было страшно не оттого, что мы могли погибнуть. Так бывает жутко загнанному зверьку, которого настигло неведомое механическое чудовище, не выпуская из коридора света! Мы, как маленькие зверята, шкурой чувствовали, что загнаны в эту ночь, в эту кукурузу, в эти взрывы и пожары...

Но ведь это слова. Слова, написанные через сорбк лет после тех осенних событий сорок четвертого года.

Возможно ли извлечь из себя, сидя в удобной московской квартире, то ощущение беспросветного ужаса, который был тем сильнее, чем больше нас было! Он умножился будто на страх каждого из нас, мы были вместе, но страх-то был у каждого свой, личный! Берущий за горло!

Я только запомнил — и эта память кожи, самое реальное, что может быть, — как подгибались от страха ноги, но не могли не идти, не бежать, ибо в этом беге чудилось нам спасение.

Был холод в животе и в груди, было безумное желание куда-то деться, исчезнуть, уйти, но только со всеми, не одному! И конечно, мы были на грани крика! Мы молчали, но если бы кто-то из нас вдруг закричал, завыл, как воет оцепленный флажками волк, то завывали бы и закричали все, и тогда мы могли бы уж точно сойти с ума...

Во всяком случае, этот путь, лежавший через смертельную ночь, был нашим порывом к жизни, не осознаваемым нами. Мы хотели жить, животом, грудью, ногами, руками...

Не всем из нас повезло.

20

Той же ночью Кузьмёныши решили бежать.

Паника, охватившая всю колонию, от директора Петра Анисимовича до последнего шакала из младших классов, коснулась и наших братьев.

Поразил их отчего-то не сам взрыв, случившийся вечером посреди деревни, и не пылающий костром «студебеккер», хотя непонятно было, как это может гореть железо, а добитый огнем дом Ильи Зверька.

Зверек первый и предупреждал об опасности!

Предупреждал, да сам, дурачок, и попался! Судьбу-то не перехитришь, оказывается. Ловчил, ловчил да и погорел. Но хоть подумалось так, а жалко было Илью. Помнилось не то, что он жульничал, а помнилось, как флажками в морду тыкал парню там, в Воронеже, когда гнались за братьями с воем торгоши. Да и тут, в деревне, на незнакомой земле, кто, как не Илья, привел их в свой дом... А провожая, предупредил, бегите, мол, отсюда, худо будет!

Говорить-то легко, а куда им бежать? Теперь-то, ког-

да у них такой задел из банок с джемом есть, другое дело!

Теперь их любая проводница за банку в тамбур примет, а то и в вагон! Не на колесе, не в собачнике, а на полке барином поедут!

Братья, хоть друг на друга не смотрели, знали, чувствовали едино: все кругом горит, и тот слеп и глуп, кто не чувствует, что огонь к колонистам подобрался... Подпекает уже!

Никто не спал в ту ночь. Братья тоже не спали.

Старшие в свою с развороченным полом спальню прибились. Глядели сумрачно в глубокий подвал, открытый ими, холодный крысиный запах шел оттуда.

Тоска подступала к сердцу от этой картины, замирало все внутри. Так, наверное, замирает мышь-полёвка, у которой поздней осенью, в преддверии голодной зимы, разорили хлебное гнездо.

Кузьмёныши не знали, но догадывались о подвале. Понимали, что для такого мощного потока банок и хранилище нужно большое. Но не одобряли они такое хранение.

Вон подпольщики в тылу врага и те по тройкам рассредоточены. А все для того, чтобы меньше попадаться.

А шакалье как шуровали скопом и прятали скопом, так скопом и попались — всё сразу потеряли!

Но братья этой ночью не о чужой, о своей заначке пеклись.

Было решено: как затихнет, рассовать свое богатство по мешкам да за спину и пешедралом на станцию... На поезд! И — бежать, бежать, бежать! В свете пожара в эту ночь им было особенно ясно. Про себя. Про свое спасение.

В полночь, когда колония наконец погрузилась в свой тяжкий, беспокойный сон, если не бессонницу, братья шмыгнули за дом, проскреблись в колючий лаз, он чего-то сегодня особенно неудобен был, пробрались к берегу речушки.

Еще на подходе, из-за кустов, увидели свет мелькающих фар, слышали мужские голоса.

Сердце у обоих зачастило, дрожь проняла до пяток! Решили, что до их заначки добрались, шуруют ее! Если уж отыскиали в спальне под досками, отчего же не найти на берегу?!

Но, приблизившись, поняли: заначка их ни при чем. Как говорят: кто о чем, а вшивый о бане!

Просто солдаты на мотоциклах приехали, на берегу на отдых стали. Костра не жгли, а подсвечивали друг другу фарами и матерились, возясь около своих машин. Даже на расстоянии был слышен резкий запах бензина.

Разговоры же громко велись про какое-то ущелье, где их подкараулили бандиты и, завалив дорогу камнями, расстреливали с горки.

Бойцы из ущелья выскочили, угробив мотоцикл с коляской, но одного из них контузило в голову и плечо.

Теперь Кузьмёныши разглядели и раненого бойца. Ему оказывали скорую помощь, а он стонал, ругался, а потом закричал пронзительно, братья вздрогнули:

— Басмачи, сволочь! К стенке их! Как были сто лет разбойниками, так и остались головорезами! Они другого языка не понимают, мать их так... Всех, всех к стенке! Не зазря товарищ Сталин смел их на хрен под зад! Весь Кавказ надо очищать! Изменники родины! Гитлеру прод-да-ли-сь!

Раненого перевязали, и он умолк, а бойцы, отойдя по нужде к кустам, стали говорить разные разности про войну, которой уж конец виден, пусть и за горами! Про то, как им не повезло,— дружки осаждают Европу, а тут, курам на смех, приходится штурмовать дохлые сакли в ущельях... Со старухами да младенцами воевать!

Бойцы отговорились, стали укладываться спать. Братья поняли: не уедут они. Сегодня точно не уедут. А это значит, что побег до другого дня откладывается. Бежать без банок — гиблое дело. Куда бы ни наостряли они лыжи, а ждут их без своего запаса голод, да попрошайничество, да кражи... И в конечном счете — милиция!

Да и кто от своего такого богатства по своей воле уйдет!

Колька так и заявил: лягу, мол, умру, но от заначки шага не сделаю! Лучше, мол, прямо на берегу возле заначки жизнь отдать, чем такую заначку бросить!

Решили, в общем, ждать утра, которое, если верить сказкам, куда мудренее вечера.

А оно уже подступало, и сумерки сходили с невидимых пока гор вместе с легкой свежестью и порывистым, шуршащим по кукурузе ветерком.

Наутро за завтраком стало известно, что вернулась из больницы воспитательница Регина Петровна.

Кузьмёныши слышали новость в столовке, переглянулись. Оба подумали так: повезло. Не было бы, как говорят, счастья, да несчастье помогло!

Сбегали скорей к заначке, на берег реки. Бойцов уже не было, валялась на траве кровавая вата, обрывки бинтов, бычки от курева.

Колька рукой в нору залез: цела! Цела заначечка! Все банки наперечет на месте! Холодненькие, гладенькие, тяжелые даже на ощупь.

Знали бы бойцы, близ какого богатства они тут храпели без задних ног!

Теперь до следующей ночи, когда они наметили снова бежать, непременно надо было им увидеть свою Регину Петровну. Она хоть вернулась, и девочки утверждали, что видели ее, но нигде не показывалась. И в своей комнатке за кухней, как ребята ни пытались заглядывать в окошко, не показывалась тоже.

Промаялись, слоняясь целый день, и все зазря.

И, когда вечером Колька сказал, что пора им бежать и ждать больше нет сил, Сашка вдруг решительно заявил, что без Регины Петровны, без того, чтобы ее увидеть, он, Сашка, не сдвинется с места. Колька может умереть без заначки, а он, Сашка, не поедет, пока не увидит воспитательницу! И плевать ему на заначку! На все одиннадцать банок вместе с двумя мешками! На всё ему плевать! Не может уехать без Регины Петровны и ее мужичков! А то получится, что спасают братья самих себя, а такого человека, как Регина Петровна, оставляют тут погибать!

Они должны вместе бежать, вот что он понял!

И еще одна ночь была потеряна для побега.

Но уже и чувство первой тревоги, той душевной паники, которую пережили все колонисты, сгладилось, а страх, липкий, беспросветный страх, стал опадать и таять. Даже похороны Веры-шоферицы на третий день не взвинтили братьев.

С утра за старшеклассниками приехал от завода «зисок», обшарпанный, дребезжащий, как телега.

Скамейки на нем не откидывались с бортов, а стояли поперек кузова и качались, потому что были не закреплены.

Да все показалось непривычным для колонистов. Сумрачный, молчаливый старик шофер, и эти неудобные скамейки, и даже то, как их везли, осторожненько, будто стекло, не так, не так их возила лихая Вера!

Шоферицу Веру ребята жалели: она была почти своей. И уж, во всяком случае, не чужая, ибо все понимала про колонистов и никогда ни разу не продала! И машину

водила! И красивой была! И веселой! И такой фартовой! Будто век прожила в колонии!

Но вот что странно: никто из ребят не захотел поехать на похороны, и объяснять не объясняли, почему не хотят ехать.

И лишь когда объявили, что ожидает всех кормежка в заводской столовой и даже будет мясо, ребята согласились. Мяса, надо сказать, им еще ни разу не давали. Поехали и Кузьмёныши.

У них был свой резон, не считая обеда: побывать, если удастся, на заднем дворе — когда еще такой случай представится — и посмотреть, целы ли несколько банок, заначенных под ящиками, до всей этой суеты.

Если бы и их удалось прихватить с собой! Да перед побегом!

Панихида, как и ожидалось, происходила прямо на заводском дворе.

У гроба, которого не было видно за толпой, кучкой стояли женщины в белых платочках, некоторые из них плакали.

Колонистов увидели от проходной, стали оборачиваться, раздвинулись, пропуская их вперед.

Кузьмёныши, хоть не хотелось им этого, оказались прямо перед гробом, плоским, сколоченным из грубых досок и ничем не покрашенных. Эти доски приходились братьям на уровне глаз.

В гробу, куда они, приподнявшись на носки, уставились с любопытством и каким-то ожидаемым страхом, лежала, будто спала, красивая женщина с поджатыми губами; волосы ее, рыжеватые, золотившиеся, окаймляли спокойное чужое лицо.

Женщина никак не походила на бойкую шоферицу в кепочке да мужской одежде.

Это была другая, не ихняя Вера, братья сразу так поняли. И отвели глаза. Потупясь, они стали смотреть на ножки стола, на котором лежала покойница.

Стол, обитый железом, а сейчас покрытый простыней, был им знаком по цеху. На нем обычно стояли стеклянные банки с джемом, который они тырили за спиной закрывальщика.

Оба брата подумали, что скорей бы кончилось это занудство и они смогли бы потихоньку убраться на задний двор. Туда, где их банки!

От слез, от причитаний, вздыханий, сморканий вокруг, от всей этой толпы у них начинала болеть голова,

как болела лишь в милиции, когда их вылавливали на рынке.

Наконец вышел старик технолог прямо в халате и начал рассказывать всем про Веру, но смотрел он в лицо покойнице. Он говорил, что Вера была молодой девушкой, ей исполнилось девятнадцать, но многое в своей короткой жизни пережила, и, главное, она пережила фашистскую оккупацию. Фашисты угоняли население в рабство, а с Верой они справиться не могли... Она трижды сбегала в дороге и трижды возвращалась к себе домой. Последний раз она спряталась в шкаф, и враги вытаскивали ее из шкапа...

Братьям стало вдруг смешно, когда они представили шкаф, в котором сидела шоферица Вера. Но все смотрели на технолога и серьезно слушали.

На заводе Вера была стахановкой, хоть и приходилось ей выполнять тяжкую мужскую работу шофера: возить на станцию продукцию и доставлять на работу детишек... Старик указал при этом на Кузьмёнышей, и они смутились. Но подумалось: кататься на машине, пусть не погибает, вовсе не тяжело, а приятно.

— Спи, доченька, спокойно, мы тебя не забудем,— сказал между тем старик и наклонил голову. Короткие седые волосы засеребрились на солнце. Женщины стали всхлипывать, а крикливая тетка Зина и тут запричитала на весь двор. Выходило по ее причитаниям, что были они из одной деревни, их вместе сюда и привезли, и прикрепили...

К гробу протолкнулись евреи-грузчики. С непроницаемыми лицами, легко, будто пылинку, подняли они Веру и перенесли в грузовик, на котором ехали колонисты.

Заиграл оркестр: барабан и две трубы, и от гулких ударов тарелок и барабана что-то у братьев перевернулось в груди: заболело, заныло.

В машину посадили по борту, вдоль стола с гробом, несколько женщин и причитающую тетку Зину и повезли.

Все стали выходить за ворота.

Старик технолог стоял посреди двора и приговаривал, глядя на колонистов:

— Идите... Идите! Сегодня не работаем!

Никакого мяса им не дали. Что называется, получили от тех ворот поворот! И братья отвалили.

Шли по дороге и обсуждали то, что видели. Оба согласились, что Вера не была похожа и не молодая совсем. Девятнадцать — это почти что старость, как посчитали

Кузьмёныши. Вон, они уж не малые дети, а вместе сложить, так ненамного старше Веры будут.

А еще Колька рассказал, что услышал, в шепоте за спиной, будто Вера сидела в машине и ждала конца вечера, чтобы везти колонистов на ужин... И не заметила, как появились всадники. Они Веру, наверное, и не видели, а видели лишь машину. Но, когда они бросили гранату, Вера еще успела выскочить из горящей машины и пробежать несколько метров и упала. А потом выяснилось, что один осколок попал прямо в сердце... Как же она могла тогда с пробитым сердцем бежать?

Сашка задумался и не отвечал. Кольке он сказал только: «Не верю». Буркнул и затих.

— Чего не веришь-то? — спросил Колька. — Что сердце пробило? Не веришь? Да?

Сашка молчал.

— Ты думаешь, сочиняют... Про сердце?

Сашка молчал.

— Или... Про этих... Про бандитов?

Полеми они дошли, срезав часть дороги, до берега Сунжи и теперь сидели на траве.

Сверкали в белесой голубизне совсем невыразительные, похожие на мираж горы. Они вроде бы были, но так были, что, казалось, ощутить их реальность вовсе невозможно.

— Я ничему не верю, — сказал вдруг Сашка. А потом, помолчав: — Ну, все как-то непонятно мне. Была эта Вера. Везла нас, кричала чего-то... А потом раз, и нету. А куда же она делась?

Колька удивился и возразил:

— Куда... Закопали!

— Да я не об этом.

Сашка прищурил глаза и посмотрел вдаль. Дребезжала на камешках рыжая вода, над ней кружилась бабочка.

— Вон эти... — И Сашка показал на горы. — Они тоже пропадают, появляются, но они всегда есть. Так?

— Ну... — спросил Колька.

— Вот... Речка... Тоже всегда...

— Ну?

— А почему же люди? Они-то что?

— Ты про Веру говоришь?

Сашка с неохотой поморщился:

— Про всех я говорю. И про нас с тобой тоже говорю. Тебе страшно было стоять у гроба?

— Нет,— сказал Колька.— Не страшно. Но... неудобно. Другого слова он не смог подобрать. Лишь поежился.

— А тогда — ночью? Вот через поле шли? Страшно?

— Там было страшно,— сознался Колька.

— И мне страшно. Только не знаю, чего я боялся. Просто боялся, и все.

— Ну, этих... боялся?

— Нет,— сказал Сашка. И вздохнул.— Я не их боялся... Я всего боялся. И взрывов, и огня, и кукурузы... Даже тебя.

— Меня?

— Ага.

— Меня?! — еще раз переспросил, удивляясь, Колька.

— Да нет, не тебя, а всех... И тебя. Вообще боялся. Мне показалось, что я остался сам по себе. Понимаешь?

Колька не понял и промолчал. А вечером они пошли к Регине Петровне.

21

Сперва они захватили банку джема. Но потом отставили. Много разговоров по колонии ходило об этом самом джеме. Да еще братья припрутся со своей банкой!

Пришли к вечеру, после похорон, и застали Регину Петровну дома. Размещалась она в дальнем углу кухоньки, отгороженном казенным желтым в полосочку байковым одеялом.

Регина Петровна искренне им обрадовалась.

— Милые мои Кузьмёныши,— сказала она, пропуская их в угол и усаживая на кровать.— Ху из ху?— И, указывая на Сашку, который был на этот раз подпоясан дареным ремешком, спросила:— Ну, ты, конечно, Колька?

Братья засмеялись, и она поняла, что ошиблась.

— Ладно,— сказала,— я с приезда занялась стиркой, накопилось... Мужички мои хоть и были с девочками, но порядком обросли грязью. Но все бросаю, все... Сейчас будем пить чай... С конфетами! Я настоящих конфет привезла!

Братья переглянулись, одновременно кивнули. А воспитательница сразу спросила:

— Или вас конфетами не удивишь?

Она подняла таз с мыльной пеной и вынесла вон. Вернулась и повторила, присаживаясь напротив:

— Что у вас там с джемом? Много натырили — как

выражаются ваши дружки? Натырили? Заначили? Я правильно говорю?

— Ну и что?— пробурчал Сашка.— Ну и заначили.

Регина Петровна рассмеялась, и низкий удивительный ее смех, будто родная песня, прозвучал для обоих братьев.

Они уже успели рассмотреть свою воспитательницу, и оба заметили, что она похудела и на лице, таком же красивом, сквозь природную смуглоту пробивалась желтоватая бледность. Только волосы стали еще гуще, пышнее, не волосы, а черная непослушная грива, небрежно завернутая в узел. Сейчас на глазах Кузьмёнышей она, глянув на свое отражение в окошке, зеркало, наверное, ее сгорело, одним легким движением вынула шпильку, и посыпалось на плечи темным водопадом, а лицо при этом еще больше побледнело, осунулось.

— Пусть подышат,— сказала, откидывая голову назад, чтобы волосы улеглись за спиной.— А я сделаю чай. Тогда и поговорим.

Регина Петровна принесла чайник, стаканы, в блюдечке конфеты, словно майские коричневые жуки.

— Берите, берите,— и пододвинула к ним поближе.— Это подушечки, с чаем прям благодать.

Братья взяли по одной конфете. Сашка засунул сразу в рот и съел, а Колька только лизнул и отложил.

— Ну вот, теперь я поняла, что вы меня не морочите,— Регина Петровна снова засмеялась.— Сашка — это и правда Сашка. Хоть он и с Колькиным поясом. Теперь рассказывайте... Вы же что-то хотите рассказать, да?

Сашка посмотрел на Кольку и кивнул.

— Как вы, милые мои, жили? Я ведь боялась, что вы сбежите! Вы ведь хотели сбежать? Сознавайтесь?

— Хотели,— сказал Сашка.

— Страшно было, да?

Братья не ответили. И так понятно.

Регина Петровна посмотрела на них долгим, задумчивым взглядом, и они потупились.

— Мне тоже было страшно,— просто сказала она.

— Вы их... Вы видели? — Сашка уставился на воспитательницу.

— Видела.

— Вот! — воскликнул Сашка.— А я знал!

Регина Петровна долила братьям чай и себе долила. Подошла к окну, задымила папироской. Когда она куривала, братья заметили, что руки у нее дрожат.

— Слава богу, хоть папирос достала,— сказала она,

глядя в окно и глубоко затягиваясь.— А тогда... Что-то долго не спалось, у меня горел свет. А потом они встали за окном... Трое. А с ними еще мальчик. Окно распахнулось, вот как сейчас, а я даже не поняла ничего. Стоят трое и смотрят на меня, на мои руки, я папаху кроила. А я на них смотрю... А потом...

Регина Петровна еще раз затянулась, потом достала другую папироску, прикурила от первой, а эту сгоревшую бросила в окно.

И снова курила и молчала. Раздавила папироску о блюдце и вернулась за стол.

— Милые мои, дружочки... Вы что же конфет не едите?

— Мы уже,— сказал за обоих Колька.— А что — потом?

Регина Петровна задумалась, прикусив губу. Будто опомнилась и посмотрела на братьев.

— Да. Да... Только это никому, ладно?

Братья кивнули.

— Мне велели... Приказали в милиции — никому. Так вот, они наставили ружье прямо вот сюда,— она указала на лоб.— А мальчик дернул взрослого за локоть, думаю, что это был его отец. И ружье выстрелило мимо. Мальчик опять что-то ему крикнул, и тогда мужчина посмотрел на меня и заорал по-русски: «Ухады! Убирайся! С этими...» — И стволом на детей. Я к дверям, потом вернулась, схватила мужичков в охапку... А они всё на меня стволом, куда я — туда и ствол... может, они боялись, что я закричу? А я как выскочила во двор, сразу и взорвалось... Все там сгорело... И ваша папаха тоже сгорела. А дальше беспамятство какое-то. Ничего не помню. Только слово это застряло: «Ухады!» И ружье повсюду за мной. Я его и сейчас вижу.

— Они Веру убили,— сказал Колька.— Она в кабине сидела. Ей сердце пробили, а она побежала, потом упала.

— А меня пожалели... Почему? Я об этом в больнице все время думала. А когда меня допрашивали, велели об этом не говорить. Вообще ни о чем не говорить. Мол, бандиты — выловят их, и дело с концом. Только я думаю... Не надо было папаху трогать.

— Почему? Не надо?

— Не знаю. Не надо, и все. Они на нее смотрели... Так странно... Будто я что-то живое резала...

— А тут солдаты были,— сказал Колька,— которые ловят.

Сашка спросил:

— Эти... Ну, трое — страшные?

— Я и не поняла! — Регина Петровна почему-то снова посмотрела в окно. — Люди как люди. Один в штатском, а двое вроде в военном... Без погон, кажется. И мальчик, такой, как вы... Черненький... Он во все глаза на меня... Отец прицелился, — и она опять показала на лоб, — а он его за локоть...

— А лошади были?

— Не видела, — сказала Регина Петровна. — Может, и были.

Сашка посмотрел на Кольку и достал желтую гильзу.

— Вот, — положил на стол. — Ихнее. От того выстрела.

Регина Петровна испуганно взглянула издалека на гильзу. Спросила тревожно, заглядывая братьям в глаза:

— Так вы бежать... Куда?

Братья посмотрели друг на друга и ничего не ответили. Колька тянул назад, в Подмосковье. Сашка звал вперед, туда, где горы. Было решено промеж ними: сядут, куда первый поезд пойдет.

Регина Петровна поднялась, снова закурила.

— Пропадете вы! — резко произнесла она. — Мы лучше уедем вместе. Только не сейчас, сейчас я не могу. Я еще плохо себя чувствую.

Не докурив, выбросила папироску. Уж очень часто она зажигала и выбрасывала папироски, братья это заметили. Так ей никакого запаса не хватит.

От окна спросила:

— Вы слышали что-нибудь про подсобное хозяйство?

— Ну? — сказал Колька. А Сашка кивнул.

— Меня туда посылают. На поправку. Там две коровы, козы, телята. Поедемте? Со мной?

— А что там делать? — спросил Сашка. Но он уже знал, что с Региной Петровной он куда угодно поедет. Значит, и Колька поедет. А потом они и наовсе вместе смотаются.

— Будем пасти... Следить, кормить... Это для меня такой отдых придумали. Но я одна ехать боюсь!

— Далеко? — спросил опять Сашка. Он совсем другое хотел спросить, но спросил это.

— В горах, но в тех горах... По другую сторону железной дороги, — быстро сказала Регина Петровна, сразу поняв, куда гнет Сашка. — Там никого нет. Они за станцию не ходят... До сих пор не ходили!

Но Колька в первую очередь подумал о заначке.

— А сюда? Мы вернемся?

— Сюда? — Регина Петровна стала закуривать, никак у нее не зажигались спички. — Ну, конечно. У нас даже свой транспорт будет. Молоко или еще что ребятам будем привозить.

— «Студебеккер»? — воскликнул Сашка.

— Секрет, — сказала Регина Петровна.

Но Кольку волновала не машина, а заначки. Отрываться надолго от заначки — дохлое дело. Так и потерять недолго! Тут-то она рядышком, сходишь, рукой пощупаешь, пересчитаешь, и на душе спокойно. А там... Ты спокойно спишь, видишь во сне одиннадцать баночек, каждая блестит крышечкой, как золотой монеткой! И каждая — пропуск в рай! А придут эти с миноискателем, разворотят, как тот подпол...

Пока Колька переживал по поводу заначки, Сашка спросил про мужичков: а с ними как же?

— Мужички с нами поедут, — сказала Регина Петровна. И повторила: — Только мне одной с ними страшно. А так мы будем все вместе жить. Ну, как семья все равно... Поняли?

Нет, про семью братья не поняли. Они этого понять не могли. Да и само слово-то «семья» было чем-то чужеродным, если не враждебным для их жизни.

Для них и весь мир делился на семейных и несемейных. И эти две половинки были до сих пор несовместимы.

22

Уйдя от воспитательницы (Колька в кулаке сэкономленную подушечку зажал), они на ночь поспорили. Не сильно. Так, малость.

Оба хотели бежать, в этом разногласия у них не было. Но Колька требовал бежать немедленно. И никаких хозяйств! К чему им коровы да козы?

Сашка же советовал подождать Регину Петровну. Она сейчас слабая, она сама так сказала. Бежать сейчас не сможет. А когда окрепнет, они вместе уедут.

И потом, от подсобленного — так Сашка произнес — хозяйства может быть и прибыль какая! В придачу к их заначке! Вон от консервного завода и не ждали ничего, рады были хоть слив нажраться, а повернулось как! Сашка умней, это ясно. Все загодя примерил, взвесил.

Колька вздохнул и нехотя согласился.

Он тоже понимал: никто их нигде не ждет. А поездов

много. На один не сядешь, так на другой... Нищему терять нечего, одна деревня сгорит, он в другую уйдет.

Перед отъездом сходили в Березовскую, посмотрели на дом Ильи.

Все выгорело: и хата, и сарай, и деревья вокруг дома. Огород был пуст. Наверное, картошку вырыли соседи. А может, и колонисты помогли.

В бурьяне, покрытом, будто пылью, белым налетом пепла, торчала знакомая тележка с заржавленными колесами. На ней Илья дрова возил.

Колька подошел, ткнул ногой. Тележка отъехала. Колька еще раз ткнул... Потом нагнулся, отыскал веревку, за собой потащил.

— Брось! — сказал Сашка. — Охота тебе?

— А вдруг понадобится?

— Зачем?

Колька не ответил. Но тележку довез до Сунжи и спрятал в кустах.

— Она тебе что? Мешает? — спросил он Сашку.

— Мне не мешает! — огрызнулся тот.

— И мне не мешает. Вот и пусть лежит. — И добавил: — Она жрать не просит...

Колька не мог наподобие Сашки все заранее высчитать и выложить. Не так у него мозги устроены. Но и он понимал: если вещь валяется, ее надо подобрать. А опосля думай, что да зачем.

Вот Илью с его домом было ребятам жалко. Жулик он, Илья Зверек, но жулик-то веселый, почти свой.

Колька поковырял ногой в пепле, произнес задумчиво:

— Он как чувствовал, что его сожгут!

— А почему? — спросил Сашка. — Почему никого не тронули, а его тронули?

— С краю...

— Ну и что? Машину вон в самом центре взорвали!

— Может, они догадались, что он жулик?

— Как это?

— Просто, — сказал Колька. — Вон огород... Он и тупой ни разу не махнул! Собирал чужое, как свое, что до него посеяли!

— А другие? Не чужое?

— Они колхозники...

— Какая же разница!

— А зачем они жгут?

— А фашисты зачем жгут?

— Фашисты. Сравнил... Какие же они фашисты!

— А кто? Слыхал, как боец про них кричал? Все они, говорит, изменники Родины! Всех Сталин к стенке велел!

— А пацан... Ну, который за окном? Он тоже изменник? — спросил Колька. Сашка не ответил.

Ни до чего братья не договорились.

Поворошили пепел, огляделись, но никто не интересовался сгоревшим домом Ильи. Все, наверное, только собой интересовались.

Уезжали они рано утром, еще и солнце не всходило. Посреди двора стоял серый ишачок с грустными глазами. Был он запряжен в тележку с двумя колесами. На тележку сложили узлы, кастрюли, мешочки с крупой, поставили бутыл с растительным маслом.

Вышел директор со своим неизменным портфелем.

Вид у него был такой, будто он и сегодня не спал.

Посмотрел на Регину Петровну, на ее мужичков, которые канючили, — их подняли рано.

Кузьмёныши стояли тут же, зевая и поеживаясь.

— А эти? — спросил директор, кивнув на братьев. — Они что, с вами?

— Да, — сказала воспитательница. И тоже посмотрела на ребят. — Это братья Кузьмины. Я о них говорила.

Директор наморщил лоб, потрогал зачем-то портфель.

— Кузьмины... Кузьмины... Откуда?

— Из Томилина, — пробормотал Сашка. Нужно бы сказать «из Раменска», да Регина Петровна тут... Он посмотрел на Кольку и понял, о чем тот думает. Не зазря Портфельчик вспомнил их! Надо бы не медлить, убираться подобру-поздорову.

Директор же между тем полез в портфель, порылся, но ничего не нашел.

— Письмо вроде было... — сказал он. — О чем... О какой-то кухне... Нет, не помню!

— Поищите, мы подождем. Это ведь замечательно, что помнят, пишут... — сказала Регина Петровна и ласково посмотрела на братьев, которые поеживались и перминались около тележки. Они-то уж знали, что это за письмо! И насколько стоит его искать. Лучше бы не помнили!

Директор опять обратился к своему родному портфелю, но ничего, к счастью, не обнаружил.

— Ладно... У нас на два рта будет меньше, — сказал он. И уже Регине Петровне: — Вот вам бумага... От кол-

хоза. Там человек, он покажет... Справитесь ли... С этими-то?

— Они дружные ребята,— сказала Регина Петровна.— Помогут.

Директор посмотрел на небо, вздохнул:

— Эх, был бы посвободней... Тоже махнул! Да где там! Сейчас еду на завод уговаривать, чтобы назад приняли... И опять же в Гудермес, за педагогами... Пора школу налаживать... И продукты доставать... Это ведь непонятно, что происходит! — заключил он и развел руками.

Что там у него непонятного, у Портфельчика, ребята тоже не поняли: продукты ли, школа... Или завод... Ясно, как божий день, что на завод их пускать больше нельзя! Это директору одному непонятно! Обокрадут шакалы завод! Опять обчистят, как пить дать!

— А то приезжайте! Как освободитесь! — пригласила опять Регина Петровна и стала собираться.— Молочком угостим...

— Я шакалов пришлю, кукурузу ломать. А вы, как мерзнуть начнете, возвращайтесь! Счастливо!

Директор махнул рукой и пошел на кухню. Там уже возились дежурные девочки, начинался день.

Регина Петровна усадила мужичков на тележку так, чтобы они могли еще подремать. Сунула тряпье им под голову. Взяла ишачка под уздцы, и двинулись в путь.

Сперва так и шли: Регина Петровна впереди, она все боялась, что ишачок увезет тележку в поле, за тележкой — Кузьмёныши.

Но ишачок послушно катил свой воз по дороге, только острыми ушами стриг воздух, и Регина Петровна вскоре оставила его, пошла рядом.

Иногда она останавливалась, закуривала, а братьям показывала рукой: мол, езжайте, догоню...

Но они останавливали ишачка и поджидали. Хоть дорога, но и заросли, а вдруг какие враги выскочат!

Одета для дороги Регина Петровна была необычно, по разумению братьев. Мужская светлая рубашка с закатанными рукавами и темные, тоже, видно, мужские, шаровары. Такой Кузьмёныши воспитательницу еще не видели, но не осудили ее. Шоферица Вера и похлеще одевалась!

На расстоянии от Регины Петровны Колька сказал брату:

— Письмо-то про подкоп...

— А вдруг он и правда потерял?

— Портфельчик не потеряет! Он все с собой носит! В портфельчике!

Сашка нагнулся, подобрал какой-то камешек на дороге и отбросил в сторону.

— Ну и пусть себе носит! А мы сбежим!

— А заначка? — спросил Колька.

— Заначку возьмем... И сбежим.— Он оглянулся на воспитательницу и добавил: — Лишь бы Регина Петровна выздоровела.

Ни ходко ни валко добрались они к обеду до станции.

На запасных путях стоял товарняк, из него выгружали военную технику: какие-то совсем небольшие, крашеные в ярко-зеленый цвет пушечки, «виллисы», повозки с лошадьми.

Братья замедлили ход, уставились на пушечки. Хоть за войну нагляделись разного, да их и в Москву, в парк культуры, возили на выставку немецкого трофейного оружия, но какой настоящий мужчина пропустит такое зрелище. Оружие почему-то всегда красиво. И даже чем опасней, тем обычно красивее. Пушечки были хороши.

У деревянного покатого настила стояли солдаты, курили, громко разговаривали. Увидели Регину Петровну, развернулись в ее сторону, как по команде.

Ребята рассматривали пушку, а солдаты глядели на молодую красивую воспитательницу.

Кузьмёнышам это не понравилось.

— Ну-у, чево встал! — рявкнул Сашка на ишачка и хлестнул прутком. Эка, мол, невидаль, военный эшелон с солдатами.

Тележка, звонко подскакивая на шпалах, стала переезжать через пути.

— Ишь какие! Туземки-то! — раздалось им вслед.

Братья переглянулись, но отвечать не стали. Солдаты, а понятия никакого нет, что совсем они с Региной Петровной и мужичками не туземцы! Те голяком да в перьях ходят, это в любой географии нарисовано!

По тропе, ведущей в межгорье, за ротонду, они поднялись к развалинам санатория и тут сделали передышку.

Каждый из братьев выбрал себе для купания отдельную ямку и разделся. Регина Петровна окунула мужичков, оставила их играть, а сама отошла подальше, к огромному квадратному бассейну, и там в одиночестве плескалась, повязав голову рубашкой.

Когда раздался ее крик, ребята, не видя ее за паром,

решили, что она просто их окликает, и заорали, заулюлюкали в ответ, перебегая от ямки к ямке и с гиканьем в них ныряя.

И вдруг пронеслось:

— Мальчики! Мальчики! Помогите! Сюда! Скорей!

Братья нацепили одежду на мокрое тело и понеслись на ее голос. Они сразу сообразили, что на воспитательницу напали чечены!

Но никаких чеченов не было.

У края бассейна стоял солдат и не отрываясь смотрел на Регину Петровну. Сама же Регина Петровна сидела, погрузившись до подбородка в воду, на другом конце бассейна и со страхом глядела на солдата.

Видно, он пришел вслед за ними оттуда, со станции.

Первым подбежал Сашка, успевший на ходу подхватить булыжник. Он встал между бассейном и солдатом, так что солдатская пряжка отсвечивала ему прямо в глаза.

— Ты чево! — крикнул он, задрав голову. — Чево подглядываешь? Тебя звали сюда?

А тут и Колька сбоку наскочил:

— Тебе чево тут нужно? А? Отваливай давай, а то командира позовем!

Солдат удивился, увидев перед собой двух одинаковых одинаково голосивших пацанов. Но как-то спокойно удивился и, тут же забыв про них, снова уставился на воспитательницу. Он шмыгнул носом, как шмыгают мальчишки, и, вздохнув, пошел прочь. Но, уходя, несколько раз оглянулся, не на братьев, он их не видел, на женщину, на нее одну и смотрел.

— Иди! Иди! — крикнул вдогонку Сашка и даже камнем замахнулся. А Колька, как моряк в каком-то кино, свой красивый пояс снял.

Солдат вдруг остановился, братья поняли: сейчас вернется и врежет... Не надо было кричать вслед, раз уходил.

Правда, братья знали прием: один из них подкрадывался сзади и бросался под ноги, а второй пихал в грудь... Противник летел кувырком! Только с солдатом такой номер вряд ли прошел бы!

Другое дело: кусаться.

Это они пробовали. В Томилине их избивал, подкарауливал поодиночке, в ту пору, когда посменно копали, один великовозрастный жлобина из блатных. Однажды они от отчаяния набросились и так его искусили, что он стал бегать от братьев, как от бешеных собак! Завидев, обходил за километр!

Но солдат не вернулся и не полез в драку. Последний раз, не без сожаления, взглянул на Регину Петровну и опять вздохнул. А на крик Сашки лишь повел недоуменно плечами и быстро, очень быстро убрался.

Может, он испугался, что Колька пообещал командира позвать?

Пока братья стояли оцетинившись, Регина Петровна выскользнула из воды, натянула шаровары и побежала к мужичкам. Те, ни о чем не подозревая, играли около тележки.

После случившегося она как ожила, стала разговорчивой, смешливой. А может, на нее горячая вода подействовала.

Она все подтрунивала над своим испугом. Надо же так визжать, что всех перепугала.

— Я вас очень напугала? — спрашивала она братьев. А потом сказала:

— Вы теперь мои рыцари! Заступники! Защитники мои! Братья смутились.

Даже стало жарко.

Никогда не приходилось им быть защитниками для других. Только для себя. Оказалось, это приятно.

— А чево он хотел? — спросил Сашка угрожающе. Он еще не остыл от пережитого. — Может, он хотел чево украсть?

Регина Петровна посмотрела в ту сторону, куда ушел солдат, и странно улыбнулась.

— Не знаю. Парень-то симпатичный... И чего я развизжалась, напугала... Как девчонка! Да и вы, по-моему, его еще припугнули! Такие молодцы!

Братья посмотрели друг на друга и покраснели. Знала бы Регина Петровна, как они в один миг перетрусили!

Воспитательница полезла в кастрюльку и достала сверток. В нем оказались бутерброды, хлеб с маслом.

— Это вам вместо ордена, — сказала она, смеясь. Ах, какой разругавшейся, какой красивой она сейчас была!

Братья набросились на хлеб, и хоть масло на нем давно растаяло, но впиталось, и было ужасно вкусно. И мужичкам дали кусок на двоих.

От санатория несколько километров дорога была асфальтированной, а потом перешла в булыжник, и снова — белая, выгоревшая и потресканная земля.

Горы не походили на те горы, которые начинались за колонией. Они были пусты, ни деревьев, ни кустиков, лишь бурьян да сухая трава. Да в узких ложбинках, вдоль ручьев жалась колючая и неуютная растительность.

Ребята со вздохом смотрели по сторонам и думали о том, что их горы за колонией хоть были запретными, но были красивей, сытней: орехи, дикие груши, алыча. А тут ягоды на диких маслинах и те мелкие, вяжут, невозможно взять в рот.

Регина Петровна, которая взбодрилась и даже курить, как заметили братья, стала меньше, тоже осматривалась с удивлением.

Несколько раз она повторила: «Библейские горы». Что это означает, братья не поняли. Но догадывались: пусто. Так Сашка Кольке и объяснил: «Ни хрена нет, одно название, и то неприличное».

Регина Петровна рассмеялась и сказала, что Библия — это такая большая, большая сказка... А написали ее евреи.

— Грузчики? — спросил Колька.

— Почему грузчики?

— Грузчики, которые на заводе! Они же евреи!

— Они хорошие евреи, — подтвердил Колька.

— А почему евреи должны быть плохими? — спросила с интересом Регина Петровна. И о чем-то задумалась. Вдруг она сказала: — Плохих народов не бывает, бывают лишь плохие люди.

— А чечены? — выпалил Сашка. — Они Веру убили.

Регина Петровна не ответила.

Между тем тележка сделала последний поворот, и глазам путешественников, а уж ехали они без малого десять часов, открылась ровная долина меж холмов, где кустилась зелень и белели видные издалека два домика.

Потом-то уже выяснилось, что домик был один, да и то крохотуля: мазанка из самана. А другой — навес, под который можно было въезжать на тележке. Так они и сделали.

Под этим навесом стоял на кирпичках таганок и свалены были всяческие инструменты: грабли, косы, лопаты и мотыги. Больше всего было мотыг.

— Приехали, — сказала Регина Петровна, оглядываясь. Никто их не встречал. — Будем здесь жить, — добавила она и стала быстро закуривать. Наверное, она волновалась.

Пришел мужчина. Братья сразу узнали бывшего солдата, который их подвозил на лошади. Сейчас он не был в

гимнастерке, а лишь в рубахе и без кепки, лысоват и еще хромотал.

Вихляющей походкой он направился к приезжим и тоже узнал колонистов. Протянул братьям руку, представился: «Демьян». Воспитательнице кивнул издалека.

— Приехали, значит? — спросил. Обращался к ним, как к взрослым. Регину Петровну будто не замечал.

— Приехали, — отвечал Сашка Демьяну как равному. — Хозяйством заниматься будем.

А Колька добавил:

— Скот пасти.

Демьян не удивился, что ребята приехали заниматься хозяйством. Не то что директор. Он одобрительно кивнул.

— Как же иначе... У нас говорили: воевать так воевать, пиши в обоз! Две коровы, значит, оставляю, семь телят, три козы... Вы доить-то хоть умеете?

— Научимся, — произнесла Регина Петровна и подошла ближе, держа папироску в руке.

Демьян поглядел на ее руку с папироской, на шаровары, погладил загорелую лысину.

— Это, простите... Товарищ дамочка: это работа... Вкалывать, говоря по-нашенски, надо... Не дым пущать!

— Значит, будем вкалывать, — простодушно ответила Регина Петровна и улыбнулась Кузьмёнышам. Но папироску погасила. И занялась мужичками.

— А чево, — поинтересовался Демьян у братьев. — У колонии уж работников не стало, что женский пол присылают?

Хоть было ребятам приятно вести разговор, как ведут мужчины, но выпада против их Регины Петровны они стерпеть не могли. Да ведь и заступники, защитники они ее!

Колька насупился, а Сашка строго посмотрел на Демьяна, будто впервые увидел.

— Регина Петровна после болезни... — сказал он. — Когда у нас дом взорвали... Из больницы она, ей тут поправляться нужно...

— А работать мы сами будем! — вставился и Колька. И соврал для веса: — Нам директор велел помогать! Одна, говорит, надежда на вас...

Демьян будто стушевался. Он часто закивал головой, стал пояснять, поворачиваясь и к Регине Петровне, что сена он накосил много и камыша накосил. Жить им лучше в саманном домике, там теплей. А вот варить придется на таганке, топить кизяком. Есть в хозяйстве ручные

жернова, кукурузу молоть. На грядках еще остались помидоры, огурцы, так, гнилье одно, тыквы, капуста, свекла, картошка... Виноградник есть, но заброшенный, одичавший совсем виноградник, по земле то есть, без таркал, ползет... А вот сахарный тростник он посадил, найдете... Да все со временем найдете...

К вечеру Демьян запряг лошадей, попрощался. Достал напоследок кисет, ловко, одним движением руки, свернул длинную козью ножку. Протянул Регине Петровне, это был жест примирения.

— Держи,— сказал, не глядя в лицо.— Хоть лично баб, которые курят, я не терплю... Мода такая военная пошла...

— А вам и терпеть не надо,— отвечала с улыбкой Регина Петровна.— Это вот они терпят.— И указала на Кузьмёнышей.

— А вдруг еще приеду! — вскинулся озорно Демьян.— Что скажете?

— Мы всем рады,— произнесла Регина Петровна и прикурила от уголька козью ножку, держа ее за перегиб, как трубку. Хотела что-то добавить, но закашлялась.

Демьян радостно захохотал.

— Дерет, а? — вскрикивал удовлетворенно.— Это не ваше городское баловство! Самосадик-горлодер! Сам рубил! Во как!

Он достал из кармана лист газетки, оторвал половинку и отсыпал из кисета горсть буровой крупнозернистой махры.

— Пользуйся,— протянул воспитательнице.— Дымить будешь! Когда скучно станет!

Ребятам на прощание руку пожал.

— А вы энто... Поете-то, как артисты... Да... Я уморился, как хохотал! В клубе, в колхозе...— И вдруг другим тоном, насупившись: — А Верку жалко.

Проковылял к телеге, бочком, так было ему ловчей, присел на край, кепчонку на лысину нахлобучил и причмокнул на лошадь, та сразу пошла. Уехал, не обернувшись и будто не интересуясь ничем и никем.

Легкая пыль висела долго над дорогой, ее золотило заходящее солнце.

23

Регина Петровна поселилась с мужичками в домике. Как-то они ухитрились все трое спать на одной кровати.

Кузьмёнышам постелили на полу, но они отказались. Тесно там и душно. Бросили ломкого, но приятно пахнущего камыша в углу под навесом и на нем устроили лежбище. Стены навеса были сплетены из того же самого камыша, только сухого. По ночам он поскрипывал.

Первым делом они разыскали тростник, который лысый Демьян называл сахарным. Всех угостили, и Регину Петровну, и мужичков. Ели, пока он вдруг не кончился. Вкусный тростник придумали в хозяйстве, жуй да плюй, весь день бы так.

Виноград тоже нашли. Он стелился по земле, и под плетями, если их приподнять, можно было обнаружить буроватые грозди, вывалянные в земле.

Сашка сорвал, попробовал на язык, скривился.

— Челюсть вывихнешь! Кислятина!

Но Регина Петровна была иного мнения. Она попросила набрать ягод побольше, сколько влезет в корзинку.

Тут же на глазах ребят вывалила гроздь в таз, помыла и стала давить булыжником. Потек мутный сок. Попробовали братья пальцем и на язык: скулу воротит.

Регина Петровна слила сок в бутыл, закрыла крышкой, а бутыл в погребок поставила.

— Вино для праздника будет,— сказала.

— А какой такой праздник? — поинтересовались братья.

— Не знаю,— сказала она.— Какой-нибудь придумаем!

— А праздники разве придумывают? — спросил Сашка.— Я считал, что они сами наступают.

— Иногда наступают... А иногда...

Воспитательница посмотрела пристально на братьев, поинтересовалась:

— Вы когда родились-то?

— Чево? — в голос спросили братья. Они не поняли вопроса.

— День рождения у вас когда?

Братья переглянулись и вновь уставились на воспитательницу.

— День? Почему день? А если мы ночью родились? Или утром?

— Ну, конечно,— произнесла она с улыбкой.— У всех, всех на свете — даже у коров, и телят, и коз — есть свое число, когда они родились, и месяц, и год... У вас тоже есть. Только вы его забыли, правда?

Колька вздохнул и посмотрел на Сашку. У того мозги крепче. Пусть он вспоминает.

Если бы спросили, сколько банок джема, к примеру, в заначке, Колька бы сказал. А это...

Но Сашка тоже молчал.

— А мы сами придумаем число,— сказала Регина Петровна.— И будет у нас праздник! Ну?

Колька тупо спросил:

— Это когда?

Регина Петровна что-то посчитала про себя, шевеля губами.

— Ну, скажем, через недельку. Семнадцатого октября. Устроит?

— Не знаю,— сказал Колька. И Сашка сказал: «Не знаю».

— А уедем когда? — поинтересовался Колька.

— Куда? Уедем?

— Куда-нибудь.

— А вам тут не нравится? — спросила Регина Петровна, обращаясь теперь к Сашке.

Тот помялся.

Про себя подумал: «Тут — нравится... Нам там — не нравится...»

Ему представилось, что Портфельчик оставит их тут навсегда. В школу ходить не надо, научатся, как Демьян, козьи ножки крутить, махру рубить, косить траву, жрать тростник.

А потом кто-нибудь из них женится на Регине Петровне и будет мужичков кашей кормить. Впрочем, нет, мужички тоже, наверное, вырастут. Они стадо пасти будут.

— Ладно,— сказала Регина Петровна.— Справим день рождения, а там решим. Согласны?

Ее голос, теплая ласка умиротворили братьев. Они согласились ждать. До праздника. А в праздник, это они уже знали по опыту: позовут в столовку, по одному сухарику дадут и жмень семечек в придачу. И катись подалее... Колбаской до самой Спасской!

Если бы братья захотели придумать праздник, то они и сами бы придумали. Вон, у Сашки голова оборотистая, он сколь хочешь этих праздников сочинит! И не надо там никакие дни рождения придумывать.

А может, это все сказки, что безродные — колонисты да детдомовцы — рождаются? Может, они сами по себе заводятся, как блохи, скажем, как вши или клопы в худом доме. Нет их, нет, а потом, глядишь, в какой-то щели появились! Копошатся, жучки эдакие, и по рожам немытым видно, по движениям особенным хватательным: ба! Да это

наш брат беспризорный на белый свет выполз! От него, говорят, вся зараза, от него и моль, и мор, чесотка всякая... И так в стране продуктов не хватает, а преступность растет и растет. Пора его, родного, персидским порошком, да перетрумом, да керосинчиком, как таракашек, морить! А тех, что попрожорливее,— раз, и на Кавказ, да еще дустом или клопомором рельсы за поездом посыпать, чтобы памяти не осталось. Вот, глядишь, и не стало. И всем спокойно. Так на совести гладко. Из ничего вышли, в ничего ушли. Какое уж там рождение! Господи!

Все перетерпели в жизни братья. И уж день рождения как-нибудь перетерпят. Не такие трудности переживали! Да и когда это будет еще!

Но вот странно, это в колонии время медленно шло. Там слоняешься, ждешь, когда тебя накормят. А тут дни мелькали, как вагоны поезда, который летит мимо.

А все потому, что Кузьмёныши занялись делом.

По очереди ходили они под гору, к родничку, воду таскали для хозяйства. Там и умыться можно. Но этого братья откровенно не любили. Да и вредно холодной водой умываться. Кожа стирается, одежда намокает.

И вообще, ни к чему.

Стадо гонять на луг тоже их забота. А вот коров доить им Регина Петровна не разрешила. Тайком попробовали, не вышло. Как дала корова ногой по бадейке... спасибо не по башке!

Коров звали Зорька и Машка. Так Демьян научил.

Зорька крутобокая, бурая, незлобивая. Ее-то братья и пробовали доить. А Машка худющая, в черных и белых пятнах, стервозная и капризная. К ней не подступись. Потом-то по привычке, стала подпускать к себе воспитательницу, Сашку, даже мужичков, но настороженно, с оглядкой. Лишь Кольку не терпела. Как издали завидит, шею вытянет, мокрый нос в его сторону повернет и нюхает. А если он захочет приблизиться, начинает копытом передним бить, рога в землю наставит, мычит. Ругается, значит.

Колька всерьез обижался на Машку, грозил издали кулаком. И — уходил.

Пробовали братья морочить корову, переодеваться и выдавать себя друг за друга. Но корову, как тетку Зину, обмануть оказалось невозможно.

На круглых жерновах, один круг над другим, мололи братья кукурузу. Крутишь верхний, а в дырку зерна суешь. А из щели, между кругами, белое крошево сыплется. Его

в сите потрясешь, вот тебе и мука и крупа. Жратва, словом.

Хоть чуреки пеки, лепешки такие грубые, хочешь, мамалыгу вари. Это все, особенно в смысле пожрать, братья быстро освоили. Вот только жернов крутить не любили.

Сперва по очереди крутили. Потом один Сашка. У Кольки, как он заявил, терпелка не выдерживала.

Зато он дрова и кизяки собирал с охотой. А Сашка кизяков видеть не мог. Ему легче сто раз жернов повернуть, чем один кизяк подобрать.

По-ихнему, может, это и кизяки, сказал он, а по-человечески все равно — г... Если бы он в колонии знал, он бы от колонистов, которые у забора кладут, столько бы добра вынес! На сто лет вперед топить бы хватило!

Варили они рисовую кашу с молоком, пока был рис, а потом тыкву.

Поперву, когда закатали с огорода тыквину, величиной с одного из мужиков, братья все крутились вокруг нее. Пока Регина Петровна топором не разрубила на желтые куски. Оба тут же хватанули по куску. Погрызли, погрызли, бросили. Думали, она — как арбуз, а она — как кормовая морковь, один вид, а вкус — деревянный!

Заявили воспитательнице: эту дылду жрать не станем.

— Это не дылда, а тыква, — поправила она.

— Все равно. Пусть ее Зорька с Машкой шамают или телята. Они глупые, не разберутся.

Регина Петровна рассмеялась, пригрозила:

— Еще добавку попросите!

— Не попросим! — пригрозили братья. — И чего такие дылды на огороде место занимают! Большая — а дура... семечками набитая!

А Регина Петровна куски на противешок и в печь на угли сунула. Пекла, колдовала и хитро помалкивала.

Во время обеда положила по кусочку: пробуйте! Привереды несчастные!

Братья подумали, отщипнули. И еще отщипнули. Каждый ломоть подрумянился, набух, стал ароматным, сладким. Липкий мед по корочке тянется... Вкуснотища, словом.

Съели братья, посмотрели на противень: сколько штук осталось? Регина Петровна погрозила пальцем, но добавок дала. Гордые братья сами бы не попросили. Вот это был праздник: сплошное обжирание!

Колька пальцы вылизал и заявил:

— Хорошо, что на Кавказе такая дылда растет.

Это он Кавказ так похвалил. А заодно и тыкву. Сашка

промолчал. Но про себя отметил: в этом деле они маху дали. Опозорились. Из молока делала Регина Петровна сметану, творог в мешочке из марли вывешивала. Давала пить. Только молочное у братьев не пошло. Пили и морщились. Старались удрать из-за стола.

— Глупенькие вы мои,— уговаривала Регина Петровна, разливая по кружкам парное молоко.— Вы своего счастья не понимаете! Это же лучшее, что придумала для вас природа!

— А мы без природы,— упрямо произносил Колька. И Сашка кивал.— Мы сами по себе.

— Так вы и есть природа... Вы еще какая природа: стихия! — смеялась Регина Петровна и садилась пить сама. А чурек ломала на кусочки для каждого.— Отчего, скажите пожалуйста, вы, когда вас много, такие неуправляемые? Вы же — как пыльная буря: не удержишь, не успокоишь... А когда вас двое,— еще им по кусочку чурека,— вы другие, и лучше. Не совсем, конечно. Но лучше, лучше...

— Без шакалов хорошо,— объяснил Сашка.— А вот они приедут, так все расшарапят. И дылду, и молоко, и чуреки...

— А сами? — спросила Регина Петровна. И вытерла белые губы и белые носы у мужичков. Они лакали молоко, как котята, язычком, из блюдца.

— Что... Сами?

— Будто не знаете? — сказала Регина Петровна.

Сашка хотел сказать, что не знает, но запнулся. Они вчера заначку с Колькой сделали. Положили туда три чурека, думали, воспитательница не заметит. Еще муки в бутылку набили.

Регина Петровна сметала со стола крошки, но видно было, что ждет она от братьев ответа. Как соловей лета. Черные брови свела, сердится, значит. Насупясь, присела и, подперев щеки руками и глядя мимо них, стала говорить, что вот думала она, живут семьей, да все у них общее, и все свое... А кто-то по-шакальи ведет себя, то есть сам у себя ворует. Тырит, кажется, так называют. И это ей, Регине Петровне, ни в жизнь не понять. Как можно у себя со стола украсть?

Братья, не произнося ни слова, встали и пошли. Сперва к лугу, чтобы посоветаться, потом к заначке.

Вернулись, и все добро, то есть чуреки и муку в бутылке, положили на стол.

Больше об этом не вспоминали.

Накануне дня рождения Регина Петровна поставила тесто для пирога. И дылду пожелтей попросила прикатить с огорода. И за стадом присмотреть. И за мужичками.

Сама же запрягла ишачка и уехала на станцию. Вернулась не скоро: выложила на стол две железные банки тушенки. Выменяла на молоко у проходящего поезда.

Верней так: тушенка была одна, а в другой, овальной баночке с ключиком на боку, была американская консервированная колбаса.

Братья уже знали: всунешь ключик в петлю, покрутишь, и крышка по шву расползется, а под крышкой... Мать честная, вот праздник так праздник! Ради таких банок братья готовы каждый день свое рождение терпеть!

Кузьмёныши от стола не отходили, все приглядывались, приняхивались к баночкам, все поглаживали их сверкающие холодные бока. Пытались лизать, но вкус у железа был самый что ни есть железный, щипало язык, и только.

Вдруг приехал на телеге Демьян, хоть его никто не звал. Про день рождения он, конечно, не догадывался, но привез кусок сала в тряпке и банку джема: у своих, у заводских, выпросил.

Регина Петровна встретила Демьяна сдержанно, а джему обрадовалась: настоящий сладкий пирог будет!

Братья же посмотрели на джем снисходительно. Их такими банками не удивишь. Вот если бы в их заначку тушенку добавить или колбасу, в овальной банке с ключиком! А то сожрут зазря, и Демьян поможет. Ишь, нюх-то у него — прямо к тушенке поспел.

Демьян же, хоть вроде приехал по делам, у кухни крутился. Регине Петровне мешал. О хозяйстве своем что-то ей рассказывал, как картошку засыпал, как арбузов замочил, а яблоки здешние он ругал, а хвалил те, что у него на родине антоновкой зовутся.

— Я мужик умелый, полезный, только бабы нет, — толковал он, глядя в спину Регине Петровне. — Я и за себя, и за бабу могу, но все равно без хозяйки хата как без печки. Все есть, а тепла нет. Да и вам, гляжу, с двумя крохотулями-то нелегко... А?

Регина Петровна, не оборачиваясь, колдовала у горячей печечки, у таганка, и ничего не отвечала.

Но вдруг попросила закурить:

— Сделайте мне эту... ножку...

Руки у нее были в тесте, и Демьян, скрутив ножку,

сунул ей в рот и камышинку поднес горящую. При этом вопросительно глядел ей в глаза.

Регина Петровна пыхнула дымом, покосилась в сторону Кузьмёнышей, стороживших тут же.

— Я жена летчика... Знаете, что это такое? Это профессия... — сказала она. — У нас в городке до войны так и говорили: ее профессия — жена летчика. Провожать... Ждать. А потом снова провожать... Когда мы сходились, мы были чем-то похожи, жены летчиков: у кого-то о тряпках, об украшениях, а мы — о самолетах да о полетах. Чей муж летал на Север да чей в Америку... Это было тогда модно. И всегда — о войне. Потому что самолеты эти возили бомбы — они так и зовутся бомбовозы, и хотя это был военный секрет, мы все знали о самолетах: сколько бомб он везет, какая скорость и куда полетит в случае чего.

А потом, когда началось, их сразу под Ленинград, и они полетели Берлин бомбить. Оттуда короче было. С первого вылета он вернулся, я его встречала. Мужички у меня тогда совсем, совсем крохотные были. А в семьи тех, кто не вернулся, надо было нам, женам вернувшихся, идти. Так было заведено. Вот что страшно-то, идти в дом, где еще ничего не знают. И делать вид, что зашли случайно.

А потом был второй вылет; Сталин лично им приказал. Для эффекта. А там уж приготовились, это первый раз фашистам в голову не пришло, что мы осмелимся к ним летать... И жены других летчиков ко мне пришли...

Наш летный городок перебазировался в тыл, немцы подходили, а мне за летчиками ездить уже не к чему было. Вдова, да еще с таким хвостом...

Регина Петровна сплюнула ножку на землю и затоптала ногой.

— Пошла в детдом, где чужие, там и свои, легче управляться. Да и голод! А потом решила сюда... Подумалось, тут-то легче будет...

Зашипело, переливаясь через край кастрюли, Регина Петровна охнула:

— Сбежало! Ну вот, до чего разговоры-то...

Она подхватилась, бросилась к печке, и Демьян за ней поскакал, пытаясь помочь.

— Давай поддержи! Поддержу! — зачастил он, суетясь около хозяйки. — Я умелый! Я сам что хошь сварю! Ты не думай!

Регина Петровна справилась с огнем, вытерла лоб тыльной стороной руки, спросила:

— А картошку, Демьян Иванович, вы почистить можете?

Тут же лысого Демьяна засадили за картошку, а Кузьмёнышей, которые ревниво следили не только за банками на столе, но и за мельтешащим гостем, погнажи за топливом. Сушняк да кизяки собирать. Дров сегодня требовалось много.

— Ишь,— произнес Колька, оглядываясь, когда ушли они подальше, за огород.— Увидел небось тушенку, так и прилип к кухне... Я умелый! Я умелый! С тушенкой-то все мы умелые! Облысел от своей умелости-то!

— Плешивые, они хваткие,— подтвердил Сашка.

— Пусть свое хватает!

— Он не банку схватить-то хочет!

— Не банку? Дылду, думаешь? — спросил Колька.

— Не-е... Это мы, дылды, ничего не поняли! Когда он про свое хозяйство начал нудить...

— А что понимать? — удивился Колька.— Облезлый, говорит... И без печки.

— Облезлый-то он облезлый,— подтвердил Сашка.— А как завернул насчет печки, я его сразу раскрыл... Он жениться хочет!

Колька тупо уставился на своего брата. Даже про кизяки свои, которые — дерьмо, забыл. Так его поразило Сашкино открытие.

— На ком же?

— На ком... Эх ты!

Колька недоверчиво помолчал. Обдумывал новость. Неожиданно вывел:

— Так он же старый? Ему тридцать небось...

— Ну и что? А ей?

— Регина Петровна другая,— сказал Колька уверенно.— Она красивая. На ней женится генерал... Или маршал...

Колька подумал и поправился:

— Пожалуй, мы сами на ней женимся.

— Нас она не возьмет,— отмахнулся Сашка.

— Это почему?

— Дурак ты, Колька! — крикнул Сашка сердито.— Ну как ты можешь на ней жениться, если ты еще не вырос?

— Так я же вырасту! — буркнул упрямый Колька.

— Пока ты вырастешь! Придет вот такой облезлый да умный, попрыгает, попрыгает рядышком, про печку расскажет, про картошку... А потом и увезет!

— А я не дам! — сказал Колька. — Я его убью!

— Демьяна-то?

— Ну отравлю! Я ему в пирог белены положу, — упрямо талдычил Колька. — И лошадь его отравлю.

Он посмотрел в ту сторону, где виднелся за кустами синий дымок кухни, заорал изо всех сил:

Хорошо тому живется, у кого одна нога,
И портчирина не рвется, и не надо сапога!

Отсюда, издалека, его, конечно, плешивый Демьян слышать не мог. Да и легче от Колькиного крика братьям не стало.

24

Но праздник есть праздник, согласились — терпи.

Да к тому же, когда братья вернулись, когда увидели свою Регину Петровну, которая принарядилась, платье надела и — никакого внимания лысому Демьяну, а смотрела только на Сашку с Колькой, они так и поняли: замуж? За этого? Да ни за что на свете! Пусть трижды умелый! Покрутится, покрутится да и уберется домой, как последний шакал!

А Кузьмёныши тут, при ней, останутся.

Из-за переживаний не сразу разглядели Кузьмёныши, какой стол им приготовили. Вот это был стол! Если бы всю заначку их выложить, до единой баночки, все равно не было бы такой красоты, какую они увидели на том столе.

В мисочках, а то и прямо на лопушках — небось Регина Петровна со своими мужичками придумала — красовались на столе, застеленном белой простыней, всяческие небывалые продукты. Тут были румяные лепешки из кукурузы, нежное, в крупинках соли, сало, украшенное колечками лука, колбаса из консервной банки, нарезанная тонкими пластинками, розоватыми на срезе, соленые огурцы с прилипшим укропом, помидоры, чеснок и ломти их любимой дылды. Ломти были хорошо пропечены, с угольками на боках и выступившим вязким медом.

А еще на столе лежали кусочки сахара, сверкающего гранями, как гора Казбек. А еще отдельной россыпью подушечки кофейные, а еще стоял джем.

А еще пирог.

Вот о пироге надо бы сказать отдельно.

Это был круглый, многослойный, а потому высокий пирог, еще теплый, как говорят, — он дышал!

Верх пирога был украшен сливами и кусочками яблок по кругу, а в центре белым молочным кремом было выведено крупно: «КОЛЯ, САША, 17.10.44 г. УРА!»

В этот пирог, будто свечечки, были воткнуты одиннадцать золотых камышинок.

Наверное, это не все, что успели схватить взглядом ребята, а им уже предложили садиться — первыми! — за такой волшебный, неправдоподобный стол.

Они вдруг оробели!

Никогда не терялись они при виде жратвы, знали, раз лежит, надо хавать. Попросту — жрать. Потом не будет. А тут устали и не знали, как подступить.

У Сашки по спине вверх-вниз мурашки забегали, холодно от волнения стало. А Колька чуть мимо скамейки не сел, осоловел от всей этой нечеловеческой картины.

Наконец уселись. И мужичков усадили. А плешивый Демьян боком, ему мешала деревянная нога, приспособился.

Откуда-то из-за спины он извлек бутылку самогона, ухмыльнувшись (не знал про рождение, а бутылку-то припас, лысый оборотень!), налил в стаканы себе и воспитательнице. Она не отказалась. Хотел он и ребятам плеснуть, но Регина Петровна сразу сказала: «Нет. Им этого не надо».

Знала бы, как они у Ильи тогда залились! По машинисту!

Она сходила в погреб, принесла закрытый в банке сок, отерла стекло тряпкой и налила братьям в кружки. А из одной — первая же отхлебнула.

— Вот что им надо! — произнесла она. — Пейте, но не все сразу. Договорились?

Братья одновременно кивнули и посмотрели ей в глаза, темные, мерцающие, огромные и глубокие, аж дух захватывало! В самое нутро их посмотрели.

Но Регина Петровна выдержала их взгляд и спокойно улыбнулась в ответ. Так, как всегда улыбалась.

И стало ясней ясного, что никакого лысого нам не надо! Не на таковскую напал! Приезжайте чаще, без вас веселее! Так бы им всем и сказать! Плешивым, хромым, облезлым... Всяким! Всяким!

Регина Петровна зажгла от печки камышинку и все те камышинки, которые были воткнуты в пирог, тоже зажгла.

А потом сказала:

— Дуйте!

— Чево? — спросили братья.

— Дуйте на огонь! — крикнула она громко. — Ну?

Братья подули, привстав. И погасили. Только дым вился над столом.

— Настоящие мужчины! — сказала торжественно Регина Петровна. И с чувством подняла свой стакан. — Ну, мальчики, я вас поздравляю. Будьте хорошими, здоровыми, такими, которых, как сейчас, всегда бы я любила! Заступниками моими!

Братья посмотрели друг на друга. Вот главное, что они хотели услышать. Она их любит. А лысых не любит. И стали пить кисловатое вино. Оно вдруг им понравилось. Так что все выдули, еще попросили.

— Это же не сок! — закричала Регина Петровна. — Это же вино! Его ведрами не пьют!

— А мы пьем! — крикнул в ответ Колька. — Это теперь каждый месяц так будет? Да?

— Что? Будет? — спросила Регина Петровна.

— Праздник? Который в рождение?

— Ишь какие! — воскликнул Демьян, хлопнул ладонью по своей деревяшке и засмеялся. И воспитательница засмеялась.

— Нет, милые мои, — сказала. — Это раз в году... Но зато — всегда.

— Всегда? — переспросил Колька. — И когда двадцать лет будет?

— Конечно. И когда тридцать, и сорок...

— Мы тогда старые будем, — вставил Сашка. — Мы забудем все.

— Ничего вы не забудете...

Регина Петровна легко, как девочка, подскочила, скрылась в мазанке и почти сразу вернулась, неся что-то в руках. Подошла и положила каждому брату на колени по свертку в газете.

— А это от нас... И от мужичков тоже.

Присела, глядя разгоревшимися глазами на ребят. Она была и вправду сегодня ослепительная, в нарядном платье, и волосы ее были красиво уложены узлом. А на шею она повесила красные бусы из каких-то собранных ягод... Даже Демьян крякнул, заглядевшись. И стал смущенно сворачивать свою козью ножку.

В другое любое время это не прошло бы мимо братьев, но сейчас они были заняты свертками.

Никогда не получали они подарков. Кроме того случая, когда всучили им по одному сухарику и жмени семе-

чек, сказав, что у них праздник... Сухарик проглотили не жевая, семечки изгрызли, а праздник тем и запомнился, что еще хотелось! Да не дали!

Теперь они не знали, что со свертками делать. Разворачивать или не разворачивать, а может, поскорей их отнести в заначку да спрятать! Пока не отобрали!

Регина Петровна все поняла.

— Мы сейчас вместе посмотрим, что там...

Она взяла сверток у Сашки, который сидел ближе, и развернула газету.

А там, сверху, лежала рубашка, новая, голубая, с воротником и с пуговицами. А под рубашкой лежали штаны. Тоже голубые. С карманами. А еще там были ботинки, желтые, высокие, с желтыми шнурками, с широким языком. А еще платок в клеточку, как тетрадь по арифметике, и круглая шапочка с цветными узорами. Шапочку называли тюбетейкой. А Сашка сразу сказал: «Тютюбейка». И все дружно засмеялись.

Только Колька вдруг сморщился и тихо, тихо шепнул, почти пискнул в миску: «А мне?»

Он забыл, оказывается, что у него на коленях такой же сверток.

И все опять тогда засмеялись и стали разворачивать его газету, и там все оказалось то же самое, но другого, уже зеленого, цвета.

Ребят попросили примерить подарок на себя.

Напряженно сопя, с оглядкой, они ушли за угол и стали одеваться.

И хотя при этом братья не сказали друг другу ни словечка, они знали, что каждый из них думает и переживает.

У Сашки спина чесалась от волнения, даже красные пятна выступили, это Колька заметил. А у самого Кольки вдруг задергалась левая нога, и он никак не мог попасть ею в штанину.

Он сказал подавленно:

— Иди первый! Ты умный!

А Сашка ответил:

— Ты тоже не дурак! Чего это я пойду!

— Я боюсь, — тогда сознался Колька. — Я никогда так не ходил.

— И я не ходил. Думаешь, личит? Или — не личит?

Колька посмотрел на Сашку и зажмурился. Ни фи́га себе, подумалось, каждый день так ходить. В глазах рябит. И вообще, не одежда это для колониста, сопрут сразу.

Кто увидит, подумает, что они не колонисты, а какие-нибудь жулики! Разве у нормального человека может быть столько на себе добра! Показаться бы, да в заначку! А потом на барахолку! С руками спекулянты оторвут!

Но Колька ничего подобного не сказал, он будто себя увидел со стороны. Произнес, вздохнув:

— Красивый.

— Ты тоже!

— И это... Как будто не ты, а фон-барон!

— А у тебя хрустит? — спросил Сашка.

— Где?

— Везде. И жмет еще... Может, пуговицы оторвать?

— Оторвать можно, — сказал, подумав, Колька. — Только жалко. Они вон как блестят!

Переговаривались бы долго, медля выходить. Но все пришли к ним сами. Демьян озадаченно развел руками и произнес чудное. Он сказал: «Да-а. Как антилегенты!» Мужички замерли от восторга. Регина Петровна захлопала в ладоши, заплясала на месте.

— Ну, мальчики! — воскликнула она. — Какие же вы настоящие братья! Только теперь я совсем вас не узнаю! Да? Ты Колька? — И она ткнула пальцем в Сашку.

Ребята засмеялись. А Регина Петровна ничуть не сконфузилась. На этот раз она шутила.

— Пойдемте за стол, — приказала бойко, все оглядываясь на братьев, будто боялась, что они сейчас сбегут. — Как начнете есть, так я и пойму... ху из ху?

Лысый Демьян при этих словах почему-то засмутился и предложил выпить еще.

Потом они ходили гулять, и, завидев стадо, Демьян изобразил им фокус. Он зажег сигарку и показал издали козе. Коза тут же подбежала и взяла сигарку в рот. Из ноздрей у нее пошел дым... А потом она съела сигарку, и все из нее шел дым!

— Ах, зачем вы издеваетесь над бедными животными? — спросила Регина Петровна. Но она была весела и произнесла это без упрека. — Лучше давайте придумаем клички для наших телят.

Первым предложили придумывать братьям, они ведь именинники!

Братья, не медля, одного бычка, самого жадного, называли Шакалом, другого — Оглоедом, а двух телок — Хлявой и Обормоткой.

Регина Петровна кличек не одобрила, но ничего не

сказала. Как могли, так и назвали. Зато других двух бычков она предложила назвать Кузьмёнышами.

— А разве можно? — спросил Сашка.

— А почему же нет. Телята как телята. Дружные, себе на уме. А если тырят, то возвращают. Хорошие телята, в общем.

Пока спорили, хромоногий Демьян подмигнул и ушел в дальний конец огорода, в заросли. Вдруг он появился оттуда с громадным арбузом.

Кузьмёныши сперва подумали, что у него в руках дылда, а потом разглядели: полосатый! Да это ж арбуз! Настоящий арбуз!

И все тогда стали плясать, и мужички запрыгали, прося только дотронуться до арбуза.

— Откуда у вас? — спросила приятно изумленная Регина Петровна. — У вас тоже заначка? Да?

Демьян ухмыльнулся и покачал лысой головой.

— Дык я про арбузную грядку забыл сказать... А как уехал, все прикидывал, как вот энти... — кивнул на братьев. — Найдут аль не найдут. А они — хоть опытные искатели, а проглядели!

Кузьмёныши посмотрели друг на друга и одновременно подумали, что прошляпили грядку с арбузом, это уж и правда позор! Все вынюхали: тростник сахарный, и ореховое дерево, и вот эти ягоды, что стали бусами. Оказывается, их барбарисом зовут. Но арбузы, да еще такие... Ну, лысый обормот, наказал так наказал! Опозорил братьев на всю колонию! Хоть, может, и врет, привез из дома, а теперь хвастает!

Но Демьян и сам понял, что переборщил с подначкой своей. Уже принесся арбуз на стол, он отрезал по куску всем, а братьям дал самую сладкую серединку.

— Небось такого и не едали!

— А он не железный? — спросил Колька, дурачась.

— Чево? Какой такой железный? Арбуз как арбуз!

Тогда братья сказали, что это анекдот есть такой... Они могут рассказать, как встретились два приятеля-враля...

— Ну, расскажите, — попросила с удовольствием Регина Петровна.

Братья встали, повернулись друг к другу.

КОЛЬКА: И где только я не бывал... Во! Везде бывал!

САШКА: А в Париже ты бывал?

КОЛЬКА: Бывал.

САШКА: А Фелевую башню видал?

КОЛЬКА: Не только видал, но и едал!

САШКА: Как едал? Так ведь она железная!

КОЛЬКА: Мда. А ты на Кавказе был?

САШКА: Ну, был.

КОЛЬКА: А кумыс пил?

САШКА: Чево?

КОЛЬКА: Кумыс, говорю, пил?

САШКА: Ну, нет... Не поймаешь. Он железный!

Братья и все вокруг засмеялись. А мужички хоть не поняли, но захлопали в ладоши. А Регина Петровна похвалила, только поправила: не Фелева, а Эйфелева башня. Эйфель ее построил.

Заначенный арбуз был отомщен, и братья с удовольствием его съели. Уж теперь-то не упустят заветной грядки! Весь камыш разгребут, но арбузы разыщут. Если Демьян не врал! А если врал, то, значит, анекдот прям про него!

Регина Петровна это поняла. Но ей хотелось, чтобы такой день закончился мирно. Она предложила спеть. Какой же праздник без песни?

Братья сразу согласились. Лихо завели:

Сижу, сижу в тоске и вспоминаю я,
А слезы катятся из глаз моих,
А слезы катятся, братишка, потихонечку
По исхудалому лицу...

Но Регина Петровна махнула рукой, будто отодвинула их вместе с песней. Она запела свое.

Ехали казаки с ярмарки до дому,
Пидманули Галю, забрали с собою,
Ой ты, Галю, Галю молодую,
Пидманули Галю, увезли с со-бо-ю...

Тут откашлялся Демьян, прочистил горло и вдруг вступил, да так пронзительно, тонко, высоко, что у братьев дух захватило.

Едем, Галю, с нами, с нами, казаками,
Краше тебе буде, чем родная хата-а...

И Кузьмёныши, и Регина Петровна радостно подхватили:

Ой ты, Галю, Галю молодую,
Пидманули Галю, увезли с со-бо-ю!

А лысый Демьян куда-то ушел и вернулся с балалайкой. Балалайка была непривычная, таких не видели прежде братья, с длинной-предлинной ручкой.

— В избе нашел,— похвалился Демьян и потрынькал

на трех струнах.— Чечня развлекалась, а звала, говорят, деревянной гармонью... Темные люди и есть! Какая же она гармонь, если она балалайка! Тонкий струмент! К ней особенность нужна!

Пьяно усмехаясь, он снова провел по струнам, извлекая туповатые короткие звуки, и вдруг ударил всей ладонью и, закатив глаза вверх, высоким голосом запел:

За рекой на горе
Лес зеленый шумит;
Над горой, над рекой
Хуторочек стоит,
В том лесу соловей
Громко песни поет,
Молодая вдова
В хуторочке живет...

Пропел, сделал паузу и посмотрел на Регину Петровну. И снова пьяно усмехнулся. Глаза его блестели.

Демьян пел вроде бы негромко, но лихо у него это выходило. Он будто пел про Регину Петровну, про себя и про этот их домик, куда он, будто в хуторок, приехал погостить... Кузьмёныши от зависти приподнимались на цыпочки, шеи вытягивали, стараясь заглянуть Демьяну в рот... Так сильно, так гладко управлял он своим красивым голосом. И чеченская балалаечка с тремя струнами играла-переливалась на русский манер под его рукой. Вот чудно-то!

В этот момент всё братья ему простили, обормоту хитрому: и заначенный арбуз, и козу с сигаркой, и даже его приставания к воспитательнице Регине Петровне.

И вот что потрясло ребят: оказывается, и не тюремную песню, а про какую-то там вдову можно петь так, что пробирает мороз до косточек.

Никогда ничего подобного они не знали и не чувствовали. Особенно же к концу стало им грустно. Оба могли и заплакать, да уж это было бы слишком... Это когда вдова посадила за стол купца с рыбаком, которые стали песни играть, а в это время молодец-то в окошко все высматривал, все терпел, терпел... А потом не выдержал да и убил их всех! Как чечен какой. Так по Демьяновой песенке выходило:

И с тех пор в хуторке
Уж никто не живет,
Лишь один соловей
Громко песни поет...

Все молча сидели, потрясенные то ли историей такой ужасной, то ли таким смелым, таким лихим молодцом,

что из-за любви убил вдову... Мужичков Регина Петровна увела спать. И вернулась. Был вечерний закат, и было томно, грустно, тихо, тепло, душевно. Счастливо было, словом. Хотя о счастье наши братья еще не догадывались, они, может быть, поймут это позже. Если поймут. Если будет у них еще время понять!

Боже мой, как жизнь коротка, и как тяжело думать и загадывать наперед, особенно когда мы уже все, все знаем...

Помню, помню этот несказанный вечер на нашем обетованном хуторке в глубине каких-то предгорий Кавказа. Как ни странно, но день, придуманный для нас волшебницей Региной Петровной, стал моим днем рождения на всю жизнь. Я думаю, может, и правда, я тогда по-настоящему только и родился? Я глядел по сторонам, желая выявить эту разительную перемену мира. Но все было как было: и небо, размытое к вечеру, но чистое, ни облачка. И теплые, нагретые за день травы, и запах сухой, полынный, горьковато-грустный от жесткой здешней земли. И смиренная лошадь Демьяна, что паслась не вдалеке, — темный силуэт на фоне гор, но не летящий, не распластаный, как на знакомой картинке, а смиренно опущенный мордой вниз, — дополняла нашу идиллическую картинку. Я знал, я наверняка знал, что так не бывает, а если и бывает, то не к добру, уж слишком хорошо, чтобы потом не было еще хуже. Но именно тогда, предчувствуя всякое недобро, я впервые вдруг понял, что я живой, что я взаправду существую, а потом я умру. Это щемящее чувство скоротечности того, что я только что узнал, меня поразило на всю жизнь, как удар молнии, как осколок в самое сердце шоферицы Веры! Как не хотелось никогда умирать, боже мой! Но только впоследствии я понял, прочтя некую научную статью, что во мне проснулся в то мгновение «ген смерти», который дан всем живым людям, но до поры до времени он себя не выявляет, а лишь в ранней юности в какую-то особую минуту... И потом уже на всю жизнь. А дети, как и я до той поры, живут, не ведая ни о чем преходящем, и потому бессмертны они.

25

На следующее утро, ранехонько, лишь солнце из-за горы полоснуло, Демьян засобирался в обратный путь.

Положил в телегу две желтые большие тыквы, камыша настелил.

Регина Петровна, завидев из окошка его сборы, вышла, на ходу торопливо застегивая на груди рубашку.

— Вы моих Кузьмёнышей не возьмете? Нам продукты получить надо.

В лицо Демьяну она не смотрела, держалась чуть-чуть отстраненно.

А все из-за вчерашнего вечера, точнее же, ночи, когда Демьян напросился спать в мазанке на полу, якобы от холода, а потом полез в постель, будто бы перепутал по пьянке, а она его прогнала. Из мазанки прогнала. Он устроился на камыше возле крепко спящих ребят. Всю ночь чадил самокруткой, ждал рассвета. Вспоминал, как в госпитале под Бийском пришел он к реке топиться: в письме написали, что жену и двух детишек сожгли фашисты вместе с избой, а сам-то калеченый, никому не нужный... Его еще не списали по чистой, он при госпитальном хозяйстве был.

Так вот, пришел к реке, с удочкой вроде, за рыбкой, а вода там быстрая, не то что в равнинной России, круговерть да буруны. Да рев на всю округу.

Наклонился, голова кругом пошла. Ах, мать честная, и это не жизнь, если все внутри и снаружи выгорело!

А тут баба-врач, которая ногу ему пилой пилила, он-то кричал тогда... Как уж она оказалась на том берегу, гуляла, что ли. Увидела и говорит... Хотите, говорит, спирту, Демьян Иваныч? Пойдемте, у меня припасено. Согласился. Хлобыстнул стакан, полегчало. Закурил. А она еще наливает: «Пейте, не бойтесь. Вы куда отсюда поедете-то?» Он принял еще полстакана. Буркнул: «Не знаю», а самому подумалось: «Чуть вот не уехал... В омут головой».

А она вдруг говорит, на Кавказе, мол, пустые земли богатые стоят. Мужика ждут. А чего бы не попробовать! Тридцать лет не возраст, это у мужика вроде подросткового, все еще зарастает...

— Все,— повторила она.— А детей нарожать еще успеете, и вырастить, хоть дюжину.

Была баба-врач еврейкой. Не старой, замужем. Муж ссыльный, тут, при ней, а может, она при нем, на лесоповале вкалывал. Тоже не сахар, если посудить, жизнь у них. А он-то, Демьян, вольный, может, и правда выдюжит. Хуже, рассудил, не будет. Чего терять, в самом деле! И поехал, дивясь на непривычные горы, на землю, жир-

ную, черную, ветку воткнешь, а она уже цвести хочет!

Чужую хату, неведомо чью, привел в порядок, подвал выкопал, дорожку к дому камнем уложил и тополем по обеим сторонам засадил...

Сарай отремонтировал, колодец почистил, самогону, как в своей деревне, наварил бутыль. Оглянулся, все есть, а чего-то не хватает! Ему? Да ему вот горсть кукурузы и корочка хлеба нужны. Больше ничего и не надо. Это надо, когда тут живут, когда дети бегают, животная скотина мычит и кукарекает, и тебя встречают у порога с кувшином, и воду льют, и смотрят, как ты, фыркая, смываешь пот с лица от дня работы.

Стал попивать. И все один. И опять ему омуток привиделся. Закрыв глаза, и нет ничего. Так и не было. Вот в чем дело. Это лишь иллюзия, что показалось, что живой... Оживел... Баба-врач хоть и мудрая женщина, но и она не все во внутренях рассмотрела. Вот к чему он пришел. Когда ехал первый раз на подсобное хозяйство, все на рельсы поглядывал, часто ли поезд проходит. Омуты тут нет, так рельсов сколь хошь. Лег, и вся недолга. Тем более и поезд пролетал, лишь эхо от него до гор и обратно.

А на подсобном вдруг — воспитательница с детишками.

— Так возьмете, Демьян Иваныч? — спросила она, щурясь от встречного солнца.

Красивая баба, ладная, и все в ней крепко: и грудь, и руки, и ноги, а волосы как у ведьмы, можно вокруг узлом завязаться. Да еще и лицо без помады, жаль, дуреха, курит. Так это можно и отучить. Кнутом или еще как.

— А сама чево? — грубо поинтересовался он. — Аль напужал, что не доверяешь? Думаешь, вертопрах Демьян! Развратник такой-сякой? Да?

— Ну, почему так... Я вам верю, Демьян Иваныч. Да сама, видно, так устроена, что... Вот, глупая такая! — сказала она и все щурилась от солнца, и на него не смотрела. — А у меня мальчик заболел... Переел он, что ли, всю ночь несло. А то бы, конечно, сама поехала. Мне как раз не хочется именинников посылать! Боюсь за них!

Она стояла, виноватая будто. Стало жалко ее.

— Я вам попку привезу, — сказал. — Меня бабка моя научила: пленочку от куриного жалудка сушить и молоть, так попкой и зовется: от любых поносов и расстройств лечит...

— Спасибо,— тихо сказала Регина Петровна.

И все стояла, ждала.

— А ребят чево не взять? У меня телега большая. Вот обратно как?

— Обратно не сможете?

Он прикинул:

— Два конца — день. Не отпустят ведь.

— А вы до станции!— горячо произнесла Регина Петровна.— До станции лишь довезите, а я на ишачке встречу... А?

Тот крякнул, потер лысину. Повернулся и направился к телеге. Не оборачиваясь, бросил на ходу:

— Дык будите! Время у мене уходит!

Регина Петровна заспешила, стала поднимать братьев. А они вчера ухайдакались, спросонья ничего не разберут. Растормошила, полила водой, чтобы умылись, велела поесть что-нибудь. Но они от еды отказались.

Сунула им два матерчатых мешочка для крупы в сумку, а сумка для хлеба. Еще туда бутерброды положила, бутылку с молоком. В эту бутылку, если выйдет, они на обратном пути нальют постного масла.

— Запомнили? Не забудете? — спросила братьев.

Те кивали, зевая на ходу. Никак не могли проснуться. У каждого под мышкой сверток: вчерашний подарок с собой прихватили.

— А это зачем?— удивилась Регина Петровна.— Хотите в колонии оставить?

Братья помотали головой. Нет, не такие уж они дурачки, чтобы в колонию такое богатство везти!

— В заначку, что ли?— догадалась она.

Братья ничего не ответили. Ясно, что в заначку.

— Лучше оставьте,— посоветовала Регина Петровна.— Никто вашу одежду не тронет. Я вам обещаю. Ну?

Братья переглянулись, отдали ей свертки.

— Езжайте...— И погладила их по голове, одного левой, другого правой рукой.— Если директор спросит, скажите, что живем тут нормально, все есть. Могут колонистов присылать для сбора...

— Да ну их!— сказал, отворачиваясь, Сашка. И Колька кивнул.

Регина Петровна проводила братьев к телеге и усадила сзади.

— Присмотрите за ними, Демьян Иванович. Все-таки... Там беспокойно... А я, как договорились, завтра встречу.

Демьян порылся в соломе, откопал свою потертую ке-

почку, надвинул на самый лоб. Из-под козырька в упор глянул на воспитательницу. Глаза у него при утреннем свете были насквозь голубые, детские.

— А чего смотреть, там теперь нормально. Я когда ехал сюда, все как есть по-фронтовому оценил. наших бойцов в гору на машинах везли да везли. Столько везли, будто они окружение под Сталинградом делали. А обратно энтих... черных... Вывозили...

— Вывозили? То есть как вывозили?— спросила Регина Петровна, вдруг побледнев.— Живых, надеюсь?

— Всяких!— отмахнулся Демьян.— Я вчера не хотел говорить, не к чему было. Так, думаю, с ними покончили — жисть станет спокойнее...

Регина Петровна насупилась.

— Вы так, простите, будто радуетесь...

— А что мне плакать!— взвился вдруг он.— Лучше мы их, чем они нас! Иль тебе, прости, по-другому хотелось? Мало страху тебе задали?

Регина Петровна покачала головой, посмотрела на ребят.

— Мне-то уж ничего не хочется. Но зачем же убийства-то?

— Видать, по-другому не могут. Гитлеру продались! Их довоенного прокурора генералом своим сделал! У них резать русских — это национальная болезнь такая!

— А если вас станут из дому выселять?— спросила тихо Регина Петровна.

— Дык мене выселяли,— усмехнулся вдруг будто легкомысленно Демьян. Но вряд ли было ему смешно.— За лошадь, шашнадцать лет было. В кулаки записали. Ничево. Отдал. Сказал: спасибо. Без нее легче стало. Вот, на колхозной езжу... Зато живой!

— Не знаю... Мы не о том говорим,— вздохнула Регина Петровна.— А вы просто на войне ожесточились. Все ожесточились. Оттого и страшно... Так вы поберегите, пожалуйста... Слышите?

Демьян отвернулся, чмокнул лошади.

Братья сидели обнявшись, свесив ноги с телеги, и смотрели на Регину Петровну.

— Я завтра к обеду-у приеду-у!— крикнула она вслед и помахала рукой.

Братья разноголосно откликнулись: «Ла-но!»

А Демьян не отвечал и не оглянулся. Будто его уже это и не касалось. Он правил, поглядывая на дорогу из-под козырька, и молчал.

Всю дорогу промолчал.

Братья догадались сразу, отчего молчит: ему от ворот поворот сделали! Хоть он и поет мирово, но не жених! Ясно!

И когда зашли братья в кукурузу, за обочину, по нужде, Колька так и сказал:

— Бортанула она его... Лысого!

— А мне жалко,— отвечал Сашка.— Поет он мирово!

— А нас директор не бортанет сегодня?— перевел Колька разговор на другое.— Письмо-то при нем!

— Забыл небось... Там же до нас!

— Главное, заначку забрать,— сказал Колька.— Я считаю, что нужно драпать.

— А Регина Петровна?

— А что Регина Петровна? Она ведь после рождения обещала!

— А вдруг не поедет?

— Ну и что?

— Ее жалко...

— Не жалеи! Тут теперь вокруг жалельщиков много!

Сашка стал застегивать портки, разнервничался, аж пуговицу оборвал. Сказал, выходя на дорогу:

— Как хошь, я ее не брошу.

— Совсем?

— Как совсем?

— Ну, совсем?— переспросил пораженно Колька.— Со мной? Не поедешь?

Сашка кивнул.

Называется, поговорили. Впервые за всю их жизнь выяснилось, что могут они по своей воле расстаться.

Колька ушам своим не поверил. И если бы сказали ему, не поверил бы! Их разделить нельзя, они нерасчленимые, есть такое понятие в арифметике... Это про них как раз!

Колька понял, что Сашка свихнулся. Хорошо, если ненадолго свихнулся, а если... Но он отбросил мрачные мысли, а Сашке сказал:

— Приедем, тогда решим. Договорились?— И отдал ему серебряный ремешок вместо пуговицы. Тот, что Регина Петровна подарила.

— Договорились,— согласился Сашка. Может, он думал, что это не он, а Колька переменит решение. Но ремешком подпоясался.

Потом они прилегли на телеге и, обнявшись, уснули.

Проснулись в сумерках и сразу не поняли, где находятся.

Телега была распряжена, а лошадь паслась рядом, среди кукурузных зарослей. Сам Демьян отчего-то сидел на земле и озирался по сторонам. Лицо его было растерянным, даже бледным.

Братья подняли головы, почесываясь, глядя вокруг.

— Эй!— негромко позвал Демьян и поманил их рукой.— Сюда идите... Только тихо, тихо!

Братья нехотя прыгнули с телеги, подошли.

— А где колония?

Но Демьян странно замахал руками, показывая, чтобы они подошли еще ближе и присели.

— Заболел, что ли?— спросил, удивляясь на такое поведение, Сашка.

А Колька добавил:

— А я тоже вчера обожрался! У меня в животе целая музыка! Оркестр со струей!

Ребята загоготали, а Демьян оглянулся, зацыкал на них:

— Ти-хо! Тихо, я сказал... Там ваша колония!— И показал рукой в сторону.— Только там... это... пусто!

— Как «пусто»?— спросили братья, уставившись на Демьяна.— Что пусто?

— Пусто, да и все!— отрезал шепотом он.— Сходите, если хотите. На дорогу не высовывайтесь... Поняли?

— Нет... А что?

— Я говорю, чтобы осторожнее, ну? Посмотрите да возвращайтесь. Я вас тут подожду.

Братья постояли, тупо размышляя.

Ни до чего они не додумались. Повернули, не сговариваясь, пошли. Шли свободно, как гуляли, места были теперь знакомые, свои. Хотя прежде-то зудело сбегать к заначке: жива ли, родимая? Цела ли?

Метров через пять — десять кукуруза поредела и стала видна колония: большой двухэтажный дом. Удивляла тишина. Не слышно было ни одного голоса, а уж здесь всегда стоял ор, и крик, и визг, слышимые за километры.

— Полезешь?— спросил Сашка, показывая на лаз.

— А ты?

Они перешли на шепот, хотя не было еще причин чего-то бояться. Просто в той тишине не получалось говорить громко. Что касалось Демьяна, то ребятам в последнюю минуту, когда он сидел в странной позе на земле, показалось, будто он после вчерашнего дня еще хлебнул



и не очухался. Может, ему не только пустая колония, но и чертики зеленые виделись в траве?!

Братья, пыхтя, прокорябались через свой лаз и оказались у задней стены двухэтажного дома.

Тих был дом, никто не торчал в окнах. Может, на обеде все? Может, в поле на уборке?

Они прошли вдоль стены дома, завернули за угол и замерли.

Колька, который шел сзади, налетел на Сашку. Оба пораженно оглядывали свой двор. Станный был у этого двора вид. Он был завален барахлом, будто в эвакуацию. Могло показаться, что собирались удирать: вынесли, навалили горой и койки, и матрацы, и столы, и стулья, а потом все бросили да сбежали.

И — тихо. Какая-то неживая тишина. Только сверху, будто с неба, доносился равномерный колокольный звон: бом, бом...

Братьев передернуло. Как на похоронах все равно!

Медленно, с оглядкой пошли они по двору, под ногами хрустело стекло. Окна в доме были выбиты. Рамы выбиты. Двери, сорванные с петель, валялись тут же плашмя на земле.

В одном из проемов на втором этаже торчала кровать, ее голубая спинка. Пустая створка окна под ветром колотилась о спинку, оттуда несся этот печальный звон.

Сашка нагнулся, поднял жестяную мисочку, сделанную из консервной американской банки. Повертел, бросил. Она покатилась по стеклам, по земле и долго не падала, все катилась, катилась с железным дрынканьем, будто заводная. А там, куда она прикатилась, в десяти шагах что-то темнело на земле.

— Смотри-ка,— сказал Колька, вертя в руках находку.— Это же пряжка... Пряжка от...

Он хотел сказать: «Пряжка от портфеля». Но не успел, потому что черный предмет на земле был сам портфель.

Тот знаменитый, известный любому колонисту портфель с раздутыми белесыми боками и двумя сверкающими застежками спереди — сейчас одна из них была оторвана,— который носил с собой Петр Анисимович. Всегда носил, не оставляя нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах!

Братья смотрели на этот портфель, и что-то до них, уже и так ошарашенных внезапной картиной разрушения, доходило.



Уж если сам портфель тут, а директора нет, значит, случилось не менее чем катастрофа.

Может, бомбежка какая? Может, немцы откуда-нибудь свалились? Может... Может...

Страх начал поселяться в них, пока беспричинный, неосознанный, он усугублялся тем, что ничего не было понятно.

Сашка присел, осторожно потрогал портфель руками, будто это был не портфель, а живое существо.

Но вдруг рядом что-то гроыхнуло, Колька дико закричал: «Атас! Бежим!»

И они рванули.

По стеклам, по фанерным дверям, по матрацам, распушившим свои соломенные, торчащие из нутра хвосты... За угол дома и сквозь лаз, не задев, вот чудо, ни одной из колючек. Они вломились в кукурузу, валя по пути хрусткие стволы.

Что так напугало Кольку, да их обоих, они бы не могли объяснить. Разве что ветер рванул какую железяку и резанул по нервам!

Чем дальше они бежали, тем больше в них было паники, тем становилось страшней.

Им казалось уже, что они тут одни и нет никакого Демьяна. Что тогда они станут делать?

Но Демьян, к счастью, сидел там, где его оставили. Он лишь резко, испуганно обернулся, когда они появились.

Не вставая, не меняя положения, он посмотрел на них из-под козыречка, в упор.

— Ну? Видали?— спросил и стал сворачивать свою козью ножку. Руки его не слушались, и махорка сыпалась на одежду и на траву.

Братья уставились на его руки. От страха или от бега оба задохнулись. Теперь смотрели на его суетливые, непослушные руки и тяжело дышали.

Наконец Демьян закурил. Несколько раз он с силой втянул в себя дым, глядя в одну точку, куда-то за спины стоящих ребят. Отшвырнул самокрутку прочь и поднялся сразу, без помощи посторонних.

— Надо итить,— произнес хрипло.

Непонятно, к кому он обращался, к себе или братьям. Не произнося больше ни слова, двинулся в заросли; было совсем незаметно, что он хромает.

Ребята рванулись следом, но в растерянности встали, оглядываясь на телегу с сумкой и на лошадь, которая паслась сама по себе.

Демьян оглянулся, рукой махнул.

— Шут с ними,— пробормотал, будто опять не братьям.— Не до них! Свою голову надо спасать!

— Свою... Чево?— спросил Сашка.

Но Демьян сделал знак молчать, приставив палец к губам. И направился в чащу кукурузы, стараясь обходить каждый просвет, каждую поляну. С оглядкой, сторожко, как делают, наверное, на войне разведчики.

Они сразу поняли, что двигался он к Березовской. Значит, к дому.

К братьям он больше не обращался, не вспоминал о них.

Лишь однажды, когда Сашка по нерасторопности громко хрустнул веткой, резко повернулся и показал кулак:

— Тише, ну! Чтобы ни звука!

И тут же споткнулся Колька, загремел сухим стеблем.

Демьян вернулся, поманил ребят к себе, больно пригибая головы обоих братьев к земле. Прошипел зло, прямо в уши:

— Дурачки! Жить, что ли, надоело! Тогда, вон, дорогой ходи... Они шею враз свернут!

— Кто?— спросил Сашка, вытаращив глаза.

Никогда он не видел такого рассерженного, а скорее испуганного взрослого мужчину. Он-то всегда думал, что взрослые, да еще бывшие солдаты, бояться не могут.

— Кто! Кто!— произнес все тем же злым шепотом Демьян.— А вы что — не поняли? Тут они! Рядом ходють.— И оглянулся по сторонам.

Отпустив братьев, он заковылял, но уже медленней, наверное, устал, да все они устали.

А Кольку еще мучил понос. В колонии бы сказали: во, со страху-то! Матрос, в штаны натрес!

Он поминутно останавливался, садился и пыхтел, глядя в густеющих сумерках на уходящего Сашку жалобными глазами. А Сашка, хоть и знал, что Кольку не бросит, но спешил вслед за Демьяном, стараясь не упустить и его, поворачивая голову то вперед, то назад.

Сам же Демьян будто Колькиных мучений не замечал, да и самих ребят не замечал, он крался по кукурузе, приседая и озираясь, как вор какой.

В такой момент все и произошло.

Демьян был впереди, вдруг он прыгнул куда-то в сторону и пропал. Колька, который в очередной раз присел и мучился от приступа, хоть ни капельки из него уже не

выходило, увидел, что Сашка бросился вслед за Демьяном, сверкнул серебром поясок дареный, его тоже не стало видно.

Потом вновь появился Демьян. Он ходко ковылял, топоча своей деревяшкой, уже не оберегаясь. Крикнул назад, наверное, Сашке:

— Не беги ты кучей! Рассыпья... Им ловить хуже!

Он с треском провалился в густую чашу кукурузы и пропал. И Сашка пропал, не появился. Колька остался сидеть один.

Все это произошло в мгновение. Он и сообразить не успел. И штанов надеть не успел. Сбоку прямо над кукурузой появилась лошадиная морда. Сидя, как был, он смотрел на эту морду, а та уставилась красным недоверчивым глазом прямо на него. И вдруг там, над лошадью, он сразу не заметил всадника, темную его тень, зычно. гортанно пролаяло: «Гхе-ей! Гхе-ей! Гхе-ей!»

Вот когда дошло!

Колька шмякнулся на землю и закрыл глаза.

Он слышал, как лошадь двинулась к нему, шумно раздвигая кукурузу. Она фыркала, дышала прямо в шею, и он, приоткрыв один глаз, увидел прямо у своего лица беспокойную, переступающую ногу, копыто, раздавившее хрупкий ствол. Этот стволик, отскочив, больно хлестнул Кольку по лицу, а крошки земли полетели ему на волосы, на спину.

Надо было вскочить и бежать. Он понял, что его нашли, сейчас его схватят. Но лишь шевельнулся, поднимаясь, как лошадь вдруг испугалась, храпнула и отпрянула резко в сторону.

На своих негнущихся, бесчувственных, как костыли, ногах, весь дрожа, Колька мелкой рысцой побежал по зарослям, поддерживая руками штаны. А где-то рядом, за спиной, снова пронесся гортанный вскрик и лающее: «Гхе-ей! Гхе-ей! Гхе-ей!»

А потом треск, шум, топот, грохот... Погоня.

Он бежал, смешно подпрыгивая и поддерживая штаны. Он не знал, преследуют его или нет, потому что, кроме своего собственного дыхания и треска сокрушаемой по пути кукурузы, он уже ничего не слышал. Потом дыхание его кончилось. И кончились его силы. Он упал в какую-то ямку и даже шевельнуться не мог. Неподвижность поразила его. Да и самого Кольки уже не было.

Он не слышал, как, обламывая стволики, прошла не-

подалеку от него лошадь и стала удаляться, пока не пропала совсем.

Когда он пришел в себя, было темно. Черно было кругом. Словно залепило глаза и уши.

Он ощупал свою ямку, но опять же не смог подняться. Тогда он стал руками и ногами копать под собой. Он загребал пальцами назад тяжелую, пахнущую перегноем землю и по-звериному отбрасывал, отпихивал ее прочь ногами.

Сколько он это делал, зачем, он не знал. Да он уже ничего про себя не знал. Когда он выбился из сил, он приник, вжимаясь в землю, в свою вырытую им ямку, и снова исчез из этого мира. Провалился в небытие.

26

Было утро, теплое, без единого облачка, без ветерка. В голубом, по-утреннему размытом небе четко вырисовывались близкие горы. Просматривалась каждая морщина на них. Снег ослепительно сиял на вершинах.

Какая-то серая птица, часто мельтеша крыльями, стояла, зависнув над полем, выслеживая добычу. Звенели кузнечики, попискивали птахи. Черной стаей прошелестели скворцы.

Было так обычно, так мирно, что все случившееся вчера воспринималось как дурной сон.

Если бы не ямка, которую Колька выкопал, да не следы лошади, глубокие, в пробитом среди кукурузы коридорчике, Колька бы так и решил, что все ему приснилось.

Вот бы проснуться на подсобном хозяйстве, на камыше, а рядом Сашка похрапывает. А Колька его кулаком в бок: слушай, какой сон-то я увидел... Будто за нами этот, ну... чечен на лошади гнался! А я без штанов от него! Вот смеху-то!

Но даже это происшествие со всадником не воспринималось так страшно, как вчера.

Уж очень было голубо и мирно. Не верилось, не представлялось, что в такое утро может происходить хоть какое-нибудь зло.

Колька отряхнул землю со штанов, осмотрелся, даже подпрыгнул, чтобы разглядеть, в какой стороне Березовская. Но ничего, конечно, не увидел.

Попытался сообразить по солнцу и по горам, выбрал направление — верное, как ему показалось, и пошел, не стараясь прятаться или пригибаться. Сашка и Демьян не

могли уйти далеко и тоже, если догадаются, пойдут в Березовскую.

А может быть, они уже там? Сидят у колодца, пьют холодную воду. Ему тоже захотелось сильно пить.

Шел он и шел, отлепляя от лица густую паутину, которой была местами перевита кукуруза, и вспугивая жирных черных птиц.

Один раз выстрелил из-под куста серый заяц и понесся куда-то, лишь земля из-под ног брызнула.

Колька не испугался зайца, но подумал: «А вдруг они вовсе не за мной, а за этими зайцами охотились? А мы-то, дураки, дрожали... Как этот серый небось?!»

На одном стволике, зеленом совсем, видать, позднего самосева, он отломил кукурузный молочный початок и съел его, вместе с сердцевинкой. Хотел найти еще такой же, но больше зеленых не попадалось. А сухие кочны были такие крепкие, что их не только зуб, камень не брал.

Когда уже не ждал, не надеялся, вдруг выскочил на дорогу. Сухой, белый проселок, покрытый легкой пылью.

На обочинах цвели запоздалые ромашки, мелкие и кустистые. Летали бабочки. И не было ни единого следа от проезжающей тут машины или телеги.

Колька опять посмотрел на горы и подумал, что он, блуждая, выскочил за Березовскую и надо бы повернуть обратно. Иначе он придет к станции. А до станции топать целый день. Да и зачем ему сейчас станция, если его ждут Демьян с Сашкой? Не такие уж они недогадливые, чтобы не понять, что Колька будет искать в Березовской. Но сперва он отыщет колодец и напьется воды.

Интересно, как они будут отбрёхиваться, что драпали от всадников? Небось наплетут, что ничего и не испугались, а побежали, потому что другие побежали... Сашка станет ссылаться на Демьяна, который первый прыгнул в заросли, а Демьян скажет, что это Сашка его взбаламутил и развел панику.

Пусть врут, если им приятно. Лично Кольке не хотелось вспоминать, как он лежал под копытами лошади, спасибо ей, не наступила. И как потом рысью шуговал по зарослям, поддерживая штаны, а сзади что-то трещало и топало... А может, это он сам трещал и топал! И — ямка... Про ямку он уже точно не расскажет. Ему и самому чудно, как пытался зарыться, ничего не соображая, поглубже в ту ямку!

За поворотом поле поредело, стали видны огороды с

плетями тыкв и кабачков, верхушки тополей, крыши домов.

Колька ускорил шаг, почти побежал.

Он почему-то верил, что сейчас войдет в деревню и сразу разыщет Сашку с Демьяном. А нет, так спросит. Ему скажут, где их видели и куда они пошли.

Но прежде он напьется воды.

В горле пересохло, даже слюны не было, нечем было сглотнуть. Одна сухая пыль на зубах. Сожмешь — скрипят.

Наверное, Колька был слишком беспечен. Иначе бы на подходе заметил, что в деревне никого нет. Но он думал о Сашке и мало глядел по сторонам.

Лишь приблизившись к первому дому, он увидел, что тут, как и в колонии, выбиты окна, чернеют на фоне белых стен, как в черепае, пустые глазницы.

На пути стоял колодец с круглой бетонной нишей и ведерком, немного помятым, на крюке.

Колька наклонился над черной дырой, в дальнем конце которой маслянисто поблескивала вода. Взял ведерко, но вдруг увидел, что ведерко вымазано в чем-то густом, жирно-красном... И отпрянул.

И тут он увидел Сашку.

Сердце радостно дрогнуло у Кольки: стоит в самом конце улицы Сашка, прислонясь к забору, и что-то пристально разглядывает. На ворон, что крутятся рядом, загляделся, что ли?

Колька свистнул в два пальца.

Если бы кто-то мог знать привычки братьев, он и по свисту бы их различил. Колька свистел только в два пальца, а выходило у него переливчато, замысловато. Сашка же свистел в две руки, в четыре пальца, сильно, сильнее Кольки, аж в ушах звенело, но как бы на одной ноте.

Теперь Колька свистнул и усмехнулся: «Во-о, Сашка уж и свиста не слышит, оглох! Стоит, как статуи!»

Колька побежал по улице, прямо к Сашке, а сам подумал, что хорошо бы потихоньку, пока Сашка ловит ворон, это с ним и прежде бывало, зайти со стороны забора да и гаркнуть во весь голос: «Сдавайся, руки вверх — я чечен!»

Но на подходе стал замедляться сам собой шаг: уж очень странным показался вблизи Сашка, а что в нем было такого странного, Колька сразу понять не мог.

То ли он ростом выше стал, то ли стоял неудобно, да

и вся его долгая неподвижность начинала казаться подозрительной.

Колька сделал еще несколько неуверенных шагов и остановился.

Ему вдруг стало холодно и больно, не хватило дыхания. Все оцепенело в нем, до самых кончиков рук и ног. Он даже не смог стоять, а опустился на траву, не сводя с Сашки расширенных от ужаса глаз.

Сашка не стоял, он висел, нацепленный под мышками на острия забора, а из живота у него выпирал пучок желтой кукурузы с развевающимися на ветру метелками.

Один початок, его половинка, был засунут в рот и торчал наружу толстым концом, делая выражение лица у Сашки ужасно дурашливым, даже глупым.

Колька продолжал сидеть. Странная отрешенность владела им. Он будто не был самим собой, но все при этом помнил и видел. Он видел, например, как стая ворон стережет его движения, рассевшись на дереве; как рядом купаются в пыли вёрткие серые воробьи, а из-за забора вдруг выскочила дурная курица, напуганная одичавшей от голода кошкой.

Колька попытался подняться. И это удалось. Он пошел, но пошел не к Сашке, а вокруг него, не приближаясь и не отдаляясь.

Теперь, когда он встал напротив, он увидел, что у Сашки нет глаз, их выклевали вороны. Они и щеку правую проклевали, и ухо, но не так сильно.

Ниже живота и ниже кукурузы, которая вместе с травой была набита в живот, по штанишкам свисала черная, в сгустках крови Сашкина требуха, тоже обклеванная воронами.

Наверное, кровь стекала и по ногам, странно приподнятым над землей, она висела комками на подошвах и на грязных Сашкиных пальцах, и вся трава под ногами была сплошь одним загустевшим студнем.

Колька вдруг резко, во всех подробностях увидел: одна из ворон, самая нетерпеливая, а может, самая хищная, прыгнула на дорогу и стала медленно приближаться к Сашкиному телу. На Кольку она не обращала внимания.

Он схватил горсть песка и швырнул в птицу.

— Сволочь! Сволочь! — крикнул он. — Падла! Пошла!

Ворона отпрыгнула, но не улетела. Будто понимала, что Колькиных сил неостанет, чтобы по-настоящему ей угрожать. Она сидела на дороге чуть поодаль и выжидала. Этого стерпеть он не мог. Заорал, завыл, закричал и,

уже ни о чем не помня, как на самого ненавистного врага, бросился на эту ворону. Он погнался за ней по улице, нагибаясь и швыряя вслед песком. Наверное, он сильно кричал — он кричал на всю деревню, на всю долину; окажись рядом хоть одно живое существо, оно бы бежало в страхе, заслышав этот нечеловеческий крик.

Но никого рядом не было.

Только хищные вороны в испуге снялись с дерева и улетели прочь.

А он все бежал по улице, все кричал, швыряя песок, и куски дерна, и камни куда придется. Но голос его иссяк, он запнулся и упал в пыль. Сел, отряхивая грязь с головы, вытирая лицо рукавом. И уже не мог понять, чего это он кричал и зачем бежал по деревне аж до самого ее края.

Едва передвигаясь, он вернулся к телу брата и сел отдышаться у его ног, рядом с кровью.

Все, что делал он дальше, было вроде бы продуманным, логичным, хотя поступал он так, мало что сознавая, как бы глядя на себя со стороны.

Отдохнув, он приблизился к Сашке, осклизаясь на густой крови и, обхватив его руками, принял на себя. Сашка сразу опустился на землю и будто съежился. Кукуруза выпала у него изо рта, рот остался открытым.

Колька зашел с головы, взял брата под мышки и поволок в дом, самый ближний к нему.

Дверь была оторвана. В сенцах горкой лежала кукуруза.

Он положил брата на кукурузу, накрыл ватником, который висел тут же на гвозде. Потом он поднял дверь и загородил вход, чтобы хищные птицы не смогли проникнуть в дом.

Проделав все это и немного отдохнув, Колька направился по дороге к колонии, ни от кого не прячась и не оберегаясь.

27

Через несколько часов, когда уже начинало вечереть и солнце склонялось за дальние горы, Колька вернулся и притащил за собой на веревке тележку, ту самую, что они нашли у дома Ильи.

Тележка была запрятана в кустах возле заначки, Колька ее сразу нашел.

Заначка тоже была цела: и варенье, и мешки, и тридцатка с ключами от поезда — все было на месте.

Колька вытащил оба мешка, а еще пол-литровую банку джема. Банку он открыл камнем, съел две ложки, но его тут же стошнило.

Он спустился к речке, умылся и голову окунул, чтобы немного взбодрить себя.

По пути, волоча за собой тележку, он завернул в курузу, где накануне оставляли они лошадь с телегой. Это место он нашел сразу. Был виден след от телеги, и рядом валялся недокуренный бычок Демьяна.

Вернувшись в Березовскую, в дом, Колька снова перетащил Сашку на улицу и положил на тележку, подстелив под низ два мешка, чтоб брату не было слишком жестко, а под голову положил, свернув трубочкой, ватник.

Потом он принес веревку, найденную в углу прихожей, толстую, но гнилую, она рвалась, и ее пришлось для крепости сложить вдвое. Походя отметил, что ремешка серебряного на Сашке не было. Пропал ремешок.

Колька протянул веревку под тележку, а потом завязал узлом у Сашки на груди. Живота он старался не касаться, чтобы не было Сашке больно.

Завязал, посмотрел. Лицо у Сашки было спокойным и даже удивленным, оттого что рот так и остался открытым. Он лежал головой по ходу, и Колька подумал, что так Сашке будет удобнее ехать.

Пока собирался, наступили сумерки. Короткие, легкие, золотые. Горы растворились в теплой дымке, лишь светлые вершины будто сами собой догорали угольками на краю неба и скоро пропали.

Ровно сутки прошли с тех пор, как проснулись они на закате в телеге Демьяна. Но сейчас Кольке показалось, что это случилось давным-давно. Они ступили на разоренный двор колонии, бежали сквозь заросли, а Демьян сидел на земле и трясущимися руками пытался закурить. Где-то он сейчас? Он-то все, все понимал!

Это они глупыми были.

О подсобном хозяйстве, о Регине Петровне с мужичками Колька не вспоминал. Они находились за пределами его сегодняшней жизни. Его чувств, его памяти.

Он отдохнул, поднялся. Подцепил тележку так, чтобы не резало руку, и повез по улице.

Он даже не понял, тяжело ему везти или нет. Да и какая мера тяжести тут могла быть, если он вез брата, с которым они никогда не жили поврозь, а лишь вместе, один как часть другого, а значит, выходило, что Колька вез самого себя.



За деревней стало просторней, светлей, но ненадолго. Воздух загустел, чернела, сливаясь в непроницаемую стену, кукуруза по обеим сторонам дороги.

А потом вообще ничего не стало видно, Колька угадывал дорогу ногами. Да вроде бы впереди, где должны сомкнуться заросли, еле просматривался светлый в них проем на фоне совсем чернильного неба.

Кольку не пугала темнота и эта глухая беспросветность дороги, на которой не встречались ни люди, ни поправки.

Если бы Колька мог все осознавать реальней и его бы спросили, как ему удобней ехать с братом, он бы именно так и попросил, чтобы никого не было на их пути, никто не мешал добраться до станции.

Все, кто сейчас мог встретиться: чечены ли или другие, пусть и добрые люди, неминуемо стали бы помехой в том деле, которое он задумал.

Он катил свою тележку сквозь ночь и разговаривал с братом.

Он говорил ему: «Вот видишь, как вышло, что я тебя везу. А раньше-то мы возили друг друга по очереди. Но ты не думай, я не устал, и я тебя доставлю до места. Может, ты бы придумал все это лучше, уж точно. Ты всегда понимал больше моего, и голова у тебя варила быстрее. Я был твоими руками и ногами в жизни — так уж нам было поделено, — а ты был моей головой. Теперь у нас с тобой голову отсекли, а руки и ноги оставили... А зачем оставили-то?»

Колька поменял одну руку на другую. Затекала рука.

Но прежде чем двинуться дальше, он ощупал Сашку и убедился, что тот лежит удобно и ватник не вывалился из-под головы.

Только Сашка будто застывать, замораживаться начал. Все в нем задубело, и руки, и ноги стали деревянными. Но все равно это был Сашка, его брат. И Колька, убедившись, что того не растрясло на ухабах и что ему ехать удобно, повез дальше.

Дальше потек и разговор их.

«Знаешь, — говорил Колька, — я почему-то вспомнил, как в Томилинский детдом привезли из колхоза корзину смороды. А я лежал тогда больной. А ты полез под телегу и нашел одну ягоду смороды и принес мне... Ты залез под кровать в изоляторе и прошептал: «Колька, я принес тебе ягоду смороды, ты выздоравливай, ладно?» Я и выздоровел... А потом на станции на этой, на Кубани, когда дрисня

нас одолела и ты загибался в вагоне, ты же смог все перебороть! Ты же встал, ты же доехал до Кавказа!

Неужто мы с тобой через всю дорогу проволочились лишь для того, чтобы нам тут кишки вырезали и вместо них совали кукурузу? Мол, жрите, обжирайтесь нашим добром так, чтобы изо рта торчало!»

Тут Колька услышал: возки гремят впереди. Когда приблизился скрип колес и мужские голоса, он торопливо в заросли свернул, затаился.

Как зверь затаивается при появлении человека.

Но глаз с дороги не сводил, смотрел во все глаза (теперь у них двоих только два глаза было!). Понял, что едут солдаты. Позвякивало оружие, погромыхивали повозки, фонарики вспыхивали, полосуюя обочины дороги. Разговаривали негромко, но можно было разобрать, что вот-де их окружили в горах, часть постреляли, а другая часть прорвалась в долину и устроила резню. Местные жители, кто уцелел, бежали. Теперь приказ такой: никого не жалеть, а если в саду, или в доме, или в поле спрячется, так палить вместе с домом и полем... Если враг не сдается, его уничтожают!

Проехали. Растворились огоньки в темноте. Стихло все.

Колька высунулся, уши в одну, в другую сторону наставил: нет ли кого следом? Выждал, убедился — никого.

Вернулся за Сашкой, пощупал, как ему лежится, снова выволок тележку на дорогу. Схватил веревку двумя руками, повез.

«Вот, — сказал, — небось сам слышал, как солдаты, наши славные боевые бойцы, говорили... Едут чеченов убивать. И того, кто тебя распял, тоже убьют. А вот, если бы он мне попался, я, знаешь, Сашка, не стал бы его губить. Я только в глаза посмотрел бы: зверь он или человек? Есть ли в нем живого чего? А если бы я живое увидел, то спросил бы его, зачем он разбойничает? Зачем всех кругом убивает? Разве мы ему чего сделали? Я бы сказал: «Слушай, чечен, ослеп ты, что ли? Разве ты не видишь, что мы с Сашкой против тебя не воюем! Нас привезли сюда жить, так мы и живем, а потом мы бы уехали все равно. А теперь, видишь, как выходит... Ты нас с Сашкой убил, а солдаты пришли, тебя убьют... А ты солдат станешь убивать, и все: и они, и ты — погибнете. А разве не лучше было то, чтобы ты жил, и они жили, и мы с Сашкой тоже чтоб жили? Разве нельзя сделать, чтобы никто никому не мешал, а все люди были живые, вон как мы, собранные в колонии, рядышком живем?»

Тут Колька, хоть и был занят разговором, а услышал, что рядом станция. Сперва услышал ее, а потом выскочил на чистый луг, и стало видно: в глаза сверкнули лампочки вдоль линии, и можно было разглядеть, что на запасных путях стоит эшелон. Там горят прожекторы, слышны ржание и грохот повозок; приехала еще одна воинская часть.

Колька приблизился, но лишь настолько, чтобы в случае чего можно было спрятаться. За кустом тележку поставил.

«Приехали,— сказал Сашке.— Мы тут с тобой недавно были. Мечтали вместе уехать. Теперь мы будем с тобой ждать поезда. Я немного устал. Да и ты, наверное, устал, правда? Ты побудь здесь, а я на разведку схожу. Только не думай, что я тебя бросаю. Я вернусь, только посмотрю, что там, на станции, делается...»

Колька оставил Сашку за кустом, а сам продвинулся поближе к огням и к линии.

Никого, кроме военных, он не увидел. Военные же были заняты своим делом: суетились, кричали, грохотали повозками, которые спускали по наклонным доскам из вагона.

Колька прикинул: эшелон ему не помеха. Как поезд пойдет, он закроет собой братьев от солдат, и никто их не увидит.

Он вернулся к Сашке. Сказал ему: «Видишь, я пришел. Там сейчас солдаты, они приехали твоего чечена убивать, который кукурузы в тебя натолкал. Но, когда поезд придет, нас не видно будет. Ты ведь знаешь, я не такой башковитый, и мне пришлось долго соображать. Но это я сам придумал. Теперь-то я понимаю, как тебе было нелегко ворочать мозгой. Но как же ты не додумал чеченов-то на коне обдурить? Может, ты, я сейчас подумал, сам к ним вышел... Поверил, что они ничего тебе не сделают, как не убили они Регину Петровну, хотя наставляли на нее ружье?»

Колька посмотрел из-за куста на станцию и задумчиво добавил: «Наверное, утро скоро. Если бы поезд пришел до света... При свете нам тяжелее с тобой будет».

Тут и поезд вынырнул, распластался вдоль дальней сопки, как Сашкин пропавший ремешок. А паровоз у него — пряжка с двумя сверкающими камнями.

Отчего ж Колька опять о том серебряном ремешке вспомнил? Не давал пропавший ремешок покоя. Ведь если посудить, это последнее, что видел он, когда они расстались. Сашка бросился в заросли, лишь ремешок сверкнул в сумерках...

А вдруг ремешок, старинный чеченский, и выдал Сашку с головой?

А вдруг он стал причиной казни?

Но ведь еще по дороге в колонию не Сашка, а Колька был подвязан тем ремешком! Это случай с пуговицей все изменил... Поезд приближался. Уже доносился отраженный от сопок глухой перестук вагонов.

Колька спохватился и вместе с тележкой брата поскакал по лугу. Подоспели они с Сашкой прямо в тот момент, когда состав резко затормозил и встал, а под колесами зашипело.

Колька оставил тележку в лопухах под насыпью, а сам побежал вдоль вагонов. Нагибался, искал собачник.

У первого вагона собачника не было и у второго, лишь у третьего обнаружил он железный ящик.

Пощупал, крышку открыл, даже руку засунул: нет ли там каких пассажиров?

Потом сбегал, подвез Сашку к вагону, веревку развязал. Ватник постелил на дно ящика. Стал Сашку подтягивать под мышки и все молился, чтобы поезд не отправляли. Сашка был твердый, не гнулся, но показался легче, чем раньше.

Колька, запыхавшись, перевалил его в ящик, лицом вверх, а сверху и сбоку мешками обложил. Чтобы холодно не было. Все-таки кругом железо!

Тележку с веревкой он в траву отпихнул. Все, отъездили.

Но поезд продолжал стоять, и Колька опять придвинулся к ящику, сел перед ним на корточки, сказал Сашке через дырку:

— Вот, уезжаешь. Ты ведь хотел поехать к горам... А я пока побуду здесь. Я бы поехал вместе с тобой, но Регина Петровна с мужичками одна осталась. Не бойся, Сашка, я о тебе буду думать.

Колька постучал кулаком по ящику, чтобы Сашке не было страшно одному.

Отходя, увидел: выскочил проводник из вагона, мимо Кольки пробежал, да застопорился:

— Ха! Привет! — кричит. Зубы скалит.

Колька пригляделся: Илья перед ним. Зверек который.

— Ну, здравствуй, — ответил. — А ты разве не сгорел? Илья смеется:

— Ха! Я не горючий! Во как! Я раньше сообразил, что тут за каша заваривается, удрал на дорогу. Езжу, как видишь. Куда хошь провезу.

— Не-е,— сказал Колька.— Не могу.

— А ты кто же будешь? Ты Колька или Сашка?

Колька помолчал и сказал:

— Я — обои.

В это время поезд свистнул.

Илья опять крикнул: «Ха! Смотри! А то от беды лучше со мной, а?» — и побежал к вагону. Прыгнул на лесенку.

— Лучше,— кивнул, вздохнув, Колька, Илья уже слышать его не мог. Поезд дернулся, клацкнул буферами и поехал быстрее и быстрее в сторону невидимых отсюда гор. И Сашка поехал. А Колька один у черной насыпи остался.

28

Колька еще посидел на рельсах.

А когда стало светать, быстро, словно где-то включили свет и желтые блики поползли по серовато-синим стальным полоскам, Колька обогнул станцию и поднялся на горку к белой ротонде.

Он сел на ступеньки и стал смотреть вниз. Смотрел-смотрел и заплакал. Впервые заплакал с тех пор, как увидал на заборе Сашку. Он плакал, и слезы застилали ему прекрасный вид на горы и на долину, открывавшийся вместе с восходящим солнцем.

А потом он устал плакать и уснул.

Ему снилось: горы, как стены, стоят, и ущелья вниз опадают. Идут они с Сашкой, он к самому краю подошел, а не видит, не видит... И уже тихо по льду начинает вниз скользить, катиться, а Колька его за пальто, за рукав ловит... Не может схватить! Покатился Сашка отвесно вниз, дальше и дальше, аж сердце заболело у Кольки, что упустил он брата и теперь он руки-ноги поломает и сам разобьется вдребезги. Далеко-далеко комочек черный катится... Проснулся от страха Колька.

Пощупал лицо: мокро от слез. Значит, он опять плакал.

Посмотрел вниз на долину, вдруг вспомнил стихи. Никогда раньше он не вспоминал этих стихов, да и не знал, что их помнит.

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко

Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

Может, этот холм и есть утес, а ротонда — тучка... Колька оглянулся и вздохнул. А может, тучка — это поезд, который Сашку увез с собой. Или нет. Утес сейчас — это Колька, он потому и плачет, что стал каменным, старым, старым, как весь этот Кавказ. А Сашка превратился в тучку... Ху из ху? Тучки мы... Влажный след мы... Были, и нет.

Колька почувствовал, что снова хочет заплакать, и встал. Нашел надпись, которую они тут сделали 10 сентября. Поискал острый кремешок, дописал внизу: «Сашка уехал. Остался Колька. 20 октября».

Зашвырнул камешек, проследил, как он катится по склону горы, и стал следом спускаться.

Потом он умыл лицо в одной из ямок с горячей водой и пошел по дороге вверх, туда, где было их подсобное хозяйство. Он еще не знал, что скажет воспитательнице Регине Петровне.

Подходил к хозяйству, уж и за последнюю горку повернул, но так и не придумал, соврет или правду скажет. Он не хотел пугать ее да мужичков. Тут-то им не опасно. Паси скот да пеки дылду. Только он не станет здесь жить. Он скажет: «Сашка уехал, и мне надо ехать».

Конечно, он им отдаст весь джем из заначки, лишь банку себе на дорогу возьмет. И тридцатку возьмет. Это их с Сашкой состояние, недаром в Томилине по корочке складывались, чтобы тридцатку свою личную заиметь. Теперь Сашке деньги не нужны. Он задаром путешествует...

Он теперь навсегда бесплатный пассажир.

Колька подошел к навесу, но никого не увидел. Небось, спят, решил. Постучал в окошко, в домик заглянул. И тут никого. Койка застелена, аккуратно, как все у Регины Петровны, и вещи на своих местах, а хозяйки нет.

Колька подумал, что они ушли коров доить. Он вернулся под навес, пошарил по посуде, нашел мамалыгу в котелке и прямо рукой загреб в рот. Только сейчас он подумал, что зверски хочется есть. Он стал доставать горсть за горстью и все это мгновенно проглотил. Но не наелся. Выскреб дочиста котелок, потом творог нашел и тоже съел. Регина Петровна вернется, отругает, но простит. Он же не нарочно, с голодухи.

Он запил водой, прилег на камыш, на свою и Сашкину лежанку. И вдруг уснул.

Проснулся под вечер от тишины. Он был один, лишь

птицы гомонили на крыше. Он дошел до ключа, напился и ополоснул лицо.

Было почему-то не по себе от этой тишины и от одиночества. Он спустился к огороду и далее на луг, где паслось стадо.

Еще недавно они все стояли тут и называли бычков и телок разными именами. А козы самокрутку с огнем сожрали, аж дым из ноздрей. Теперь все стадо повернулось к нему, и козы заблеяли, узнали, и бычок тот, который Шакал, побежал Кольке навстречу... И самое странное, что злобная корова Машка, которая при виде Кольки рога наставляла, вдруг тоже замычала ему призывно и совсем по-доброму: «Му-му-у-у!» Признала наконец. Да что толку. Вот если бы она ответила, где пропадает Регина Петровна с мужичками. И вдруг вспомнил: ведь нет ишачка с тележкой!

Ну, конечно, она уехала за ними в колонию! Сашка, тот бы мигом сообразил! Наверное, съездила на станцию, не нашла их и рванула скорей в колонию! А он-то, сачок, дрыхнет тут!

Как не хотелось Кольке возвращаться через деревню в колонию! Но представил себе разбитые, брошенные дома, а среди них растерянную, напуганную Регину Петровну, которая их с Сашкой ищет! Она и поехала-то из-за них в это пропащее место, где еще чечены на конях рыщут, а он, Колька, еще колеблется, еще мучается — идти ему или не идти!

Кто ж теперь ее будет спасать, если не Колька!

Последний раз он оглянулся, пытаюсь хоть за что-то зацепиться глазом. Уж очень трудно преодолевал он свое нежелание, несмотря на свои собственные уговоры. Да и что-то его удерживало, он не мог понять, что именно.

И только когда вышел и полчаса прошагал по теплой, нагретой за день дороге, вспомнил: он же хотел посмотреть, цела ли их красивая одежда? Желтые ботиночки, да рубашка со штанами, да пестрая «тютюбейка»... Или уперли? Теперь-то, пока они с Региной Петровной ищут друг друга, наверняка упрут!

В густых сумерках миновал он станцию. Эшелона с военными уже не было. Зато было много следов на дороге, и кукуруза на обочине помята и поломана.

А дальше — гарью запахло. Колька не понял, в чем дело, вот Сашка, тот мигом бы догадался. Сашка бы только мозгой шевельнул и выдал: «А знаешь, они ведь урожаи палят! Чеченов из зарослей выживают!»

Так подумал Колька и только потом сообразил, что это он, он сам, а не Сашка подумал.

Гари становилось больше, уже дым над дорогой, как поземка, полз. Глаза у Кольки слезились и болели. Он тер глаза, а когда было невмочь, ложился лицом вниз в траву, ему становилось легче.

Встречались выжженные проплешины. По бокам и особенно впереди небо играло красными сполохами, и даже тут, на дороге, было от этих сполохов светлей.

А потом Колька дошел и до огня. Тлели остатки травы, да стволы подсолнечника дымились — красные раскаленные палки. Тут уж таким жаром пыхало, что Колька лицо рубашкой закрыл, чтобы брови не обгорели. И ресницы стали клейкими, они, наверное, тоже опалились.

Тогда он лег на землю и стал думать: идти ему в колонию или не идти? Если идти, то он сгореть может. А если не идти, то получится, будто бросил он Регину Петровну с мужичками одну среди этого огня и опасности.

Полежал, отдышался, стало легче. Решил, что надо к Регине Петровне идти. Не может он не идти. Сашка пошел бы.

Огонь теперь поблескивал со всех сторон, и поташнивало Кольку от дыма. К пеплу, к гари он как-то привык, почти привык, только странно было, что огня вокруг много, а людей по-прежнему никого.

Это он, когда ехал с Сашкой, не хотел, чтобы попадались люди. А теперь он так же сильно хотел, чтобы они ему попались.

Хоть разок.

Хоть кто-нибудь.

Вот если бы случилось: он идет, а навстречу ему по дороге на ишачке Регина Петровна едет! Мужички испуганные в тележке, а сама она по сторонам озирается, огня боится. А Колька ей кричит: «Ху из ху? Не бойтесь! Я тут! Я с вами! Вместе нам не страшно! Я уже знаю, как через огонь проходить! Сейчас, сейчас, я вас с мужичками провезу до подсобки, а там уж рай так рай! Сто лет живи, и никаких пожаров, и никаких чеченов!»

Опомнился Колька, лежит он посреди дороги, угорел, видно. Как упал, не помнит. Голову ломит, тошнота к горлу подступила. Попробовал встать, не встается. И ноги не идут. Вперед глянул: господи, крыши домов торчат. Березовская! Вот она! Рукой подать! На карачках, да доползу...

А тут уж огороды, деревья, кусты, огонь через них не

пробивает. Как до колодца добрал, Колька опять не помнил. Цепь долго спускал, а поднять уж сил не хватило. Дважды до середины ведерко выбирал, а оно вырывалось из рук, падало обратно.

Перегнулся над краем Колька, стал из колодца дышать. Воздух сырой, холодный, только бы не упасть. Обвязал он ногу цепью и долго лежал на перегибе, голова там, а ноги наружу.

Полегчало. Лишь небольшая тошнота осталась.

Побрел он дальше. Мимо поля, мимо кладбища, тут ему вдруг показалось, что вовсе это не столбики гранитные, а чечены рядами стоят... Неподвижная толпа застыла при виде Кольки, глазами его провожает... Наваждение какое-то! Или он с ума стал сходить. Закрыв глаза, провел по лицу рукой, снова взглянул: столбики каменные, а никакие не чечены. Но шаги на всякий случай ускорил и глаз не спускал, чтобы, не дай бог, опять не превратились в чеченов! В сторону колонии огонь не проник, тут ни голову рубашкой прикрывать, ни к траве приникать не надо. Вот только черен он был, Колька, хоть сам себя не видел. Если бы попался кто-то, наверное бы, решил, что сам черт выскочил на дорогу из преисподней. Но то, что прошел Колька, преисподняя и была.

Не помнил, как добрался он до Сунжи. Приник к ней, желтенькой, плосконькой речонке, лежал, поднимая и опускающая в воду голову.

Долго-долго так лежал, пока не начало проясняться вокруг. И тогда он удивился: утро. Солнышко светит. Птицы чирикают. Вода шумит. Из ада да прям в рай. Только в колонию скорей надо, там Регина Петровна его ждет. Пока сюда огонь не дошел, ее вызволять скорей требуется. А он себе приятную купань устроил!

Вздохнул Колька, пошел, не стал на себе одежду выжимать. Само высохнет. Но в колонию через ворота не пошел, а в собственный лаз полез, привычной так, да и безопасней.

Ничего не изменилось с тех пор, как ходил тут с Сашкой. Только посреди двора увидел он разбитую военную повозку, лежащую на боку, рядом холмик. В холмике дощечка и надпись химическими чернилами:

Петр Анисимович Мешков. 17.10.44 г.

Колька в фанерку уткнулся. Дважды по буквам прочел, пока сообразил: да ведь это директор! Его могила-

то! Если бы написали «портфельчик», скорей бы дошло. Вот, значит, как обернулось. Убили, значит. И Регину Петровну убить могут...

Он встал посреди двора и сильно, насколько мочи хватало, крикнул: «Ре-ги-на Пет-ро-в-на!»

Ему ответило только эхо.

Он побежал по всем этажам, по всем помещениям, спотыкаясь о разбросанные вещи и не замечая их. Он бежал и повторял в отчаянии: «Регина Петровна... Регина Петровна... Реги...»

Вдруг осекся. Встал как вкопанный. Понял: ее тут нет. Ее тут вообще не было.

Стало тоскливо. Стало одиноко. Как в западне, в которую сам залез. Бросился он за пределы двора, но вернулся, подумал, что опять через огонь пройти уже не сможет. Сил не хватит. Может, с ней, с Региной Петровной, да с мужичками он бы прошел... Ради них прошел, чтобы их спасти. А для себя у него сил нет.

Он прилег в уголке в доме, на полу, ничего под себя не подстелив, хотя рядом валялся матрац и подушка тоже валялась. Свернулся в клубочек и впал в забытие.

Временами он приходил в себя, и тогда он звал Сашку и звал Регину Петровну... Больше у него никого в жизни не было, чтобы позвать.

Ему представлялось, что они рядом, но не слышат, он кричал от отчаяния, а потом вставал на четвереньки и скулил, как щенок.

Ему казалось, что он спит, долго спит и никак не может проснуться. Лишь однажды ночью, не понимая, где находится, он услышал, что кто-то часто и тяжело дышит.

— Сашка! Я знал, что ты придешь! Я тебя ждал! Ждал! — сказал он и заплакал.

29

Он открывал глаза и видел Сашку, который тыкал ему в лицо железной кружкой. Колька мотал головой, и вода проливалась ему на лицо.

Сашка просил, ломая свой язык. «Хи... Хи... Пит, а то умырат сопсем... Надо пит водды... Хи... Пынымаш, хи...»

Колька делал несколько глотков и засыпал. Ему бы сказать Сашке, как смешно он «умырат» произносит, да сил не было. Даже глаз открыть сил не было. Какие уж тут хи-хи.

Сашка накрывал брата чем-то теплым и исчезал, чтобы снова возникнуть со своей кружкой.

Однажды Колька открыл глаза и увидел незнакомое лицо. Верней, лицо было ему знакомо, потому что у Сашки, когда он тыкал кружкой в губы, оно оказывалось вдруг такое странное, чернявое, широкоскулое... Но раньше это почему-то Кольку не смущало. У Сашки такая голова, что он себе любое лицо придумает.

А тут Колька лишь взглянул и понял: никакой это не Сашка, а чужой пацан в прожженном ватнике до голых колен сидит перед ним на корточках и что-то бормочет.

— Хи, хи,— бормочет.— Бениг... Надто кушыт... А не пымырат...

Колька закрыл глаза и опять подумал, что это не Сашка. А где тогда Сашка? И почему этот чужой, чернявый, Сашкино новое лицо взял и Сашкиным новым ломаным голосом говорит? Не додумался ни до чего Колька и заснул. А когда проснулся, спросил сразу:

— А где Сашка?

Голоса своего не услышал, но чужой голос он услышал.

— Саск нет. Ест Алхузур... Мына так зыват... Алхузур... Пынымаш?

— Не-е,— сказал Колька.— Ты мне Сашку позови. Скажи, мне плохо без него. Чего он дурака валяет, не идет.

Это ему казалось, что он сказал. На самом деле ничего он не сказал, а лишь промычал два раза. Потом он опять спал, ему виделось, что чернявый чужой Алхузур кормит его по одной ягоде виноградом. И кусочки ореха в рот сует. Сначала сам орех разжевывает, а потом Кольке дает.

Однажды он сказал:

— Я, я Саск... Хоти, и даэк зыви... Буду Саск...

И опять орех жевал... И по одной ягоде виноград давил прямо в губы.

— Я Саск... А ты жыват... Жыват... Харош будыт...

И Колька первый раз кивнул. Дело пошло на поправку.

Алхузур откликался на имя Сашка, оно ему нравилось. Колька лежал в углу на матрасе, куда его перетащил Алхузур, накрыв вторым матрасом.

Однажды не выдержал, заглядывая в лицо Алхузур, спросил:

— А Сашки правда не было?

Алхузур грустно посмотрел на больного товарища и покачал головой.

— Сылдат был,— сказал он.— Я это... Со ведда... Убыгат...

— Испугался солдата? Нашего?

Алхузур с опаской посмотрел в окно и не ответил. Лицо у него было скуластое, остренькое и такие же остренькие блестящие глаза.

— А пожар? — спросил Колька.

— Пазар? — повторил Алхузур, уставившись на него. — Пазар? Рыных?

— Да нет... Я про огонь хотел спросить: кукуруза-то горит?

Тот закивал, указывая на свой ватник, на многочисленные дырки.

— Мнохо охон... Хачкаш харыт... Хадыт нелза... В мэнэ мнох дым...

Колька смотрел на удрученного Алхузур и хихикнул. Уж очень смешно прозвучало, что в нем много дыма.

Алхузур отвернулся, а Колька сказал:

— Не сердись, я же не со зла... У тебя карандаша не найдется?

Алхузур покосился на Кольку и не ответил.

— Или угля... Надо!

Алхузур молча ушел и вернулся с куском горелой деревяшки.

Колька повертел в руках обгарок:

— От дома директора, — сказал, вздохнув. — Когда в него гранату бросили. Всю ночь горел, представляешь...

Алхузур кивнул. Будто мог знать о пожаре.

Колька удивился:

— А ты что, видел? Ты правда видел?

— Я не выдыт, — отрезал Алхузур и, отвернувшись, стал смотреть в окно. Что-то он недоговаривал. А может, Кольке показалось.

Он придвинулся к краю матраца и стал рисовать на полу схему ломким углем, изобразил колонию, речку, кладбище. Алхузур смотрел на размазанные линии, ткнул пальцем в кладбище:

— Чурт!

— Ну, пусть черт, — согласился Колька. — А по-нашему, так кладбище. А тут Березовская, значит.

Алхузур размазал Березовскую, а руки вытер о себя.

— Нэт Пересовск... Дей Чурт, так называт!

— А почему?

— Дада... Отэц... Махил отэц...

— Могила отца? — сообразил Колька. — Твоего отца здесь могила?

Алхузур задумался. Наверное, вспомнил об отце.

— Нэт мой отэц... Всэх отэц...

Вот теперь Колька дотумкал: селение так прозывается: Могила отцов. Кладбище — Чурт, а деревня — Дей Чурт... То-то Илья все долдонил от страха — черт да черт! И правда похоже!

Колька обратился к чертежу, приподымаясь, чтобы видней было. Куст около речки обозначил, а возле куста дырку начертил.

— Найдешь? Нет? — спросил тревожно.

Никогда и никому бы в жизни не открыл он тайну заначки. Это все равно что себя отдать. Но Алхузур теперь был Сашкой, а Сашка знал, где хранятся их ценности. Да и самому Кольке не добрести до них. Сил не хватит.

— Найдешь... Банку джема тащи!

Сказал и откинулся. Длинный этот разговор вымотал его.

Алхузур еще раз взглянул на рисунок и исчез. Как провалился. Кольке стало казаться, что названный его брат пропал навсегда. Нашел заначку, забрал и скрылся. На хрена, если посудить, нужен теперь ему Колька? Больной да немощный! Теперь-то он сам богат! Но Колька так не думал, не хотел думать. Мысли помимо него возникали, а он их отгонял от себя. Но почему Алхузур не возвращался?..

Часы прошли... вечность! Когда раздался грохот и влетел Алхузур, лицо его было искажено. Он споткнулся, упал, вскочил, снова упал и так остался лежать, глядя на дверь и вздрагивая при каждом шорохе.

Колька голову поднял.

— Ты что? — спросил. — Ударился? Не ушибся?

Но Алхузур, не отвечая, натянул на себя с головой матрац и затих под ним.

— Оглох, что ли! — крикнул Колька сердито. Подождал, потом подполз и откинул край: Алхузур лежал, закрыв глаза, будто ждал, что его ударят. И вдруг заплакал. Плакал и повторял: «Чурт... Чурт...»

— Ну, перестань! — попросил Колька. — Я же тебя не трогаю!

Алхузур повернулся лицом вниз, а руками закрыл голову. Будто приготовился к самому худшему.

— Ну, ты даешь! — сказал Колька и попытался встать. От слабости его качало. На четвереньках дополз до оконного проема, подтянулся, со звоном осыпая осколки стекол на пол.

В вечерних сумерках разглядел он двор и на нем группу солдат. Солдаты пытались вытолкать застрявшую повозку, на которой лежали, Колька сразу узнал, длинные могильные камни. «Неужто с кладбища везут? — подумалось. — Куда? Зачем?»

Телега, видать, застряла прочно.

Один из возчиков махнул рукой и поглядел по сторонам.

— Ломик бы... Сейчас пойду пошукаю.

Он огляделся и направился в сторону их дома.

Колька увидел, отпрянул, но не успел спрятаться под матрацем. Так и остался сидеть на полу. Как глупыш птенец, выпавший из гнезда.

Солдат не сразу заметил Кольку. Сделал несколько шагов, осматривая помещение, и вдруг наткнулся взглядом на Кольку. Даже вздрогнул от неожиданности.

— Эге! А ты чего тут делаешь? — спросил удивленно.

Солдат был белобрыс, веснушчат, голубоглаз. От неожиданности шмыгал носом.

— Живу, — отвечал Колька хрипло.

— Живешь? Где?

— Тут, в колонии...

Солдат огляделся и вдруг прояснел.

— Ты говоришь, колония? — он присел на корточки, чтобы лучше видеть пацана. И опять шмыгнул носом. — Где же тогда остальные?

— Уехали, — сказал Колька.

— А ты чего же не уехал? Ты один? Или не один?

Колька не ответил.

Солдат-то был востроглазым. Он давно заметил, как подергивается матрац на Алхузуре. И пока беседовал, несколько раз покосился в его сторону.

— А там кто прячется?

— Где? — спросил Колька.

— Да под матрацем.

— Под матрацем?

Он тянул время, чтобы получше соврать. Сашка бы сразу сообразил, а Колька после болезни совсем отупел, голова не варила.

Выпалил первое, что пришло на ум.

— А-а, под матрацем... Так это Сашка лежит! Брат мой... Его Сашкой зовут. Он болеет. — И добавил для верности. — Мы оба, значит, болеем.

— Так вас больных оставили! — воскликнул солдат и поднялся. — А я-то слышу вчерась, будто разговаривают...

Я на часах стоял... А ведь знаю, что кругом никого... Как же это вас одних бросили?

Он подошел к Алхузуру и заглянул под матрац.

— Конечно! У него же температура! А может, малярия! Вон как трясет!

Помедлил, рассматривая Алхузура, и накрыл матрацем.

Солдат направился к выходу, но обернулся, крикнул Кольке:

— Сейчас приду.

Колька насторожился. Зачем придет-то? Или засек, что Алхузур не брат?

Но солдат вернулся с железной, знакомой Кольке мисочкой из-под консервов, принес пшенную кашу и кусок хлеба. Поставил на пол перед Колькой.

— Вот, значит... Тебе. И ему дай. И вот еще лекарства...

Он положил рядом с миской шесть желтых таблеток.

— Это хинин, понял? У нас многие малярией мучаются, так хинин спасает... Тебя как зовут?

— Колька,— сказал Колька. Менять свое имя сейчас не имело смысла. Да и кем теперь назовешься? Алхузуром?

— А я боец Чернов... Василий Чернов. Из Тамбова.

Солдат постоял над Колькой, все медлил уходить. Шмыгал носом и с жалостью смотрел на больного.

Уходя, произнес:

— Так ты, Колька, не все сам ешь... Ты брату оставь... А я, значит, санитаров пришлю... Завтра. Ну, бывай!

Лишь когда стемнело, Алхузур выглянул в дырку из-под матраца. Он хотел убедиться, что солдата уже нет.

Колька крикнул ему:

— Вылезай... Нечего бояться-то! Вон боец Чернов сколько принес! Тебе принес и мне...

Алхузур смотрел в дырку и молчал. Матрац на нем шевельнулся.

— Будешь есть? — спросил Колька.— Кашу?

Алхузур высунулся чуть-чуть и покрутил головой.

— Пшенка! — добавил аппетитно Колька.— С хлебом! Ты пшенку-то когда-нибудь ел?

Алхузур приоткрылся, посмотрел на миску и вздохнул.

— Давай... Давай...— приказным тоном солдата Чернова произнес Колька.— Он велел поест.

Алхузур поворочался, повздыхал. Но выползать из-под матраца не решался. Так и полз к Кольке со своим матрацем, который тянул за собой. В случае опасности

можно укрыться. Ему, наверное, казалось, что так он защищен лучше.

Колька разломил хлеб пополам и таблетки разделил. Вышло по три штуки.

Указывая на хлеб, спросил:

— Это как, по-вашему?

— Бепиг...

Алхузур с жадностью набросился на хлеб.

— Ты не торопись, ты с кашей давай,— посоветовал Колька.— С кашей-то всегда сытней! А воды мы потом из Сунжи принесем...

— Солжа...— поправил его Алхузур.— Дыва река, таэк зови...

— Разве их две? — удивился Колька, пробуя кашу.

— Одын, но как дыва.

— Два русла, что ли? — удивился Колька.— Прямо как мы с Сашкой... Были... Мы тоже двое, как один... Солжа, словом!

Кашу брали руками, съели все и мисочку пальцами вычистили. Корочкой бы, но корочку сжевали раньше. Довольные, посмотрели друг на друга.

— Теперь ты мой брат,— сказал, подумав, Колька.— Мы с тобой Солжа... Они завтра придут за нами, фамилию спросят, а ты скажи, что ты Кузьмин... Запомнишь? По-нормальному, так Кузьмёныш... А хлеб, это для нас с тобой бепиг, а для них хлеб — это хлеб... Не проговоришься, смотри... Сашка Кузьмин, вот кто ты теперь!

— Я Саск,— подтвердил Алхузур.— Я брат Саск...

Он спросил, вздохнув:

— А дыругой брат Саск гыде?

— Уехал,— ответил Колька.— Он на поезде в горы уехал.

— Я тоже хадыт буду,— заявил Алхузур.— Я бегат буду... Ат баэц...

— Зачем? — не понял Колька.— Бойцы хорошие... Боец Чернов нам каши дал.

Алхузур закрыл глаза.

— Баэц чурт ломат...

— Могилы, что ли? Ну и пускай ломают, нам-то что! Но Алхузур твердил свое:

— Плох, кохда ламат чурт... плох...

Он закатил глаза, изображая всем своим видом, насколько это плохо.

— Ну, чего ты разнылся-то! — крикнул Колька.— Плох да плох. Могиле не может быть плохо! Она мертвая!

Алхузур вытянул трубочкой губы и произнес, будто запел, вид у него при этом был ужасно дурашливый.

— Камен нэт, мохил-чур-нэт... Нэт и чечен... Нэт и Алхузур... Зачем, зачем я?

— А я тебе твердю,— сказал, резозлившись, Колька.— Если я есть, значит, и ты есть. Оба мы есть. Разбираешь? Как Солжа твоя.

Алхузур посмотрел на небо, зачернившее окно, ткнул туда пальцем, потом указал на себя:

— Алхузур у чечен — пытыца, так зави. Он лытат будыт... Хоры. Дада-бум! Нана-бум! Алхузур не лытат в хоры и ему... бум...

Он выразительно показал пальцем, изобразив пистолет.

30

В Москве, в Лефортове, за спиной студенческих общежитий МЭИ, стоит четырехэтажное кирпичное здание бани. По средам там собирается команда любителей помыться и попариться. Студенты, пенсионеры, военные.

Однажды мой приятель, полковник, привел меня сюда. Было это в начале марта. Представил человеку пенсионного возраста, крепкому, но с животиком, произнеся:

— Вот, Виктор Иванович... Надо показать ему (то есть мне) нашу баньку по всем, как говорят, правилам!

Виктор Иванович был в вязаной шапочке, в босоножках.

Он подал мне два дубовых веника — сам делал! — и повел в парную, по пути наказав окунуть их в холодный бассейн, а потом хорошенько стряхнуть, чтобы влаги не осталось. В эти веники, уткнувшись лицом, можно было дышать в парной, когда нас облепил, окутал сильный жар. И тут, на полках, все друг друга окликали, все знали. Кому-то кричали: «Коля, давай еще! Хорошо бы мяты! Эвкалипта! Витя! Эвкалипта у тебя нет?»

А потом разложили меня на каменном полке, это уже не в парной, и Виктор Иванович с моим приятелем कुдесили надо мной, особенно старался Виктор Иванович. Он поставил две шайки: одну в другой, с кипятком, а сверху третью — с мыльной пеной. Он окунал два веника в кипяток и быстро переносил их на мое тело. Прижимая к бокам, к спине, к позвоночнику, раскаляя до боли кожу, он шептал: «Терпи... Терпи...» И все разогревал меня, да так, что еще немного, и я бы не выдержал, но, видно, в том и было искусство, что он знал меру, эту границу-то!

А потом они терли, мылили, ласкали пальцами каждую во мне мышцу, каждую жилочку, подолгу растирали руки от кисти к плечу и ноги от пальцев вверх к коленям, а потом и брови, и щеки, нежненько, от носа к вискам, и все это потом ополаскивали водой, то горячей, на пределе (но ни разу того предела не перешли!), а то холодной, и тоже на пределе терпения.

Опять пошли горячие венички к моему радикулитному поясу, это уж специально, я потому и пошел в баню, что приболел: замучил меня радикулит...

О радикулите надо отдельно сказать, он у меня такой давний, застарелый... С тех пор, как я однажды в детстве в поле среди сухой кукурузы в ямке полежал... Всадники гнались за нами. Одна лошадь прошла надо мной в сантиметре. Я слышал затылком, как она переставляла копыта и шумно дышала, шевеля на моем затылке волосы... Но были сумерки, и всадник не успел понять, отчего его конь затоптался на одном месте. Издали протяжно, на чужом гортанном языке его кликнули на помощь — кого-то поймали! И он ускакал, стегнув нерасторопную конягу.

С тех самых пор мучит, мучит эта неумолимая боль в спине... Спасибо бане, спасибо Виктору Ивановичу, спасителю моему.

А в перерывчик блаженно усталые мои новые друзья извлекли водочку, у банщика подкупили пивца: по рублю за бутылку, а Виктор Иванович достал кореечку, лучку зеленого и банку с огурцами... И тихо-мирно, завернувшись в простыни, приняли из стаканчика, видать, тоже ритуального.

Виктор Иванович стал рассказывать про дубовые венички, которые он ломает, потом под гнет кладет, потом вялит на балконе и хранит в полиэтиленовом мешке... До следующего сезона как раз хватает!

— До лета, что ли? — спросил мой приятель, полковник-танкист.

— Эх, молодежь! — сказал Виктор Иванович, покачав головой. — Все-то вас учи да учи, ничего не знаете! До Троицы! Слыхивали про такую?

Последний раз они зашли в парную — лакировочка! А потом допили, оделись и вышли наружу. Но это был еще неполный ритуал, так я понял. Они свернули в ту же баню, с обратной ее стороны. Виктор Иванович скрылся за грязной дверью, но вскоре появился и поманил нас за собой: «Сюда! Сюда давайте!»

В замусоренной полуподвальной комнатке стоял фанер-

ный щиток, а за ним сидели два человека, выпивали: мы их видели в той же бане... А около них стоял небольшого росточка в зимней ушанке, в ватнике мужичок.

— Как, Николай Петрович, будет? — спросили его.

— Будет, будет,— отвечал он озабоченно.— Вот, хотите тут, а хотите в другой отсек...

— Нам бы в другой отсек... Если можно,— сказал Виктор Иванович. Повелительно так сказал.

Нас повели через заваленный столярной рухлядью коридор и привели в другой чулан, побольше первого. И тут была фанерка, и ящики вместо табуреток. Николай Петрович скрылся, принес бутылку и стаканы.

Разливая, Виктор Иванович кивнул в сторону коридора и сказал:

— А эти... наши! Один подполковник, а другой не помню... Из интендантов, кажись...

— А вы из каких? — спросил почему-то я.

Он, не отвечая, достал книжку участника войны.

— Вот,— сказал.— Я всю войну от корки до корки.

Выпили. Он глотнул из банки рассольчик и, заедая корочкой, добавил:

— Начиная от парада в сорок первом... А потом везде... Я автоматчиком был... Вот на Кавказе... Мы там этих, черных, вывозили. Они Гитлеру продались! Их республиканский прокурор был назначен генералом против нас...

Он опять налил. И мы выпили.

— В феврале, в двадцатых числах, помню, привезли нас под праздник в селение, вроде как на отдых. А председателю сельсовета сказали: мол, в шесть утра митинг, чтобы все мужчины около твоего сельсовета собрались. Скажем и отпустим. Ну, собрались они на площади, а мы уже с темноты вокруг оцепили и сразу, не дав опомниться, в машины да под конвой! И по домам тогда уж... Десять минут на сборы — и в погрузку! За три часа всю операцию провели. Ну, а те, что сбежали... Ох, и лютовали они... Мы их по горам стреляли... Ну, и они, конечно...

Появился Николай Петрович, посмотрел на пустую бутылку, сказал:

— Закрываю, пора!

Встали, Виктор Иванович выходил первым и продолжал рассказывать:

— Помню, по Аргуни шли... Речка такая... На ишачках, значит, одиннадцать ишачков, я второй... Он как полоснет с горки из пулемета! Двое упали, а мы, остальные, отползли за выступ! Настроили миномет и по той горке,

где он засел, как дали... Горку ту срезали, ни пулеметчика, ни пулемета! Клочка одежды не нашли. У нас ведь как положено: голову тащишь в штаб, а там кто-нибудь из ихних опознает и вычеркнет из списков: Ахмет или еще кто... Ну, там до весны орден дали, а потом татар из Крыма переселял... Больше на тот свет... Калмыков, литовцев... Тоже злодеи фашисты, сволочи такие...

И вдруг я услышал что-то уже знакомое, слышанное давным-давно. Наверное, там же, на Кавказе.

— Всех, всех их надо к стенке! Не доби́ли мы их тогда, вот теперь хлебаем.

Тут завернули мы в стекляшку, она как бы тоже не случайно встала на нашем пути. Расположенная рядом с церковью, так и зовется стекляшка: у Петра и Павла, ее в Москве знают. Разменяли рубль на мокрую мелочь, сполоснули кружки, из автоматов нацедили пива и за грязным столом стали пить, закусывая солеными баранками.

Толпился кругом народ, люди здоровались, перекликались. И тут, как в бане, все знали и приветствовали друг друга.

К Виктору Ивановичу притянулись двое, сморщенные, в длиннополых старого покроя пальто из черного драпа. Мне их представили как «наших ребят», завсегдатаев.

— Вот они повоевали...— хвалил их Виктор Иванович.— Мы в одних войсках были, хоть и не встречались... Да тут наших много!

Он повел рукой, и я невольно оглянулся. И правда, не считая студентов, которых нетрудно было выделить по возрасту и одежде, другие все или почти все были как бы вровень с нашим Виктором Ивановичем... Не такие моложавые, но, уж точно, спокойные, благостные, что ли. И хоть без погон, но чувствовалась в них старая выучка... Школа. Какая школа!

Виктор Иванович кричал своим друзьям, похрустывая солененькой бараночкой, крошки от нее летели на пол:

— Я этих гадов как сейчас помню... У меня грамота лично от товарища Сталина! Да!

Его мирные, улыбчивые дружки кивали и протягивали с мутным питием кружки, соединив их в едином толчке.

А ведь, не скрою, приходила, не могла не прийти такая мысль, что живы, где-то существуют все те люди, которые от Его имени волю его творили.

Живы, но как живы?

Не мучают ли их кошмары, не приходят ли в полночь тени убиенных, чтобы о себе напомнить?

Нет, не приходят.

Поиграв с внучатами, они собираются, узнавая друг друга по незримым, но им очевидным приметам. Печать, наложенная их профессией, видать, устойчива.

И, сплачиваясь, в банях ли, в пивных ли, они соединяют с глухим звоном немытые кружки и пьют за свое здоровье и свое будущее.

Они верят, что не все у них позади...

На рассвете, лишь рассеялся густой туман, прикрывавший долину, и с поля потянуло ветерком и запахом горелой травы, мы вдвоем пробирались тихим двором, где рядом с желтым бугорком директорской могилы торчала повозка с камнями. Видать, ее вчера так и не смогли вытащить.

Мы скользнули в наш лаз и выбрались к кладбищу.

Впрочем, кладбища уже не было. Валялись тут и там побитые и выкорчеванные камни, готовые к отправке, да рыжела вывернутая земля.

Но когда мы полем направились к реке, мы снова наткнулись на могильные камни, положенные в ряд.

Это и была дорога, необычная дорога, проложенная почему-то не в станицу, а в сторону безлюдных гор.

Мой спутник на первом же камне будто запнулся. Постоял, глядя себе под ноги, потом наклонился, присел на корточки, на колени. Неловко выворачивая набок голову, что-то вслух прочел.

— Что? — спросил я нетерпеливо. — Что ты там читаешь?

Не отрываясь от своего странного занятия, он сказал:

— Тут лежат Зуйбер...

— Зуйбер? Кто это?

Он пожал плечами.

— Дада... Отэц...

И переполз к следующему камню...

— Тут лежат Умран...

— А это кто?

Как и в первый раз, он повторил, не глядя на меня:

— Дада... Отэц...

И далее от камня к камню: — Хасан... Дени... Тоита... Вахит... Рамзан... Социта... Ваха...

Я оглянулся кругом. Рассвело уже настолько, что нас было видно издалека. Надо было спешно и скрытно уходить.

Я поторопил своего спутника.

— Пойдем, пойдем... Пора!

Он не слышал меня.

Переползая от камня к камню, он прочитывал имена, словно повторял на память историю своего рода.

Не знаю, сколько бы это продолжалось, если бы дорога не уткнулась в высокий обрывистый берег реки... В пропасть. Наверное, дальше будет мост, его уже начинали строить.

Миновав опасный обрыв, мы спустились к реке, перешли по камням на другую сторону и стали удаляться в сторону гор.

Мой спутник все оглядывался, пытаюсь запомнить это место.

Ни он, ни я, конечно, не могли тогда знать, что наступит, придет время — и дети, и внуки тех, чьи имена стояли на вечных камнях, вернутся во имя справедливости на свою землю.

Они найдут эту дорогу, и каждый из вернувшихся, придя сюда, возьмет камень своих предков, чтобы поставить его на свое место.

Они унесут ее всю, и дороги, ведущей в пропасть, не станет.

— Может, рвануть к станции? — спросил последний раз Колька. — На подсобном хозяйстве знаешь как здорово?! Будем чуреки печь... Дылду сварим... А?

Алхузур покачал головой и указал на горы.

— Тут стрылат, там не стрылат, — бормотал упрямо и смотрел себе под ноги.

— Ладно, — согласился Колька. — Раз брат, то вместе идти надо. Мы с братом порознь не ходили. Ты понял?

— Панымат, — кивал Алхузур. — Одын брат — дыва хлаз, а дыва брат — четыры хлаз!

— Во дает! — воскликнул Колька и тут же оглянулся, заткнул себе рот. Негромко продолжал: — Ты прям как Сашка... Он то же самое говорил!

— Я Саск... — подтвердил Алхузур. — Я будыт хырош Саск... А там... — Он указал на горы. — Я будыт хырош Алхузур... А хлеб будыт бепих, а кукуруза — качкаш... А вода будыт хи...

Колька нахмурился. В памяти, навечно врезанная, возникла рыжая теплушка на станции Кубань, из окошек зарешетчатых тянулись руки, губы, молящие глаза... И до

сих пор бьющий по ушам крик: «Хи! Хи! Хи! Хи!» Так вот что они просили!

Ребята пробирались вдоль узких оврагов, переходящих в складки гор. Попалось огромное дерево грецкого ореха, и Алхузур ловко сшибал орехи палкой, а Колька собирал за пазуху. Потом они ели дикий сладкий шиповник, нашли несколько грибов, но те оказались горькими.

Тяжелый дым сопровождал беглецов всю дорогу, и Колька, еще слабый после болезни, часто садился отдыхать.

Алхузур же карабкался по камням, лишь голые ноги из-под ватника мелькали. Пока Колька отдыхал, он успевал пробежать по кустам и приносил дикие кислые яблочки и груши.

— Былшой полза,— обычно говорил он, протягивая фрукты и улыбаясь.— А в хор дым нэт... Там хырош будыт...

Один раз наткнулись на солдат, но те ребят не заметили. Они возились с машиной, которая невесть каким образом сползла на обочину и там застряла. Солдаты матерились, кляли горы, кляли чеченцев и свою машину в придачу.

Колька следил за ними из-за кустов, с горки, которая была над ними. Он прошептал Алхузuru:

— Хочешь, я к ним спущусь? Попрошу поесть? А? Алхузур задрожал весь, как тогда в колонии.

— Нэт! Нэт! — закричал он, двое из солдат оглянулись. Едва успели мальчики пригнуться, как раздалась автоматная очередь. Но солдаты пальнули и снова занялись машиной, стреляли они, видно, на всякий случай. Эхо разносило выстрелы по горам. Так что могло показаться, палят со всех сторон.

Ребята отползли от края и пошли в противоположную сторону.

К ночи пришли они к ветхому сарайчику, кошаре, в котором обычно живут пастухи. Так пояснил Алхузур. Около кошары был небольшой садик и огород, сейчас они оказались в полном забросе. И все-таки ребята отрыли несколько морковин, почистили их от траву и съели. И орехи доели.

Ночь была холодной, горы давали о себе знать.

Они спали, обнявшись, на соломенной подстилке, но все равно мерзли, а накрыться им было нечем. Под утро стало невмочь, оба дрожали и даже говорить не могли: языки позастывали.

Тогда Алхузур стал бегать вокруг кошары и петь свои странные, булькающие песни.

Колька тоже побежал, заорал изо всех сил свою песню. «От края до края по горным вершинам, где гордый орел совершает полет, о Сталине мудром, родном и любимом, прекрасные песни слагает народ...» Но песня о Сталине его не согрела. Он стал вспоминать песни о Буденном и Климе Ворошилове... Они все скаковые, под лошадиный ритм бегать удобней. А потом пришла на ум та, которую они орали в спальне: «Бродили мы с приятелем вдвоем... Бродили мы с приятелем по диким по горам, по диким по горам...»

Он стал учить Алхузур этой песне. Вдвоем они кричали что есть мочи, прыгали, бегали, толкали друг друга плечами... А потом вышло солнце, пробилось сквозь густой туман, стало чуть теплее.

Они легли прямо на траву и снова заснули, счастливые оттого, что не надо им больше дрожать от холода.

Алхузур снился родной дом, и мать ругала его, что он не выучил уроков. А Кольке приснился брат Сашка, который пришел к кошаре и спрашивал: «Зачем спыш? Смытры, хоры кругом, а ти спыш? Да?» И все дергал за плечо.

Колька проснулся и не мог понять, что же происходит. Над ним стоял Алхузур и еще какой-то мужчина, в рыжей бараньей шубе, в зимней шапке и с ружьем в руках.

— Спыш, да? — кричал мужчина странным переливчатым голосом, который шел прямо из горла. — С русским свиным спыш? Да? А сам чычен, да?

Алхузур тянул его за руку, державшую ружье, это ружье он направлял на Кольку.

Спросонья Колька ничего и не понял. Он глаза протер и хотел подняться, но мужчина пхнул ногой, и Колька полетел наземь, больно ударился плечом.

— Лыжат! — закричал мужчина громко. — Стрылат буду!

Он опять наставил на Кольку ружье, и Колька лег, глазами в землю. Так он лежал и слышал, как кричал мужчина и кричал Алхузур. Но Алхузур громко говорил по-своему, а мужчина отвечал ему по-русски, наверное, чтобы слышал Колька. Чтобы ясно ему было, что его сейчас убьют.

Мужчина гремел.

— Мой зымла! Он на мой зымла приходит! Мой дом! Мой сад! А я стрылат за то... Я убывает...

— Ма тоха цунна! — кричал Алхузур. — Не убей! Он мынэ от быэц спысат... Он мынэ брат называт...

Мужчина посмотрел на Кольку:

— Хан це хун ю? Разбырат? Нэт? Как зыват?

Колька повернулся. Мужчина посмотрел на Кольку холодно, жестко, и цвет его глаз был такой же стальной, как дуло его ружья, направленного на Кольку.

Колька хотел опять приподняться, но мужчина прикрикнул:

— Лыжат! Отвечат! Хан це хун ю? Хо мила ву?

— Ну, Колька, — сказал Колька, лежа и глядя на мужчину. Он опустил глаза от ружья и увидел, что на ногах у мужчины обмотки и галоши, крест-накрест повязанные лыком. А тулуп у него драный, видать, долго ходил по колючкам. На голове папах, такая же драная, а тулуп перепоясан блестящим серебряным ремешком... Ну, точно таким, какой был у них с Сашкой. Странно, но именно папах и ремешок поразили Кольку, который и думать о них не должен, его убивать собирались...

— Колка? — переспросил мужчина. — А зачэм прышел? Хор — зачэм? Чычен слыдыш зачэм?

— Я не слежу, — сказал Колька. — Я вот с ним...

— Ми брат! Ми брат! — выкрикнул Алхузур.

— Со кхеру хёх, — сказал горец, повернувшись к Алхузuru.

— Ма хеве со, — отвечал тот.

Горец посмотрел на Кольку, на Алхузuru и добавил по-русски:

— Его убит надта! Он будыт быэц прывадыт!

— Ма хеве со, — крикнул Алхузур. И заплакал.

Так и было: Колька лежал и смотрел на мужчину, на ружье, а рядом плакал Алхузур. Колька без страха подумал, что, наверное, его сейчас убьют. Как убили Сашку. Но, наверное, больно, только когда наставляют ружье, а потом, когда выстрелят, больно уже не будет. А они с Сашкой снова встретятся там, где люди превращаются в облака. Они узнают друг друга. Они будут плыть над серебряными вершинами Кавказских гор золотыми круглыми тучками, и Колька скажет:

— Здравствуй, Сашка! Тебе тут хорошо?

А Сашка ответит:

— Ну, конечно. Мне тут хорошо.

— А я с Алхузуром подружился, — скажет Колька. — Он тоже нам с тобой брат!

— Я думаю, что все люди братья, — скажет Сашка, и

они поплывут, поплывут далеко-далеко, туда, где горы сходят в море и люди никогда не слышали о войне, где брат убивает брата.

Пришел Колька в себя не скоро, он не знал, сколько времени миновало с тех пор, как его убивали.

А может, его уже убили?

Рядом с Колькой сидел Алхузур и по-прежнему плакал. Но горца нигде не было, и стояла в сумерках тишина.

Колька удивился, что Алхузур еще плачет, и спросил: — Он тебя обидел?

Алхузур услышал голос и заплакал еще сильнее. Он вытирал слезы рукой и полый ватника, из дырок которого торчала горелая вата. От ватника пахло пожаром. Алхузур выдергивал вату и пускал ее по ветру.

И Колька опять спросил:

— Чего ревешь? И зачем дергаешь вату?

Тот вытер рукавом лицо и посмотрел на Кольку.

— Я думаю, что ты умирать.

— Вот еще придумал!

— Ты глыза закрыват, и так вот: хыр-хыр... — Алхузур изобразил хрип. — А я стыновится плох... Одын брат нэ брат...

Колька сказал:

— Если он не стрелял, то я живой. Он ушел?

Алхузур показал на горы.

— Он там... Он свой зымла стырыжыт... Он ее сыжалт... Он ее лубыт...

— А если бы он застрелил меня? — спросил Колька. И ему вдруг стало холодно. Тоскливо-тоскливо стало. Даже присутствие Алхузура не помешало этому чувству. Он понял, что его и правда хотели убить. И сейчас он валялся бы тут с выпавшими кишками, и вороны расклевали бы ему глаза, как Сашке.

Алхузур посмотрел на Кольку:

— Я плакыт, — сказал он и правда заплакал.

И тогда Кольке стало легче, совсем легко. И он стал утешать названного брата и стал объяснять, что им надо породниться по-настоящему. То есть разрезать руку и смешать кровь.

Они нашли стекляшку, и сперва Колька, а потом Алхузур надрезали на левой руке кожу и потерлись ранками.

— Вот, — сказал Колька. — Теперь мы совсем родные. А отсюда нам надо уходить. Чечены меня все равно застрелят.

Алхузур молчал.

— Давай спустимся обратно,— предложил Колька.— Там внизу теплей.

— Там быэц стрылат,— с боязнью произнес Алхузур.

— А здесь чечен стреляет...— воскликнул Колька.

— Выздэ плох! — вздохнул Алхузур.— А зычем они стрылат? Ты пынымаш?

— Нет,— сказал Колька.— Я думаю, что никто не понимает.

— Но оны же больше... Оны же умыны... Тэк?

Колька ничего не ответил. Наступил вечер. Они смотрели на горы, сверкающие в высоте, и не знали, как им дальше жить.

31

Их поймали на склоне, близ долины, где они, обнявшись, спали в кустах. Набрел на них солдатик, свернувший с дороги по нужде.

Когда их стали разнимать, оба они закричали. Алхузур стал кусаться, а Колька извивался изо всех сил и что-то вопил нечленораздельное.

Солдаты из обоза их скрутили, а потом развязали и дали поесть.

Ели они из миски руками и ни на кого не глядели. Они смотрели только друг на друга и переговаривались жестами да мычанием. Ни на какие вопросы ответить они не смогли.

Приехавшая женщина-врач констатировала, что оба мальчика в состоянии дистрофии и невозможно сейчас сказать, будут ли они вообще жить. Кроме истощения заметны у обоих нарушения психики.

Дети разлучать себя не позволили и поднимали невероятный крик, если одного из них уводили на медосмотр.

А через месяц и десять дней из детской клиники номер шестнадцать города Грозного ребят перевели в детприемник, где держали выловленных и собранных беспризорных перед тем, как отправить их в разные колонии и детдома.

Я запомнил этот дом, размещавшийся на тихой окраинной улочке в деревянном здании бывшей школы.

Здесь никого не учили, но в комнатах стояли парты, и за неимением столов за этими партами нас и кормили, давали привычную затируху: мука с водой да лук, да в

редкие удачливые деньки — мерзлую черную картофелинку... Утром два финика к чаю или десять изюминок, вечером кусок протухшей селедки и снова чай. Иногда каша — в праздники и на воскресенье.

В нашей спальне жили дети разных национальностей. Веселый, прыщавый, нескладно длинный татарин Муса. Он любил всех разыгрывать, но, когда ярился, мог и зарезать, становился белым и скрипел зубами. Муса помнил свой Крым, мазанку в отдалении от моря, на склоне горы, и мать с отцом, которые трудились на винограднике.

Балбек был ногаец. Где находится его родина, Ногайя, никто из нас, да и сам Балбек, не знал. Был он низкоросл, скуласт, справедлив. Как-то пытались они разговаривать с Мусой, каждый на своем языке, и даже что-то у них получилось. Оба умели играть в кости. Балбек учил нас ругаться по-ногайски...

Лида Гросс, попавшая в мальчиковую спальню потому, что она одна была девочка, а жить одной в холодной спальне невозможно, просила нас называть ее по-русски: Гроссова. Она знала наизусть все лекарства, была очень аккуратной девочкой и всем убирала постели. Она и пол подметала. О своем прошлом помнила лишь, что жила у большой реки, но однажды ночью пришли люди и велели им уезжать. Мать плакала от страха. А потом в поезде маме стало плохо, и ее вынесли, Лида тоже вышла; ее подобрали умирающую где-то в чужом городке, на вокзале...

Еще жили в нашей комнате два брата, Кузьмины, мы их звали Кузьмёныши. И хотя не были они похожи, уж куда разней: один светлый курносый, русачок, а другой черный, стриженный и черноглазый, он и по-русски едва говорил... Но Кузьмёныши твердили, хоть их никто о том не спрашивал, что они кровные братья!

В соседней с нами комнате жили армяне, казахи, евреи, молдаване и два болгарина. А через комнату жили слепые.

Слепые дети жили здесь давно, это можно было понять по тому, что они сами находили дорогу в столовую и спальню, знали свои места за столом и даже могли гулять по улице, вдоль забора.

С одним из слепых мы успели познакомиться, его звали Антоша. Был он мал, лицо его было усеяно черными крапинками, будто дробью. Антон рассказал, что он нашел гранату и пытался ее разобрать. При этом он показал свои руки, где не было трех пальцев на левой руке и двух на правой.

Антон принес книгу, странную книгу с пупырышками и, водя пальцем, прочитал несколько строк.

— Вырасту, заведу попугая и буду на рынке билетики продавать, — говорил Антон. — У нас многие гадают на рынке. Столько заколачивают, ахнешь.

Кузьмёныши спали вместе, на одной кровати, был декабрь, бесснежный, но ветреный, в спальне стояла холодина.

Они, как все мы, выжидали, как повернется их судьба.

В детприемниках судьбы поворачивались по-разному: одних отправляли в распределители и колонии, других в детдома, а некоторых в ФЗУ и ремесленные училища, если выходило по возрасту.

Но случались и чудеса: кого-то находили родители или родственники или брали какие-нибудь люди на воспитание, из тех, кто имел жилье и мог кормить и одевать.

По поводу последнего слухов и легенд было особенно много. Да и как иначе! Живешь, живешь, как кролик, выставленный на рынке в корзине: купят или не купят? А тут вдруг появляется волшебник и уводит тебя. Куда — не важно. Важно, что отсюда. И — навсегда. Фантазия? Но ведь должна же быть у безродных сказка? Как им без веры в сказку жить?

Однажды в распределитель пришла женщина, и вызвали к заведующей Кольку. Все как-то возбудились и старались отираться поближе к кабинету. Вдруг их тоже вызовут. Никто не сомневался, что Кольку хотят усыновить.

Алхузур ни на шаг не отставал от Кольки, но в кабинет его не пустили. Как ни кричал он, как ни скандалил, дверь закрыли, и он остался один.

Впрочем, Колька успел ему шепнуть:

— Не бойся, я без тебя не уеду!

Заведующая детприемником была толстая пожилая женщина Ольга Христофоровна. Фамилия у нее была Мюллер. Рядом с ней, Колька еще в дверях увидел, сидела Регина Петровна, похудевшая, но красивая. На волосы был накинута платок, в руке — папироса.

Ольга Христофоровна сказала:

— Кузьмин? Вот тобой... интересуются!

Колька стоял посреди комнаты с письменным, обляннанным чернилами столом, таким же шкафчиком и тремя одинаковыми стульями, глазами он уперся в пол.

— Я так понимаю, вы знакомы? — спросила заведующая.

Колька молчал.

Ольга Христофоровна бросила взгляд на Регину Петровну и добавила:

— Можете поговорить тут...

Она тяжело поднялась и вышла. Из прихожей попытался пробиться Алхузур; он заорал в дверную щель: «Я тут! Я тут!»

Дверь опять плотно прикрыли.

— Ну, здравствуй,— произнесла Регина Петровна и улыбнулась. Папироску она погасила и поднялась навстречу Кольке. Но Колька стоял не двигаясь и никак не проявляя себя. На лице его было тупое безразличие.

Регина Петровна остановилась на полпути, но, помедлив, все-таки подошла к Кольке и тронула за плечо. Он пожегся и отступил на один шаг. Чужая рука ему мешала.

— Ты что? Коля? Ты меня не узнаешь?

— Нет,— сказал он.

— Не узнаешь? — переспросила она с застывшей улыбкой.

— Нет.

Она натянуто рассмеялась.

— Не валяй дурака... Кстати, ху из ху... Ты и вправду Колька?

— Нет.

— Ты Сашка, да?

— Нет.

— А где... другой?

Колька посмотрел на ноги Регины Петровны и вздохнул.

— Ну, садись! Садись! — сказала Регина Петровна и сама села. Колька присел на кончик стула. Но присел так, чтобы можно было в случае чего вскочить и убежать.

— Я ведь вас искала! — Регина Петровна достала папироску и стала ее закуривать. Руки ее дрожали. Колька посмотрел на ее руки и отвел глаза.

— Меня тогда увез Демьян... Иваныч,— продолжала Регина Петровна и глубоко затянулась.— Он приехал на телеге, говорит, ребята пропали. А нам, говорит, надо бежать, чечены в долину прорвались. Мы мужичков положили на телегу, они у меня оба расхворались после дня рождения, и скорей на станцию... На поезд... А потом я пришла в себя, хотела вернуться, но Демьян Иваныч меня не пустил. Там бои, сказал. Там давно никого нет... И вдруг тебя нашли... Кстати, что там за мальчик? —

спросила Регина Петровна и кивнула на дверь.— Твой новый дружок? Мне кажется, я его видела...

— Не знаю,— сказал Колька.

Регина Петровна нахмурилась. Лицо у нее потемнело.

— Так и будешь со мной разговаривать? Да?

В это время вернулась Ольга Христофоровна. Медленно прошла к своему столу, спросила, тяжело дыша:

— Ну? Поговорили?

— Да, спасибо,— торопливо произнесла Регина Петровна.— Я к вам, если можно, еще зайду?

— Не очень тяните,— сказала заведующая и посмотрела на Кольку.

— А что? Есть разнарядки?

Заведующая промычала что-то неопределенное. Потом наклонилась к уху Регины Петровны и что-то прошептала.

Регина Петровна удивленно спросила:

— А он откуда?

Заведующая пожала плечами.

— Вот приедут, разберутся. Оттого и держат, и не отсылают.

— Ладно,— сказала Регина Петровна.— Я на днях приду... Ну, до свидания, Коля?

Колька поднял голову. Впервые посмотрел ей в глаза. Так посмотрел, что она не выдержала, отшатнулась. А он не спеша повернулся и пошел к двери.

Уже за своей спиной услышал, заведующая произнесла:

— Это еще цветочки... Вы бы других видели!

32

За несколько дней до Нового, сорок пятого года уже и елку в классной комнате поставили, и самодеятельность готовили, приехали двое на машине — военный и штатский и тут же торопливо объявили:

— Кузьминых срочно в канцелярию!

Ребята сидели возле кровати Мусы, который вдруг затемпературил, и развлекали его. Балбек рассказывал свои легенды про батыров. Все они у него были одинаковые: батыр вырастает и побеждает врагов, и народ становится свободным.

А тут позвали Кузьмёнышей, да как-то неестественно громко, как на пожар. Но у дверей Кольку задержали, а Алхузура увели одного. Колька начал стучать в дверь

и орать, да так сильно, что дверь отворилась и мужской голос произнес:

— Ну, пусть войдет! Это даже к лучшему, что оба!

Колька влетел в комнату и увидел, что Алхузур сидит на стуле прямо посреди комнаты, перед ним военный, а другой, штатский, стоит у окна. А этот, лысый, в очках, в блестящих высоких сапогах и с папкой, и говорит, и говорит. Что он говорит, Колька сперва не понял. Потом сообразил, что он пересказывает Алхузуру историю самого Кольки. Откуда только узнал... Оттого и лысый, как Демьян. Лысые ушлые, Сашка говорил!

Военный спросил:

— А где вы встретились? Ты и Николай? Вы встретились в Березовской?

Алхузур молчал.

Военный повернулся к Кольке, вкрадчиво спросил:

— Ты-то помнишь, где вы познакомились? Я от твоего приятеля не могу добиться.

— Он не приятель. Он мой брат.

— Какой брат? — оживился военный. — Названный?

— Он мой родной брат, — повторил Колька.

— Так уж родной? — насмешливо повторил военный.

— Да.

— Как же его зовут?

— Сашка.

— Это он — Сашка? Да ты посмотри! — И военный сверху двумя пальцами взял Алхузура за виски и силой повернул лицом к Кольке. — Он же черный! А ты светлый! Какие же вы братья?

— Настоящие, — сказал Колька.

Военный шепнул Ольге Христофоровне, и та вышла.

Он продолжал ходить, вышагивал, поскрипывая сапогами, по комнате и будто с разных сторон оглядывал Алхузура. На Кольку он не обращал внимания.

А штатский молчал. Он все время молчал. Его вроде бы и не было.

Вдруг вошла вместе с Ольгой Христофоровной Регина Петровна.

— Садитесь, — предложил, будто приказал, ей военный. — Вы были воспитательницей в колонии под Березовской?

— Да, — тихо ответила Регина Петровна и посмотрела на Кольку. Какой-то жалкий, просящий был у нее на этот раз взгляд.

— Вы помните братьев Кузьминых, которые жили там?

Регина Петровна кивнула.

— Хорошо помните? — спросил военный и сердито посмотрел на Регину Петровну.

— Да. Помню, — отвечала она.

— Вот посмотрите... Вы их узнаете? — И военный повел рукой в сторону Алхузура. Колька стоял сбоку.

— Да, — едва слышно произнесла Регина Петровна.

— Это кто? — И военный ткнул пальцем в сторону Кольки.

Регина Петровна помолчала, назвала:

— Кажется... Это Коля.

— Ага, — кивнул удовлетворенно военный. — А это? — И указал на Алхузура.

Регина Петровна продолжала смотреть на Кольку.

— Я думаю... — начала она и запнулась.

— Вы думаете? Или вы знаете?

Регина Петровна молчала.

— Но я вас слушаю! Слушаю! — громко проговорил военный и многозначительно посмотрел на штатского. Тот никак не реагировал.

— Это... Саша... — слабым голосом произнесла Регина Петровна.

— Вы уверены, что он именно Саша, его брат?

Регина Петровна едва кивнула.

— Вы хорошо подумали, отвечая на мой вопрос? — Военный прошел за спину Регины Петровны и теперь разговаривал с ней, как бы обращаясь к ее затылку. Регина Петровна, испугавшись, рывком обернулась к нему.

— Что? — спросила она и тут же повторила, чуть суетливо: — Да. Ну, конечно, уверена. Их, правда, было много, и я их сперва путала...

— Значит, можно предположить, что вы и сейчас способны спутать? — нависая над головой Регины Петровны, настаивал военный. Даже Колька устал от его прямолинейно-твердого тона. Будто их всех, допрашиваемых здесь, перепиливали одной тупой пилой.

Регина Петровна вздохнула. Ей, наверное, очень хотелось курить.

— Нет, я думаю, что я...

— Опять думаете! А вы не думайте! — посоветовал вдруг, усмехнувшись, военный. — Вы же воспитательница, да? И небось учили детишек не лгать? А как же вы теперь — да еще при них! — лжете?

— Я не лгу, — как провинившаяся школьница произнесла, потупясь, Регина Петровна.

— Вот и отлично! — произнес военный и сделал несколько шагов по комнате. — Так вы говорите, что способны спутать детей, и поэтому вы не уверены, что здесь, перед вами, братья? Я вас правильно понял?

Регина Петровна не отвечала.

— Так, да? — Военный повысил голос и вдруг прикоснулся рукой к затылку Регины Петровны. Она дернулась, но не отстранилась.

— Нет, — произнесла и поглядела на Кольку.

— Что нет! Что нет! — крикнул военный и стукнул ладонью по папке, которую держал в руке. Раздался громкий хлопок. Все вздрогнули.

— Нет... То есть я могу... Я хочу сказать... Что они... Что они... братья...

Военный уже не слушал ее, складывал в папку бумажки.

Не простившись, он вышел из комнаты, было слышно, как отъехала машина.

Остальные остались в комнате. И штатский остался. Все молча ждали, что он скажет, а он тоже молчал. Создалась мертвая пауза.

Ольга Христофоровна решилась к нему обратиться:

— А у вас... простите, никаких вопросов?

Человек даже не шевельнулся. Он продолжал смотреть в окно, будто это не к нему обращались. Но вдруг повернулся, сказал через сомкнутые губы:

— Дайте, пожалуйста, список.

— Список детей? — спросила заведующая.

Он протянул руку, не пытаясь ничего объяснить, и Ольга Христофоровна подала ему листок.

Он быстро, мельком заглянул и поинтересовался:

— А вот этот Муса? Он что, татарин?

— Да, — сказала Ольга Христофоровна. — Он сейчас тяжело болен.

— Откуда? — спросил штатский, пропустив мимо ушей про болезнь. — Не из Крыма случайно?

— Кажется, из Казани, — ответила заведующая.

— Кажется... А Гросс? Немка?

— Не знаю, — сказала заведующая. — Какое это имеет значение? Я тоже немка!

— Вот я и говорю. — Голос у штатского звучал очень ровно, в нем было что-то тихое, бесшумное почти, будто два крыла сзади шелестели. Все в нем понравилось бы Кольке, только губы, тонкие, чуть кривые, жили как бы сами по себе, и в них, в том, как они изгибались, было что-то чужое, холодное.

— Понабрали тут,— повторил человек и бросил список прямо на стол, хотя Ольга Христофоровна, уловив его движение, уже протянула руку.

— Мы их не набираем,— сказала Ольга Христофоровна.— Мы их принимаем.

— Надо знать, кого принимаете! — чуть громче произнес человек, и опять же никакого зла или угрозы не было в его словах. Но почему-то взрослые вздрогнули.

И только Ольга Христофоровна упрямилась, хотя видно было, что она больна и ей тяжело продолжать разговор.

— Мы принимаем детей. Только детей,— отвечала она. Взяла список и будто погладила его рукой.

На следующий день всех детприемовских, в том числе и слепых, повели в театр. Шли попарно, зрячие вели слепых. В театре открылся занавес, и началось волшебство под названием «Двенадцать месяцев».

Колька сидел рядом с Антоном, по другую сторону сидел Алхузур. Они пытались пересказывать Антоше все, что видели на сцене, но это было так трудно! Злая мачеха велит своей падчерице принести зимой красных ягод земляники, и девочка уходит в ледяной лес. Она замерзает от холода, но вдруг... Как бы Колька описал это, если вдруг прямо посреди поляны загорелся, вспыхнул огромный костер и вокруг него сидели двенадцать месяцев.

Алхузур онемел от восторга, а Колька рот открыл, и слюнка потекла.

Антоша же дергал их за руки и просил: «Ну что там? Что там?»

Никогда ребята не были в театре и выходили будто пьяные. Дорогой Колька молчал, боялся со словами растерять что-то из увиденного.

Вечером всем раздали — сама Ольга Христофоровна это делала — по конфетке, по два печенья и по два бублика — такой шикарный подарок, и всех зрячих выстроили по одну сторону елки, а слепых напротив. Слепые спели им песню про елку, а потом Ольга Христофоровна громко закричала:

— Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!

Все ребята закричали «ура!». Даже больной Муса слышал из своей спальни этот крик, тоже подхватил его.

А потом зрячие ребята выступали, каждый с чем мог, а Колька стал читать стихи... Про тучку золотую.

...Но остался влажный след в морщине
Старого утеса...

Колька замолчал и посмотрел на слепых: они, вытянув шеи, напряженно слушали. Будто боялись пропустить даже его молчание... А оно затягивалось, потому что у Кольки перехватило дыхание и сжало горло. Он никак не мог выговорить слово «одинок»...

Хотелось заплакать.

Он вдруг понял вот сейчас, стоя перед слепыми, что кончилась его кавказская жизнь, а завтра, как им сказали, их повезут куда-то, где будет у них совсем другая жизнь.

Сбоку елки стоял Алхузур и тоже смотрел на Кольку. Уже стали подсказывать слова, но он не выдержал и убежал в коридор. А слепые зааплодировали ему вслед.

Утром их подняли раньше обычного, часов в шесть.

Даже Мусу заставили одеться, его отправляли тоже. Оставались лишь слепые. Но когда всех выстроили, чтобы вести на станцию, откуда-то появился Антон и закричал:

— Кузьмёныши! Вы здесь? Вы здесь?

— Антон! — крикнул Колька и выскочил из строя.

Антон нашел руку Кольки и протянул бумажку. На ней было выколото пупырышками на языке слепых.

— Это тебе гаданье на будущее! — сказал Антон и улыбнулся, как улыбаются только слепые: куда-то в пространство.

— Но я же не прочту, что тут написано!

— Приходи на рынок, если попадешь в наш город! — сказал Антон. — Я там буду! Я тебе прочту! Ты хороший человек, Коля!

— Дети, на место! — крикнула Ольга Христофоровна. Это относилось, конечно, к Кольке. — Всем идти за мной.

На улице было холодно. Мела поземка. Вокзал был пустынен. Ребят разместили в поезде, в пустом неубранном вагоне. Никто никуда, кроме них, не ехал в этот первый день нового года.

Колька показал Алхузуру на две самые верхние полки и сказал: «Это наши. Мы так с Сашкой ездили».

В это время в вагон зашла Ольга Христофоровна и крикнула:

— Коля! Тебя там спрашивают!

— Кто? — недовольно буркнул Коля, не желая отходить от Алхузура.

— Выйди! И узнаешь! — сказала Ольга Христофоров-

на. Тяжеловатой походкой она двинулась дальше по вагону, проверяя, все ли нормально устроились.

— Муса, тебе не холодно? — спросила она татарина.

Муса ежился, но жаловаться не хотел. Да в общем-то он радовался, что тоже куда-то едет. Чего бы это он оставался один...

Колька вышел в тамбур и увидел у вагона Регину Петровну. Она держала в руках свертки.

Бросилась к Кольке, но споткнулась. А он смотрел из тамбура. Смотрел, как она торопливо поднимается по неудобным ступенькам, чуть не роняя свертки.

— Вот! — запыхавшись, произнесла она. — Это костюмы! Ну те, которые вам с Сашкой! — И так как Колька молчал, она просительно закончила: — Возьми! Там, на новом месте...

И положила свертки на пол рядом с Колькой.

Они помолчали, глядя друг на друга.

— Я не знаю, куда вас везут... — произнесла она, глядя на Кольку. — Почему-то держат в секрете... Ерунда какая-то. Но ты еще подумай. Может, останешься с нами? Мы с Демьяном Иванычем обсудили, он не против взять тебя... — Она поправилась: — Тебя... и этого мальчика...

Колька покачал головой.

Регина Петровна вздохнула. Стала доставать папироску, но сломала ее и выбросила.

— Ну, ладно, — сказала она. — Может, ты напишешь? Когда приедешь на место?

Колька опять покачал головой.

Регина Петровна вдруг протянула руку и погладила его по голове. Он не успел увернуться.

— Ладно. Прощай, дружок! — пошла и вдруг обернулась. — Ты мне можешь ответить на один вопрос?

Колька кивнул. Он знал, о чем она спросит, и ждал этого вопроса.

— Где твой брат? Я говорю про настоящего Сашку... Где он?

Колька посмотрел в глаза этой самой красивой в мире женщине. Как он ее любил! Как они оба любили! А теперь... Сашка, может, и простил бы ее бегство, но Колька не мог... Но и не ответить он не мог. И тогда он сказал:

— Сашка уехал.

— Далеко?

— Далеко.

— Ну, слава богу! Жив, значит... — вырвалось у нее.

Регина Петровна прыгнула с подножки: поезду дали отправление.

А Колька сразу же бросился в вагон, про свертки он и не вспомнил. Он боялся, что без него Алхузуру будет плохо.

Но Алхузур смотрел в окно и о чем-то думал. Теперь оба стали смотреть в окно. Там стояла женщина, и, хоть задувал ветер и ей было холодно, она смотрела на вагон и не уходила.

Наконец поезд отправили.

Вагон дернулся и медленно поехал. Женщина стала махать рукой.

Колька приблизил лицо к стеклу, чтобы еще раз, последний, посмотреть на Регину Петровну. Ему показалось, что она что-то закричала. Он покачал головой. Это означало, что он не слышит. Но она могла понять и по-другому. И все-таки она продолжала кричать, ускоряя свой шаг. А потом она побежала...

Платок у нее съехал на шею, обнажив черные волосы. И пальто ее расстегнулось. Она ничего этого не чувствовала. Она бежала, будто догоняла свое счастье... И кричала, кричала...

И тогда Колька помахал ей и кивнул, будто что-то понял. Больше он ее не видел. Он забрался на полку, лег рядом с Алхузуром и обнял его. И почему-то заплакал, прижимаясь к его плечу. Алхузур утешал его, он говорил:

— Зачым плакыт! Нэ надо... Мы будыт ехыт, ехыт, и мы приедыт, да? Мы будыт вместе, да? Всу жыст вмэсты, да?

Колька не мог остановиться, он плакал все сильнее, и только поезд стучал колесами, что-то подтверждая: «Да-да-да-да-да-да...»

Приставкин А. И.

**П 75 Ночевала тучка золотая: Повести.— Свердловск:
Сред.-Урал. кн. изд-во, 1991.— 432 с.: ил.**

ISBN 5—7529—0416—1

В пер.: 4 р. 80 к. 100 000 экз.

Книгу составили произведения, рассказывающие о детдоме военных лет, «где легче было умереть, чем выжить, стать нелюдью легче, чем человеком».

За повесть «Ночевала тучка золотая» писатель был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР. Кроме заглавной в книгу вошла повесть «Солдат и мальчик».

Иллюстрации П. Болюха.

В серии «Библиотека юношества».

**П 4702010201-043 60-91
М 158(03)-91**

ББК 84Р7

СОДЕРЖАНИЕ

Солдат и мальчик

3

Ночевала тучка золотая

205

Приставкин Анатолий Игнатьевич

НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗОЛОТАЯ

Редактор Е. Черняк

Художник П. Болюх

Художественный редактор В. Солдатов

Технический редактор И. Трушникова

Корректоры М. Казанцева, Н. Тунгусова, Т. Калугина

ИБ № 2099

**Сдано в набор 12.12.90. Подписано в печать 23.05.91. Формат
84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура тип Таймс.
Печать высокая с фотополимеров. Усл. печ. л. 22,7. Усл. кр.-отт. 22,9.
Уч.-изд. л. 25,4. Тираж 100 000. Заказ 472. Цена 4 р. 80 к.**

**Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351,
Малышева, 24. Типография «Уральский рабочий», 620151, Свердловск,
пр. Ленина, 49.**

ВСК:

доме
одью

стоен
глав-

84P7

Гаймс.
. 22,9.

П-351
ДЛОВСК

4 р. 80 к.

БИБЛИОТЕКА ЮНОШЕСТВА

**Анатолий
ПРИСТАВКИН**

**Свердловск
Средне-Уральское книжное
издательство
1991**

REAR BACK
COVER